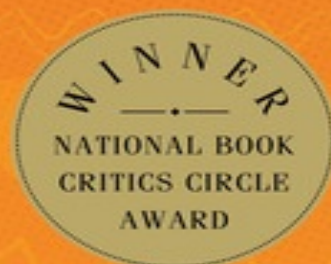


ЧИМАМАНДА НГОЗИ АДИЧИ
АМЕРИКАНХА

автор романа
«ПОЛОВИНА ЖЕЛТОГО СОЛНЦА»



Annotation

Третий роман нигерийского прозаика Чимаманды Нгози Адичи, уже завоевавшей не одну литературную награду за предыдущие свои книги, — самый масштабный и по времени, и по географии действия, и по диапазону идей и проблем, которые Адичи смогла мастерски и увлекательно охватить.

Роман о том, что чувствует образованный человек «второго мира», оказавшись в США или в Лондоне, про то, что ждет его дома, если он решит вернуться. Еще подростками Ифемелу и Обинзе влюбились, и дела им не было до диктатуры в родной стране, до зловещей атмосферы всеобщей подавленности и страха. Но, окончив школу, красавица Ифемелу уехала учиться в Америку, где ее ждал новый мир, полный как радостей, так и проблем. Рассудительный Обинзе из профессорской семьи собирался последовать за любимой, но события 11 сентября поставили крест на его планах перебраться в Америку. Он оказывается в Лондоне, где ведет опасную жизнь нелегала. Годы идут, и вот уже Обинзе — богатый человек, живет в родной стране, где его ценят и уважают. А Ифемелу стала успешной журналисткой, ее блог о жизни иммигрантки в Америке чрезвычайно популярен. Казалось бы, у обоих все хорошо, но это лишь начало... Увлекательный, горький, местами смешной роман, охватывающий три континента и множество судеб, он вызывает в памяти предыдущий роман Адичи «Половина желтого солнца», а также «И эхо летит по горам» Халеда Хоссейни и «Рассечение Стоуна» Абрахама Вергезе. Вероятно, главный в этом романе разговор — о том, как живет и меняется в нас представление о родине и о доме, об оттенках расставаний и возвращений.

В 2013 году роман получил одну из самых престижных литературных премий США — National Book Critics Circle Award (Национальная премия критиков) и обошел роман Донны Тартт «Щегол».

- [Чимаманда Нгози Адичи](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Часть вторая](#)

- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)
- [Глава 21](#)
- [Глава 22](#)
- [Часть третья](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
 - [Глава 29](#)
 - [Глава 30](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [Глава 31](#)
 - [Глава 32](#)
 - [Глава 33](#)
 - [Глава 34](#)
 - [Глава 35](#)
 - [Глава 36](#)
 - [Глава 37](#)
 - [Глава 38](#)
 - [Глава 39](#)

- [Глава 40](#)
 - [Глава 41](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [Глава 42](#)
 - [Часть шестая](#)
 - [Глава 43](#)
 - [Часть седьмая](#)
 - [Глава 44](#)
 - [Глава 45](#)
 - [Глава 46](#)
 - [Глава 47](#)
 - [Глава 48](#)
 - [Глава 49](#)
 - [Глава 50](#)
 - [Глава 51](#)
 - [Глава 52](#)
 - [Глава 53](#)
 - [Глава 54](#)
 - [Глава 55](#)
 - [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)

- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)

- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)

- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)

- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)

- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)



Чимаманда Нгози Адичи

Американха

*Эта книга — для
следующего нашего
поколения, нди на-абиа
н'иру: Токсу, Чисому,
Амаке, Чинедуму,
Камсьонне и Аринзе.*

*Моему отцу на его
восьмидесятом году
жизни.*

*И, как всегда,
Иваре.*

AMERICANAH by Chimamanda Ngozi Adichie
Copyright © 2013 by Chimamanda Ngozi Adichie

© Шаши Мартынова, перевод, 2017

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2018

Часть первая

Глава 1

Принстон летом не пах ничем, и хотя Ифемелу нравилась спокойная зелень множества деревьев, чистые улицы и величавые дома, магазины с ненавязчиво завышенными ценами и безмолвный, неизменный дух заслуженного благоденствия, именно это отсутствие запаха привлекало ее более всего, поскольку все прочие хорошо известные ей американские города пахли отчетливо. У Филадельфии имелся затхлый аромат истории. Нью-Хейвен пах заброшенностью. Балтимор — рассолом, а Бруклин — разогретым на солнце мусором. У Принстона же запаха не было. Ей нравилось дышать здесь глубоко. Нравилось смотреть на местных, водивших машины с подчеркнутой любезностью и оставлявших свои автомобили свежайших моделей рядом с магазином экологических продуктов на Нассо-стрит, или же у ресторана суси, или у лавочки с пятьюдесятью сортами мороженого, включая красный перец, или у почтового отделения, где безудержно приветливый персонал устремлялся встречать их у самого входа. Ей нравился студгородок, насупленный от знаний, готические постройки с кружевными от вьюна стенами и как в полусвете вечера все преображалось в пространство призраков. Но более прочего ей нравилось, что в этом месте изобильной непринужденности ей удавалось прикидываться другим человеком, тем, кого лично приняли в освященный американский клуб, кого осенили определенностью.

А вот ездить в Трентон заплетать волосы ей как раз не нравилось. Требовать от Принстона парикмахерскую, где плетут косы, неразумно: те немногие черные местные, каких она тут видела, были такие светлокожие и висловолосые, что их с косичками и не вообразить, но все же, пока Ифемелу в палящую послеобеденную жару ждала на станции Принстон-узловая своего поезда, она задумалась, почему *все же* тут негде заплести волосы. Плитка шоколада в сумке растаяла. Немногие прочие, ожидавшие вместе с ней на платформе, — все до единого белые, тощие, в короткой воздушной одежде. Стоявший рядом с ней мужчина ел рожок мороженого, что ей всегда казалось несколько безответственным: взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого, в особенности если взрослый мужчина-американец ест рожок мороженого у всех на виду. Поезд догромыхал до станции, и мужчина обернулся к Ифемелу.

— Ну наконец-то, — произнес он с фамильярностью, какая возникает между незнакомцами, разделяющими недовольство той или иной

общественной услугой. Она ему улыбнулась. Седеющие волосы зачесаны с затылка вперед — потешное ухищрение скрыть лысину. Наверняка ученый, но не из гуманитариев, иначе был бы застенчивее. Крепкая наука вроде химии небось. Прежде она бы сказала: «Знамо дело» — примечательное американское выражение согласия, а не знания, и затем завела бы с ним беседу — разведать, не скажет ли он что-нибудь полезное для ее блога.

Людам льстит, когда их спрашивают о них самих, а если она помалкивает в ответ, их это подталкивает рассказывать дальше. Их приучили заполнять паузы. Если интересовались, чем она занимается, Ифемелу отвечала расплывчато: «Веду блог о стиле жизни», потому что от реплики «Я веду анонимный блог под названием “Расемнадцатое,^[1] или Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами (прежде известными как негры)”» им становилось неловко. Впрочем, она все же произносила это несколько раз. Однажды — в беседе с белым мужчиной в дредах, который сидел рядом с ней в поезде, волосы как старые крученые веревки, косматые на концах, потасканная рубашка — знак благонадежности, убедивший ее, что перед ней боец-общественник и, возможно, окажется славным гостем в ее блоге. «Вокруг расы нынче перебор шумихи, чернокожим пора бы уже расслабиться, теперь все сводится к классовости, к имущим и неимущим», — сказал он невозмутимо, и с этой фразы она начала пост под названием «Не все белые американцы в дредах — свои в доску». А еще был человек из Огайо, втиснувшийся рядом с ней на каком-то авиаперелете. Явно менеджер среднего звена: костюм-футляр, контрастный воротничок. Уточнил, что это значит — «блог о стиле жизни», и она объяснила, ожидая, что он тут же замкнется или в конце разговора брякнет что-нибудь хмуро-пошлое вроде «Единственная подлинная раса — человечество». Но он сказал: «Никогда про усыновление не писали? В этой стране черные детишки никому не нужны, и я не про межрасовых, а именно про черных. Даже черные семьи их не берут».

Доложил, что они с женой усыновили черного ребенка и соседи смотрели так, будто эта пара решила податься в мученики во имя невесть чего. Ее пост об этом: «Не так-то просты они, скверно одетые белые менеджеры среднего звена из Огайо», на него она получила в тот месяц больше всего комментариев. До сих пор гадала, читал он тот ее текст или нет. Надеялась, что читал. Она частенько, сидя в кафе, или в аэропортах, или на вокзалах, наблюдала за незнакомыми людьми, воображала себе их жизнь, раздумывала, кто из них, вероятно, следит за ее блогом. Теперь уже бывшим. Она выложила последний пост всего несколько дней назад, за ним

потянулся хвост из двухсот семидесяти четырех комментариев — пока. Ее читателей прибывало что ни месяц, они ставили на нее ссылки, публиковали у себя ее посты, знали гораздо больше, чем она сама, — вечно пугали и вдохновляли Ифемелу. Сафический Деррида, один из самых частых комментаторов, написал: «Удивительно, до чего близко к сердцу я это все принимаю. Удачи вам с неведомыми “переменами в жизни”, но вы, уж пожалуйста, возвращайтесь в блогосферу поскорее. Своим дерзким, хулиганским, потешным и наводящим на размышления тоном вы создали пространство настоящего разговора на важную тему». Читатели, подобные Сафическому Дерриде, вываливавшие статистические данные и употреблявшие в комментариях слова вроде «овеществлять», нервировали Ифемелу, которая рвалась быть свежей, впечатлять и потому со временем начала ощущать себя стервятником, что обдирает остовы людских историй себе на пользу. Иногда с трудом увязывая сказанное с расовыми вопросами. Иногда не доверяя самой себе. Чем больше писала, тем меньше в ней было уверенности. Каждый следующий пост слушивал с нее очередную чешуйку самости, пока она не показалась себе голой и фальшивой.

Мужчина-с-мороженым уселся в поезде рядом с ней, и, чтобы избежать разговора, она упорно глядела на бурое пятно у себя под ногами — разлитый фраппучино — вплоть до самого Трентона. На платформе толпились черные, многие — жирные, в короткой воздушной одежде. Ее по-прежнему изумляла разница, возникавшая за несколько минут езды на поезде. В первый свой год в Америке она съездила нью-джерсийским транзитным до Пенсильванского вокзала, а дальше на метро, в гости к тете Уджу во Флэтлендз,^[2] и ее поразило, что преимущественно щуплые белые сходили на манхэттенских остановках, а поезд катился дальше в Бруклин, и оставались в вагоне почти исключительно жирные черные. Но Ифемелу тогда не думала о них как о «жирных». Думала о них как о «крупных», потому что ее подруга Гиника чуть ли не первым делом сообщила ей: «жирный» в Америке — ругательное слово, в нем уйма осуждения, как в словах «тупой» или «ублюдок», это не просто описание человека вроде «низенький» или «рослый». Ифемелу исключила «жирный» из словаря. Но прошлой зимой это слово вернулось к ней — почти через тринадцать лет, когда человек за ее спиной в очереди в супермаркете пробормотал: «Жирным это барахло есть не стоит», когда она платила за громадный пакет «Тоститос». Ифемелу глянула на него изумленно, чуть обиженно и подумала, что вот он, идеальный пост для блога: чужой человек решил, что она жирная. Тэги к посту — «раса, пол, телесные размеры». Но, вернувшись домой, она встала перед зеркалом и приняла от него правду —

осознала, что не обращала внимания, слишком долго, как туго теперь сидит на ней одежда, как трутся внутренние поверхности бедер, как подрагивают при движении ее мягкие округлости. Она и *впрямь* жирная.

Слово «жирная» она произнесла медленно, гоняя его туда-обратно, и задумалась обо всем прочем, что выучилась не произносить в Америке вслух. Она была жирной. Не фигуристой и не ширококостной — жирной, и лишь это слово казалось правдивым. Не обращала она внимания и на бетонную тяжесть на душе. Дела у ее блога шли хорошо, тысячи новых посетителей в месяц, ей прилично платили за выступления, имелась стипендия в Принстоне и отношения с Блейном. «Ты абсолютная любовь моей жизни», — написал он ей в открытке на прошлый день рождения, и все же лежал у нее на душе бетон. Он там копился уже какое-то время — утренняя хворь усталости, унылое отсутствие границ. Возникли вместе с этим бетоном и рыхлое томление, бесформенная жажда, краткие воображаемые отблески других жизней, какие она могла бы вести, и за несколько месяцев они сплывались в пронзительную тоску по дому. Она рыскала по нигерийским сайтам, по нигерийским профилям в «Фейсбуке», по нигерийским блогам, и каждый щелчок мыши приносил ей очередную байку о юнцах, вернувшихся домой облеченными американскими и британскими учеными степенями, и там эти молодые ребята основывали инвестиционные компании, музыкальные лейблы, запускали линейки модной одежды, журналы, франшизы общепита. Она смотрела на фотографии этих мужчин и женщин и чувствовала тупую боль утраты, словно они разжали ей пальцы и забрали что-то у нее самой. Они жили ее жизнью. Нигерия стала местом, где Ифемелу полагалось быть, единственным, где она могла бы пустить корни без постоянного позыва выдернуть их оттуда и потрясти почву. И конечно, там же был Обинзе. Ее первая любовь, первый любовник, единственный человек, которому никогда не нужно было ничего растолковывать. Теперь он уже и муж, и отец, они не общались много лет, и все же не могла она сделать вид, что его нет в ее тоске по дому или что она о нем не думает, часто, перебирая их прошлое, ища знаки того, что ей не удавалось назвать.

Незнакомец-хам в супермаркете — кто знает, с чем ему, изможденному, тонкогубому, приходилось сражаться, — стремился обидеть ее, а на деле разбудил.

Она принялась планировать и мечтать, искать работу в Лагосе. Блейну поначалу ничего не говорила — хотела завершить стипендиальную работу в Принстоне, а затем, когда та завершилась, не сказала, поскольку хотела повременить — чтобы уж не сомневаться. Однако шли недели, а не

сомневаться все не получалось. И потому Ифемелу сказала ему, что возвращается домой, и добавила:

— Мне надо, — зная, что он распознает в ее словах необратимость.

— Почему? — спросил Блейн, едва ли не машинально, ошарашенный ее объявлением. Они сидели у него в гостиной в Нью-Хейвене, в волнах тихого джаза и дневного света, она смотрела на него, своего доброго оторопелого мужчину, и ощущала, как этот день приобретает печальное, эпохальное свойство. Они прожили вместе три года, три года вдоль отутюженной складки, вплоть до единственной ссоры, несколько месяцев назад, когда взгляд у Блейна заиндевел от осуждения и он отказался с ней разговаривать. Но ту ссору они пережили в основном благодаря Бараку Обаме, воссоединились вновь — общей на двоих страстью. В ночь выборов, перед тем как Блейн с мокрым от слез лицом поцеловал Ифемелу, он ее крепко обнял, словно победа Обамы была их личной победой. А теперь она говорила ему, что все кончено. «Почему?» — спросил он. У себя на занятиях он рассказывал об оттенках и сложности, а тут затребовал единое объяснение, *причину*. Однако прямого озарения у нее не случилось, причины не было, просто оседала слой за слоем неудовлетворенность, из нее сложился груз, он-то и двигал Ифемелу. Этого она Блейну не сказала: ему было бы обидно узнать, что все это началось у нее не вчера, что их отношения — все равно что радоваться своему дому, но вечно сидеть у окна и смотреть наружу.

— Возьми растение, — сказал он ей в тот день, когда они виделись в последний раз, когда она собирала вещи, что держала у него в квартире. Вид у него был побитый, он стоял на кухне, поникнув плечами. Растение было его, из этого дома, бодрые зеленые листочки на трех бамбуковых стеблях, и когда она приняла его, внезапное сокрушительное одиночество пронзило Ифемелу и застряло у нее внутри на многие недели. Время от времени она ощущала это одиночество до сих пор. Как можно скучать по чему-то, чего уже не хочешь? Блейну было нужно то, чего она не могла ему дать, ей — то, что не мог дать он, вот это она оплакивала: утрату чего-то, что было лишь в принципе возможно.

И вот она, в день, исполненный летнего великолепия, собралась перед отъездом домой заплести волосы. Липкий жар оседал на коже. На платформе в Трентоне стояли люди, втрое громаднее Ифемелу, и она восхищенно разглядывала одну женщину в очень короткой юбке. Эта женщина плевать хотела на стройные ноги в мини-юбках — в конце концов, показывать ноги, которые одобряет весь белый свет, безопасно и легко, но жест толстухи — молчаливая убежденность, какую человек

разделяет лишь с самим собой, чувство правоты, не явное для окружающих. Решение Ифемелу вернуться домой — похожей природы: когда б ни одолевали ее сомнения, она считала себя отважной одиночкой, чуть ли не героем, и так изничтожала неуверенность. Толстуха опекала группу подростков, на вид — лет по шестнадцать-семнадцать. Они столпились вокруг нее, смеясь и болтая, на груди и на спине их желтых футболок значилась реклама некоей летней программы. Они напомнили Ифемелу ее двоюродного брата Дике. Один мальчишка, темный, высокий, по-спортивному поджарый и мускулистый, очень смахивал на Дике. Тот, правда, ни за что бы не нацепил тапки, похожие на эспадрильи. «Квелые корки» — так бы он их назвал. Что-то новенькое: первый раз он этот оборот употребил несколько дней назад, когда рассказывал ей, как они с тетей Уджу ходили за покупками. «Мама хотела купить мне эти чокнутые тапки. Ну не, куз, ты ж знаешь, я квелые корки не могу носить!»

Ифемелу встала в очередь на такси у вокзала. Надеялась, что шофер окажется не нигерийцем: стоит им услышать ее акцент, как они либо принимают рьяно докладывать, что у них мастерская степень, такси — подработка, а дочка у них в деканском списке в Ратгерзе,^[3] либо ведут, надувшись, молча, дают сдачу и им до лампочки ее «спасибо», всю дорогу лелея унижение, что их собрат-нигериец — девчонка к тому же, может, медсестра, или бухгалтерша, или даже врач — смотрит на них сверху вниз. Таксисты-нигерийцы в Америке поголовно убеждены, что на самом деле они не таксисты. Ифемелу была следующей в очереди. Ее таксист оказался черным, средних лет. Она открыла дверцу и глянула на спинку водительского кресла. «Мервин Смит». Не нигериец, но поди знай наверняка. Нигерийцы тут берут себе какие угодно имена. Даже сама она была тут кое-кем другим.

— Как жизнь? — спросил водитель.

Она тут же с облегчением опознала акцент: карибский.

— Все хорошо. Спасибо. — Выдала ему адрес «Африканских причесок Мариамы». В этот салон она ехала впервые — привычный закрылся, потому что хозяйка отбыла обратно в Кот-д'Ивуар выходить замуж, — но Ифемелу знала, что этот салон будет выглядеть так же, как любой другой: все они размещались в той части города, где граффити, сырые здания и никаких белых, вывески яркие, названия — что-нибудь вроде «Африканские косички Аиши и Фатимы», батареи зимой топят слишком сильно, кондиционеры летом не охлаждают, и там битком франкоязычных женщин-плетельщиц из Западной Африки, одна из них — хозяйка, по-английски говорит лучше всех, отвечает на звонки, и прочие к

ней относятся почтительно. Частенько имелся ребенок, привязанный к чьей-нибудь спине тряпичным лоскутом. Или детсадовец, спящий на шали, расстеленной поверх выдавшего виды дивана. Время от времени заглядывали дети постарше. Разговоры шумные, стремительные, на французском, волоф или мандинка, а в обращении с клиентами на английском получался ломаный любопытный язык, будто здешние, не погрузившись в сам английский, сразу переняли жаргонный американский. Слова оборваны вполювину. Как-то раз гвинейская плетельщица в Филадельфии сказала Ифемелу: «Ятьп, божмой, ж збес-сь». Неоднократно пришлось повторить, пока Ифемелу не поняла, что эта женщина говорит: «Я, типа, боже мой, аж взбесилась».

Мервин Смит оказался задорным и болтливым. Вел машину и толковал о том, как жарко и что как пить дать начнутся повальные обмороки.

— Такая вот жара приканчивает стариков. Если у них кондиционера нет, приходится топтать в торговые центры, ну. Торговый центр — бесплатный кондиционер. Но иногда их и отвезти некому. О стариках заботиться надо, — говорил он, и молчание Ифемелу никак не портило ему бодрого настроения. — Ну вот, приехали! — объявил он, останавливаясь в обшарпанном квартале.

Салон был посередине, между китайским рестораном под названием «Веселая радость» и круглосуточным магазинчиком, торговавшим лотерейными билетами. Внутри все исходило запустение, краска шелушилась, стены уклеены громадными плакатами с вариантами плетеных причесок и плакатами поменьше с надписью: «Быстрый возврат налогов». Три женщины, все в шортах по колено и футболках, трудились над прическами клиенток. Маленький телевизор в углу на стене с громкостью выше необходимой показывал какой-то нигерийский фильм: мужчина лупцует жену, жена съежилась, кричит, скверный звук режет уши.

— Здравсьте! — сказала Ифемелу.

Все повернулись к ней, но лишь одна — видимо, одноименная салону Мариама — ответила:

— Здравсьте. Пожалте.

— Я бы хотела заплестись.

— Какие хотите косички?

Ифемелу сказала, что хочет средние твисты, и спросила, сколько это будет стоить.

— Двести, — ответила Мариама.

— Я в прошлом месяце отдала сто шестьдесят. — Волосы она

заплетала последний раз три месяца назад.

Мариама помолчала, оперев взгляд в заплетаемые косички.

— Все же сто шестьдесят? — спросила Ифемелу.

Мариама пожала плечами и улыбнулась:

— Ладно, но в другой раз придете к нам же. Садитесь. Ждите Аишу. Она скоро закончит. — Мариама указала на самую маленькую плетельщицу с дефектами кожи — розовато-кремовыми кляксами обесцвеченности на руках и шее, что смотрелись тревожно заразными.

— Здравсьте, Аиша, — сказала Ифемелу.

Аиша глянула на Ифемелу, едва-едва кивнув, лицо безучастное, чуть ли не грозное от невыразительности. Было в ней что-то странное.

Ифемелу села у двери; вентилятор на щербатом столике работал на полной мощности, но от духоты в зале не спасал. Рядом с вентилятором лежали расчески, упаковки с накладными волосами, журналы, распухшие от выпавших страниц, стопки разноцветных футляров с видеодисками. В углу прислонилась метла, рядом с конфетным автоматом и ржавой сушилкой для волос, которой не пользовались лет сто. На телеэкране папаша бил двоих детей, одеревенелые тумачи сыпались в воздух над детскими головами.

— Нет! Плохой отец! Плохой человек! — произнесла другая плетельщица, вперяясь в экран и отшатываясь.

— Вы из Нигерии? — спросила Мариама.

— Да, — сказала Ифемелу. — А вы откуда?

— Мы с сестрой Халимой из Мали. Аиша — из Сенегала, — ответила Мариама.

Аиша не откликнулась, а Халима улыбнулась Ифемелу — улыбка теплой многозначительности, приветствие собрату-африканцу, американке она бы так улыбаться не стала. У нее было лютое косоглазие, зрачки в разные стороны, и Ифемелу растерялась, не понимая, какой глаз Халимы уставился на нее.

Ифемелу обмахнулась журналом.

— Ну и жарища, — сказала она. Эти женщины, по крайней мере, не скажут: «Это вам-то жарко? Вы же из Африки!»

— Очень плохая эта жара. Простите, кондиционер вчера сломался, — сказала Мариама.

Ифемелу знала, что кондиционер сломался не вчера, что сломан он существенно дольше, возможно, был сломан всегда, но все же кивнула и сказала, что, наверное, накрылся из-за перегрузки. Зазвонил телефон. Мариама сняла трубку и через минуту ответила:

— Сейчас приходите.

Именно из-за этих слов Ифемелу бросила назначать время в салонах африканских причесок. «Сейчас приходите», — говорят они всякий раз, приезжаешь к ним, а тут два человека ждут в очереди на микрокосички, но хозяйка все равно говорит: «Погодите, сейчас сестра моя подсобит». Телефон зазвонил вновь, Мариама заговорила по-французски, голос возвысился, она бросила плести — чтобы размахивать руками, завопила в трубку. Затем вытащила из кармана и развернула желтый бланк «Вестерн Юниона» и начала читать цифры.

— Труа! Санк! Нон, нон, санк!^[4]

Женщина, которой заплетали волосы — крошечными, мучительными на вид грядками, — резко встряла:

— Эй! Я сюда не на весь день пришла!

— Простите, простите, — сказала Мариама. Но «вестерн-юнионовские» цифры все же договорила и лишь затем продолжила плести, зажав телефон между ухом и плечом.

Ифемелу раскрыла роман — «Тростник» Джина Тумера^[5] — и пролистала сколько-то страниц. Уже некоторое время собиралась она его почитать и предполагала, что роман ей понравится, поскольку он не понравился Блейну. «Ценное высказывание» — так Блейн назвал его, этим своим трепетно-зловещим тоном, каким толковал, когда речь заходила о романах, будто был уверен, что Ифемелу, чуть погодя и с чуть большей мудростью, научится принимать, что романы, которые ему нравятся, — лучше, романы, написанные молодыми и молодежьими мужчинами, напичканные *штуками*, поразительными, завораживающими собраниями торговых марок, музыки, комиксов и идолов, где эмоций через край, где каждая фраза изящно осознает свое изящество. Ифемелу прочла много их, потому что Блейн рекомендовал, но все они, как сахарная вата, легко испарялись с языка ее памяти.

Она закрыла книгу: слишком жарко, не сосредоточишься. Поела растаявший шоколад, отправила Дике эсмэску, чтобы позвонил, когда закончится баскетбольная тренировка, и принялась обмахиваться. Прочитала надписи на стене напротив: ЛЮБЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ КОСИЧЕК — В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ЗАПЛЕТАНИЯ; ЧЕКИ НЕ ПРИНИМАЕМ; ДЕНЬГИ НЕ ВОЗВРАЩАЕМ, но старательно не приглядывалась к углам, потому что знала: под трубами, грязью и давно сгнившим барахлом напиханы комья плесневелых газет.

Наконец Аиша закончила со своей клиенткой и спросила, какого цвета

накладные волосы Ифемелу желает.

— Номер четыре.

— Нехороший цвет, — поспешно откликнулась Аиша.

— Я такой себе делаю.

— Смотрится грязным. Номер один не хотите?

— Номер один слишком темный, смотрится фальшиво, — сказала Ифемелу, стаскивая с волос резинку. — Иногда делаю номер два, но четвертый ближе всего к моему природному тону.

Аиша дернула плечом, высокомерно, дескать, ей-то что, если у клиента дурной вкус. Полезла в шкаф, вытащила две упаковки накладок, проверила, одного ли они цвета.

Потрогала волосы Ифемелу:

— А чего не выпрямляете?

— Мне мои волосы нравятся такими, какими их Бог дал.

— Но как же вы их расчесываете? Трудно же, — сказала Аиша.

Ифемелу принесла с собой свою расческу. Осторожно расчесала волосы, густые, мягкие, туго курчавые, пока вокруг головы не образовался нимб.

— Если увлажнять хорошенько, расчесать нетрудно, — заговорила она тоном улецивающего проповедника, какой применяла всякий раз в беседах с другими черными женщинами о достоинствах естественных причесок. Аиша фыркнула: она явно не понимала, зачем нужно страдать, расчесывая естественные волосы, а не выпрямлять их. Она поделила шевелюру Ифемелу пробором, вытащила накладную прядь из кучки на столе и принялась умело плести.

— Слишком туго, — сказала Ифемелу. — Туго не надо. — Аиша продолжала крутить до конца, и Ифемелу подумала, что, может, та не поняла ее, коснулась болезненной косички и сказала: — Туго, туго.

Аиша отпихнула ее руку.

— Нет. Нет. Пусть. Хорошо.

— Туго! — настаивала Ифемелу. — Прошу вас, ослабьте.

Мариама наблюдала за ними. Полился поток французского. Аиша ослабила косичку.

— Простите, — сказала Мариама. — Она не очень понимает.

Но Ифемелу видела по лицу Аиши, что поняла она все очень хорошо. Аиша попросту настоящая базарная тетка, не восприимчивая к косметическим любезностям американского клиентского обслуживания. Ифемелу вообразила Аишу на базаре в Дакаре — так же и плетельщицы в Лагосе, что сморкались в пятерню и вытирали руки о халаты, грубо

дергали клиентов за головы, чтоб повернуть их поудобнее, жаловались на густоту, жесткость или длину волос, орали проходившим мимо женщинам, попутно слишком громко разговаривая и плетя слишком туго.

— Знаете ее? — спросила Аиша, глянув в телевизор.

— Что?

Аиша повторила вопрос, показав на актрису на экране.

— Нет, — ответила Ифемелу.

— Но вы же нигерийка.

— Да, но я ее не знаю.

Аиша махнула рукой на стопку видеодисков на столе.

— Раньше — слишком много вуду. Очень плохо. Теперь фильм в Нигерии очень хороший. Большой хороший дом!

Ифемелу нолливудские^[6] фильмы ни в грош не ставила — сплошная чрезмерная наигранность, недостоверные сюжеты, — но кивнула, соглашаясь, потому что «Нигерия» и «хорошо» в одной фразе — роскошь, даже от посторонней сенегалки, и Ифемелу решила отнестись к этому как к благому предвестию ее возвращения домой.

Все, кому она говорила, что возвращается, вроде бы удивлялись, ждали объяснений, а когда она сообщала, что ей просто хочется, на лбах возникали складки растерянности.

— Ты закрываешь блог и продаешь квартиру, чтобы вернуться в Лагос и работать в журнале, где платят так себе, — сказала тетя Уджу и следом повторила все это еще раз, словно пытаясь показать глубину глупости Ифемелу. И лишь Раньинудо, ее старая подруга в Лагосе, придала ее возвращению нормальность.

— В Лагосе навалом возвращенцев из Штатов, так что давай-ка и ты с ними. Каждый день видишь их — они с собой бутылки воды таскают, будто помрут от жары, если поминутно пить не будут, — сказала Раньинудо. Они с Раньинудо держали связь все эти годы. Поначалу писали друг другу изредка, но потом открылись интернет-кафе, возникли мобильные телефоны, расцвел «Фейсбук», и общаться они стали чаще. Именно Раньинудо сказала ей несколько лет назад, что Обинзе женится. «Кстати-о, ^[7] у него теперь серьезные деньги водятся. Ты глянь, что пропустила!» — сказала Раньинудо. Ифемелу прикинулась безразличной к этой новости. В конце концов, связь с Обинзе пресекла она сама, и столько уже времени прошло, и совсем недавно возникли отношения с Блейном, и она счастливо погрузилась в совместную жизнь. Но, повесив трубку, начала думать об Обинзе — постоянно. Представила его на свадьбе, и от этого осталось в

ней чувство, похожее на грусть, смутную грусть. Но ей было за него радостно, говорила она себе, и, чтобы это доказать, она решила написать ему. Не уверенная, по-прежнему ли у него старый адрес, она отправила электронное сообщение, почти готовая к тому, что он не ответит, но ответ пришел. Больше она не писала, потому что осознала в себе к тому времени маленький, еще тлевший огонек. Лучше оставить все как есть. В прошлом декабре, когда Раньинудо сказала ей, что наткнулась на Обинзе в торговом центре «Палмз», при нем была малышка-дочка (и Ифемелу все никак не удавалось представить себе этот новый роскошный современный торговый центр в Лагосе — на ум шла только памятная ей тесная «Мега-Плаза»). «Он такой чистенький был, и дочурка такая милая», — сказала Раньинудо, и Ифемелу чувствовала, как ее ранят все эти перемены в его жизни.

— Фильм в Нигерии теперь очень хороший, — повторила Аиша.

— Да, — воодушевленно согласилась Ифемелу. Вот во что она превратилась — в искателя знаков. Нигерийские фильмы хороши, следовательно, возвращаться домой — хорошо.

— Вы из нигерийских йоруба, — сказала Аиша.

— Нет. Я игбо.

— Вы игбо? — На лице Аиши впервые появилась улыбка — улыбка, явившая в равной мере и мелкие зубы, и темные десны. — Я думаю, вы йоруба, потому что темная, а игбо светлые. У меня два мужчины-игбо. Очень хорошие. Мужчины-игбо заботятся о женщинах ой хорошо.

Аиша почти шептала, в голосе томный намек, а в зеркале пятна у нее на руках и шее сделались кошмарными болячками. Ифемелу вообразила, как некоторые лопаются и сочатся, а некоторые шелушатся. Отвела взгляд.

— Мужчины-игбо заботятся о женщинах ой хорошо, — повторила Аиша. — Я хочу жениться. Они меня любят, но говори, что семья надо с женщиной-игбо. Потому что игбо женись на игбо только.

Ифемелу подавилась смехом.

— Хотите за обоих замуж?

— Нет. — Аиша нетерпеливо отмахнулась. — Я хочу женись один. Но это правда? Игбо женись на игбо только?

— Игбо женятся на ком угодно. Муж моей двоюродной сестры — йоруба. Жена моего дяди — из Шотландии.

Аиша перестала заплетать и всмотрелась в отражение Ифемелу в зеркале, словно решая, верить ей или нет.

— Моя сестра говори, это правда. Игбо женись на игбо только, — сказала она.

— Откуда вашей сестре знать?

— Она в Африке знай много игбо. Она продай ткань.

— Где она?

— В Африке.

— Где? В Сенегале?

— Бенин.

— Почему вы говорите «Африка», а не называете страну, о которой речь? — спросила Ифемелу.

Аиша хихикнула.

— Вы не знаешь Америка. Вы скажи «Сенегал», и американские, они говорят: «Это где?» Моя друг из Буркина-Фасо, они ее спрашивай: ваша страна Латинская Америка? — Аиша продолжила крутить, на лице — лукавая улыбка, а затем спросила, будто Ифемелу совсем невдомек, как тут вообще все устроено: — Вы долго в Америке?

Ифемелу решила, что Аиша не нравится ей совсем. Захотелось покончить с этой беседой, чтобы далее, в те шесть часов, что ее будут заплетать, говорить только необходимое, и потому сделала вид, что не услышала вопроса, и вытащила мобильный. Дике на ее эсэмэску пока не ответил. Всегда отвечает за минуту-другую, но, может, он все еще на тренировке или с друзьями, смотрит какой-нибудь дурацкий ролик на Ю-Тьюбе. Ифемелу позвонила ему и оставила длинное сообщение на автоответчике, говорила погромче, болтала и болтала о его баскетбольной тренировке, о том, как же в Массачусетсе жарко, и пойдет ли он сегодня с Пейдж в кино. Все равно нейдет — сочинила электронное письмо Обинзе и, не дав себе перечитать его, отправила. Написала, что собирается вернуться в Нигерию. И пусть ее уже ждет там работа, пусть автомобиль ее уже плывет кораблем в Лагос, Ифемелу впервые по-настоящему это прочувствовала. *Я недавно решила вернуться в Нигерию.*

Аиша не угомонилась. Как только Ифемелу оторвала взгляд от телефона, Аиша спросила вновь:

— Вы долго в Америке?

Ифемелу неспешно убрала телефон в сумочку. Много лет назад, когда на свадьбе одной подружки тети Уджу возник подобный вопрос, Ифемелу сказала «два года», и так оно и было, но насмешка на лице нигерийца выучила ее: чтобы заработать награду серьезного отношения среди нигерийцев в Америке, среди африканцев в Америке и, уж конечно, среди иммигрантов в Америке, лет должно быть больше. «Шесть», стала говорить она, когда их было три с поло виной. «Восемь» — когда их было пять. Теперь уже тринадцать, врать вроде бы нет нужды, но она все равно соврала.

— Пятнадцать лет, — ответила Ифемелу.

— Пятнадцать? Так долго. — Во взгляде Аиши возникло почтение. — Живете тут, в Трентоне?

— В Принстоне.

— В Принстоне. — Аиша примолкла. — Студент?

— Только что завершила стипендиальный проект, — сказала она, отдавая себе отчет, что Аиша не поймет, что такое «стипендиальный проект», в тот редкий миг вид у нее был оробелый, и Ифемелу ощутила извращенное удовольствие. Да, в Принстоне. Да, такие вот места Аиша только воображать себе может, в таких вот местах не найдешь объявлений «БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ НАЛОГОВ»: людям из Принстона нет необходимости быстро возвращать налоги.

— Но я уезжаю обратно в Нигерию, — добавила Ифемелу, внезапно раскаиваясь. — На следующей неделе.

— Повидать семью.

— Нет, переезжаю насовсем. Жить в Нигерии.

— Почему?

— В каком смысле — почему? Чего бы и нет?

— Лучше шлите туда деньги. Или у вас отец Большой Человек? У вас связи?

— Я там работу нашла, — отозвалась Ифемелу.

— Вы долго в Америке пятнадцать лет и просто возвращайся работать? — Аиша хмыкнула. — Можете там быть?

Аиша напомнила ей слова тети Уджу, когда та наконец свыклась с тем, что Ифемелу и впрямь возвращается: «Ты справишься?» — и от предположения, что Ифемелу неким манером необратимо изменила Америка, у той на коже прорезались шипы. Ее родители тоже, кажется, считали, что Ифемелу, вероятно, не «справится» с Нигерией.

— Ты, во всяком случае, теперь американская гражданка, всегда сможешь вернуться в Америку, — сказал ее отец. И он, и мама спрашивали, поедет ли с ней Блейн, — набрякший надеждой вопрос. Ее умиляло, что теперь они спрашивают о Блейне; понадобилось некоторое время, пока они освоились с существованием ее черного друга-американца. Она воображала, как они втихаря вынашивают планы ее свадьбы: мать раздумывает о заказе банкета, об оттенках нарядов, отец — о каком-нибудь влиятельном друге, чтоб выступил спонсором. Сокрушать их надежды ей не хотелось: надеялись они от самой малости, радовались, и потому Ифемелу сказала отцу:

— Решили, что я приеду первой, а через несколько недель и Блейн

подтянется.

— Великолепно, — сказал отец, и она больше ничего не добавляла. Пусть все остается великолепным.

Аиша несколько чересчур сильно дернула ее за волосы.

— Пятнадцать лет в Америке очень долго, — сказала она, словно осмысляла это. — У вас друг? Женись?

— В Нигерию я возвращаюсь еще и повидать своего мужчину, — проговорила Ифемелу, удивив себя саму. «Своего мужчину». Легко же врать чужим людям, создавать с чужими воображаемые варианты собственной жизни.

— Ой! Ладно! — сказала Аиша воодушевленно: Ифемелу наконец-то выдала разумную причину возвращения. — Женись?

— Может быть. Поглядим.

— Ой! — Аиша бросила плести и уставилась на нее в зеркало окаменелым взглядом, и Ифемелу убоялась на миг, что у этой женщины имеются силы ясновидения и она прозревает, что Ифемелу врет.

— Хочу вам посмотреть моих мужчин. Зову их. Они идут, и вы их посмотри. Сначала зову Чиджоке. Он работай таксист. А потом Эмеку. Он работай охранник. Посмотри их.

— Не стоит вызывать их только ради того, чтобы мы познакомились.

— Нет. Я зову их. Скажи им, что игбо женись не игбо. Они вас слушай.

— Нет, ну что вы. Я так не могу.

Аиша продолжила говорить, словно не услышала:

— Скажи им. Они вас слушают, потому что вы их сестра игбо. Любой хорошо. Я хочу жениться.

Ифемелу глянула на Аишу — маленькую непримечательную сенегалку, кожа лоскутная, два друга-игбо, не очень убедительно, и вот она теперь настаивает на их знакомстве с Ифемелу, чтобы та убедила их жениться на Аише. Хороший бы пост в блоге получился: «Примечательный случай неамериканской черной, или Как давление иммигрантской жизни способно вынудить на чокнутые поступки».

Глава 2

Обинзе увидел ее электронное письмо, сидя в «лендровере» посреди лагосской пробки; пиджак бросил на переднее сиденье, к окну приклеился лицом ребенок-попрошайка с выгоревшими волосами, к другому прижимал пестрые аудиодиски лоточник, радио, настроенное на «Вазобия ФМ», тихо выдавало новости на пиджине, вокруг — серая хмарь надвигавшегося дождя. Обинзе уставился в свой «блэкберри», тело внезапно напряглось. Сперва он промотал письмо, поневоле жалея, что оно не такое уж длинное. «Потолок, кеду?»^[8] Надеюсь, на работе и в семье все в порядке. Раньинудо сказала, что столкнулась с тобой недавно и что при тебе был ребенок! Гордый папочка. Поздравляю. Я недавно решила вернуться в Нигерию. В Лагосе буду через неделю. Было б здорово не терять связи. Всего доброго тебе. Ифемелу».

Он перечитал сообщение еще раз, медленно, и ощутил порыв огладить — брюки, гладковыбритую голову. Она называла его Потолком. В последней депеше от нее, присланной незадолго до его женитьбы, она именовала его Обинзе, извинилась за многолетнее молчание, в солнечных словах пожелала ему счастья и упомянула черного американца, с которым жила. Любезное письмо. Оно ему люто не понравилось. До того не понравилось, что он погуглил этого черного американца, — с чего бы ей иначе указывать полное имя этого человека, если не для того, чтобы Обинзе его погуглил? Лектор из Йеля; Обинзе взбесило, что она живет с человеком, который у себя в блоге называет друзей «кошками», но добила Обинзе фотокарточка черного американца — потрепанными джинсами и очками в черной оправе она источала интеллектуальную крутизну, — и Обинзе ответил Ифемелу холодно. «Спасибо за теплые пожелания, я счастлив как никогда», — написал он. Понадеялся, что она ответит насмешливо, — так не похоже на нее, что она даже смутно не ехидничала в первом письме, — но Ифемелу не ответила вовсе, а когда Обинзе после медового месяца в Марокко написал вновь, дескать, хочет поддерживать связь и как-нибудь поболтать, она и тут промолчала.

Пробка сдвинулась. Заморосило. Ребенок-попрошайка побежал следом, волоокий взгляд еще более театрален, жесты заполошны: подносил руку ко рту, вновь и вновь, пальцы сложены щепотью. Обинзе опустил окно, выдал стонайровую^[9] купюру. Его шофер Гэбриел поглядел на него в зеркало заднего вида с суровым осуждением.

— Благослови вас Бог, *ога!*^[10] — сказал ребенок-попрошайка.

— Не давайте вы денег этим побирושкам, сэр, — сказал Гэбриел. — Они все богатеи. Они попрошайничеством большие деньги делают. Я слышал об одном таком — он в Икедже^[11] дом на шесть квартир построил!

— Чего же ты тогда шофером работаешь, а не нищим, Гэбриел? — спросил Обинзе и рассмеялся, немножко слишком залиvisto. Захотел рассказать Гэбриелу, что вот сейчас ему написала университетская подружка, — не только университетская, *но и* школьная. Когда впервые позволила ему снять с нее лифчик, она лежала на спине и тихонько постанывала, распластав ладони у него на голове, а потом сказала: «Глаза я не закрывала, но потолка не видела. Такого раньше никогда не случалось». Другие девчонки сделали бы вид, что к ним ни один парень сроду не прикасался, но эта — нет, ни за что. Была в ней живая искренность. Она стала называть то, чем они вместе занимались, «потолковать», — когда они уютно сплетались, пока его матери не было дома, у него на кровати, в одном белье, целовались, трогали друг друга, облизывали, понарошку двигали бедрами. «Мечтаю потолковать», — написала она однажды на обороте его тетрадки по географии, и он потом долго не мог смотреть на эту тетрадку и не ощущать при этом трепета, потаенного волнения. В университете, когда они наконец прекратили играть понарошку, она стала называть Потолком *его* самого, игриво, с намеком, — но, когда они ссорились или же когда дулась, она именовала его Обинзе. Зедом она его не называла никогда — в отличие от его друзей.

— Почему ты зовешь его Потолком? — спросил у нее Оквудиба, друг Обинзе, в один из разморенных дней после экзаменов первого семестра. Она подсела к компании, прохлаждавшейся вокруг замызганного пластикового стола в пивбаре рядом со студгородком. Ифемелу отпила из бутылки «Молтины»,^[12] сглотнула, глянула на Обинзе и ответила:

— Потому что он такой высокий, что до потолка достает, что тут непонятного?

Ее нарочитая неспешность, улыбочка, что растянула ей губы, дала всем понять, что Потолком она зовет его вовсе не поэтому. Да и высоким он не был. Она пнула его под столом, он пнул ее в ответ, оглядывая хохотавших друзей: они все ее немножко боялись и были в нее немножко влюблены. Видела ли она потолок, когда к ней прикасался черный американец? Применяет ли слово «потолковать» с другими мужчинами? Мысль, что, в общем, может, его сейчас огорчила. Зазвонил телефон, и на одно растерянное мгновение он подумал, что это из Америки звонит

Ифемелу.

— Милый, кеду эбе и но? — Его жена Коси всегда начинала разговор с этих слов: ты где? Обинзе никогда не спрашивал по телефону, где она, но Коси все равно докладывала: «Я захожу в салон», «Я на Третьем материковом мосту».^[13] Словно ей нужно убеждаться в физическом существовании их обоих, когда они не рядом. У нее был высокий девчачий голос. На вечеринку у Шефа им полагалось добраться к семи тридцати, а сейчас уже перевалило за шесть.

Он сообщил ей, что стоит в пробке.

— Но она движется, мы только что повернули на Озумба Мбадиве.^[14] Подъезжаю.

На шоссе Лекки^[15] автомобильный поток под редующим дождиком двигался ходко, и вскоре Гэбриел уже сигналил перед высокими черными воротами их дома. Жилистый привратник Мохаммед в обтерханном белом халате распахнул створки и приветственно вскинул руку. Обинзе оглядел рыжеватый дом с колоннадой. Внутри все обставлено мебелью, которую он привез из Италии, жена, двухгодовалая дочка Бучи, няня Кристиана, сестра жены Чиома на вынужденных каникулах, поскольку университетские преподаватели вновь устроили забастовку, и новая домработница Мари, которую выписали из Республики Бенин, после того как жена решила, что нигерийские домработницы не годятся. В комнатах повсюду прохладно, тихонько трепещут клапаны в отдушинах кондиционеров, а кухня благоухает карри и тимьяном, внизу включен Си-эн-эн, а наверху телевизор настроен на «Мультяшную сеть»,^[16] и все это пропитывает невозмутимый дух благоденствия. Обинзе выбрался из машины. Походка у него была одеревеневшая, он с трудом поднимал ноги. В последние месяцы из-за всего, что обрел, он почувствовал себя раздувшимся — из-за семьи, домов, автомобилей, банковских счетов, — и время от времени его одолевало желание проткнуть все это булавкой, сдуть, освободиться. Он уже не был уверен — да и вообще-то никогда уверен не был, — доволен ли своей жизнью, потому что действительно доволен, или же доволен, потому что так полагается.

— Милый, — сказала Коси, открывая дверь прежде, чем он успел до нее добраться. Она уже накрутилась, лицо у нее сияло, и он подумал, как это частенько бывало, какая же она красавица: глаза — безупречный миндаль, поразительная симметрия черт. Платье из жатого шелка туго обхватывало талию, и фигурка выглядела совершенно как песочные часы. Он обнял ее, тщательно избегая губ, накрашенных розовым и обведенных

розовым чуть темнее.

— Солнышко вечернее! Аса! Уго!^[17] — сказал он. — Шефу незачем включать на вечеринке свет, раз ты приедешь.

Она рассмеялась. Так же смеялась она — с открытым приемлющим удовольствием от собственной красоты, — когда люди спрашивали: «Не белая ли у вас мать? Вы метиска?» — такая она была светлокожая. Его это вечно расстраивало — радость, с какой она относилась к тому, что ее держат за полукровку.

— Папа-папа! — воскликнула Бучи, подбегая к нему чуть косолапо, как все малыши. Свеженькая после вечерней ванны, в цветастой пижаме, сладко пахнет детским кремом.

— Буч-буч! Папина Буч! — Он подхватил ее, поцеловал, потерся носом о дочкину шею и, поскольку это всегда сместило малышку, прикинулся, что роняет ее.

— Ополоснешься или просто переоденешься? — спросила Коси, поднимаясь вслед за ним по лестнице, где уже выложила для него на кровати синий кафтан. Он бы предпочел сорочку или кафтан попроще, не такой, чрезмерно украшенный вышивкой. Коси купила его за возмутительную сумму у одного из претенциозных дизайнеров с Острова. Но наденет — чтобы сделать ей приятно.

— Просто переоденусь, — сказал он.

— Как на работе? — спросила она неопределенно и любезно, как спрашивала всегда. Он сказал, что размышлял о новом многоквартирнике в Парквью,^[18] который только что завершил. Надеялся, что его снимет «Шелл»: нефтяные компании — всегда лучшие съемщики, никогда не жалуются на резкое повышение цен, запросто платят в американских долларах, чтобы никому не возиться с плавающей найрой.

— Не волнуйся, — сказала она, коснувшись его плеча. — Бог приведет «Шелл». Все у нас будет хорошо, милый.

Квартиры на самом деле уже сняла некая нефтяная компания, но Обинзе иногда бессмысленно врал ей, вот как сейчас, — что-то в нем надеялось, что она спросит что-нибудь или надерзит, хотя знал, что такому не бывать: ей хотелось лишь, чтобы условия их жизни никак не менялись, а добиваться этого она полностью предоставила ему самому.

* * *

На вечеринке у Шефа ему, по обыкновению, будет скучно, но он все равно посещал все вечеринки у Шефа и всякий раз, когда ставил машину у обширных Шефовых владений, вспоминал, как впервые приехал сюда с двоюродной сестрой Ннеомой. Он только что вернулся из Англии, пробыл в Лагосе всего неделю, но Ннеома уже бурчала, дескать, сколько можно валяться на диване у нее в квартире, читать и кукукаться.

— А, а! *О гини?*^[19] У тебя у первого, что ли, такая беда? Надо шевелиться, хлопотать. Все хлопочут. Лагос, он хлопотливый, — говорила Ннеома. У нее были умелые руки с толстыми ладонями и многочисленные деловые интересы: в Дубай она ездила закупать золото, в Китай — женскую одежду, а недавно стала распространителем для одной компании, торгующей мороженой курятиной. — Я б сказала, помог бы ты мне по бизнесу, но нет, ты слишком мягкий, слишком много по-английски разговариваешь. Мне нужен человек *гра-гра*.^[20]

Обинзе все еще потряхивало от того, что с ним случилось в Англии, он по-прежнему окукливался в слои жалости к себе, и вопрос Ннеомы «У тебя у первого, что ли, такая беда?» расстроил его. Ничего-то она не понимала, эта его сестрица, выросшая в деревне и смотревшая на мир простецки и черство. Но постепенно он осознал ее правоту: он не первый и не последний. Обинзе принялся устраиваться на работы, добытые по газетным объявлениям, но на собеседования его никто не звал, а школьные друзья, ныне трудившиеся в банках и компаниях мобильной связи, стали избегать его, боясь, что он начнет пихать им в руки свое резюме.

Однажды Ннеома сказала:

— Я знаю одного очень богатого человека — Шефа. Гонялся он за мной, гонялся, э, но я ему отказала. Бедовый он в смысле женщин, когонибудь СПИДом заразит. Ты ж знаешь таких: им женщина если скажет «нет», ее-то они как раз не забудут. Ну и вот он время от времени звонит мне, и я к нему приезжаю повидаться. Помог мне с капиталом даже, начать свое дело, после того как те бесовы дети украли у меня деньги в прошлом году. Все еще думает, я на него соглашусь когда-нибудь. Ха, *о ди егву*,^[21] на кого? Я тебя к нему свожу. Дядя этот, когда в хорошем настроении, бывает очень щедрый. Всех в этой стране знает. Может, записочку даст какому-нибудь директору.

Дворецкий проводил их внутрь; Шеф сидел в позолоченном кресле, похожем на трон, потягивал коньяк, а вокруг толпились гости. Шеф, некрупный мужчина, жизнерадостный и бурливый, вскочил на ноги.

— Ннеома! Ты? Вспомнила сегодня обо мне! — воскликнул он. Обнял

Ннеому, отстранился беспардонно оглядеть ее бедра, очерченные юбкой в обтяжку, волны наращенных локонов до плеч. — Хочешь мне инфаркт устроить, э?

— Как же я вам инфаркт устрою? Что мне без вас делать? — игриво отозвалась Ннеома.

— Сама знаешь, что делать, — сказал Шеф, и трое гостей, прожженных мужчин, заржали.

— Шеф, это мой двоюродный брат Обинзе. Его мать — сестра моего отца, профессорша, — сказала Ннеома. — Она платила за мою учебу в школе от начала до конца. Если б не она, я б неизвестно где нынче была.

— Чудесно, чудесно! — сказал Шеф, оглядывая Обинзе так, будто он как-то отвечает за подобную щедрость.

— Добрый вечер, сэр, — сказал Обинзе. Его поразило, что Шеф, оказывается, эдакий хлыщ, весь из себя привередливо ухоженный: ногти маникюрены, блестят, черные бархатные туфли, крест с брильянтами на шее. Обинзе предполагал увидеть мужчину покрупнее, с внешностью посуровее.

— Присаживайся. Чего желаешь?

Большие Мужчины и Большие Женщины, как позднее выяснил Обинзе, разговаривали не с людьми — они разговаривали при людях, и в тот вечер Шеф говорил и говорил, проповедуя о политике, а гости его подпевали: «Точно! Вы правы, Шеф! Спасибо!» Все носили форменную одежду лагосских молодежавых и франтоватых: кожаные мокасины, джинсы и рубашки с раскрытым воротом, сплошь знакомых модных марок, однако была в их манере настырная рьяность нуждающихся людей.

После того как гости отбыли, Шеф обратился к Ннеоме:

— Слыхала песню «Никто не знает, что там завтра?» — И продолжил петь с ребячливым смаком: — «Никто не знает, что там завтра! Что зав-тра! Никто не знает, что там завтра!»^[22] — Очередной плюх коньяка в бокал. — На одном этом принципе живет вся страна. Это главный принцип. Никто не знает, что там завтра. Помнишь тех больших банкиров, при правительстве Абачи?^[23] Думали, поимели себе эту страну, а потом раз — и в тюрьму их. Глянь на нищего, который за квартиру себе заплатит не мог, а потом Бабангида^[24] дал ему нефтяную скважину, и у него теперь частный самолет! — Шеф вещал торжествующим тоном, пошлые обобщения предлагал как великие откровения, а Ннеома слушала, улыбалась и соглашалась. Оживлена она была понарошку, будто улыбка пошире и смешок пошустрее наводили на это эго все больший лоск и гарантировали,

что Шеф им с Обинзе поможет. Обинзе веселило, насколько это вроде бы очевидно, до чего откровенна Ннеома в своих заигрываниях. Но Шеф всего лишь выдал им в подарок ящик вина и расплывчато сказал Обинзе:

— Заходи на той неделе.

Обинзе навестил Шефа на той неделе, а затем и на следующей: Ннеома велела болтаться рядом, пока Шеф что-нибудь для него не сделает. Дворецкий Шефа всегда подавал свежий перечный суп, остро душистые куски рыбы в бульоне, от которого у Обинзе текло из носа, прояснялась голова и как-то развиднялось будущее, он преисполнялся надежд и потому сидел себе довольный, слушал Шефа и его гостей. Они его завораживали — неприкрытый трепет почти богатых перед очень богатыми: иметь деньги, похоже, означало быть ими поглощенным. Обинзе это отвращало, он томился: жалел их, но и представлял, каково это — быть ими. Однажды Шеф выпил коньяка больше обычного и болтал без разбору о людях, что всаживают тебе нож в спину, и о маленьких мальчиках, у которых хвосты отрастают, и о неблагодарных дураках, которые вдруг начинают думать, что шибко умные. Обинзе не очень понимал, что именно произошло, но кто-то расстроил Шефа, возникла брешь, и, когда все ушли, он сказал:

— Шеф, если я могу чем-то помочь — вы, пожалуйста, скажите. На меня можете полагаться.

Эти слова поразили его самого. Он был сам не своей. Перебрал перечного супа. Вот что это означает — хлопотать. Обинзе — в Лагосе, тут приходится хлопотать.

Шеф глядел на него долго, проницательно.

— Нам таких, как ты, в этой стране нужно побольше. Людей из приличных семей, с хорошим воспитанием. Ты джентльмен, по глазам вижу. И мать у тебя профессорша. Нелегкое это дело.

Обинзе полуулыбнулся, изображая робость перед такой вот странной похвалой.

— Ты голодный и честный, в этой стране — большая редкость. Разве не так? — спросил Шеф.

— Так, — сказал Обинзе, хотя не был уверен, согласен он с тем, что в нем есть это качество, или же с тем, что качество это редкое. Но неважно: Шеф, похоже, не сомневался.

— Все в этой стране голодные, даже богатые люди, но честных нету.

Обинзе кивнул, и Шеф оделил его еще одним долгим взглядом, после чего молча вернулся к своему коньяку. В следующее посещение Шеф вновь был в своем болтливом настроении.

— Я дружил с Бабангидой. Дружил с Абачей. Теперь военных нету, я

дружбу с Обасанджо,^[25] — сказал он. — Знаешь почему? Потому что я глупый?

— Разумеется, нет, Шеф, — сказал Обинзе.

— Говорят, Национальный союз поддержки сельского хозяйства разорился, приватизировать будут. Слыхал? Нет. А я откуда знаю? Потому что у меня друзья. Когда ты об этом узнаешь, я уже займу какой надо пост и наварюсь на арбитраже. Такой у нас свободный рынок! — Шеф рассмеялся. — Союз учредили в шестидесятых, у него собственность повсюду. Дома сплошь гнилье, термиты пожрали все перекрытия. Но оно продается. Я собираюсь купить семь владений по пять миллионов за каждое. Знаешь, почему они, если по-белому? Миллион. А чего они стоят на деле — знаешь? Пятьдесят миллионов. — Шеф умолк, уставился на один из зазвонивших мобильников — перед ним на столе их лежало четыре штуки, — пренебрег входящим вызовом и откинулся на спинку дивана. — Мне нужен кто-нибудь, чтоб вести эту сделку.

— Да, сэр, я могу, — сказал Обинзе.

Позднее Ннеома, присев к нему на кровать, взбудоражилась не меньше, давала советы, а сама время от времени шлепала себя по голове: череп у нее зудел под накладными волосами, и почесаться она могла только вот так.

— Вот тебе возможность! Зед, разуй глаза! Это называется громко-громко — оценочный консалтинг, но вообще это нетрудно. Занижаешь оценочную стоимость недвижимости и делаешь все, чтобы со стороны выглядело, будто ты следуешь букве процедуры. Приобретаешь недвижимость, продаешь половину, чтобы выплатить цену приобретения, — и ты в деле! Зарегистрируешь собственную компанию — и оглянуться не успеешь, как построишь дом в Лекки, купишь машин, попросишь наш родной город повеличать тебя по-крупному, друзей — дать в газеты поздравительные заметки, и пожалуйста: любой банк, в какой ни войдешь, тут же захочет тебе займы дать, потому что им кажется, что тебе деньги больше не нужны! А как регистрируешь компанию — ищи белого человека. Накопай кого-нибудь из своих белых друзей в Англии. Расскажи всем, что он твой главный управляющий. Увидишь, как тебе двери-то пооткрываются, потому что у тебя *ойинбо*^[26] в управляющих. Даже у Шефа есть несколько белых, которых он показывает, когда надо. Так оно в Нигерии все. Как есть говорю.

И впрямь так оно и было — в том числе для Обинзе. Легкость всего этого ошарашила его. Впервые принесся в банк свое предложение по

закупке, он как во сне произнес слова «пятьдесят» и «пятьдесят пять», а «миллионов» оставил за скобками, поскольку не было нужды объявлять очевидное. Потрясло его и то, каким простым стало многое другое, как даже намек на богатство подмазал ему все рельсы. Довольно было лишь подъехать к воротам на БМВ — и привратник уже здоровался и отпирал ему, ни о чем не спрашивая. Даже американское посольство стало иным. Много лет назад ему отказали в визе, тогда его, свежего выпускника, опьяняли американские надежды, однако с новым банковским счетом визу ему дали запросто. В первую его поездку иммиграционный офицер в аэропорту Атланты, общительный и доброжелательный, спросил у него:

— И сколько же при вас наличных? — Обинзе сказал, что немного, и офицер, кажется, удивился: — Нигерийцы вроде вас декларируют тысячи и тысячи долларов, постоянно.

Вот кем он теперь стал — нигерийцем, который, предположительно, заявит в аэропорту о куче наличных. От этого Обинзе до странного растерялся: ум у него с той же скоростью, что и жизнь, не менялся, и между ним и человеком, которым ему полагалось теперь быть, возник зазор.

Он по-прежнему не понимал, почему Шеф решил ему помочь, тем временем упуская — с готовностью — побочные прибыли для себя самого. В дом к Шефу, в конце концов, вел след из поклоняющихся посетителей, родственников и друзей, приводивших родственников и друзей, с полными карманами просьб и молений. Обинзе по временам задумывался, не затребует ли Шеф однажды чего-нибудь взамен — с него, голодного честного мальчика, которого он сделал Большим Человеком, и когда на Обинзе накатывало мелодраматическое настроение, он воображал, что Шеф закажет ему организовать чье-нибудь убийство.

* * *

Как только они прибыли на вечеринку, Коси обошла всю залу, обнимаясь с мужчинами и женщинами, которых едва знала, с избыточным почтением именуя старших «ма» и «сэр», купаясь во внимании, что привлекало к себе ее лицо, но сплющивая личность, дабы ничто в ней не состязалось с ее красотой. Хвалила прически, платья и галстуки. Часто произносила «слава Богу». Когда какая-то женщина спросила у нее упрекающим тоном: «Каким вы кремом для лица пользуетесь? Как вообще может быть у человека такая безупречная кожа?» — Коси милостиво

рассмеялась и пообещала прислать собеседнице эсэмэску с подробностями своего ухода за кожей.

Обинзе всегда поражало, до чего важно ей быть безукоризненно приятным человеком, не иметь никаких острых углов. По воскресеньям она приглашала его родственников на дробленый ямс и онугбу^[27] и следила, чтобы все как следует объелись. «Дядя, вам обязательно надо кушать, а! На кухне еще есть мясо! Давайте еще “Гиннесса” вам принесу!» Когда Обинзе незадолго до свадьбы впервые отвез ее к своей матери в Нсукку,^[28] Коси ринулась помогать накрывать на стол, а когда мать взялась убирать за гостями, встала и обиженно сказала: «Мама, чего это вы прибираетесь, когда я тут?» Любую фразу в разговоре с его дядьями она завершала словом «сэр». Вплетала ленты в волосы дочек его двоюродных сестер. Было в ее скромности нечто нескромное: она заявляла о себе.

Сейчас Коси приветственно приседала перед миссис Акин-Коул, знаменитой старухой из знаменито старинного рода, с лицом высокомерным, брови вечно вздернуты, как это бывает у людей, привычных к поклонению. Обинзе частенько представлял себе, как она срыгивает после шампанского.

— Как ваш ребенок? Пошла в школу? — спросила миссис Акин-Коул. — Обязательно отправьте ее во французское заведение. Они хорошие, очень строгие. Разумеется, преподают на французском, но ребенку это на пользу — выучит еще один цивилизованный язык, раз уж английский она дома слышит.

— Хорошо, ма. Ознакомлюсь с французскими школами, — наобещала Коси.

— Французские школы неплохи, но я предпочитаю Сидкот-Холл.^[29] Они дают полную британскую программу, — сказала другая женщина, чье имя Обинзе позабыл. Он знал, что она во время правления генерала Абачи сколотила большие деньги. Поговаривали, трудилась сутенершей — подгоняла девушек армейским офицерам, которые в награду обеспечивали ей раздутые заказы на всякие поставки. Ныне, затянутая в платье с блестками, что обрисовывало ее вздутое пузо, она сделалась одной из примечательных лагосских дам интересного возраста, разохшихся от разочарований, выжженных желчью, с россыпью прыщиков, погребенных под толстым слоем тонального крема.

— О да, Сидкот-Холл, — согласилась Коси, — он уже первый в моем списке. Я знаю, там преподают по британской программе.

Обинзе обыкновенно помалкивал, просто смотрел и слушал, но

сегодня почему-то сказал:

— А мы все разве учились в школах не по нигерийской программе?

Женщины воззрились на него, их растерянные лица подразумевали, что ну никак не всерьез же он. И в некотором смысле так и было. Разумеется, сам он желал своей дочери только лучшего. Временами, вот как сейчас, он чувствовал себя чужим в этом свежем для себя кругу, среди людей, убежденных, что новейшие школы, новейшие программы обеспечат детям благо. Подобной уверенности он не разделял. Слишком долго оплакивал он то, что могло бы случиться, и сомневался в том, как все должно быть.

Когда был моложе, он обожал людей с детством как сыр в масле, с заграничными акцентами, но нащупал в них негласное томление, грустный поиск чего-то такого, что никак не удавалось найти. Он не хотел, чтобы его ребенок был хорошо образован и при этом томим неопределенностью. Во французскую школу Бучи не пойдет, в этом он не сомневался.

— Если решите навредить своей дочери, отправив ее в какую-нибудь школу с недоделанными нигерийскими учителями, винить потом придется только себя, — сказала миссис Акин-Коул. Говорила она с неопределенным иностранным акцентом — и британским, и американским, и каким-то еще в придачу, — акцентом состоятельной нигерийки, не желавшей, чтобы мир забыл, до чего она выдавшая виды, а золотая карточка «Британских авиалиний» у нее под завязку забита милями.

— У одной из моих подруг сын учится на материке, и, знаете ли, у них всего пять компьютеров на всю школу. Всего пять! — Обинзе вспомнил наконец имя этой женщины. Адамма.

Миссис Акин-Коул сказала:

— Все меняется.

— Согласна, — отозвалась Коси. — Но мне понятно и мнение Обинзе.

Она была на обеих сторонах, угождала всем, всегда жертвовала правдой в пользу мира, всегда стремилась вписаться. Обинзе наблюдал, как она беседует с миссис Акин-Коул, как блестят золотые тени у нее на веках, и стыдился собственных мыслей. Коси такая самоотверженная женщина — такая благожелательная, самоотверженная женщина. Он потянулся к ней, взял ее руку в свою.

— Сходим в Сидкот-Холл и во все французские школы, и на нигерийские, вроде Краун-Дей, тоже посмотрим. — Коси посмотрела на него умоляюще.

— Да, — сказал он, сжимая ей руку. Она поняла, что это его извинения, а позднее он извинится как следует. Надо было помалкивать,

оставить ее беседу невозмущенной.

Она часто говорила ему, дескать, ее подружки ей завидуют, что он ведет себя как муж-иностранец: готовит ей завтрак по выходным и каждый вечер проводит дома. И в этой гордости у нее в глазах он видел более глянцевою, улучшенную версию себя. Он уже было собрался сказать что-то миссис Акин-Коул, бессмысленное и умиротворяющее, но тут услышал, как позади него Шеф возвысил голос:

— Но вот мы тут с вами беседуем, а прямо сейчас нефть течет по незаконным трубам, и ее продают в бутылках в Котону!^[30] Да! Да!

Шеф нагрнулся к ним.

— Моя прелестная принцесса! — сказал Шеф Коси, обнял ее, прижал к себе, и Обинзе задумался, не выходил ли Шеф к ней с предложениями. Не удивился бы. Как-то раз при нем к Шефу приехал какой-то человек со своей подругой, и, когда она вышла в туалет, Обинзе услышал, как Шеф говорит тому человеку: «Нравится мне эта девушка. Отдай мне, а я тебе — славный кусок земли в Икедже».

— Вы так хорошо выглядите, Шеф, — сказала Коси. — Даже молодо!

— Ах, дорогая моя, стараюсь, стараюсь. — Шеф игриво подергал себя за атласные лацканы черного пиджака. Он и впрямь хорошо выглядел — худощавый, осанистый, — в отличие от многих своих сверстников, на вид — будто беременных. — Мой мальчик! — обратился он к Обинзе.

— Добрый вечер, Шеф. — Обинзе пожал ему руку обеими своими, слегка поклонившись. Он видел, что прочие мужчины на вечеринке тоже кланяются, толпясь вокруг Шефа, соревнуясь, кто кого пересмеет, когда Шеф шутит.

Вечеринка сделалась люднее. Обинзе огляделся и заметил Фердинанда, коренастого приятеля Шефа: тот баллотировался в губернаторы на последних выборах, проиграл и, как все проигравшие политики, отправился в суд — оспаривать результаты выборов. У Фердинанда было стальное безнравственное лицо, а если взглянуть в его руки, под ногтями, возможно, обнаружилась бы кровь его врагов. Они с Фердинандом встретились взглядами, Обинзе отвел глаза. Встревожился, что Фердинанд подойдет поговорить о подкованной сделке на землю, о которой упоминал, когда они в прошлый раз наткнулись друг на друга, и потому промямлил, что ему нужно в туалет, и ускользнул от своей компании.

У буфетного стола заметил молодого человека, разочарованно глядевшего на холодную мясную нарезку и пасты. Обинзе привлекла его неотесанность: в том, как этот человек был одет, как он держался, сквозила

чужеродность, которую не скроешь даже при большом желании.

— На другой стороне есть еще один стол, с нигерийской едой, — сказал ему Обинзе; молодой человек глянул на него и благодарно рассмеялся. Его звали Йеми, он оказался газетным репортером. Неудивительно: фотоснимки с Шефовых вечеринок постоянно украшали воскресные газеты.

Йеми учил английский в университете, и Обинзе спросил, какие ему нравятся книги, — рвался поговорить о чем-нибудь интересном уже наконец, но вскоре понял, что для Йеми книга не тянула на литературу, если в ней нет многосложных слов и зубодробительных пассажей.

— Беда в том, что этот роман слишком прост, — этот малый никаких больших слов не использует, — сказал Йеми.

Обинзе огорчился, что Йеми так плохо образован — и не догадывается, что образован плохо. Обинзе захотелось стать учителем. Он вообразил, как стоит перед полным классом Йеми, преподает. Ему бы подошла учительская жизнь, как подошла его матери. Он часто представлял себе, чем еще мог бы в принципе заниматься — даже и теперь: преподавать в университете, издавать газету, учить профессиональному настольному теннису.

— Не знаю, по какой части вы ведете дела, сэр, но я всегда ищу работу получше. На магистра сейчас доучиваюсь, — сказал Йеми тоном истинного лагосца, который вечно хлопочет, глаз востр на все, что поярче да получше. Обинзе, собравшись вернуться к Коси, дал ему свою визитку.

— Я уже задумалась, куда ты делся, — сказала она.

— Прости, наткнулся тут на одного. — Обинзе сунул руку в карман, нащупал «блэкберри». Коси спросила, не хочет ли Обинзе еще поесть. Он не хотел. Хотел домой. Его захватило стремление вернуться к себе в кабинет и ответить на письмо Ифемелу — он бессознательно уже сочинял его в уме. Если она собирается возвратиться в Нигерию, это означает, что она больше не в паре с черным американцем. Но, вероятно, она привезет его с собой, — все же она из тех женщин, какие подталкивают мужчин запросто перевернуть свою жизнь, из тех женщин, какие, поскольку не просят определенности и не ждут ее, позволяют возникнуть своеобразной уверенности. В их студенческие годы, когда держала его за руку, Ифемелу стискивала ее, пока обе ладони не делались скользкими от пота, и приговаривала игриво: «Если вдруг мы в последний раз держимся за руки, давай уж держаться хорошенько. Потому что нас хоть сейчас может сбить мотоцикл или машина, или я вдруг увижу на улице настоящего мужчину моей мечты и брошу тебя — или ты увидишь настоящую женщину своей

мечты и бросишь меня». Очень может быть, что черный американец будет вместе с ней, цепляясь за Ифемелу. И все-таки Обинзе чуял по ее письму, что она теперь одна. Вытащил «блэкберри» — рассчитать американское время, когда письмо было отправлено. В обед. У фраз был оттенок поспешности; он задумался, чем она тогда занималась. И подумал вдогонку, что еще Раньинудо сказала ей о нем.

Декабрьской субботой, когда он столкнулся с Раньинудо в торговом центре «Палмз», у него на одной руке сидела Бучи — они ждали у входа, когда Гэбриел подгонит машину, — а в другой он держал пакетик с печеньями для Бучи.

— Зед! — окликнула его Раньинудо. В средней школе она была болтушкой-сорванцом, очень высокой, тощей и прямолинейной, не вооруженной девчачьей загадочностью. Всем пацанам она нравилась, но за ней никто не бегал, и они любовно именовали ее Отстань-от-меня — она это произносила всякий раз, когда б кто ни спрашивал, отчего у нее такое необычное имя: «Да, это такое имя игбо, оно означает “Отстань от меня!”» Он удивился, до чего шикарно она теперь смотрится, до чего иначе: короткие волосы-шипы, тугие джинсы, тело налитое, изгибистое. — Зед! Зед! Сто лет, сто зим! Ни слуху ни духу от тебя. Это твоя дочка? Благодарь-то! Я тут на днях была с дружкой одним, Деле который. Знаешь Деле, из банка «Хейл»? Сказал, то здание рядом с конторой «Эйса» на Банановом острове^[31] — твое. Поздравляю. И впрямь все хорошо у тебя-о. И Деле сказал, ты такой скромник.

От ее чрезмерной суеты, от почтения, что тихонько сочилось из нее, ему стало не по себе. В ее глазах он перестал быть Зедом из школы, а байки о его богатстве заставили ее считать, что он изменился сильнее, чем вообще мог. Люди часто говорили ему, какой он скромник, но они не настоящую скромность имели в виду, а то, что он не бахвалится своим членством в клубе богатеев, не пользуется правами, какие от этого возникают, — хамить, ни с кем не считаться, принимать приветствия, но не здороваться самому, — и поскольку слишком многие подобные ему такими правами пользовались, его предпочтения путали со скромностью. Он не хвастался, не рассказывал о своих владениях, из чего люди делали вывод, что владений у него куда больше, чем на самом деле. Даже его ближайший друг Оквудиба частенько говорил ему о его скромности, и Обинзе это слегка корбило, поскольку ему хотелось, чтобы Оквудиба понял: если Обинзе — скромный, значит, хамство — норма. Кроме того, скромность всегда казалась ему обманчивой, изобретенной для чужого удобства: тебя хвалят за скромность, когда ты не вынуждаешь людей чувствовать себя

ущербнее, чем на самом деле. Обинзе ценил искренность, всегда хотел быть по-настоящему искренним — и всегда боялся, что в нем этого нет.

В машине по дороге домой с вечеринки Коси сказала:

— Милый, ты же, наверное, голоден. Ты хоть что-нибудь, кроме того рулетика, съел?

— Еще суйю. [\[32\]](#)

— Тебе надо питаться. Слава Богу, я попросила Мари приготовить, — сказала она и добавила, хихикнув: — А мне вот надо было уважить себя и тех улиток не трогать! Кажется, я их съела штук десять. Такие они вкусные и перченые.

Обинзе рассмеялся, смутно скучая, но радуясь, что ей радостно.

* * *

Мари была неприметной, и Обинзе не понимал, причина ли тому ее застенчивость или же такое впечатление возникало из-за ее спотыкливого английского. Она проработала у них всего месяц. Последняя домработница, приведенная в дом кем-то из родственников Гэбриела, — коренастая девица со спортивной сумкой. Когда Коси взялась ее досматривать — такой досмотр вещей прислуги был для Коси обычным делом, поскольку она желала знать, что принесли к ней в дом, — Обинзе рядом не было, но он пришел, услышав крик Коси, этот ее раздраженный, визгливый тон, какой она применяла к прислуге, чтобы укреплять свой авторитет и не допускать неуважения. Сумка девушки лежала на полу открытая, из нее дыбилась одежда. Коси стояла рядом и держала, зажав в кончиках пальцев, упаковку презервативов.

— Это еще зачем? Э? Ты ко мне в дом пришла проституткой работать?

Девушка поначалу стояла потупившись, молча, а затем глянула Коси в лицо и сказала тихо:

— На моей предыдущей работе муж мадам постоянно со мной сильничал.

Глаза у Коси выпучились. Она было двинулась вперед, словно собиралась задать девушке трепку, но замерла.

— Прошу тебя, забирай свою сумку и уходи сейчас же, — проговорила она.

Девушка помялась, вид у нее сделался слегка изумленный, а затем она подобрала сумку и направилась к двери. Когда она ушла, Коси сказала:

— Ты представляешь, какая чушь, милый? Она явилась с презервативами и прям открыла рот да сказала эту ерунду. Ты представляешь?

— Ее бывший наниматель насильовал ее, и она решила на этот раз обезопаситься, — сказал Обинзе.

Коси уставилась на него.

— Тебе ее жалко. Ты этих домработниц не знаешь. Как тебе может быть ее жалко?

Ему захотелось спросить: *а как тебе может не быть ее жалко?* Но робкий страх в ее глазах заставил его промолчать. Промолчать его заставила ее неуверенность — такая громадная и такая обыденная. Она тревожилась из-за домработницы, которую ему и в голову не пришло бы соблазнять. Лагос мог сотворить такое с женщиной, которая замужем за молодым состоятельным мужчиной. Он знал, как легко соскользнуть в паранойю относительно домработниц, секретарш, *лагосских девушек*, этих утонченных чудищ гламура, что глотали мужей целиком, пропихивали их по своим украшенным камнями глоткам. И все же ему хотелось, чтобы Коси боялась меньше — и меньше приспособливалась.

Несколько лет назад он рассказал ей о привлекательной банковской служащей, что явилась к нему в контору поговорить об открытии счета, — молодая женщина в облегающей блузке с одной избыточно расстегнутой пуговкой, она пыталась скрыть отчаяние во взгляде.

— Милый, твой секретарь обязан не пускать этих вот банковских девиц к тебе в контору! — сказала Коси, словно перестала видеть его, Обинзе, а вместо него возникли размытые фигуры, классические типы: богатый мужчина, девица из банка, получившая согласие на нужную сумму депозита, — простой обмен. Коси ожидала, что он будет ей изменять, и ставила себе задачу предельно сократить ему возможности.

— Коси, ничего не случится, пока я сам этого не захочу. А я не захочу никогда, — сказал он, тем и успокаивая, и укоряя.

С годами их брака она вырастила в себе неукротимую неприязнь к одиноким женщинам и неукротимую любовь к Богу. До их свадьбы она раз в неделю ходила в англиканскую церковь в Марине^[33] — то был ритуал для галочки, она исполняла его, потому что ее так воспитали, — но после свадьбы она переключилась на Дом Давидов,^[34] потому что, по ее словам, в этой церкви верили в Библию. Позднее, когда он обнаружил, что в Доме Давидовом имеется особая молитвенная служба «Удержи мужа», его это расстроило. Расстроило его и другое: он как-то раз спросил, почему ее

лучшая университетская подруга Элохор к ним почти не заходит, и Коси ответила: «Она все еще не замужем». Будто это самоочевидная причина.

* * *

Мари постучала в дверь кабинета и вошла с подносом риса и жареных бананов. Ел он медленно. Поставил диск Фелы^[35] и принялся набирать электронное письмо на компьютере: с «блэкберри» и пальцам, и уму было тесно. С Фелой он познакомил Ифемелу еще в университете. Прежде она считала Фелу чокнутым курильщиком травы, который на своих концертах выходил в одном белье, но постепенно полюбила афробит, и они, бывало, валялись на матрасе в Нсукке и слушали, и Ифемелу, когда начинался припев «беги-беги-беги»,^[36] вскакивала, быстро и похотливо двигала бедрами. Интересно, помнит ли она это. Интересно, помнит ли она, как его двоюродный брат прислал из-за рубежа шесть кассет со смесью всякого и как Обинзе наделал ей копий в знаменитом магазине электроники на рынке, где музыка орала весь день напролет, звенела в ушах даже после того, как оттуда уйдешь. Обинзе хотел, чтобы у нее была вся та же музыка, что и у него. Ни Бигги, ни Уоррен Дж с Доктором Дре, ни Снуп Догг^[37] по-настоящему ее так и не увлекли, а вот Фела — другое дело. На Феле они сошлись.

Он писал и переписывал письмо, не упоминая в нем жену, не пользуясь местоимениями первого лица множественного числа, пытаясь уравновесить серьезное и забавное. Не хотел ее отталкивать. Хотел сделать все для того, чтобы на сей раз она ответила. Щелкнул «отправить» и затем через несколько минут проверил, не ответила ли. Он устал. Не физически — в спортзал он ходил постоянно и чувствовал себя как никогда хорошо, — а от опустошающей вялости, из-за которой немел ум. Обинзе встал и вышел на веранду; внезапный горячий воздух, рев соседского генератора, запах дизельного выхлопа принесли ему ясность. Заполошные крылатые насекомые вокруг электрической лампочки. Глядя в удушливую тьму вдаль, он почувствовал, будто способен воспарить — достаточно лишь отпустить себя.

Часть вторая

Глава 3

Мариама закончила возиться с прической своей клиентки, опрыскала ей голову блеском для волос и, когда клиентка ушла, объявила:

— Я иду за китайской едой.

Аиша и Халима перечислили, чего хотят — очень острую «курицу генерала Цзо», куриные крылышки, апельсиновую курицу, — с готовностью людей, произносивших это ежедневно.

— Хотите что-нибудь? — спросила Мариама у Ифемелу.

— Нет, спасибо, — ответила Ифемелу.

— У вас прическа долго. Вам надо еду, — возразила Аиша.

— Все в порядке. У меня есть батончик мюсли, — сказала Ифемелу. Была у нее с собой и мелкая морковка в пакетике на молнии, хотя до сих пор она закусывала только своим растаявшим шоколадом.

— Какой батончик? — переспросила Аиша.

Ифемелу показала ей батончик — здоровая пища, стопроцентное цельное зерно и настоящие фрукты.

— Это не еда! — усмехнулась Халима, оторвавшись от телевизора.

— Она тут пятнадцать лет, Халима, — сказала Аиша, будто протяженная жизнь в Америке объясняла, почему Ифемелу питается батончиками из мюсли.

— Пятнадцать? Долго, — сказала Халима.

Аиша подождала, пока Мариама уйдет, и вытащила из кармана мобильный телефон.

— Извините, я быстро звоню, — сказала она и вышла на улицу. Когда вернулась, лицо у нее сияло и была в нем возникшая благодаря этому звонку улыбка прелесть разгладившихся черт, какой Ифемелу прежде не заметила. — Эмека сегодня работай поздно. Приди только Чиджоке знакомь, пока мы закончим, — сказала она, словно они с Ифемелу замыслили это вместе.

— Слушайте, незачем приглашать их. Я даже не знаю, что им сказать, — проговорила Ифемелу.

— Скажи Чиджоке, игбо могу женись на не игбо.

— Аиша, я не могу велеть ему на вас жениться. Он женится на вас, если сам захочет.

— Они хотят женись на мне. Но я не игбо! — Глаза у Аиши заблестели — эта женщина явно была немножко не в себе.

— Они вам так говорили? — спросила Ифемелу.

— Эмека говори, его мать скажи ему, он женись на американке, она себя убьет, — сказала Аиша.

— Нехорошо.

— А я, я — африканка.

— Может, она себя не убьет, если он на вас женится.

Аиша тупо уставилась на нее.

— Мать вашего друга хочу, чтоб он на вас женись?

Ифемелу сначала подумала о Блейне, но следом осознала, что Аиша, конечно, имеет в виду ее воображаемого друга.

— Да. Все спрашивает, когда мы поженимся. — Ее поразило, как гладко она это произнесла, будто убедила даже себя саму, что не живет воспоминаниями, заплесневевшими от тринадцати миновавших лет. Но это могло быть правдой: матери Обинзе она, в конце концов, нравилась.

— Эх! — сказала Аиша с доброжелательной завистью.

Вошел мужчина с сухой сереющей кожей и копной седых волос, принес с собой пластиковый поднос с травяными настоями на продажу.

— Нет-нет-нет, — сказала ему Аиша, вскинув отваживающую ладонь.

Мужчина удалился. Ифемелу стало его жалко, такой он голодный с виду в этой своей затасканной дашики, и задумалась, сколько он вообще способен заработать такой торговлей. Надо было купить у него что-нибудь.

— Вы говори с Чиджоке игбо. Он слушай вас, — сказала Аиша. — Вы говори игбо?

— Конечно, я говорю на игбо, — насупленно ответила Ифемелу и задумалась, не намекает ли Аиша, что Америка изменила клиентку. — Полегче! — добавила она, потому что Аиша потащила частую расческу по пряди ее волос.

— У вас волосы жесткие, — сказала Аиша.

— Ничего они не жесткие, — уверенно возразила Ифемелу. — Вы не ту расческу взяли. — Она забрала из рук Аиши расческу и положила ее на столик.

* * *

Ифемелу выросла в тени материнских волос. Черные-черные они были, такие толстые, что на них в салоне уходило две емкости выпрямителя, такие густые, что сохли под колпаком фена часы напролет, а

освобожденные от розовых пластиковых бигуди, они раскидывались вольно, полно, ликующе струились у матери по спине. Отец называл их венцом славы. «Это у вас свои такие?» — спрашивали прохожие и тянули руки, чтобы почтительно потрогать. Другие уточняли: «Вы не с Ямайки?» — будто лишь чужеземная кровь могла объяснить такие роскошные волосы, не редевшие даже у висков. В детстве Ифемелу часто смотрелась в зеркало и дергала себя за волосы, распрямляла кудряшки, заставляла их сделаться как у матери, но они оставались щетинистыми и росли неохотно — плетельщицы говорили, что режутся ее волосами, как ножом.

Однажды, когда Ифемелу исполнилось десять, мама пришла домой с работы какая-то другая. Одежда на ней была та же — бурое платье с поясом на талии, — но лицо горело, взгляд рассеянный.

— Где большие ножницы? — спросила она. Ифемелу притащила их, и мама поднесла их к голове и, горсть за горстью, отстригла себе все волосы. Ифемелу глазела, оторопев. Волосы лежали на полу мертвой травой. — Неси большой мешок, — сказала мама. Ифемелу подчинилась, словно зачарованная, — происходило что-то непонятное. Она смотрела, как мама ходит по квартире, собирает все католические предметы, снимает распятия со стен, достает четки из шкафов, молитвенники с полок. Мама складывала их в полиэтиленовый мешок, а затем отнесла его на задний двор, быстрым шагом, взгляд, вперенный вдаль, бестрепетен. Развела костер рядом с мусорной ямой, на том же месте, где обычно жгла свои использованные прокладки, и сначала бросила в огонь свои волосы, завернутые в старую газету, а затем один за другим — предметы веры. Темно-серый дым завихрился в воздухе. Ифемелу на веранде заплакала — почуяла: что-то случилось, а женщина у костра все плескала керосин, когда огонь замирал, и отступала, когда он вспыхивал, женщина лысая, безучастная — не ее мать, не могла она быть ей матерью.

Когда мама вернулась в дом, Ифемелу попятилась, но мама прижала ее к себе.

— Я спасена, — сказала она. — Миссис Оджо проповедовала мне сегодня на переменке, и я обрела Христа. Все старое миновало, все стало новым. Слава Господу. С воскресенья начнем ходить в Возрожденных святых. В этой церкви верят в Библию, не то что в Святом Доминике.

Материны слова были чужие. Она произносила их слишком жестко, и вид у нее был, как у кого-то другого. Даже голос, обычно высокий, женственный, сделался ниже, сгустился. В тот день Ифемелу видела, как отлетает суть ее матери. Прежде мама молилась по четкам время от времени, крестилась перед едой, носила красивенькие образа святых на

шее, пела на латыни и смеялась, когда отец передразнивал ее ужасное произношение. Смеялась и когда он говорил: «Я агностик, уважающий религию» — и сообщала ему, какой он везучий, что женился на ней: пусть и ходит он в церковь только на свадьбы и похороны, все равно попадет в рай — на крыльях ее веры. Но после того вечера мамин Бог изменился. Он стал требовательным. Выпрямленные волосы оскорбляли Его. Его оскорбляли танцы. Она торговалась с Ним — предлагала голодание в обмен на благоденствие, на продвижение по службе, на доброе здоровье. Она постилась, пока не исхудала до костей: сухие посты по выходным, а по будням — одна вода, до самого вечера. Отец Ифемелу следил за матерью встревоженным взглядом, уговаривал есть чуть больше, поститься чуть меньше и всегда увещевал ее осторожно, чтобы она не обозвала его посланцем дьявола, чтобы не пренебрегала его словами, как это случилось с одним двоюродным родственником, что жил у них.

— Я пощусь ради обращения твоего отца, — часто говорила она Ифемелу. Месяцы напролет воздух в доме был как треснутое стекло. Все ходили вокруг мамы на цыпочках, а она стала чужой — тощей, костлявой, суровой. Ифемелу боялась, что однажды мама просто переломится пополам и умрет.

И тут, в пасхальную субботу — мрачный день, первая тихая пасхальная суббота в жизни Ифемелу, — мама выбежала из кухни и объявила:

— Я видела ангела!

Раньше в этот день царили сплошная суета и готовка, множество кастрюль в кухне, множество родственников в квартире, Ифемелу с мамой идут ко всенощной, помогают зажигать свечи, поют в море мерцающих огней, а затем возвращаются домой — продолжать готовить большой пасхальный обед. А теперь в квартире стало тихо. Родственники держались подальше, на обед — обычные рис и похлебка. Ифемелу сидела в гостиной с отцом, и когда мама сказала: «Я видела ангела!» — Ифемелу заметила отчаяние у папы в глазах, краткий, быстро исчезнувший проблеск.

— Что стряслось? — спросил он умиротворяющим тоном, каким разговаривают с детьми, будто бы если пошутить над безумием жены, оно стремительно сгинет.

Мама рассказала им о видении, какое ей только что было: пылающий образ рядом с плитой, ангел с книгой, обернутой красной тканью, и этот ангел велел ей уйти из Возрожденных святых, потому что пастор там — колдун, посещает еженощные дьявольские бдения на дне морском.

— Слушай, что тебе ангел говорит, — сказал папа.

И мама оставила ту церковь и начала отпускать волосы, но перестала носить ожерелья и сережки, потому что, по словам пастора в Чудесном источнике, это богопротивно и не пристало добродетельной женщине. Вскоре после, в день несостоявшегося переворота, пока торговцы, жившие на нижних этажах, рыдали, потому что переворот мог бы спасти Нигерию и рыночные торговки, глядишь, получили бы места в кабинете министров, у мамы вновь случилось видение. На сей раз ангел возник у нее в спальне, над гардеробом, и повелел ей уйти из Чудесного источника и примкнуть к Путеводному собранию. Посреди первой службы, на которую Ифемелу пришла с матерью, в общинном зале с мраморными полами, окруженная надушенными людьми, под перекрестным огнем богатых голосов, Ифемелу посмотрела на свою мать и увидела, что та плачет и смеется одновременно. В этой церкви кипучей надежды, где топали и хлопали, где Ифемелу воображала над паствой вихрь влиятельных ангелов, дух ее матери обрел дом. В этой церкви было битком недавно разбогатевших, и маленький автомобиль ее матери на стоянке оказался самым старым, краска блеклая, вся в царапинах. Если молиться вместе с преуспевающими, говорила мама, Господь благословит ее — как благословил их. Она вновь начала носить украшения, пить «Гиннесс», постилась теперь лишь раз в неделю и частенько приговаривала «мой Бог велит мне» и «в моей Библии сказано», будто прочие люди не просто другие, а заблудшие. На «доброе утро» или «добрый день» она бодро отвечала: «Благослови вас Бог!» Ее Бог сделался добродушным и не обижался, когда им повелевают. Каждое утро мама будила домашних на молитву, все преклоняли колени на колющем ковре в гостиной, пели, хлопали в ладоши, покрывали наступающий день кровью Христовой, и тишину рассвета пронзали мамины слова: «Господь, отец мой небесный, повелеваю тебе заполнить сей день благословениями и доказать мне, что ты — Бог! Господь, жду от тебя процветания! Не позволъ нечестивым победить, не позволъ врагам моим одержать верх надо мной!» Отец Ифемелу как-то раз сказал, что молитвы — бредовые битвы с воображаемыми врагами Господними, и все же настаивал, чтобы Ифемелу каждое утро поднималась к молитве. «Мама от этого радуется», — объяснил он.

В церкви, когда приходило время свидетельствовать, мама спешила к алтарю первой.

— У меня нынче утром заложило нос, — начинала она, — но пастор Гидеон начал молиться, и все прошло. Нет теперь ничего. Славим Господа! — И паства выкрикала: «Аллилуйя!» — и следовали другие свидетельства. «Я не учился, потому что болел, но экзамены все равно сдал

блестяще!», «У меня была малярия, помолился — и исцелился!», «Кашель исчез, как только пастор начал молиться!» Но первой всегда выходила мама, летела вперед, улыбалась, облеченная светом спасения. Ближе к концу службы пастор Гидеон в остроплечем костюме и остроносых туфлях подскакивал и провозглашал: «Наш Господь — не бедный Господь, аминь? Наша доля — процветать, аминь?» Мать Ифемелу высоко вскидывала руку к небесам и отвечала: «Аминь, Бог Отец, аминь».

Ифемелу не считала, что это Бог дал пастору Гидеону его большой дом и все автомобили, — он их, конечно, купил на деньги со сборов, какие происходили трижды за службу; не считала она, что Бог сделает то же, что и для пастора Гидеона, для всех остальных, потому что это невозможно, однако ей нравилось, что мама теперь питалась как обычно. В мамин взгляд вернулось тепло, вид у нее снова был радостный, и она опять оставалась с папой после трапез за столом и громко пела в ванне. Ее новая церковь поглотила ее, но не разрушила. Мама сделалась предсказуемой, ей стало легко врать. «Я на библейские чтения» или «Я в Собрание» — так проще всего можно было линять из дома в подростковые годы. Ифемелу церковь была неинтересна, никакого религиозного рвения она не чувствовала — быть может, оттого, что в матери его имелось с избытком. И все же от маминой веры было уютно. Ифемелу она виделась белым облаком, что благословенно плыло над ней, куда бы Ифемелу ни шла. Пока в их жизни не появился Генерал.

* * *

Мама ежеутренне молилась за Генерала. Говорила: «Отец небесный, повелеваю тебе благословить наставника Уджу. Пусть его враги никогда не одержат верх над ним!» Или так: «Покрываем наставника Уджу драгоценной кровью Христовой!» И Ифемелу бормотала вместо «аминь» какую-нибудь белиберду. Мать произносила слово «наставник» вызывающе, густым голосом, словно сила выговора и впрямь может обратить Генерала в наставника, а также переделать мир так, чтобы в нем молодые врачи могли позволить себе «мазду» тети Уджу, зеленую, глянцевою, угрожающе зализанную машину.

Четачи, соседка сверху, спросила Ифемелу:

— Твоя мама сказала, что наставник тети Уджу дал ей и кредит на машину?

— Да.

— Э! Повезло тете Уджу-о! — сказала Четачи.

Многозначительная насмешка на лице соседки не ускользнула от Ифемелу. Четачи со своей матерью уже небось сплетничали об этой машине — обе были из тех людей, какие ходят в гости, лишь бы поглядеть, что там есть у других, оценить новую мебель или электронику.

— Господь пусть благословит этого человека-о. Я-то надеюсь тоже познакомиться с наставником, когда вуз окончу, — сказала Четачи.

От злорадства Четачи Ифемелу оцетинилась. И все же мама сама виновата: слишком рвалась рассказывать соседям историю своего наставника. Не стоило — никого это не касалось, чем там тетя Уджу занимается. Ифемелу подслушала, как мама рассказывает кому-то во дворе: «Понимаете, Генерал, когда молодой был, хотел стать врачом и теперь помогает молодым врачам, Господь и впрямь направляет его в жизнь других людей». Тон у нее был искренний, радостный, убедительный. Она в свои слова верила. Ифемелу этого не понимала — не понимала способность матери рассказывать самой себе байки о такой действительности, которая никак не походила на всамделишную. Когда тетя Уджу рассказала о своей новой работе: «В больнице не было вакансий врачей, но Генерал заставил их открыть для меня одну» — таковы были ее слова, мать Ифемелу поспешно отозвалась: «Это чудо!»

Тетя Уджу улыбнулась — тихой улыбкой, что хранит молчание: чудом она это, конечно, не считала, но говорить не стала. Или, вероятно, что-то чудесное и было в ее новой работе советником при военном госпитале на острове Виктория, в ее новом доме в квартале «Дельфин» — скоплении двухуровневых новостроек, излучавших свежую чужестранность, некоторые выкрашены в розовый, какие-то — в голубой теплого неба, квартал оторочен парком, а в нем трава, густая, как новый ковер, и скамейки, где можно посидеть, а это редкость даже на Острове. Всего несколько недель назад тетя была выпускницей, все ее сокурсники говорили о выезде за рубеж — сдавать американские или британские врачебные экзамены, поскольку в противном случае оставалось лишь бродить по иссушенным пустырям безработицы. Страна изголодалась по надежде, машины днями напролет стояли в долгих потных очередях за бензином, пенсионеры вздымали потрепанные плакатики с требованиями выплат, преподаватели собирались на которую уже по счету забастовку. Но тетя Уджу не хотела уезжать: она, сколько Ифемелу себя помнила, мечтала о частной клинике — и держалась за эту мечту крепко.

— Нигерия не всегда будет такой, я уверена, что найду временную

работу, будет лихо, да, но однажды я открою свою клинику — на Острове! — объявила тетя Уджу в разговоре с Ифемелу. А чуть погодя оказалась на свадьбе у подруги. Отец невесты был вице-маршалом авиации, поговаривали, что, может, и глава государства заглянет, и тетя Уджу пошутила, не попросить ли его сделать ее военным врачом при Асо-Рок.^[38] Сам он в итоге не явился, зато пришли многие его генералы, и один велел своему адъютанту пригласить тетю Уджу после приема к нему в машину на стоянке, она пришла к темному «пежо» с флажком на капоте и сказала: «Добрый вечер, сэр» — мужчине на заднем сиденье, он отозвался: «Вы мне нравитесь. Хочу о вас позаботиться». «Может, чудо было в тех словах “Вы мне нравитесь. Хочу о вас позаботиться”», — думала Ифемелу, но не в мамином смысле. «Чудо! Господь истин!» — сказала в тот день мама, глаза налиты верой.

* * *

Тем же тоном она произнесла:

— Дьявол — лжец. Он хочет пресечь наше благословение, ему не удастся.

Папа потерял тогда работу в федеральном агентстве. Его уволили за то, что он отказался называть свою новую начальницу Маменькой. В тот день он вернулся домой раньше обычного, сокрушенный, в горестном недоумении, с письмом об увольнении в кулаке, жаловался на абсурд: как может взрослый мужчина именовать взрослую женщину Маменькой лишь потому, что она решила, будто так лучше всего выказывать ей почтение.

— Двенадцать лет преданного труда. Немыслимо, — сказал он.

Мама погладила его по спине, сказала, что Господь подаст новую работу, а пока они перебьются на ее зарплату завуча школы. Он каждое утро уходил искать работу, стиснув зубы, туго повязав галстук, и Ифемелу размышляла, заглядывает ли он во все подряд компании, наудачу, — но вскоре он уже оставался дома, в халате и майке, рассиживал на выдавшем виды диване перед проигрывателем.

— Ты с утра не мылся? — спросила его мама как-то вечером, когда вернулась с работы изнуренной, прижимая к груди папки, под мышками — сырые разводы. Затем добавила раздраженно: — Если нужно звать кого-нибудь Маменькой, чтобы зарплату получать, — называл бы!

Он ничего не ответил: на миг показалось, что он растерялся — сжался

и растерялся. Ифемелу стало его жалко. Она спросила, что за книга лежит у него на коленях обложкой вниз, знакомая книга, он ее уже читал. Надеюсь, что он заведет с ней длинный разговор о чем-нибудь вроде истории Китая, она будет слушать, как обычно, вполуха, подбадривать его. Но настроения разговаривать у него не было. Он пожал плечами, словно бы говоря, что если ей любопытно, может сама глянуть. Слова матери ранили его чересчур легко: он слишком чутко к ней относился, держал ухо востро на ее голос, взгляд его был с ней постоянно. Недавно, перед тем как его уволили, он сказал Ифемелу:

— Когда доберусь до повышения, куплю твоей матери что-нибудь по-настоящему памятное. — Ифемелу спросила, что же, отец улыбнулся и загадочно произнес: — Оно само себя явит.

Глядя на отца, сидевшего на диване, Ифемелу думала, до чего он сейчас похож на то, чем он на самом деле был, — на человека с поблекшими устремлениями, недалекого госслужащего, желавшего иной жизни, алкавшего больше образования, чем мог себе позволить. Он часто рассуждал о том, что не пошел в университет, потому что надо было работать — кормить семью, что он в школе был умнее многих тех, кто теперь уже защитил докторскую. У него был формальный высокопарный английский. Домработницы едва понимали его, но все равно очень млели. Однажды их бывшая помощница по дому Джесинта пришла в кухню, принялась тихонько хлопать в ладоши и сказала Ифемелу:

— Ты бы слышала большое слово своего отца! *O di egву!*

Ифемелу часто представляла его в школьном классе, в 50-е: рьяный колониальный подданный, облаченный в скверно сидевшую форму из дешевого хлопка, рвется произвести впечатление на своих учителей-миссионеров. Даже почерк у него был манерный, сплошь завитки и росчерки, гладкое изящество, на вид — словно отпечатанное. В школьные годы Ифемелу он честил ее за упрямство, мятежность, непримиримость — эти слова превращали ее мелкие проступки в эпохальные, чуть ли не достойные гордости. Но его выпранный английский, когда она выросла, стал ее раздражать: отец в него рядился, это был заслон от неуверенности. Отца не оставляло в покое то, чего он не имел, — университетская степень, жизнь в верхах среднего класса, — и его вычурные слова сделались ему доспехом. Ей больше нравилось, когда он говорил на игбо, лишь тогда, казалось, он не сознает своих тревог.

Из-за потери работы он сделался тише, между ним и внешним миром выросла тонкая стена. Он больше не бормотал «нация утонченного лизоблюдства», когда начинались вечерние новости по НТВ, ^[39] больше не

произносил долгих монологов о том, как правительство Бабангиды сделало из нигерийцев недалёковидных идиотов, больше не подтрунивал над мамой. И главное — начал подключаться к утренним молитвам. Прежде никогда в них не участвовал, мама лишь однажды настояла — перед поездкой в родной город. «Помолимся и покроем дороги кровью Христовой», — сказала она, а он ответил, что дороги были бы безопаснее — не такие скользкие, если бы не покрывала их никакая кровь. Мама нахмурилась, а Ифемелу хохотала и хохотала.

Хоть в церковь не начал ходить. Ифемелу возвращалась из церкви с матерью, и они заставляли отца на полу — он копался в своих пластинках, пел вместе с проигрывателем. Он всегда выглядел свежим, отдохнувшим, словно пребывание наедине с музыкой напитывало его. Но, потеряв работу, он почти перестал слушать музыку. Они с мамой приходили домой и заставляли его за обеденным столом — он склонялся над листками бумаги, писал письма в газеты и журналы. И Ифемелу понимала: дали бы ему такую возможность — теперь он бы Маменькой свою начальницу все же назвал.

* * *

Раннее воскресное утро, а кто-то колотил во входную дверь. Ифемелу нравились воскресные утра, неспешное смещение времени, когда она, облаченная к церкви, сидела в гостиной с отцом, пока мама готовилась. Иногда они с отцом разговаривали, а иногда помалкивали в обоюдной приятной тишине, как в то утро. Из кухни доносился лишь гул холодильника — пока не застучали в дверь. Грубое вторжение. Ифемелу открыла и увидела хозяина их квартиры, круглого дядю с выпученными красноватыми глазами, который, по слухам, начинал день со стакана чистого джина. Хозяин, глядя мимо Ифемелу на отца, заорал:

— Три месяца уже! Я все еще жду свои деньги!

Голос его был Ифемелу знаком — бесстыжие вопли, что вечно доносились из квартир их соседей, откуда-то извне. А теперь он пришел в их квартиру, и от этой сцены ее покорило — хозяин вопил у *них* на пороге, а отец уставил на хозяина стальное лицо, молча. Прежде они никогда не просрочивали оплату. Жили в этой квартире, сколько Ифемелу себя помнила — здесь было тесно, кухонные стены почернели от керосиновой копоти, и Ифемелу стеснялась, когда одноклассники приходили к ним в гости, — но оплату они не задерживали никогда.

— Фанфарон, — проговорил отец, когда хозяин удалился, и больше не сказал ничего. Нечего было добавить. Они задержали оплату.

Появилась мама, чересчур надушенная и с песней на устах, лицо сухое и сияющее от пудры, на тон светлее необходимого. Протянула папе запястье, тонкий золотой браслет не застегнут.

— Уджу зайдет после церкви, заберет нас посмотреть дом в «Дельфине», — сказала мама. — Пойдешь с нами?

— Нет, — ответил он коротко, словно обновленная жизнь тети Уджу — тема, которую он предпочел бы избегать.

— А зря, — сказала она, но папа не отозвался, прилежно застегивая браслет у мамы на руке, и напомнил ей проверить воду в машине.

— Господь истин. Глянь на Уджу — ей по карману дом на Острове! — счастливо сказала мама.

— Мамочка, но ты же знаешь, что тетя Уджу ни кобо не платит за то, что там живет, — сказала Ифемелу.

Мама глянула на нее:

— Ты платье гладила?

— Его не надо гладить.

— Оно мятое. *Нзва*, ^[40] иди погладь. Хоть свет есть. Или переоденься в другое.

Ифемелу неохотно встала.

— Не мятое у меня платье.

— Иди погладь. Незачем сообщать миру, что нам трудно. У нас еще не худший случай. Сегодня Воскресные труды с сестрой Ибинабо, давай-ка пошустрее, нам пора.

* * *

Сестра Ибинабо располагала могуществом, а поскольку делала вид, что это ее могущество — пустячок, впечатление получалось еще более сильное. Болтали, будто пастор исполнял все, что она ни скажет. Почему — не очень понятно: одни говорили, что она вместе с ним основала эту церковь, другие — что она владеет страшной тайной его прошлого, а третьи — что у нее попросту больше духовной силы, чем у него, но пастором ей никак, потому что она женщина. Она была способна, если б захотела, не допустить пасторского одобрения чьего-нибудь брака. Она знала всех и вся и, кажется, ухитрялась быть всюду одновременно — с

видом потрепанным, будто жизнь изрядно и долго ее помотала. Трудно сказать, сколько ей было лет — то ли пятьдесят, то ли шестьдесят, тело жилистое, лицо замкнутое, как ракушка. Она никогда не смеялась, но тоненько и благочинно улыбалась часто. Матери благоговели перед ней, носили ей подарочки и с готовностью отдавали своих дочек на Воскресные труды. Сестра Ибинабо, спасительница юниц. Ее приглашали увещевать беспокойных и беспокоящих девчонок. Некоторые мамыши интересовались, нельзя ли их дочками пожить с Ибинабо — в квартире за церковью. Но Ифемелу всегда чуяла в сестре Ибинабо глубокую кипучую враждебность к девушкам. Они сестре Ибинабо не нравились, она просто приглядывала за ними и предостерегала их, словно задетая тем, что в них было еще свежо, а в ней самой давно усохло.

— Я видела тебя в прошлую субботу в тесных брюках, — сказала сестра Ибинабо одной девушке по имени Кристи театральным шепотом, тихим ровно в той мере, чтобы оставаться шепотом, но прекрасно слышным всем вокруг. — Все допустимо, но не все полезно. Любая девушка в тесных брюках стремится ко греху искушения. Лучше такого избегать.

Кристи кивнула смиренно, изящно, стыд ее — при ней.

Два узких окна в церковной подсобке света пропускали мало, и весь день напролет там горела электрическая лампочка. Конверты с собранными средствами громоздились на столе, а рядом — стопка разноцветных салфеток, словно хрупкая ткань. Девушки взялись распределять задачи. Вскоре кто-то уже надписывал конверты, кто-то резал и складывал салфетки, клеивал из них цветы и нанизывал пушистыми гирляндами. В следующее воскресенье на особом благодарственном молебне эти гирлянды окажутся на толстой шее у Шефа Оменки и на шеях потоньше — у членов его семьи. Он пожертвовал церкви два новых фургона.

— Присоединяйся вон к той группе, Ифемелу, — распорядилась сестра Ибинабо.

Ифемелу скрестила руки на груди — как частенько бывало, когда она собиралась сказать что-то, о чем лучше бы помалкивала, — и слова выскочили у нее из глотки:

— Чего это я должна делать украшения для вора?

Сестра Ибинабо уставилась на нее потрясенно. Возникла тишина. Девушки замерли в ожидании.

— Что ты сказала? — переспросила сестра Ибинабо тихонько, предлагая Ифемелу возможность извиниться, запихнуть слова обратно в себя. Но Ифемелу понимала, что остановиться не сможет, сердце

колотилось, несло по скоростной трассе.

— Шеф Оменка — Четыреста девятнадцатый,^[41] это всем известно. В этой церкви полно Четыреста девятнадцатых. Почему мы должны делать вид, что этот зал выстроен не на грязные деньги?

— Это Божий труд, — тихо произнесла сестра Ибинабо. — Не можешь делать труд Божий — лучше уходи. Иди.

Ифемелу поспешила прочь из подсобки, за ворота, к автобусной остановке, зная, что эта история достигнет ушей ее матери, находившейся в церкви, в считанные минуты. Ифемелу испортила этот день. Поехали бы домой к тете Уджу, приятно пообедали бы. А теперь мама будет сварливой и колючей. Лучше б Ифемелу промолчала. Она же в прошлом все-таки делала гирлянды для Четыреста девятнадцатых — для тех, кому отводились особые места в первом ряду, для людей, что даровали машины с той же легкостью, с какой раздают жвачки. Она бывала на их приемах, ела рис, мясо и салат — еду, оскверненную мошенничеством, ела, зная все это, и не подавилась — даже не собиралась. И все же что-то сегодня было по-другому. Когда сестра Ибинабо разговаривала с Кристи, с ядовитым ехидством, какое выдавала за духовное наставничество, Ифемелу смотрела на нее — и внезапно увидела в ней что-то похожее на собственную мать. Ее мама добрее и проще, но, как и сестра Ибинабо, — человек, отрицавший действительность как она есть. Человек, которому нужно распахивать плащ религии над собственными мелкими желаньями. Быть в этой комнатке, полной теней, Ифемелу внезапно захотелось менее всего. Прежде это казалось безвредным — материна вера, насквозь пропитанная благодатью, — но вдруг перестало. Ифемелу мимолетно пожалела, что у нее именно ее мать, и из-за этого ей стало не стыдно и не грустно, а разом, вперемешку и стыдно, и грустно.

На автобусной остановке было зловеще пустынно, и она вообразила людей, обычно толпившихся здесь, в церквях, они поют и молятся. Она подождала автобуса, раздумывая, домой ехать или еще куда-нибудь, пересидеть. Лучше все же домой — и разбираться там со всем, с чем предстояло разобраться.

* * *

Мама дернула ее за ухо едва ли не нежно, словно не желая причинять настоящую боль. Она так делала с детства Ифемелу. «Поколочу!» —

говаривала мама, когда Ифемелу бедокурила, но никаких колотушек ни разу не случилось, только вялый дерг за ухо. Сейчас мама потянула ее за ухо дважды, чтобы подчеркнуть сказанное.

— Дьявол тобой помыкает. Молись про это. Не суди. Предоставь судить Богу!

Отец сказал:

— Следует воздерживаться от твоей естественной склонности к провокациям, Ифемелу. Ты уже прославилась в школе нарушениями субординации, и я говорил тебе, что это уже подпортило твои исключительные академические заслуги. Не нужно создавать подобных последствий еще и в церкви.

— Да, папочка.

Приехала тетя Уджу, и мама рассказала ей, что произошло.

— Давай сделай Ифемелу внушение. Ты единственная, кого она послушает. Спроси у нее, за что она рвется позорить меня перед всей церковью. Она оскорбила сестру Ибинабо! Это все равно что оскорбить пастора! Чего эта девочка такая непутевая? Я уже говорила — и не раз, — что лучше б она была мальчишкой, с таким-то поведением.

— Сестра, ты же знаешь, у нее беда с тем, что она не всегда понимает, когда лучше держать рот на замке. Не волнуйся, я с ней поговорю, — сказала тетя Уджу, играя свою роль миротворца, утешая жену двоюродного брата.

Она всегда ладила с матерью Ифемелу, то были простые отношения двоих, кто тщательно избегает бесед хоть какой-то глубины. Вероятно, тетя Уджу была благодарна матери Ифемелу за то, что та приняла ее, приняла ее положение особого родственника на содержании. Пока росла, Ифемелу не чувствовала себя единственным ребенком — с ними жили двоюродные, тети и дяди. В квартире вечно стояли чемоданы и сумки, иногда родственник-другой недели напролет ночевал на полу в гостиной. В основном родня отца — они приезжали в Лагос осваивать ремесло, учиться или искать работу, чтобы семья в его деревне не бурчала, дескать, вот у человека один ребенок, а другим растить своих он не помогает. Отец чувствовал, что обязан им, настаивал, чтобы все были дома до восьми вечера, следил, чтобы всем хватало еды, и запирал дверь в спальню, даже когда уходил в туалет, потому что любой мог зайти и украсть что-нибудь. Но тетя Уджу была другая. Слишком умная, чтобы прозябать в той глуши, говорил он. Называл ее своей младшей сестрой, хотя она была дочерью брата его отца, и берег ее пуще прочих, был с ней ближе, чем со всеми остальными. Каждый раз, когда видел, что Ифемелу и тетя Уджу

угнездились на кровати и болтают, говорил с нежностью: «Вы две». После того как тетя Уджу уехала учиться в Ибаданский университет,^[42] он сказал Ифемелу чуть ли не с горечью: «Уджу оказывала на тебя успокаивающее влияние». В их близости он, казалось, видел доказательство собственного правильного выбора, словно сознательно сделал семье подарок — буфер между женой и дочерью.

Так вот, тетя Уджу сказала Ифемелу в спальне:

— Надо было просто делать гирлянды. Я же тебе говорила, что нельзя все подряд произносить вслух. Пора тебе это понять. Необязательно *говорить* все подряд.

— А чего мама не может просто радоваться тому, что тебе дает Генерал, и не делать вид, что это все от Бога?

— Кто сказал, что это не от Бога? — спросила в ответ тетя Уджу и скорчила гримасу, оттянув уголки рта вниз. Ифемелу расхохоталась.

Согласно семейной легенде, Ифемелу была неприветливой трехлеткой, вопившей, если кто-нибудь чужой подходил к ней слишком близко, но, впервые увидев тетю Уджу, тринадцатилетнюю, с прыщавым лицом, приблизилась, забралась к ней на колени и не слезла оттуда. Ифемелу не знала, вправду такой была или это стало правдой после неоднократного пересказа истории начала их дружбы. Тетя Уджу шила ей детские платьица, а когда обе стали постарше, они вместе штудировали модные журналы, вместе выбирали фасоны. Тетя Уджу научила ее делать пюре из авокадо и мазать на лицо, растворять «Робб» в горячей воде и подставлять лицо под пар,^[43] подсушивать прыщики зубной пастой. Тетя Уджу носила ей романы Джеймса Хедли Чейза, завернутые в газетку, чтобы никто не видел полуголых женщин на обложке; выпрямляла ей волосы горячим методом, когда Ифемелу подцепила вшей от соседей; поддерживала разговорами, когда у Ифемелу пришли месячные, дополнив материну лекцию, напичканную библейскими цитатами о добродетели, где ни словом не упоминалось о резях в животе и о прокладках. Когда Ифемелу познакомилась с Обинзе, она сказала тете Уджу, что обрела любовь всей жизни, и тетя Уджу наказала разрешить себя целовать и трогать, но внутрь засовывать ничего не давать.

Глава 4

Боги, витающие божества, что даруют и отнимают подростковые любви, решили, что Обинзе должен гулять с Гиникой. Обинзе был новеньким, славный мальчик, пусть и невысокий. Его перевели из университетской старшей школы в Нсукке, но уже через несколько дней до всех дошли бурливые слухи о его матери. Она подралась в Нсукке с мужчиной — другим преподавателем, по-настоящему подралась, с тумакнами и оплеухами, и победила к тому же, порвала на нем одежду, и за это ее отстранили от работы, она уехала в Лагос, пока не придет время вернуться. Необычная история: дрались базарные торговки, чокнутые тетки, но не женщины-профессора. Обинзе, спокойный и замкнутый на вид, придавал этой истории еще больше интриги. Его быстро приняли в клан вальяжных, беспечно крутых юнцов — Больших Пацанов. Он болтался с ними по коридорам, стоял на задах актового зала во время собраний. Никто из них не заправлял рубашки в штаны, и за это им вечно доставалось — изысканно доставалось — от учителей, но Обинзе ежедневно являлся в школу опрятно заправленный, и вскоре Большие Пацаны тоже начали заправляться, даже Кайоде Да Силва, крутейший из всех.

Кайоде на все каникулы уезжал к родителям в Англию, их дом на фотоснимках, какие видела Ифемелу, смотрелся громадным и угрожающим. Его подруга Йинка была ему под стать — она тоже часто ездила в Англию, жила в Икойи^[44] и говорила с британским акцентом. В их классе она была самой популярной девочкой, школьная сумка у нее из натуральной кожи с тисненой монограммой, сандалии всегда не такие, как у всех. Вторая после нее — Гиника, близкая подруга Ифемелу. Гиника за рубеж ездила нечасто и потому не носила на себе отпечатка *выездной*, как Йинка, но зато у нее карамельная кожа и волнистые волосы, которые, если не заплетать, струились вниз по шее, а не торчали, как афро. Каждый год ее выбирали самой красивой девочкой в классе, а она ехидно говорила: «Все потому, что я полукровка. Куда мне тягаться с Зайнаб?»

В общем, естественный порядок вещей: боги свели в пару Обинзе и Гинику. Кайоде поспешно устроил вечеринку у себя в гостевом флигеле, пока родители были в Лондоне. Гинике он сказал:

- Познакомлю тебя на вечеринке с моим другом Зедом.
- Он ничего, — сказала, улыбаясь, Гиника.

— Надеюсь, материны драчливые гены ему не передались-о, — связвила Ифемелу. Она порадовалась, что Гинике кто-то понравился: почти все Большие Пацаны в школе пробовали с ней встречаться, но надолго не задержался ни один; Обинзе вроде бы тихий, хорошая пара.

Ифемелу с Гиникой явились на вечеринку вместе, гулянка только начиналась, на танцполе никого, мальчишки носятся с кассетами, застенчивость и неловкость пока не рассеялись. Всякий раз, когда Ифемелу приходила в дом к Кайоде, она пыталась вообразить себе, как вообще тут живется — в Икойи, в величественном имении, где двор отсыпан гравием, а слуги облачены в белое.

— Ты глянь, вон Кайоде с этим новеньким, — сказала Ифемелу.

— Не буду глядеть, — сказала Гиника. — Идут к нам?

— Да.

— У меня тесные туфли.

— Танцевать можно и в тесных туфлях, — сказала Ифемелу.

Мальчишки подошли. Обинзе чересчур наряден — в толстом вельветовом пиджаке, а на Кайоде футболка и джинсы.

— Эй, девчонки! — сказал Кайоде. Он был высокий и поджарый, с непринужденными манерами привилегированного. — Гиника, знакомься, это мой друг Обинзе. Зед, это Гиника, королева, которую Бог сотворил для тебя, если ты готов за это потрудиться! — Он ухмыльнулся, уже слегка пьяный, — золотой мальчик, творящий золотую пару.

— Привет, — сказал Обинзе Гинике.

— Это Ифемелу, — сказал Кайоде, — также известная как Ифемско. Подручная Гиники. Будешь плохо себя вести — она тебя выпорет.

Все рассмеялись, как по команде.

— Привет, — сказал Обинзе. Встретился взглядом с Ифемелу и не отвел его, удержал.

Кайоде светски трепался, рассказывая Обинзе, что родители Гиники — тоже университетская профессура.

— Короче, вы оба — книжная публика, — сказал Кайоде. Обинзе пора было уже взять беседу на себя и заговорить с Гиникой, и Кайоде бы отвалил, Ифемелу — следом, и воля богов свершилась бы. Но Обинзе почти ничего не говорил, и Кайоде пришлось тащить разговор на себе, голос у него делался все бойчее, он время от времени поглядывал на Обинзе, словно понукая его. Ифемелу не уловила, когда это произошло, но, пока Кайоде говорил, произошло все же что-то странное. Что-то внутри нее зародилось, затлело. Она осознала — вполне внезапно, — что хочет дышать с Обинзе одним воздухом. Остро осознала она и прочее, в тот

самый миг: голос Тони Брэкстон из кассетника — «быстро или нет, оно не отпускает, трясет»,^[45] — запах оставленного отцом Кайоде бренди, украдкой вынесенного из главного дома, тугая белая сорочка трет ей под мышками. Тетя Уджу заставила завязать ее рыхлым бантом на уровне пупа, и Ифемелу размышляла, действительно это стильно или же смотрится глупо.

Музыка резко прервалась. Кайоде сказал:

— Иду-иду. — И умчал выяснять, что случилось, и в возникшей тишине Гиника теребила металлический браслет на запястье.

Обинзе вновь поймал взгляд Ифемелу.

— Тебе в этом пиджаке не жарко? — спросила она. Вопрос выскочил прежде, чем она успела остановить себя, — уж так она привыкла затачивать слова, наблюдать страх в глазах мальчишек. Но он улыбался. Ему было весело. Он ее не боялся.

— Очень жарко, — ответил он. — Но я сельский пентюх, и это моя первая городская гулянка, уж прости. — Он медленно стянул с себя пиджак, зеленый, с заплатками на локтях, а под ним оказалась рубашка с длинным рукавом. — Теперь придется таскать его с собой.

— Могу подержать, — предложила Гиника. — И не обращай внимания на Ифем, нормально и в пиджаке.

— Спасибо, ничего страшного. Сам буду носить, в наказание за то, что вообще его надел. — Он поглядел на Ифемелу, в глазах — искра.

— Я не в том смысле, — сказала Ифемелу. — Просто тут так жарко, а пиджак на вид тяжелый.

— Мне нравится твой голос, — сказал он, едва не перебив ее.

Ифемелу никогда не терялась — прокаркала:

— Мой голос?

— Да.

Музыка заиграла опять.

— Потанцуем? — спросил он.

Она кивнула.

Он взял ее за руку и улыбнулся Гинике, словно милой дуэнье, чей долг исполнен. Ифемелу считала, что любовные романы «Миллза и Буна»^[46] — глупые, они с подругами, бывало, разыгрывали сценки оттуда: Ифемелу или Раньинудо изображали мужчину, а Гиника или Прийе — женщину, мужчина хватал женщину, женщина вяло сопротивлялась, а затем падала ему на грудь с пронзительными стонами, после чего все ржали. Но на оживлявшемся танцполе у Кайоде ее вдруг пронзило маленькой правдой

этих романов. И впрямь все так, потому что из-за мужчины живот напрягается и узел в нем не желает расслабляться, все суставы в теле разбалтываются, конечности отказываются двигаться в такт музыке, а все, что обычно не требует усилий, вдруг делается свинцовым. Одеревенело двигаясь, Ифемелу видела краем глаза, как Гиника наблюдает за ними растерянно, рот чуть приоткрыт, будто она не до конца верит в происходящее.

— Ты сказал вот прям «сельский пентюх», — проговорила Ифемелу, перекрикивая музыку.

— Что?

— Никто так не говорит — «сельский пентюх». Так только в книжках пишут.

— Расскажи мне, какие книжки ты читаешь, — отозвался он.

Он ее подначивал, а она не уловила шутку, однако все равно посмеялась. Потом-то она пожалела, что не запомнила каждое слово, сказанное ими друг другу, пока танцевали. Она запомнила лишь, что ее несло. Когда погасили свет и начался блюзовый танец, она хотела оказаться где-нибудь в темном углу у него в объятиях, но он сказал:

— Пойдем наружу, поболтаем.

Они сели на бетонные блоки за гостевым флигелем, рядом с чем-то похожим на туалет привратника — узким сарайчиком, откуда ветер доносил застойную вонь. Они говорили и говорили, жадно узнавая друг друга. Он рассказал, что отец у него умер, когда ему было семь, и он отчетливо помнит, как отец учил его кататься на трехколесном велосипеде на трехрядной улице рядом с их домом в студгородке, но иногда с ужасом понимал, что не в силах вспомнить отцово лицо, и как его переполняло ощущение предательства, и как он бросался всматриваться в фотографию в рамке на стене у них в гостиной.

— Твоя мама никогда не хотела снова замуж?

— Даже если б хотела, вряд ли пошла бы — из-за меня. Я хочу, чтобы она была счастлива, но не чтобы повторно выходила замуж.

— Я бы тоже этого хотела. А она правда подралась с другим преподавателем?

— Ты, значит, слышала эту байку.

— Говорят, ей поэтому пришлось уйти из Нсуккского университета.

— Нет, не дралась она. Она состояла в комиссии, и они выяснили, что тот профессор злоупотреблял фондами, и моя мама публично его обвинила, он рассердился, ударил ее и сказал, что не потерпит, чтобы с ним женщина так разговаривала. Ну, моя мама встала, заперла дверь в зале заседаний и

спрятала ключ у себя в лифчике. Сказала ему, что бить его не может, потому что он сильнее, но ему придется перед ней извиниться публично, при всех, кто видел, как он ее ударил. И он извинился. Но она понимала, что он не от души. Она сказала, что он извинился типа «ну ладно, извините, если вам так хочется, давайте ключ». Она в тот день вернулась домой злая не на шутку и говорила, как все изменилось и что это значит, раз теперь кто-то может просто взять и стукнуть другого человека. Она писала об этом служебные записки и статьи, и студсоюз в это втянулся. Люди говорили, дескать, как он мог ее ударить, она же вдова, и это ее раздражало еще больше. Она говорила, бить ее нельзя, потому что она полноценный человек, а не потому, что у нее нет мужа, чтоб за нее постоял. Некоторые ее студентки заказали себе футболки с надписью «Полноценный человек». Похоже, это ее прославило. Она обычно очень тихая, и друзей у нее немного.

— И она поэтому приехала в Лагос?

— Нет. Она планировала этот академический отпуск уже давно. Помню, первый раз она мне сказала, что мы на пару лет уедем, и я встал на уши — подумал, что мы в Америку, но потом она сказала, что поедет в Лагос, и я спросил: в чем смысл? С тем же успехом можно остаться и в Нсукке.

Ифемелу рассмеялась.

— Но хоть можно прилететь сюда на самолете из Нсукки.

— Да, но мы приехали по земле, — отозвался Обинзе, смеясь. — Зато теперь я счастлив, что мама выбрала Лагос, иначе мы бы с тобой не встретились.

— Или с Гиникой, — подначила она.

— Перестань.

— Твои пацаны тебя убьют. Тебе положено бегать за ней.

— Я бегая за тобой.

Этот миг она запомнит навсегда — эти слова. *Я бегая за тобой.*

— Я тебя недавно в школе видел. Даже спрашивал Кая о тебе, — сказал он.

— Что, правда?

— Видел тебя с Джеймзом Хедли Чейзом, у лаборатории. И сказал, во, точно, есть надежда. Она читает.

— Кажется, я их все читала.

— Я тоже. Какой у тебя любимый?

— «Мисс Шамвей машет волшебной палочкой».

— А у меня — «Хотите остаться в живых?».^[47] Я однажды всю ночь

не спал, лишь бы дочитать.

— Да, этот мне тоже нравится.

— А другие книги? Тебе какая классика нравится?

— Классика, *квэ*?^[48] Мне нравятся только детективы и остросюжетка.

Шелдон, Ладлэм, Арчер.

— Но и настоящие книги тоже читать надо.

Она глянула на него, его пыл ее позабавил.

— Ну ты и масложуй!^[49] Университетская цаца! Вот чему тебя мамаша-профессорша учит.

— Я серьезно. — Он умолк. — Я тебе дам попробовать. Мне американцы нравятся.

— Но и настоящие книги тоже читать надо, — передразнила она.

— А поэзия тебе как?

— Какое мы там последнее в классе разбирали? «Старый мореход»?^[50]

Скукотища.

Обинзе рассмеялся, и Ифемелу, не увлекшись темой поэзии, спросила:

— И что же Кайоде тебе сказал про меня?

— Ничего плохого. Ты ему нравишься.

— Не хочешь говорить, что он сказал.

— Он сказал: «Ифемелу — клевая девчонка, но с ней хлопот не оберешься. Она умеет спорить. Говорить умеет. Никогда не соглашается. А вот Гиника — просто милая девочка». — Он примолк, а затем добавил: — Он не знал, что именно я надеялся услышать. Мне девчонки, которые слишком милые, неинтересны.

— А, а! Ты меня оскорбляешь? — Ифемелу толкнула его в притворном негодовании. Ей всегда нравился собственный образ «хлопот не оберешься», образ не такой, как все, и иногда он представлялся ей панцирем, под которым безопасно.

— Сама понимаешь же, что я тебя не оскорбляю. — Он обнял ее за плечи и мягко притянул к себе, их тела впервые соприкоснулись, и она ощутила, как деревенеет. — Я думал, ты такая отличная, но дело не только в этом. Ты похожа на человека, который будет делать что-нибудь, только если сам хочет, а не потому что кто-то так делает.

Она оперлась головой о его голову и почувствовала — впервые — то, что часто будет с ним чувствовать: любовь к себе. Из-за него она себе нравилась. С ним ей было легко, словно ее кожа становилась ей по размеру. Она сказала ему, как хотела бы, чтобы Бог существовал, но боялась, что Его нет, как тревожилась о том, что ей пора понимать, чем заниматься в жизни,

но пока не понимала даже, что хочет изучать в университете. Говорить с ним о странном представлялось таким естественным. Раньше так никогда не было. Ее пугало доверие, такое внезапное и при этом такое полное, — и близость. Всего несколько часов назад они друг о друге не знали совсем ничего, и все же было меж ними в те мгновения перед танцем некое знание, и сейчас ей в голову лезло только то, что она хочет ему рассказать, сделать с ним вместе. Похожие черты их жизней — добрый знак: они оба — единственные дети в семье, между днями их рождений всего двое суток, городки, где они родились, в штате Анамбра. Он из Аббы, она — из Умунначи, а сами города в нескольких минутах друг от друга.

— А, а! Один мой дядя постоянно к вам в деревню ездит! — сказал он ей. — Я там с ним был несколько раз. У вас там жуткие дороги.

— Я знаю Аббу. Там дороги хуже некуда.

— Ты в свою деревню часто ездешь?

— Каждое Рождество.

— Всего раз в год! Я с мамой часто езжу, по крайней мере пять раз в год.

— Зато я лучше на игбо говорю, чем ты, спорим?

— Быть того не может, — сказал он и перешел на игбо: — *Ама м ату ину*. Я даже поговорки знаю.

— Да. Основные-то всем известны. Лягушка после обеда просто так не запрыгает.

— Нет. Я и серьезные знаю. *Акота ифе ка уби, э лез оба*. Коли выкопали шире фермы, амбар продан.

— Ха, ты меня проверяешь, что ли? — переспросила она, смеясь. *Ачо афу ади ако н'акпа дибиа*. Чего только нет в мешке у шамана.

— Неплохо, — отозвался он. — *Э гбуо дике н'огу уно, е луо на огу агу, э лоте я*. Если убил воина в домашней драке, вспомнишь его, когда на врага пойдешь.

Они поперебрасывались поговорками. Она вспомнила еще две и сдалась, а он все рвался вперед.

— Откуда ты все это знаешь? — спросила она, под большим впечатлением. — Многие ребята и на игбо-то не говорят, какое там поговорки.

— Я просто слушаю, когда дядья разговаривают. Думаю, отец бы одобрил.

Помолчали. Из гостевого флигеля, где собрались пацаны, плыл сигаретный дым. В воздухе висел шум вечеринки: громкая музыка, надсадные голоса, высокий смех ребят и девчонок, все куда расслабленнее

и свободнее, чем будут назавтра.

— Мы не поцелуемся разве? — спросила она.

Он с виду оторопел.

— А это еще с чего?

— Просто спросила. Мы тут уже давно сидим.

— Я не хочу, чтобы ты считала, будто мне только этого и надо.

— А как же то, чего я хочу?

— А чего ты хочешь?

— Сам-то как думаешь?

— Мой пиджак?

Она рассмеялась:

— Да, твой знаменитый пиджак.

— Ты меня смущаешь, — сказал он.

— Ты серьезно? Это *ты* смущаешь *меня*.

— Вряд ли что-то способно тебя смутить, — сказал он.

Они поцеловались, прижавшись лбами, держась за руки. Поцелуй его был упоителен, едва ли не головокружителен, совсем не как у ее бывшего дружка Мофе, у которого поцелуи, по ее мнению, были слишком слюнявые.

Когда она через несколько недель рассказала об этом Обинзе — «Где ты так целоваться научился? Совсем другое дело, не то что слюнявая возня с моим бывшим», — он расхохотался и повторил ее слова «слюнявая возня!», а затем объяснил, что дело не в методе, а в чувстве. Он делал то же самое, что и ее бывший, но разница в данном случае — в любви.

— Ты же понимаешь, что это была любовь с первого взгляда, для нас обоих, — сказал он.

— Для нас обоих? Навязываешься? Чего это ты говоришь за меня?

— Я просто объявляю факт. Перестань бузить.

Они сидели рядышком на парте на задах в его почти пустом классе. Задребезжал расстроенный звонок конца перемены.

— Да, это факт, — согласилась она.

— Что?

— Я тебя люблю. — Как легко эти слова выскочили, как громко. Она хотела, чтобы он слышал, — и чтобы слышал мальчишка, сидевший впереди, очкастый, задумчивый, и чтобы слышали девицы в коридоре у класса.

— Факт, — сказал Обинзе с улыбкой.

Из-за нее он вступил в дискуссионный клуб, а когда она заканчивала выступать, хлопал громче и дольше всех, пока друзья не говорили ему: «Обинзе, ну хватит уже». Из-за него она вступила в спортивную секцию и,

сидя на трибуне с его бутылочкой воды, смотрела, как он играет в футбол. Но любил он настольный теннис, потел и вопил за игрой, блестел от энергии, лупил по белому шарик, а она любовалась его мастерством, как он вставал вроде бы далеко от стола и все же ухитрялся дотянуться до шарика. Он уже был непобедимым чемпионом школы — как и в предыдущей школе, по его словам. Когда она играла с ним, он смеялся и приговаривал: «Если бить по шарик со злостью, не выиграешь-о!» Из-за нее друзья стали звать Обинзе «женская шаль». Однажды они с друзьями болтали о встрече после школы — поиграть в футбол, и кто-то сказал: «А Ифемелу тебе разрешила?» И Обинзе тут же ответил: «Да, но сказала, что у меня всего час». Ей нравилось, как смело он ни от кого не прячет их отношения, носит их на себе, как яркую рубашку. Иногда она боялась, что слишком счастлива. Погружалась в угрюмость, огрызалась на Обинзе или отдалялась от него. И ее радость металась в ней, хлопала крыльями внутри, словно ища, как бы вылететь наружу.

Глава 5

После вечеринки у Кайоде между Ифемелу и Гиникой все стало натянуто, возникла непривычная неловкость.

— Ты же понимаешь, я не знала, что оно вот так сложится, — говорила ей Ифемелу.

— Ифем, он смотрел на тебя с самого начала, — сказала Гиника и, показывая, что ей не обидно, подначила Ифемелу — дескать, вот, увела у меня парня без всяких усилий. Ее живость была напускной, чрезмерной, и Ифемелу обременило виной — и желанием возместить сторицей. Неправильно это вроде бы: близкой подруге Гинике, пригожей, приятной, любимой всеми Гинике, с которой никаких ссор, пришлось снизить и изображать, что ей все равно, хотя, когда б речь ни заходила об Обинзе, в ее тоне сквозила обида. «Ифем, у тебя на нас время-то найдется? Или сплошной Обинзе?» — спрашивала она.

И вот, когда однажды Гиника явилась в школу с темными кругами под покрасневшими глазами и сказала: «Папуля объявил, что мы в следующем месяце уезжаем в Америку», Ифемелу чуть не вздохнула с облегчением. Она будет скучать по своей подруге, но отъезд Гиники вынудил обеих отжать их дружбу насухо и выложить, освеженную, на солнышко, вернуться к тому, как оно прежде бывало.

Родители Гиники уже некоторое время обсуждали, как уйдут из университета и начнут все заново в Америке. Однажды, навещая Гинику у нее дома, Ифемелу услышала слова ее отца:

— Мы не бараны. Этот режим обращается с нами как с баранами, и мы уже ведем себя, словно мы стадо. Я уже много лет не могу заняться никаким серьезным исследованием, потому что каждый день организую забастовки и вещаю о невыплаченных зарплатах, а в классах даже мела нет. — Он был низкорослый и темный, а рядом с крупной пепельновласой мамой Гиники смотрелся еще мельче и темнее, нерешительнее, словно колебался, что же выбрать.

Когда Ифемелу доложила родителям, что семья Гиники наконец уезжает, отец вздохнул и сказал:

— Им повезло, хоть такой выбор есть.

А мама добавила:

— Благословенны они.

Но Гиника ныла и плакала, воображая картины печальной жизни в

чужой Америке, без друзей.

— Лучше б я тут с вами жила, а они пусть едут, — сказала она Ифемелу. Они все собрались дома у Гиники — Ифемелу, Раньинудо, Прийе и Точи — и сидели у нее в спальне, копаясь в одежде, которую Гиника с собой не брала.

— Ты, Гиника, главное, нос не задирай, когда вернешься, — сказала Прийе.

— Она вернется и будет серьезной американхой, как Биси, — сказала Раньинудо.

Все заржали — над словом «американха», пропитанным ехидством, надставленным против правил, и над Биси, девчонкой на класс младше. Та из короткой поездки в Америку вернулась со странным акцентом, делала вид, что больше не понимает йоруба, и принялась добавлять в конце любого английского слова смазанное «р».

— Ну, Гиника, серьезно, я бы что угодно отдала, лишь бы на твоём месте оказаться, — сказала Прийе. — Не понимаю, чего ты не хочешь ехать. Всегда же сможешь вернуться.

В школе все вились вокруг Гиники. Все хотели сходить с ней в буфет, повидаться после занятий, словно ее грядущий отъезд сделал ее еще более желанной. Ифемелу с Гиникой ошивались на перемене в коридоре, к ним прибились Большие Пацаны — Кайоде, Обинзе, Ахмед, Эменике и Осахон.

— Гиника, а куда именно в Америке ты едешь? — спросил Эменике. Он благоговел перед людьми, уезжавшими за рубеж. После того как Кайоде вернулся с родителями из поездки в Швейцарию, Эменике склонился перед ним — потрогать ботинки Кайоде, и проговорил: «Хочу к ним прикоснуться — они ходили по снегу».

— В Миссури, — сказала Гиника. — Отец нашел там работу.

— Твоя мать — американка, *аби*?^[51] У тебя, значит, американский паспорт?

— Да. Но мы туда не ездили с моего третьего класса.

— Американский паспорт — крутейшая штука, — сказал Кайоде. — Я бы хоть завтра свой британский на него обменял.

— Я б тоже, — сказала Йинка.

— Мне он чуть не достался-о, — сказал Обинзе. — Мне восемь месяцев было, когда родители свозили меня в Америку. Я все повторяю маме, что надо было ехать раньше и рожать меня там!

— Невезука, чувак, — сказал Кайоде.

— А у меня нет паспорта. Мы когда последний раз ездили, я к матери в паспорт был вписан, — сказал Ахмед.

— Я у матери в паспорте значился до третьего класса, когда отец сказал, что пора нам уже отдельные паспорта, — сказал Осахон.

— А я за рубеж вообще не выезжал, но отец обещал меня в университет отправить за границу. Подать бы прямо сейчас на визу, не дожидаясь, пока школу окончу, — сказал Эменике. Следом воцарилась полная тишина.

— Не бросай нас сейчас, погоди до окончания, — произнесла наконец Йинка, и они с Кайоде прыснули. Остальные тоже расхохотались, даже сам Эменике, но было за этим смехом колючее эхо. Они знали, что он врет: Эменике сочинял байки про своих богатых родителей, которых, всем известно, у него не было, — он совершенно утонул в нужде изобретать себе не свою жизнь. Разговор заглох, переключился на учителя математики, не знавшего, как решать системы уравнений.

Обинзе взял Ифемелу за руку, и они тихонько оставили компанию. Они это проделывали часто — незаметно уходили от друзей, садились в уголке в библиотеке или отправлялись гулять на улицу, за лаборатории. Они шли, и Ифемелу хотелось рассказать Обинзе, что она не понимает, как это — «вписан в паспорт к матери», что у ее матери и паспорта не было. Но Ифемелу ничего не сказала, шла рядом молча. Он в этой школе устроился даже лучше, чем она. Она была популярна, всегда во всех вечериночных списках, и на собраниях ее всегда называли в числе «первых трех» учеников у них в классе, и все же Ифемелу чувствовала, что окутана прозрачной дымкой чужеродности. Ее бы тут не было, если бы она не сдала так здорово вступительные экзамены, если бы ее отец не был упорно настроен отдать ее в школу, где «укрепляется и характер, и будущее». В начальной школе все было по-другому, полно детей вроде нее, чьи родители — учителя и госслужащие, ездившие на автобусе, и никаких шоферов в тех семьях не было. Ифемелу вспомнила удивление на лице Обинзе — удивление, которое он быстро скрыл, когда спросил: «Какой у тебя номер телефона?» — а Ифемелу ответила: «У нас нет телефона».

Сейчас он нежно сжимал ее руку. Восхищался ее прямолинейностью и тем, что она не такая, как все, но глубже увидеть, кажется, не мог. Находиться среди людей, ездивших за рубеж, для него было естественным. Обинзе свободно владел знаниями о всяких заграничных штуках, особенно американских. Все тут смотрели американские фильмы и обменивались выцветшими американскими журналами, а он знал подробности жизни американских президентов столетней давности. Все смотрели американские сериалы, а он знал, что Лиза Боне уходит из «Шоу Козби» и будет сниматься в «Сердце ангела», и о том, что у Уилла Смита были

громадные долги, прежде чем тот согласился сниматься в «Новоявленном принце Бель-Эйра». ^[52] «Ты смотришься черной американкой» — таков был его высший комплимент, каким Обинзе одарил Ифемелу, когда она наряжалась в какое-нибудь миленькое платье или заплетала волосы в толстые косы. Манхэттен для него — вершина. Он часто повторял: «Это нам не Манхэттен» или «Съезди на Манхэттен, глянь, как там». Он дал ей «Гекльберри Финна», страницы помяты перелистыванием, она взялась читать прямо в автобусе, но через несколько глав бросила. Наутро с решительным стуком положила книгу ему на парту.

— Нечитаемый бред, — сказала она.

— Книга написана на разных американских диалектах, — сказал Обинзе.

— И что? Я все равно не понимаю.

— Нужно терпение, Ифем. Если правда разберешься, там интересно, не захочешь бросить.

— Я уже бросила. Пожалуйста, держи при себе свои «настоящие книжки» и предоставь мне читать то, что мне нравится. И кстати, я по-прежнему выигрываю в скрэбл, мистер Читай-настоящие-книжки.

Сейчас они входили в класс, и она высвободила ладонь из его пальцев. Когда б ни возникало у нее такое настроение, ее пронзало паникой из-за любой мелочи, и обыденные события становились судьбоносными. На сей раз детонатором оказалась Гиника: она стояла у лестницы с рюкзаком на плече, лицо позолочено солнцем, и Ифемелу внезапно подумала, сколько у Гиники и Обинзе общего. Дом Гиники при университете Лагоса, тихий коттедж, сад, заросший бугенвиллеей, возможно, походил на дом Обинзе в Нсукке, и она представила, как Обинзе вдруг осознает, до чего лучше ему подходит Гиника, и радость, это хрупкое, сверкающее нечто между Ифемелу и Обинзе, исчезнет.

* * *

Как-то раз утром после собрания Обинзе сказал ей, что его мама приглашает ее в гости.

— Твоя мама? — переспросила ошарашенная Ифемелу.

— Думаю, она хочет познакомиться со своей будущей невесткой.

— Обинзе, давай серьезно!

— Помню, в шестом классе я привел одну девушку на прощальную

вечеринку, мама нас подвозила и подарила той девушке носовой платок. Сказала: «Леди носовой платок нужен всегда». Мама у меня бывает странной, *ша*.^[53] Может, хочет и тебе носовой платок выдать.

— Обинзе Мадувеси!

— Она раньше никогда такого не предлагала, но у меня и серьезной подруги раньше не было. Думаю, просто хочет познакомиться. Сказала, чтоб ты приходила на обед.

Ифемелу уставилась на него. Какая мать в своем уме пригласит девушку сына в гости? Странное дело. Само выражение «приходить на обед» — оно книжное. Если вы Парень и Девушка, в дом друг к другу вы не ходите, а записываетесь на продленку, во Французский клуб, куда угодно — чтобы видеться после школы. Ее родители, само собой, об Обинзе ничего не знали. Приглашение мамы Обинзе ее напугало и взволновало, она дни напролет ломала голову, как лучше одеться.

— Да просто будь собой, — сказала тетя Уджу, а Ифемелу ответила:

— Как же мне просто быть собой? Что это вообще значит?

И вот в один прекрасный день она все же отправилась в эти гости, простояла у двери квартиры сколько-то, пока собралась с духом и позвонила, внезапно пылко понадеявшись, что никого не окажется дома. Обинзе открыл.

— Привет. Мама только что пришла с работы.

В гостиной было просторно, на стенах никаких фотографий, одна лазоревая картина — портрет длинношейей женщины в тюрбане.

— Только это и наше. Остальное досталось вместе с квартирой.

— Мило, — промямлила Ифемелу.

— Не нервничай. Помни: она тебя сама позвала, — прошептал Обинзе, и тут появилась его мама.

Она походила на Онъеку Онвену, и сходство оказалось потрясающим: крупноногая, полногубая красавица, круглое лицо обрамлено коротким афро, безупречная кожа глубокого коричневого тона какао. Музыка Онъеки Онвену была для Ифемелу в детстве источником светящейся радости, который не померк и позднее. Ифемелу навсегда запомнила день, когда отец пришел домой с новым альбомом «В свете зари»: ^[54] лицо Онъеки Онвену на обложке стало откровением, и Ифемелу потом долго еще водила пальцем по этим чертам. Песни, когда б отец ни ставил эту пластинку, придавали квартире дух праздника, делали из отца человека более расслабленного, он подпевал этим песням, пропитанным женственностью, и Ифемелу виновато воображала, как отец женат на Онъеке Онвену, а не на

ее матери. Приветствуя мать Обинзе словами «Добрый вечер, ма», Ифемелу почти готова была, что та запоет в ответ — голосом столь же несравненным, как у Онъеки Онвену. Но голос оказался низким, глухим.

— До чего красивое у тебя имя. Ифемелунамма, — сказала она.

Ифемелу несколько секунд стояла язык проглотив.

— Спасибо, ма.

— Переведи, — сказала она.

— Перевести?

— Да, как бы ты перевела свое имя? Обинзе говорил тебе, что я немного перевожу? С французского. Я преподаю литературу — не английскую, между прочим, а другие литературы на английском, а переводы — это у меня увлечение. Так вот, твое имя в переводе с игбо на английский означает примерно «Сделано в славные времена» или «Сделанное красиво» — или как ты думаешь?

Ифемелу думать не могла. Было в этой женщине что-то, понуждавшее Ифемелу говорить что-нибудь умное, а в голове — пусто.

— Мама, она пришла с тобой познакомиться, а не переводить свое имя, — сказал Обинзе с шутливым отчаянием.

— У нас есть что-нибудь попить для гостьи? Ты суп вынул из морозилки? Пойдемте в кухню, — сказала мама. Она протянула руку и извлекла какую-то пылинку у него из волос, а затем отвесила ему легкий подзатыльник. От их привольной игривой манеры общения Ифемелу стало неловко. Все между ними было свободно, без страха последствий, совсем не такие у нее отношения с родителями.

Они готовили вместе: мама помешивала суп, Обинзе делал гарри,^[55] а Ифемелу подпирала стенку, потягивая колу. Она предложила помочь, но мама сказала:

— Нет, дорогая моя, может, в следующий раз, — словно не позволяла кому попало помогать на ее кухне. Она была милой и откровенной, даже радушной, но имелась в ней некая закрытость, нежелание обнажаться перед миром — то же и в Обинзе. Она научила сына уметь уютно пребывать внутри себя самого даже в толпе. — Какие у тебя любимые романы, Ифемелунамма? — спросила мама. — Обинзе читает сплошь американские, знаешь, да? Надеюсь, ты не такая опрометчивая.

— Мамочка, ты просто пытаешься заставить меня полюбить эту книгу. — Он махнул рукой на лежавшее на столе издание — «Суть дела» Грэма Грина.^[56] — Моя мама перечитывает эту книгу дважды в год. Не знаю почему, — обратился он к Ифемелу.

— Это мудрая книга. Истории человеческих жизней лишь тогда имеют значение, когда выдерживают проверку временем. Американские книжки, которые ты читаешь, — они легковесные. — Обернулась к Ифемелу: — Этот юноша слишком влюблен в Америку.

— Я читаю американские книжки, потому что за Америкой будущее, мамочка. И не забывай: твой супруг получил там образование.

— В те поры в Америку ездили учиться одни болваны. Считалось, что американские университеты на том же уровне, что британские старшие классы. Я того мужчину изрядно пообтесала, с тех пор как мы поженились.

— И несмотря на это ты оставляла свои вещи у него в квартире, чтобы отвадить других девушек?

— Я тебе говорила пропускать мимо ушей, что тебе там твой дядя плетет.

Ифемелу слушала заворуженно. Мать Обинзе, ее прекрасное лицо, ее ученость, белый фартук в кухне — ничего общего ни с одной известной Ифемелу матерью. По сравнению с ней ее отец — неуч, со всеми его чересчур громоздкими словами, а мама — мелкая провинциалка.

— Руки можешь помыть над раковиной, — сказала ей мама Обинзе. — Кажется, вода еще есть.

Все сели за обеденный стол, поели гарри с супом, Ифемелу изо всех сил старалась, следуя заветам тети Уджу, «быть собой», хотя все еще не понимала, что это «собой» означает. Она казалась себе недостойной, не способной проникнуться вместе с Обинзе и его матерью духом этого дома.

— Суп очень славный, ма, — сказала она вежливо.

— О, это Обинзе готовил, — сказала мама. — Он тебе говорил, что умеет готовить?

— Да, но я не думала, что он способен сварить суп, ма, — отозвалась Ифемелу.

Обинзе ухмылялся.

— А ты дома готовишь? — спросила мама.

Ифемелу хотела соврать, сказать, что готовит и любит это занятие, но вспомнила слова тети Уджу.

— Нет, ма, — выговорила она. — Мне не нравится готовить. Я бы «Индоми»^[57] ела круглосуточно.

Мама рассмеялась, словно очарованная прямоотой Ифемелу, и, когда смеялась, походила на Обинзе, только лицом помягче. Ифемелу ела поданное медленно, размышляя, как желала бы остаться тут с ними, в этом их обаянии, навеки.

* * *

По выходным, когда мать Обинзе пекла, в их квартире пахло ванилью. На пироге поблескивали кусочки манго, маленькие бурые кексы наполнились изюмом. Ифемелу разводила масло и чистила фрукты. У нее дома мама не пекла, а духовку обжили тараканы.

— Обинзе только что сказал «задок», ма. Он сказал, оно лежит в задке вашей машины, — сказала Ифемелу. В их американо-британских стычках она всегда была на стороне его мамы.

— Задок — это у тапочек, а не у автомобиля, мой дорогой сын, — отозвалась его мама. Когда Обинзе произносил «коришневый» с «ш», его мама обращалась к Ифемелу: «Ифемелунамма, прошу тебя, передай моему сыну, что я не говорю по-американски. Пусть он, пожалуйста, скажет все то же самое по-английски».

После обеда они смотрели фильмы в видеозаписи. Садись в гостиной, вперялись в экран, и Обинзе говорил:

— Мамуля, *челу*, ^[58] дай послушать, — когда его мама время от времени комментировала убедительность той или иной сцены, или предвосхищала события, или рассуждала вслух, в парике кто-нибудь или нет. Как-то в воскресенье посреди кино мама ушла в аптеку — за лекарством от аллергии.

— Я забыла, что они сегодня закрываются рано, — сказала она.

Не успел завестись ее двигатель — с глухим ревом, — как Ифемелу с Обинзе ринулись к нему в спальню и рухнули на кровать, целуясь и ласкаясь, закатывая одежду, сдвигая ее, стаскивая наполовину. Теплая кожа. Дверь и форточка открыты, оба чутко прислушивались, не возвращается ли мамина машина. Заслышав ее, оба в считанные секунды оправились, вернулись в гостиную, нажали на «воспр.» видеомагнитофона.

Мама Обинзе вошла и глянула на экран.

— Когда я уезжала, была та же сцена, — сказала она тихо. Пала ледяная тишина, даже по фильму. А затем в окно вплыли вопли торговли фасолью. — Ифемелунамма, идем со мной, — произнесла мама, направляясь в глубь квартиры.

Обинзе привстал, но Ифемелу остановила его.

— Не надо, она позвала меня.

Его мама пригласила ее к себе в спальню, попросила присесть на кровать.

— Если между тобой и Обинзе что-то произойдет, ответственность на

вас обоих. Но природа несправедлива к женщинам. Дело делается двоими, а если возникают последствия — бремя только на одном. Понимаешь?

— Да. — Ифемелу упорно отводила взгляд, вперяла его в черно-белый линолеум.

— Вы с Обинзе занимались чем-то серьезным?

— Нет.

— Я тоже была молода. Я знаю, каково это — влюбиться в юности. Хочу дать тебе совет. Я осознаю, что в конце концов ты поступишь, как сочтешь нужным. Мой совет: погоди. Можно любить, не занимаясь любовью. Это прекрасный способ явить свои чувства, но с ним приходит ответственность, громадная ответственность, и торопиться незачем. Советую тебе подождать, пока вы по крайней мере не поступите в университет, подождать, пока не станешь самой себе хозяйкой чуть побольше. Понимаешь?

— Да, — сказала Ифемелу. Она не понимала, что означает «быть самой себе хозяйкой».

— Я знаю, что ты умная девочка. У женщин здравого смысла больше, чем у мужчин, и тебе придется быть здравомыслящей. Убеди его. Вы оба должны договориться, что подождете, что спешки нету.

Мама Обинзе умолкла, и Ифемелу задумалась, договорила ли она. Тишина звенела у нее в голове.

— Спасибо, ма, — сказала Ифемелу.

— А когда решите начать, я хочу, чтобы ты пришла ко мне. Хочу знать, что ты ответственная.

Ифемелу кивнула. Она сидела на кровати матери Обинзе, в спальне у этой женщины, кивая и соглашаясь доложить ей, когда она начнет заниматься сексом с ее сыном. Но стыда в ней при этом не было. Вероятно, все дело в тоне мамы, в том, какой он ровный, какой нормальный.

— Спасибо, ма, — повторила Ифемелу, поглядев наконец маме в лицо — открытое, ничем не отличавшееся от того, каким оно было обычно. — Я приду.

Она вернулась в гостиную. Обинзе вроде бы нервничал, сидел на краю журнального столика.

— Прости, пожалуйста. Я с ней поговорю, когда ты уйдешь. Пусть со мной беседует, если надо.

— Она сказала, чтоб я больше никогда сюда не являлась. Что я веду ее сына по кривой дорожке.

Обинзе сморгнул.

— Что?

Ифемелу рассмеялась. Позднее изложила ему, о чем они говорили с его матерью, и он покачал головой.

— Мы должны ей доложить, когда начнем? Это еще что за чепуха? Она, может, и презервативы нам покупать будет? Чего она вообще?

— Да кто тебе сказал, что мы когда-нибудь что-нибудь начнем?

Глава 6

На неделе тетя Уджу спешила домой — ополоснуться в душе и ждать Генерала, а по выходным слонялась в ночнушке, читала, готовила или смотрела телевизор, потому что Генерал уезжал в Абуджу к жене и детям. Она избегала солнечных лучей и натиралась кремами из изящных флаконов, чтоб кожа у нее, и так-то от природы светлая, сделалась еще светлее, здоровее и блестела. Иногда, когда она раздавала указания своему шоферу Соле, или садовнику Бабе Цветику, или двум своим домработницам — уборщице Иньянг и кухарке Чикодили, — Ифемелу вспоминала тетю Уджу, деревенскую девушку, привезенную в Лагос много лет назад, на которую мать Ифемелу безобидно жаловалась, что та, дескать, слишком дремучая, все время стены трогает, — на ногах, что ли, эти деревенские люди стоять не могут, не повозив ладонями по стенке? Ифемелу размышляла, воспринимает ли себя тетя Уджу глазами той девочки, какой когда-то была. Вероятно, нет. Тетя Уджу обосновалась в своей новой жизни с легкостью, сам Генерал впитал ее в себя даже больше, чем ее новообретенное богатство.

Ифемелу, впервые посетив тетин дом в «Дельфине», не хотела уезжать оттуда. Ванная заворожила ее: кран с горячей водой, напор струи в душе, розовый кафель. Занавески в спальне из грубого шелка, и Ифемелу сказала тете Уджу:

— А, а, зряшная трата ткани — на занавески! Давай из них платье сошьем.

В гостиной стеклянные двери разъезжались и закрывались бесшумно. Даже в кухне кондиционер. Ифемелу хотела здесь жить. Друзья бы обалдели: она вообразила, как они сидят в маленькой комнате по соседству с гостиной, которую тетя Уджу называла «телекомнатой», и смотрят программы по спутниковому каналу. И она попросила родителей отпустить ее к тете Уджу пожить в будни.

— От нее до школы ближе, не придется ездить на двух автобусах. Я бы уезжала в понедельник и возвращалась в пятницу, — сказала Ифемелу. — Я бы тете Уджу по дому помогала.

— Насколько я понимаю, у тети Уджу достаточно помощников, — проговорил отец.

— Хорошая мысль, — сказала мама отцу. — Там ей будет удобно учиться, по крайней мере каждый день свет есть. Не придется домашние

задания делать при керосине.

— Пусть навещает Уджу после школы и по выходным. Но жить там она не будет, — сказал отец.

Мама примолкла, оторопев от его решительности.

— Ладно, — сказала она, бросив на Ифемелу беспомощный взгляд.

Дулась Ифемелу долго. Отец часто баловал ее, потакая в ее капризах, но в этот раз он не обращал внимания на ее обиду, ее нарочитую молчанку за обеденным столом. Делал вид, что не заметил, когда тетя Уджу привезла им новый телевизор. Сидел на потрепанном диване, читал потрепанную книгу, пока шофер втаскивал бурую коробку «Сони». Мама Ифемелу запела церковную песню — «Господь подарил мне победу, вознесу его еще выше», ее часто пели при сборе денег после службы.

— Генерал привез больше, чем мне в доме нужно. Этот некуда было ставить, — пояснила тетя Уджу, не обращаясь ни к кому в отдельности, пытаясь отмахнуться от благодарностей. Мама открыла коробку, бережно вытащила пенопластовые прокладки.

— Наш старей-то уже ничего и не показывает, — сказала она, хотя все знали, что вполне еще показывает. — Ты посмотри, какой он тоненький! — добавила она. — Ты глянь!

Отец оторвался от книги.

— Да, верно, — сказал он и опустил взгляд.

* * *

Вновь заходил хозяин. Вломился в квартиру, проскочил мимо Ифемелу в кухню, добрался до щитка, выдернул провод и отрезал их от того небольшого электричества, какое им перепало.

Когда он ушел, отец проговорил:

— Вот же хамство. Требовать с нас плату за электричество за два года. Мы год оплатили.

— Но само жилье-то — нет, — сказала мама, в тоне — тончайший упрек.

— Я поговорил с Акунне о займе, — сказала папа. Акунне, папин почти двоюродный брат, ему не нравился. То был зажиточный человек из его родного города, к кому все таскались со своими бедами. Отец называл Акунне дремучим чурбаном, транжирой.

— И что он сказал?

— Сказал, чтоб я заглянул в следующую пятницу. — Пальцы у папы дрожали — казалось, он подавляет в себе некий порыв. Ифемелу быстро отвела взгляд, надеясь, что он не видел, как она за ним наблюдает, и попросила объяснить один трудный вопрос из домашнего задания. Чтобы отвлечь его, чтобы показалось, будто жизнь еще могла состояться.

* * *

Отец не просил тетю Уджу о помощи, но если тетя Уджу предлагала деньги, то не отказывался. Все лучше, чем быть в долгу у Акунне. Ифемелу рассказала тете Уджу, как хозяин стучал к ним в квартиру — громко, даже чересчур, в угоду соседям — и швырялся оскорблениями в отца.

— Ты не мужик, что ли? А ну плати мои деньги. Я тебя вышвырну из квартиры, если до следующей недели не заплатишь!

Ифемелу изобразила хозяина, и по лицу тети Уджи скользнула призрачная печаль.

— Как этот никчемный человек может позорить моего брата? Я попрошу Огу дать мне денег.

Ифемелу замерла.

— У тебя нет денег?

— Мой счет почти пуст. Но Ога мне даст. Ты в курсе, что мне не платили зарплату с самого начала работы? Каждый день у бухгалтеров новая история. Все началось с того, что моей должности и не существует официально, хотя я ежедневно принимаю пациентов.

— Но врачи же бастуют, — возразила Ифемелу.

— Военные госпитали платят все равно. Хотя заработков моих на такой съем не хватило бы, *ша*.

— У тебя нет денег? — переспросила Ифемелу медленно, чтобы окончательно прояснить, чтобы убедиться. — А, а, тетя, но как так можно — без денег-то?

— Ога мне больших денег никогда не дает. Он платит по всем счетам и хочет, чтобы я просила все, что мне нужно. Некоторые мужчины — они такие.

Ифемелу вытарацилась. Тетя Уджу, у нее большой розовый дом с громадной спутниковой тарелкой, торчащей на крыше, у нее в генераторе дизтоплива под завязку, у нее холодильник забит мясом — и при этом никаких денег на счете.

— Ифем, не надо такое лицо, будто кто-то умер! — Тетя Уджу рассмеялась с обычной ехидцей. Посреди завалов этой ее новой жизни она вдруг показалась маленькой и растерянной — палевый ларчик для украшений на туалетном столике, шелковое платье, брошенное на постель, — и Ифемелу стало за нее боязно.

* * *

— Он дал мне даже больше, чем я попросила, — сказала тетя Уджу Ифемелу в следующие выходные, чуть улыбнувшись, будто позабавленная поступком Генерала. — После парикмахерской поедем домой, отдам брату.

Ифемелу оторопела, узнав, во сколько обходилось тете Уджу выпрямление волос в салоне; высокомерные парикмахерши примеривались к каждой входящей клиентке, скользили взглядами с макушки до пят, решая, сколько внимания уделить той или иной. Вокруг тети Уджу они увивались и суетились, присаживались в поклоне, приветствуя, воспевали ее сумочку и туфли. Ифемелу завороченно наблюдала. Здесь, в лагосской парикмахерской, разные чины имперской женственности проявлялись отчетливее всего.

— Ох уж эти девицы. Я все ждала, что они возденут руки и начнут умолять, чтоб ты погадила и позволила им поклоняться и этому, — сказала Ифемелу, когда они ушли из салона.

Тетя Уджу расхохоталась и огладила шелковистые накладные пряди, спадавшие ей на плечи, — китайские, последняя модель, блестящие, прямее некуда, и никогда не перепутываются.

— Знаешь, мы живем в подхалимской экономике. Величайшая беда этой страны — не коррупция. Беда в том, что есть много квалифицированных людей, занятых не тем, чем должны бы, потому что они никому не лизут задницу, или не знают, какую задницу лизнуть, или даже не знают, как это — лизать задницу. Мне повезло — я лизу правильную задницу. — Она улыбнулась. — Простая удача. Ога сказал, что я хорошо воспитана, что я не то что прочие лагосские девицы, которые спят с ним с первой же ночи, а наутро выдают список, что он им должен купить. Я тоже переспала с ним сразу, но ни о чем не попросила — вот дура, если вдуматься, — но спала я с ним не потому, что мне от него что-то надо. Ах эта штука под названием власть. Меня влекло к нему, хоть у него зубы, как у Дракулы. Меня притягивала его власть.

Тете Уджу нравилось говорить о Генерале, разные варианты одной и той же истории, повторенные, обсмакованные. Ее шофер донес ей — она завоевала его благодарностью, организовав его жене дородовые осмотры и прививки ребенку, — что Генерал велел докладывать ему, подробно, сколько времени и где Уджу проводит, и всякий раз, когда рассказывала об этом, тетя Уджу вздыхала в конце:

— Неужели он думает, что я не смогу видетсья с другим мужчиной втайне от него, если пожелаю? Я просто не желаю.

Они сидели в холодной утробе «мазды». Шофер выезжал с территории парикмахерской, тетя Уджу поманила привратника, выкрутила окно вниз и дала ему немного денег.

— Спасибо, мадам! — сказал он и козырнул.

Она совала найровые банкноты всем работникам салона, охранникам на входе, полицейским на перекрестках.

— С их зарплат и одному-то ребенку школу не оплатишь, — приговаривала тетя Уджу.

— Этих грошей, которые ты им подаешь, на школьную оплату не хватит, — возражала Ифемелу.

— Зато он позволит себе какую-нибудь мелочь, у него улучшится настроение, и он сегодня вечером жену не станет колотить, — возразила тетя Уджу. Посмотрела в окно и сказала: — Тормози, Сола, — захотела хорошенько рассмотреть аварию на Осборн-роуд:^[59] автобус влетел в автомобиль, передок автобуса и зад машины всмятку, оба водителя верещат друг на друга, их разделяет растущая толпа. — Откуда эти люди? Откуда они берутся, когда авария? — Тетя Уджу откинулась на сиденье. — Знаешь, я уже и забыла, что такое ездить на автобусе. Так легко ко всему этому привыкаешь.

— Дойди до Фаломо^[60] да сядь в автобус, — сказала Ифемелу.

— Это не то же самое. И никогда уже не будет, раз есть другие варианты. — Тетя Уджу посмотрела на нее: — Ифем, брось тревожиться за меня.

— Я и не тревожусь.

— Ты тревожишься с тех пор, как я тебе сказала о своем счете.

— Если б так себя вел кто-то другой, ты бы сказала, что она дура.

— Я бы даже тебе не советовала так поступать. — Тетя Уджу отвернулась к окну. — Он изменится. Я заставлю его измениться. Нужно просто не торопиться.

Дома тетя Уджу вручила папе пластиковый пакет, набитый наличными.

— Плата за квартиру, за два года, брат, — сказала она со стеснительной небрежностью и пошутила на тему дырки у него на майке. В лицо ему она не смотрела, пока говорила, а он — ей, пока благодарил.

* * *

У Генерала были пожелтевшие глаза, что навело Ифемелу на мысль о его детстве впроголодь. Крепкое коренастое тело говорило о драках, которые он сам затевал и выигрывал, а торчавшие из-под губ зубы придавали ему смутно угрожающий вид. Его веселое мужланство Ифемелу удивило.

— Я деревенский мужик! — объявил он радостно, словно извиняясь за капли супа, летевшие ему на рубашку и на стол, когда он ел, или за громкую отрыжку после. Он приезжал вечерами, облаченный в зеленый мундир, при нем — один-два бульварных журнальчика, а его адъютант, услужливо семеня следом, нес чемоданчик и клал его на обеденный стол. Журнальчики Генерал забирал с собой редко, и экземпляры «Винтажных», «Первых людей» и «Лагосской жизни» захламляли квартиру тети Уджу, сплошь размытые фотоснимки и кричащие заголовки.

— Знала бы ты, чем эти люди занимаются, э, — приговаривала тетя Уджу, постукивая наманикюренным ноготком по журнальной фотографии. — Их настоящие истории — они даже не в журналах. Ога — вот кто суть-то знает. — И она рассказывала о каком-нибудь мужчине, занимавшемся сексом с каким-то большим генералом, чтоб заполучить доступ к нефти, или о том, что к главе государства еженедельно возят самолетом заграничных проституток. Она пересказывала эти байки с восторженным весельем, словно думала, будто осведомленность Генерала о гнусных сплетнях — обаятельный и простительный каприз. — Ты знаешь, он боится уколов? Целый Генерал командования, а при виде иглы пугается! — сказала тетя Уджу тем же тоном. С ее точки зрения, это было очаровательно.

Ифемелу не в силах была усмотреть в Генерале очарование — с этими его шумными неотесанными манерами, в том, как он шлепал тетю Уджу по задку, когда они отправлялись наверх, приговаривая: «Это все мне? Это все мне?» И как он болтал и болтал, не обращая внимания ни на какие попытки его перебить, пока не досказывал до конца. Одна из его любимых баек, он часто повторял ее Ифемелу, попивая «Звезду»^[61] после ужина, — о том, до

чего тетя Уджу не такая, как все. Он излагал ее самодовольным тоном, словно эта ее отличность от других отражала его хороший вкус.

— Когда я впервые сказал ей, что собираюсь в Лондон, и спросил, чего она хочет, она выдала мне список. Я, не глядя, сказал, дескать, знаю, чего ей надо. Духи, туфли, сумочку, часы, тряпки небось? Видал я лагосских девушек. Но знаешь, что там было? Одни духи и четыре книги! Потрясающе. Чаи.^[62] Я битый час проторчал в книжной лавке на Пикадилли. Купил ей двадцать книжек! Ну какая еще лагосская лялька книжек попросит?

Тетя Уджу смеялась, ни с того ни с сего по-девчачьи податливо. Ифемелу прилежно улыбалась. Думала, что это недостойно и безответственно: этот старый женатый мужчина рассказывает истории про тетю Уджу — будто показывает нечистое нижнее белье. Она пыталась смотреть на него глазами тети Уджу — как на человека чудесного, человека, искушенного в земных удовольствиях, — но у нее не получалось. Ифемелу сознавала легкость бытия, радость тети Уджу по будням — сама она чувствовала себя так же, ожидая встречи с Обинзе после школы. Но с тетей Уджу и Генералом было иначе, неправильно, зря тетя Уджу чувствует такое к Генералу. Бывший возлюбленный тети Уджу, Олуджими, был совсем другой — пригожий, с приятным голосом, весь неброско лощеный. Они были вместе почти все университетские годы, видишь их рядом — и сразу понимаешь, почему они вместе.

— Я из него выросла, — сказала тетя Уджу.

— Разве когда вырастаешь вот так, не переходишь к чему-то лучшему? — спросила Ифемелу. Тетя Уджу рассмеялась, будто это и впрямь шутка.

В день переворота близкий друг Генерала позвонил тете Уджу и спросил, не с ней ли он. В верхах начались волнения: кое-кого из военных чинов уже арестовали. Генерала у тети Уджу не оказалось, она не знала, где он, забегала вверх-вниз по своей двухуровневой квартире, растревожилась, бросилась звонить, но все без толку. Вскоре начала задыхаться, дышала с трудом. Паника переросла в приступ астмы. Она хватала ртом воздух, тряслась, воткнула себе в руку шприц, попыталась вколоть лекарство, капли крови запятнали белье, Ифемелу вылетела на улицу и замолотила в дверь соседки, у которой сестра тоже была врачом. Наконец Генерал позвонил и сообщил, что с ним все в порядке, переворот не состоялся и с главой государства все хорошо; тетя Уджу перестала трястись.

В мусульманский праздник, один из тех двухдневных, когда немусульмане в Лагосе говорили любому, кого можно было счесть мусульманином, обычно привратникам — выходцам с севера, «Счастливой Саллы»,^[63] а по НТВ без конца показывали, как люди режут баранов, Генерал пообещал заехать — впервые собирался провести официальный выходной с тетей Уджу. Все утро она проторчала в кухне, надзирая за Чикодили, время от времени громко напевала, была с Чикодили несколько фамильярнее обыкновенного, чуточку слишком поспешно смеялась с нею вместе. Наконец готовка завершилась, дом пропах специями и соусами, и тетя Уджу отправилась наверх принять душ.

— Ифем, иди сюда, помоги, пожалуйста, убрать у меня там волосы. Ога сказал, они ему мешают! — проговорила тетя Уджу, смеясь, а затем улеглась на спину, раскинула и задрала ноги повыше, подложив под себя старый бульварный журнал, и Ифемелу взялась за мыло для бритья.

Тетя Уджу покрывала лицо отшелушивающей маской, но тут позвонил Генерал и сообщил, что приехать уже не сможет. Тетя Уджу, с лицом упыря — белым как мел, кроме кожи у глаз, — положила трубку, отправилась в кухню и принялась убирать еду в пластиковые контейнеры, прятать в холодильник. Чикодили взирала растерянно. Тетя Уджу возилась лихорадочно, дергала ручку холодильника, хлопала дверками буфета и, толкнув котелок с джоллофом, сбила кастрюлю с эгуси^[64] с плиты. Воззрилась на желтовато-зеленую массу, растекшуюся по кухонному полу, словно не понимая, как это случилось. Повернулась к Чикодили и заорала:

— Чего уставилась, будто муму?^[65] Давай убирай это все!

Ифемелу наблюдала за всем этим с порога кухни.

— Тетя, кричать тут надо на Генерала.

Тетя Уджу замерла, глаза выпучены от бешенства.

— Ты со мной, что ли, так разговариваешь? Я тебе ровесница, что ли?

Тетя Уджу бросилась на нее. Ифемелу не ожидала, что тетя Уджу ее стукнет, но когда удар ладонью наотмашь все же прилетел Ифемелу в лицо и на щеке проступили следы от пальцев, со звуком, что донесся словно бы издалека, — не удивилась. Они вытаращились друг на друга. Тетя Уджу открыла рот, будто собралась что-то сказать, но промолчала и ушла наверх. Обе понимали, что теперь между ними кое-что будет по-другому. Тетя Уджу не спустилась вплоть до самого вечера, когда явились в гости Адесува и Уче. Она именовала их «подругами в кавычках». «Собираюсь в

парикмахерскую с моими подругами в кавычках», — говаривала она, в глазах — тень смеха. Она знала, что подруги они ей лишь потому, что она любовница Генерала. Но они ее веселили. В гости приходили настойчиво, сравнивали свои соображения о покупках и путешествиях, просили ее ходить с ними на вечеринки. Странно это — что тетя Уджу знала о них и чего не знала, сказала она как-то раз Ифемелу. Знала, что у Адесувы есть земля в Абудже, подаренная ей, когда она встречалась с главой государства, и что один известный состоятельный человек из хауса купил Уче бутик в Сурулере,^[66] однако не знала, сколько у Адесувы или Уче братьев и сестер, где живут их родители, учились ли эти женщины в университетах.

Чикодили впустила их. На них были вышитые кафтаны, китайские накладные пряди струились по спинам, пряные духи, речь — сплошь матерая бывалость, смех отрывистый, ехидный. «Говорила я ему, покупал бы на мое имя-о. Знала ж, не даст он никаких денег, пока не скажешь, что кто-то заболел. Ну конечно, он не знает, что я счет в банке открыла». Они собирались на вечеринку Саллы на Виктории, зашли за тетей Уджу.

— Что-то мне не хочется, — сказала им тетя Уджу, пока Чикодили подавала апельсиновый сок, пакет на подносе, рядом два стакана.

— А, а. Чего это? — спросила Уче.

— Серьезные Большие Люди придут, — сказала Адесува. — Когда с кем-нибудь познакомишься — не угадать.

— Не хочу я ни с кем знакомиться, — отозвалась тетя Уджу, и все примолкли, будто каждой нужно было перевести дух: слова тети Уджу — порыв ветра, разметавший их предубеждения. Тетя Уджу должна желать знакомств с мужчинами, ушки на макушке, а Генерала считать вариантом, который можно обменять на лучший. Наконец одна из них, то ли Адесува, то ли Уче, сказала:

— Этот твой апельсиновый сок дешевой марки-о! Ты «Просто сок»^[67] не покупаешь больше? — Тепловатая шуточка, но все рассмеялись — чтобы разрядить обстановку.

После того как они ушли, тетя Уджу подошла к обеденному столу, за которым Ифемелу читала.

— Ифем, я не знаю, что на меня нашло. *Ндо*.^[68] — Она взяла Ифемелу за запястье, а затем провела рукой, едва ли не созерцательно, по тисненому заголовку романа Сидни Шелдона. — Должно быть, я спятила. У него пивное пузо, зубы, как у Дракулы, жена, дети — и он старый.

Впервые в жизни Ифемелу почувствовала себя старше тети Уджу, мудрее и сильнее тети Уджу и пожалела, что не может вырвать ее из всего

этого, встряхнуть и вернуть к прежней, с ясным зрением, к той, что не возлагает надежд на Генерала, раболепствуя перед ним, бреясь для него, вечно готовой ретушировать его недостатки. Так не должно быть. Ифемелу слегка позлорадствовала, когда позднее подслушала, как тетя Уджу кричит в трубку:

— Чепуха! Ты с самого начала знал, что собираешься в Абуджу, зачем я тогда тратила время на приготовления!

У торта, который наутро доставил шофер, с надписью голубой глазурью «Прости меня, любовь моя», было горькое послевкусие, но тетя Уджу несколько месяцев хранила его в морозилке.

* * *

Беременность тети Уджу грянула, как внезапный звук в ночной тиши. Она приехала к ним домой в исшитом блесками бубу,^[69] сверкавшем на свету, блестящем, как струящееся небесное видение, и сказала, что хотела бы доложить обо всем родителям Ифемелу, пока они не узнают из сплетен сами.

— *Ади м име*,^[70] — сказала она просто.

Мать Ифемелу расплакалась — громко, театрально навзрыд, оглядываясь по сторонам, словно видела вокруг себя осколки собственной личной истории.

— Боже, за что ты оставил меня?

— Я не планировала, само случилось, — сказала тетя Уджу. — Забеременела от Олуджими, еще в университете. Сделала тогда аборт, больше не буду. — Слово «аборт», грубое и прямое, рубануло воздух в комнате, потому что все знали, чего недоговаривает мама: уж конечно есть способы с бедой тети Уджу управиться. Отец Ифемелу отложил было книгу, но тут вновь взял ее в руки. Откашлялся. Утешил жену.

— Ну, спрашивать о намерениях этого мужчины я не могу, — сказал он наконец тете Уджу. — А потому следует спросить о твоих намерениях.

— Буду рожать.

Отец подождал, пока она скажет еще что-нибудь, но тетя Уджу умолкла, и отец откинулся на спинку дивана, потрясенный.

— Ты взрослый человек. Не такое я тебе прочил, Обиануджу, но ты взрослая.

Тетя Уджу подошла и присела на подлокотник. Заговорила тихо,

примиряюще, тоном странным из-за его обыденности, однако без фальши — собранно.

— Брат, я и себе такого не прочила, но так вышло. Прости, что разочаровываю тебя после всего, что ты для меня сделал, и умоляю меня простить. Впрочем, я эти обстоятельства использую изо всех сил. Генерал — ответственный человек. Он о своем ребенке позаботится.

Отец Ифемелу безмолвно пожал плечами. Тетя Уджу обняла его, словно утешение сейчас нужно было ему.

* * *

Позднее эта беременность стала видеться Ифемелу символической. Она воплотила начало конца, из-за нее все далее казалось стремительным, месяцы спешили, время несло вперед. Тетя Уджу, вся в ямочках от жизнелюбия, лицо сияет, ум занят планами, живот выпирает. Раз в несколько дней она придумывала новое имя девочке.

— Ога счастлив, — говорила она. — Счастлив, что даже в его возрасте способен забить гол, хоть и старик!

Генерал стал заезжать чаще, иногда и по выходным, привозил ей грелки, травяные пилюли, всякое, что, по слухам, было полезно при беременности. Сказал ей:

— Конечно, рожать будешь за границей, — и спросил, где она предпочитает — в Америке или в Англии? Он хотел, чтоб в Англии, и тогда сможет поехать с ней: американцы запретили въезд высокопоставленным чинам из военного правительства. Но тетя Уджу выбрала Америку, чтобы ее ребенок мог получить там гражданство. Планы составлены, больница выбрана, меблированный кондоминиум в Атланте снят.

— Что такое «кондоминиум» вообще? — спросила Ифемелу.

Тетя Уджу пожала плечами.

— Кто его знает, что американцы имеют в виду? Лучше у Обинзе спроси, он-то знает. Во всяком случае, это жилье. И у Оги там люди, они мне помогут.

Узнав от своего шофера, что жена Генерала прослышала о беременности и пришла в ярость, тетя Уджу несколько сдулась; похоже, произошла напряженная встреча его и ее родственников. Генерал о жене почти не говорил, но тетя Уджу знала достаточно: супруга Генерала, юрист, бросила работу, чтобы растить четверых его детей в Абудже, на газетных

фотографиях смотрелась женщиной дородной и приятной.

— Знать бы, что она думает... — сказала тетья Уджу созерцательно.

Пока она была в Америке, Генерал велел выкрасить одну спальню в сияющий белоснежный. Приобрел детскую кроватку с ножками, словно изящные свечи. Накупил мягких игрушек и с избытком плюшевых мишек. Иньянг усадила их в ряд на кроватке, нескольких пристроила на полку и, решив, что никто не заметит, одного забрала к себе в комнату. У тети Уджу родился мальчик. По телефону голос у нее был хмельной, восторженный:

— Ифем, он такой лохматый! Представляешь? Какая жалость!

Она назвала его Дике в честь своего отца и дала ему свою фамилию, из-за чего мама Ифемелу рассердилась и взъелась.

— У ребенка должна быть фамилия отца, или этот человек собирается отказаться от своего ребенка? — вопрошала мама, пока они все сидели в гостиной и усваивали новость об этом рождении.

— Тетья Уджу сказала, что проще дать ребенку ее фамилию, — сказала Ифемелу. — И он разве похож на человека, который отказывается от ребенка? Тетья Уджу сказала, что он даже поговаривал, будто придет платить за нее невестин выкуп.

— Не приведи Господи, — сказала мама, чуть ли не выплевывая слова, и Ифемелу вспомнила о жарких молитвах за наставника тети Уджу.

Мама, когда тетья Уджу вернулась, некоторое время пожила в «Дельфине» — мыла и кормила лепетавшее гладкокожее дитя, но с Генералом общалась холодно и официально. Отвечала ему односложно, будто он предал ее, нарушив правила ее притворства. Отношения тети Уджу приемлемы, а вот такое вопиющее их доказательство — нет. Дом пропах детской присыпкой. Тетья Уджу была счастлива. Генерал часто держал Дике на руках и то намекал, что ребенка надо еще раз покормить, то говорил, что надо бы вызвать врача — по поводу какой-нибудь сыпи на шее.

* * *

На праздник в первый день рождения Дике Генерал заказал живой оркестр. Всё устроили в саду, рядом с генераторной будкой, праздник длился до последнего гостя, все приглашенные — неспешные, объевшиеся, а еду им выдали и с собой, в фольге. Пришли и друзья тети Уджу, и друзья Генерала, лица у последних решительные, словно бы говорившие: к черту

подробности, ребенок друга есть ребенок друга. Дике, недавно начавший ходить, ковылял между гостями в костюме и красном галстуке-бабочке, тетя Уджу — следом, все пыталась успокоить его на несколько секунд, чтобы сфотографироваться. Наконец он устал и расплакался, дергая себя за бабочку, Генерал взял его на руки и дальше ходил с ним. Именно образ Генерала и засел у Ифемелу в уме, Дике обнимает его за шею, лицо у Генерала сияет, зубы торчат в улыбке, а сам он приговаривает: «Так на меня похож-о, но, слава богу, зубы у него в маму».

Генерал погиб неделю спустя, при крушении военного самолета.

— В тот же день, в тот же самый день фотограф принес снимки с дня рождения Дике, — частенько повторяла тетя Уджу, рассказывая эту историю, словно в этом был некий особый смысл.

Был субботний вечер, Обинзе с Ифемелу сидели в телекомнате, Иньянг — наверху с Дике, тетя Уджу — на кухне с Чикодили, и тут зазвонил телефон. Ифемелу сняла трубку. Голос на том конце адъютанта Генерала, плохая трескучая связь, но ему все равно удалось разъяснить: авиакатастрофа случилась в нескольких милях от Джоса,^[71] тела обуглило, уже ходили слухи, что это глава государства подстроил, чтобы избавиться от военных, собравшихся, как он боялся, устроить переворот. Ифемелу оторопело сжала трубку изо всех сил. Обинзе пришел в кухню вместе с ней и стоял рядом с тетей Уджу, пока Ифемелу повторяла слова адъютанта.

— Ты врешь, — сказала тетя Уджу. — Это ложь.

Она ринулась к телефону, словно не веря и ему тоже, а затем сползла на пол, бескостно, горестно, и заплакала. Ифемелу обнимала ее, укачивала, никто не понимал, что делать, и тишина между ее всхлипами казалась слишком тихой. Иньянг с Дике спустилась к ним.

— Мама? — произнес Дике растерянно.

— Унеси Дике наверх, — сказал Обинзе Иньянг.

В ворота замолотили. Двое мужчин и три женщины, родственники Генерала, вынудили Адаму открыть ворота и теперь стояли у входа и орали.

— Уджу! Пакуй вещички и выметайся сейчас же! И ключи от машины отдай!

Одна из женщин, костлявая, распаленная, красноглазая, визжала:

— Шлюха обыкновенная! Не дай бог тебе трогать собственность нашего брата! Проститутка! Не жить тебе спокойно в Лагосе! — С этими словами она стащила с головы шарф и повязала его на поясе, изготовившись к драке.

Поначалу тетя Уджу молча смотрела на них, замерев у порога. А затем попросила их уйти — хриплым от слез голосом, но вопли родственников

лишь усилились, и тогда тетя Уджу собралась вернуться внутрь.

— Ладно, не уходите, — сказала она. — Стойте где стоите. Стойте, а я пойду позову своих ребят из казарм.

И лишь тогда они ушли, приговаривая: «Мы со своими ребятами вернемся».

Тетя Уджу продолжила плакать.

— У меня ничего нет. Все на его имя. Куда я с сыном подамся теперь?

Она сняла трубку и уставилась на нее, не понимая, кому бы ей позвонить.

— Позвони Уче и Адесуве, — сказала Ифемелу. — Уж *они-то* знают, что делать.

Тетя Уджу так и сделала, нажав на кнопку громкой связи, оперлась о стену.

— Уезжай немедленно. Забери из дома все подчистую, — сказала Уче. — Быстро-быстро, пока его люди не вернулись. Вызови кран и забери генератор. Особенно генератор надо забрать.

— Я не знаю, где найти кран, — промямлила тетя Уджу с несвойственной ей беспомощностью.

— Мы тебе его устроим, быстро-быстро. Генератор надо забрать. Обеспечит тебе жизнь, пока не возьмешь себя в руки. Придется куда-нибудь уехать ненадолго, чтоб они тебе хлопот не наделали. Езжай в Лондон или в Америку. У тебя есть американская виза?

— Да.

Последние мгновения пролетели для Ифемелу как в тумане: Адаму говорит, что у ворот репортер из газеты «Горожане», Ифемелу и Чикодили запихивают вещи в чемоданы, Обинзе выносит все в фургон, Дике болтается под ногами и фыркает. В комнатах наверху невыносимо жарко: внезапно перестали работать кондиционеры, словно вместе решили воздать должное концу всего.

Глава 7

Обинзе хотел поступать в университет Ибадана из-за стихотворения.

Он прочитал это стихотворение Ифемелу — «Ибадан» Дж. П. Кларка^[72] — и помедлил на словах «текучий выплеск ржавчины и злата».

— Ты серьезно? — переспросила она. — Из-за этого стишка?

— Он такой красивый.

Ифемелу покачала головой с насмешливой, преувеличенной растерянностью. Но и она хотела в Ибадан, потому что там училась тетя Уджу. Они вместе заполнили анкеты ЕПК,^[73] сидя за обеденным столом, а мама Обинзе нависала над ними и приговаривала:

— Вы правильным карандашом заполняете? Все проверяйте как следует. Я слыхала о таких ошибках, уму непостижимо.

Обинзе сказал:

— Мамуля, мы с большей вероятностью заполним все без ошибок, если ты помолчишь.

— Нсукку, по крайней мере, пометьте как второй вариант, — сказала мама. Но Обинзе не хотел в Нсукку — хотел удрать от привычной жизни, а для Ифемелу Нсукка — глухомань и замшелость. И они вместе решили, что второй вариант — университет Лагоса.

Назавтра мама Обинзе упала в обморок в библиотеке. Ее обнаружил какой-то студент — простертой на полу, словно тряпица, на голове небольшая припухлость, и Обинзе сказал Ифемелу:

— Слава богу, что мы еще не подали анкеты в ЕПК.

— В смысле?

— Мама возвращается в Нсукку в конце этого семестра. Мне нужно быть рядом с ней. Врач сказал, что такое еще будет случаться. — Он примолк. — Сможем видеться на длинных выходных. Я буду приезжать в Ибадан, а ты — в Нсукку.

— Ну ты и шутник, — сказала она ему. — *Бико*,^[74] я тоже выбираю Нсукку.

Такая перемена прилась ее отцу по сердцу. Воодушевляет, по его словам, что она будет учиться в университете на землях игбо, всю жизнь перед этим проводя на западе страны. Мама же пригорюнилась. Ибадан всего в часе езды, а Нсукка — это целый день на автобусе.

— Ничего не день, мамуль, а семь часов, — возразила Ифемелу.

— И какая разница между днем и этим? — взъелась мама.

Ифемелу хотелось убраться из дома, хотелось независимости своего собственного времени, и ее утешало, что Раньинудо с Точи тоже собираются в Нсукку. Эменике — туда же, он спросил Обинзе, можно ли жить с ним в одной комнате, в мальчуковой части дома Обинзе. Обинзе согласился. Ифемелу это не понравилось.

— Есть в Эменике что-то... — сказала она. — Ну да ладно, лишь бы уходил, когда нам надо потолковать.

Позднее Обинзе спрашивал полувсерьез, не думает ли Ифемелу, что мамин обморок был намеренным, проделкой, чтобы удержать его рядом. Он еще долго рассуждал об Ибадане с тоской — пока не навестил тамошний студгородок во время турнира по настольному теннису, после которого вернулся и сказал ей робко:

— Ибадан напомнил мне Нсукку.

* * *

Отъезд в Нсукку означал, что Ифемелу наконец увидит дом Обинзе, коттедж на участке, заросшем цветами. Ифемелу представляла себе, как Обинзе рос, как ездил на велосипеде по холмистым улицам, как возвращался домой из начальной школы с ранцем и бутылочкой воды. И все же в Нсукке она терялась. Город казался ей слишком маленьким, пыль — слишком красной, люди — слишком довольными малостью собственной жизни. Но Ифемелу постепенно полюбила Нсукку, хоть любовь эта была поначалу неохотной. Из окна в ее общежитской комнате, где в пространстве на двоих было втиснуто четыре койки, ей был виден вход в Беллохолл.^[75] Высокие гмелины раскачивались на ветру, а под ними толпились торговцы, сторожили лотки с бананами и земляными орехами, окады^[76] тесным рядом, мотоциклисты болтают и хохочут, но каждый держит ухо остро — на клиентов. Свой угол она обклеила ярко-голубыми обоями, а поскольку слыхала байки о сварах между соседками по комнате — одна выпускница, поговаривали, вылила в шкафчик первокурснице керосин за то, что та показалась ей «нахалкой», — считала, что ей с соседками повезло. Ей достались люди легкие, и вскоре Ифемелу уже делилась с ними и одалживала у них то, что быстро заканчивалось, — зубную пасту и порошковое молоко, лапшу «Индоми» и помаду для волос. По утрам она чаще всего просыпалась под рокот голосов из коридора — студенты-католики молились по четкам, и Ифемелу спешила в туалет — набрать

воды себе в ведро, пока не перекрыли, и присесть на корточки в уборной, пока не лилось через край. Иногда Ифемелу опаздывала, уборные уже кишели опарышами, и тогда она шла домой к Обинзе; даже если его там не оказывалось, дверь ей открывала домработница Аугустина, и Ифемелу говорила:

— Тина-Тина, как оно? Я пришла попользоваться уборной.

Обедала она часто у Обинзе, или же они вместе отправлялись в город, к Онъекаозулу, садились на деревянные скамьи в сумраке ресторана, ели с эмалированных тарелок нежнейшее мясо и вкуснейшие похлебки. Время от времени Ифемелу оставалась на вечер у Обинзе на мальчуковой половине дома, валялась на его матрасе на полу, слушала музыку. Иногда танцевала в одном белье, виляла бедрами, а он подначивал ее, что, дескать, попа у нее маленькая:

— Тряхнуть бы, да нечем.

Университет был просторным и складчатым, там было где спрятаться, ой было где: Ифемелу не ощущала, что чужая здесь, поскольку был широкий выбор, с чем сродняться. Обинзе пощучивал, какая она уже популярная: у нее в комнате даже в первом семестре толпился народ, мальчишки с последнего курса заглядывали, рвались испытать удачу, пусть и висел у нее над подушкой громадный фотопортрет Обинзе. Эти ребята ее забавляли. Приходили, усаживались к ней на кровать и торжественно предлагали «показать ей студгородок», и она воображала, как те же самые слова в том же тоне они адресовали первокурснице в соседней комнате. Один, впрочем, был иным. Звали его Одеин. Его к ней в комнату занесло не лихорадкой первого семестра: он пришел обсудить с ее соседками дела студсоюза и после заглядывал навестить ее, поздороваться, иногда приносил с собой суйю, горячую, острую, обернутую промасленной газетой. Его общественничество удивляло Ифемелу: слишком он благовоспитанный, слишком крутой для студсоюза, — но это ее и впечатляло. У него были толстые, безупречно очерченные губы, одинаковые по толщине, что верхняя, что нижняя, губы вдумчивые и одновременно чувственные, и, когда он говорил: «Если студенты не объединены, нас никто не будет слушать», Ифемелу воображала, как целует его, в том же смысле, в каком она представляла себе что угодно, чем наверняка не стала бы заниматься. Это из-за него она участвовала в демонстрации — и втянула Обинзе к тому же. Они выкрикивали: «Ни света! Ни воды!» и «Ректор козел!» — и оказались в конце концов вместе с ревущей толпой перед домом ректора. Били бутылки, подожгли чью-то машину, и тогда появился ректор — крошечный, втиснутый между двумя

телохранителями — и заговорил в пастельных тонах.

Позднее мама Обинзе сказала:

— Я понимаю беды студентов, но мы — не враги. Враги — военные. Они нам месяцами зарплату не выдают. Как можно учить, если есть нечего?

Позднее по студгородку разлетелась новость, что преподаватели объявили забастовку, студенты собрались в фойе общежития, щетинясь от известного и неведомого. Всё правда, подтвердил завобщежитием, все вздохнули, осмысляя внезапные нежеланные каникулы, и разошлись по своим комнатам — собирать вещи: общежитие назавтра закроют. Ифемелу услышала, как одна девушка рядом сказала:

— У меня нет десяти кобо домой доехать.

* * *

Забастовка затянулась. Ползли недели. Ифемелу, взвинченная, не находила себе места, каждый день слушала новости, надеясь узнать, что забастовка окончена. Обинзе звонил ей через Раньинудо: Ифемелу приходила за несколько минут до времени разговора и сидела у серого дискового аппарата, дожидаясь звонка. Она ощущала себя отрезанной от него, они жили и дышали в разных пространствах, он скучал и унывал в Нсукке, она скучала и унывала в Лагосе, и все прокисало от безделья. Жизнь стала скучным, затянутым фильмом. Мама спрашивала, не хочет ли Ифемелу ходить на занятия по шитью при церкви, чтобы хоть чем-то заняться, а отец сказал, что из-за таких вот бесконечных университетских забастовок молодежь подается в вооруженные бандиты. Забастовка стала общенародной, все друзья Ифемелу разъехались по домам, даже Кайоде — он вернулся на каникулы из своего американского университета. Она ходила по гостям и вечеринкам и жалела, что Обинзе не в Лагосе. Иногда Одеин, у которого была машина, забирал ее и катал, куда ей надо.

— Везет этому твоему другу, — говорил он, Ифемелу смеялась, заигрывала с ним. Все еще воображала, как это — целоваться с этим волооком, толстогубым Одеином.

Как-то раз в выходные Обинзе приехал и поселился у Кайоде.

— Что такое происходит с этим Одеином? — спросил Обинзе у Ифемелу.

— Что?

— Кайоде говорит, он тебя домой отвозил после вечеринки у Осахона. Ты мне не сказала.

— Забыла.

— Забыла...

— Я тебе говорила, что он меня подвозил недавно, правильно?

— Ифем, что происходит?

Она вздохнула:

— Потолок, ничего. Он мне просто любопытен. Ничего никогда не произойдет. Но мне любопытно. Тебе же любопытны другие девушки, верно?

Он смотрел на нее, глаза испуганные.

— Нет, — сказал он холодно. — Не любопытны.

— Давай по-честному.

— Я по-честному. Беда в том, что ты думаешь, будто все такие же, как ты. Думаешь, что ты — это норма, но все не так.

— В каком смысле?

— Ни в каком. Выброси из головы.

Он больше не хотел об этом говорить, но воздух меж ними потемнел и оставался возмущенным не день и не два, даже после того как Обинзе уехал домой, и потому, когда забастовка завершилась («Преподаватели завязали с этим! Слава богу!» — однажды утром проорала Четачи у них в квартире) и Ифемелу вернулась в Нсукку, они с Обинзе первые дни обращались друг с другом осторожно, разговаривали на цыпочках, обнимались урезанно.

Ифемелу удивилась, до чего соскучилась по самой Нсукке, по привычному неспешному ритму, по сборищам друзей у нее в комнате до глубокой ночи, по безобидным сплетням, повторенным не раз, по лестницам, по которым восходишь и нисходишь, будто постепенно просыпаясь, — и по утрам, выбеленным харматаном. В Лагосе харматан — это всего лишь вуаль дымки, а в Нсукке — ярящееся верткое присутствие: утра зябкие, ранние вечера пепельные от жара, а ночи неведомые. Пыльные вихри возникали вдали — очень красивые; они крутились, пока все вокруг не укрывалось бурым. Даже ресницы. Все жадно всасывало влагу: фанерное покрытие парт отставало и выгибалось наружу, хрустели страницы учебников, одежда высыхала через минуты после того, как ее вешали после стирки, губы растрескивались и кровоточили, все держали «Робб» и «Ментолатум»^[77] под рукой, в карманах и сумках. Кожа у всех блестела от вазелина, а то, что намазать забывали — между пальцами или на локтях, — делалось тусклого пепельного цвета. Ветви деревьев оголяло

вчистую, и в них, облетевших, появлялось некое гордое отчаяние. Базары у церкви напивались воздухом ароматами, стелился дым обильной стряпни. В некоторые вечера жар ложился, как толстое полотенце. А в иные вечера прилетал резкий холодный ветер, Ифемелу бросала свою комнату в общежитии и, свернувшись рядом с Обинзе на матрасе, слушала, как воют снаружи казуарины, там, в мире, что внезапно уязвим и хрупок.

* * *

У Обинзе ломило мышцы. Он лежал на животе, Ифемелу сидела на нем верхом, массировала ему спину, шею и бедра — и пальцами, и костяшками кулаков, и локтями. Он весь был болезненно напряжен. Она встала на него, осторожно опустив стопу на тыльную сторону одного бедра, затем — другого.

— Нормально?

— Да. — Он стонал от приятной боли. Она нажимала понемногу, его кожа грела ей ступни, тугие узлы мышц расплетались. Она оперлась рукой о стену и вбуравила пятки поглубже, двигаясь по дюйму, а Обинзе кряхтел: — Ай! Ифем, да, вот там. Ай!

— Растяжки надо делать после игры в мяч, господин мужчина, — сказала она, ложась сверху ему на спину, щекоча подмышки и целуя в шею.

— У меня есть предложение о массаже получше, — сказал он. Раздевая ее, он не остановился, как прежде, на белье. Он снял и его, Ифемелу подняла ноги, помогая ему.

— Потолок, — сказала она неуверенно. Останавливать его не хотелось, но она представляла это иначе, решила для себя, что они сделают из этого тщательно продуманную церемонию.

— Я выну, — сказал он.

— Ты же знаешь, что это не всегда помогает.

— Не поможет — примем Младшенького.

— Перестань.

Он посмотрел на нее:

— Но, Ифем, мы же все равно поженимся.

— Ты глянь на себя. Я, может, встречу богатого красивого дядю и брошу тебя.

— Невозможно. Мы уедем в Америку, когда окончим учебу, и вырастим превосходных детей.

— Ты скажешь что угодно, потому что мозги у тебя сейчас между ног.

— Да они у меня всегда там!

Оба рассмеялись, а затем смех утих, уступил место новой, неведомой серьезности, скользкому единению. Для Ифемелу все оказалось блеклой копией, бессильной тенью того, что она себе про это навоображала. Он вышел из нее, содрогаясь, пыхтя и держась из последних сил, а ее снедало беспокойство. Ифемелу до самого конца была напряжена, не смогла расслабиться. Представляла себе, что за ними наблюдает его мать: этот образ навязался ей — и, что еще страннее, оказался двойным, мама и Оньека Онвену, обе смотрели за ними не мигая. Ифемелу знала: никак не сможет она рассказать матери Обинзе, что произошло, хотя и обещала, и верила, что сможет. Но теперь совершенно не понимала как. Что сказать? Какими словами? Ожидает ли мама Обинзе подробностей? Они с Обинзе должны были продумать все как следует, и тогда она бы знала, как об этом докладывать его матери. Внезапность произошедшего несколько потрясла ее — и немного разочаровала. Показалось, что оно в конечном счете того не стоило.

Когда через неделю с чем-то Ифемелу проснулась от боли — резкого жжения в боку и жуткой болезненной тошноты, охватившей все тело, — она запаниковала. Затем ее вырвало, и паника усилилась.

— Это случилось, — сказала она Обинзе. — Я беременна. — Они встретились, как обычно, у столовой Экпо после утренней лекции. Студенты шли мимо. Рядом курила и смеялась компания ребят, и на миг почудилось, что смеются они над ней.

Обинзе наморщил лоб. Он, казалось, не понимал, о чем она говорит.

— Но, Ифем, не может быть. Слишком рано. Кроме того, я же вышел.

— Я тебе говорила, это не помогает! — воскликнула она. Он внезапно показался ей маленьким растерянным мальчиком, и он беспомощно смотрел на нее. Паника Ифемелу возросла. Повинуясь внезапному порыву, она махнула проезжавшему мимо окаде, запрыгнула на багажник и велела мотоциклисту ехать в город.

— Ифем, что ты делаешь? — спросил Обинзе. — Куда ты?

— Звонить тете Уджу, — ответила она.

Обинзе сел на следующего окаду и вскоре нагнал ее, они прокатились мимо университетских ворот к конторе НИТЕЛ,^[78] где Ифемелу выдала человеку за облезлой конторкой бумажку с американским телефоном тети Уджу. Говорила Ифемелу шифрованно, придумывая шифр на ходу, — из-за людей, болтавшихся вокруг: кто-то ждал звонка, кто-то просто ошивался без дела, но все с бесстыжим открытым интересом слушали чужие

разговоры.

— Тетя, думаю, то, что случилось с тобой, перед тем как явился Дике, случилось и со мной, — сказала Ифемелу. — Мы поели неделю назад.

— Всего неделю? Сколько раз?

— Один.

— Ифем, успокойся. Вряд ли ты беременна. Но надо сдать анализы. В студгородке в поликлинику не ходи. Езжай в город, где тебя никто не знает. Но сначала успокойся. Все будет хорошо, *инуго*?^[79]

Позднее Ифемелу сидела на шатком стульчике в приемной медлаборатории, окаменелая, безмолвная, не обращая внимания на Обинзе. Злилась на него. Несправедливо злилась — и понимала это, но все равно. Когда Ифемелу отправилась в грязный туалет с маленьким контейнером, который ей выдала местная девушка, он спросил, поднимаясь:

— Мне сходить с тобой?

Она рывкнула в ответ:

— Сходить со мной — зачем?

И ей захотелось стукнуть девчонку из лаборатории. Эта желтоликая дылда оскалилась и покачала головой, еще когда Ифемелу произнесла «анализ на беременность», будто у нее в голове не умещался этот очередной случай безнравственности. А теперь она смотрела на Ифемелу с Обинзе, ухмылялась и безобидно напевала себе под нос.

— Есть результат, — сказала она чуть погодя, протягивая незапечатанный в конверт листок, лицо разочарованное — отрицательный. Ифемелу поначалу слишком потрясло, и потому она не ощутила облегчения, а затем ей понадобилось еще раз помочиться. — Людям лучше уважать себя и жить по-христиански, чтоб не было беды, — сказала девушка им вслед.

В тот вечер Ифемелу опять вырвало. Она была в комнате у Обинзе, читала лежа, общалась с ним все еще ледяным тоном, и тут рот ей затопило соленой слюной, Ифемелу вскочила и помчалась в туалет.

— Должно быть, я что-то съела, — сказала она. — Ту ямсовую похлебку, которую я купила у Мамы Оверре.

Обинзе сходил в главный дом и вернулся со словами, что его мать повезет Ифемелу к врачу. Был поздний вечер, маме не понравился молодой врач, оказавшийся на дежурстве в медцентре, и она повезла Ифемелу домой к доктору Ачуфуси. Когда миновали начальную школу, окруженную подстриженными казуаринами, Ифемелу вдруг вообразила, что и впрямь беременна и что девушка в той сомнительной лаборатории применила просроченные реактивы. Она выпалила:

— У нас был секс, тетя. Один раз.

Почувствовала, что Обинзе напрягся. Мама посмотрела на нее в зеркальце заднего обзора.

— Давай сначала покажемся врачу, — сказала она.

Доктор Ачуфуси, добродушный приятный мужчина, прощупал Ифемелу бок и объявил:

— Это все ваш аппендикс, очень воспален. Нужно его срочно удалять. — И обратился далее к матери Обинзе: — Могу назначить ей операцию на утро.

— Спасибо вам большое, доктор, — сказала мама Обинзе.

В машине Ифемелу произнесла:

— Меня никогда не оперировали, тетя.

— Ерунда, — бодро отозвалась мама Обинзе. — У нас очень хорошие врачи. Сообщи родителям, скажи, пусть не волнуются. Мы о тебе позаботимся. Когда выпишут, поживешь у нас, пока не наберешься сил.

Ифемелу позвонила маминой коллеге, тете Бунми, и попросила передать маме сообщение — и домашний телефон Обинзе. В тот же вечер мама позвонила, голос у нее был задышливый.

— Все во власти Божьей, моя драгоценная, — сказала мама. — Благодарим Господа за твою подругу. Благослови Боже и ее, и ее маму.

— Это он. Мальчик.

— Ой. — Мама примолкла. — Пожалуйста, поблагодари их. Господь их благослови. Мы первым же автобусом выезжаем завтра в Нсукку.

Ифемелу запомнила медсестру, жизнерадостно брившую ей лобок, грубое трение лезвия, запах антисептика. Потом была пустота, стертость в сознании, а когда она всплыла, пришибленная, все еще на грани памяти, услышала, как ее родители разговаривают с мамой Обинзе. Мама Ифемелу держала ее за руку. Позднее мама Обинзе пригласила их переночевать у нее дома — незачем тратить деньги на гостиницу.

— Ифемелу мне как дочка, — сказала она.

Перед отъездом родителей в Лагос отец сказал Ифемелу — с робким благоговением, какое питал к хорошо образованным людям:

— У нее первоклассный лондонский бакалавриат.

А мама добавила:

— Очень уважительный мальчик этот Обинзе. Хорошо воспитанный. И город их не так далеко от нас.

* * *

Мама Обинзе подождала несколько дней — возможно, давала Ифемелу набраться сил, — после чего позвала их обоих, усадила перед собой и попросила выключить телевизор.

— Обинзе и Ифемелу, люди совершают ошибки, но некоторых промахов можно избежать.

Обинзе молчал. Ифемелу сказала:

— Да, тетя.

— Вы обязаны всегда пользоваться презервативами. Если желаете вести себя безответственно — вы более не под моей опекой. — Тон у нее посуровел, сделался запретительным: — Если решили вести половую жизнь — решите и предохраняться. Обинзе, возьми карманные деньги и купи презервативы. Ифемелу, и ты. Мне нет дела до твоей стеснительности. Отправляйся в аптеку и купи. Никогда не предоставляй этому мальчику заботиться о твоей же безопасности. Если он не хочет пользоваться презервативами, значит, он недостаточно о тебе печется, и тогда тебе здесь не место. Обинзе, беременеть не тебе, но если это случится, в твоей жизни все изменится и ничего потом не исправишь. И я прошу вас обоих: пусть это будет строго между вами двоими. Болезни всюду. СПИД — это взаправду.

Все помолчали.

— Вы меня слышите? — спросила мама Обинзе.

— Да, тетя, — сказала Ифемелу.

— Обинзе? — переспросила мама.

— Мамуля, я тебя услышал, — произнес Обинзе и резко добавил: — Я не ребенок! — После чего встал и решительно вышел из комнаты.

Глава 8

Забастовки сделались постоянными. Университетские преподаватели перечисляли свои жалобы в газетах, сообщали о соглашениях, втоптаных в грязь людьми из правительства, у которых дети учились за рубежом. Студгородки пустовали, аудитории обезлюдели. Студенты надеялись, что забастовки будут недолгими, поскольку на то, что их не будет вовсе, надеяться не приходилось. Все разговоры — об отъезде. Даже Эменике уехал в Англию. Никто не понимал, как он раздобыл визу.

— Он даже тебе не сказал? — спросила Ифемелу у Обинзе, тот ответил:

— Ты ж знаешь Эменике.

У Раньинудо в Америке жила двоюродная сестра, Раньинудо подала документы на визу, но ей отказал черный американец, который, по ее словам, был простужен и куда увлеченнее сморкался, чем рассматривал ее бумаги. Сестра Ибинабо начала устраивать по пятницам Всенощные Чуда студенческой визы — собрания молодежи, у каждого в руках конверт с посольской анкетой, на которые сестра Ибинабо налагала благословляющую длань. Одна девушка, с выпускного курса университета Ифе,^[80] получила американскую визу с первой попытки, что, вся в слезах, засвидетельствовала в церкви.

— Даже если в Америке придется начинать заново, я по крайней мере буду точно знать, когда окончу, — сказала она.

В один из тех дней позвонила тетя Уджу. Объявлялась она теперь нечасто: прежде они разговаривали по телефону в доме Раньинудо, если Ифемелу была в Лагосе, или тетя Уджу звонила домой к Обинзе, если Ифемелу училась. Но эти разговоры поредели. Тетя Уджу вкалывала на трех работах — ее все еще не допускали до врачебной практики. Рассказывала об экзаменах, которые необходимо сдать, о всяких хлопотах, означавших всякое, чего Ифемелу не понимала. Когда б мама Ифемелу ни предлагала попросить тетю Уджу прислать им что-нибудь из Америки — мультивитамины, обувь, — отец Ифемелу отказывался: пусть тетя Уджу сначала встанет на ноги, а мама возражала с налетом ехидства в голосе, что четыре года — достаточный срок, чтоб встать на ноги.

— Ифем, кеду? — спрашивала тетя Уджу. — Я думала, ты в Нсукке. Только что звонила домой Обинзе.

— У нас забастовка.

— А, а! Не закончилась еще?

— Нет, та, последняя, закончилась, мы вернулись учиться, но началась следующая.

— Что за ерунда такая? — сказала тетя Уджу. — Вот честно, надо тебе ехать сюда и учиться тут, уверена, ты запросто получишь стипендию. И поможешь мне с Дике. Честное слово, то небольшое, что я зарабатываю, все уходит няньке. И боже ты мой, когда приедешь, я уже сдам все экзамены и начну врачебную практику. — Говорила тетя Уджу бодро, но расплывчато: пока сама про это не сказала — толком и не задумывалась.

Ифемелу, может, так бы этот разговор и оставила — мысль поплавала бы сколько-то да затонула, если б не Обинзе.

— Надо ехать, Ифем, — сказал он. — Терять тебе нечего. Сдавай САТ [81] и пытайся добыть стипендию. Гиника тебе поможет с подачей документов. Есть тетя Уджу, хоть какая-то опора для начала. Мне бы так, но я не смогу просто взять да уехать. Лучше мне тут получить свою первую степень, а затем ехать в Америку в магистратуру. Для магистратуры иностранным студентам можно получить финансовую поддержку.

Ифемелу не вполне поняла, что все это значит, но с виду складно, поскольку исходило от Обинзе, специалиста по Америке, который запросто произносил «магистратура» вместо «аспирантура». И она принялась мечтать. Вообразила себя в доме из «Шоу Козби», на занятиях, где у студентов учебники — о чудо — не потрепанные и не мятые. Сдала экзамены в одном из заведений в Лагосе, забитом тысячами людей, все бурлили американскими надеждами. Гиника, окончившая колледж, подавала анкеты в вузы от имени Ифемелу и звонила ей доложить:

— Ты имей в виду: я сосредоточиваюсь на районе Филадельфии, поскольку сама там училась. — Будто Ифемелу знала, где вообще эта Филадельфия. Для нее Америка — это Америка.

Забастовка завершилась. Ифемелу вернулась в Нсукку, влилась в жизнь студгородка и время от времени грезилась об Америке. Когда позвонила тетя Уджу и сообщила, что начали приходить письма о приеме и одно предложение стипендии, Ифемелу грезить перестала. Слишком боялась надеяться — все вдруг стало казаться возможным.

— Заплети тоненькие-тонюсенькие косички, чтоб хватило надолго, тут заплетаться очень дорого, — наказала тетя Уджу.

— Тетя, дай я визу получу сперва! — отозвалась Ифемелу.

Подала документы на визу, не сомневаясь, что какой-нибудь грубиян-американец отвергнет ее анкету, как это часто случалось, но седовласая

женщина с булавкой Общества св. Викентия де Поля^[82] на лацкане улыбнулась ей и произнесла:

— Приходите за визой через два дня. Удачи в учебе.

В тот вечер, когда забирала паспорт с бледной визой на второй странице, Ифемелу устроила парадную церемонию, знаменовавшую начало ее новой заграничной жизни, — раздел личного имущества среди подруг. Раньинудо, Прие и Точи сидели у нее в спальне, попивая колу, на кровати горой высилась одежда, и все трое первым делом потянулись к ее оранжевому платью — любимому, подарку тети Уджу: в этом платье-трапеции с молнией от ворота до подола Ифемелу всегда ощущала себя утонченной и опасной. «Вот мне все просто-то», — говаривал Обинзе, медленно расстегивая его. Это платье Ифемелу хотелось оставить себе, но Раньинудо сказала:

— Ифем, ты же понимаешь, что в Америке заведешь себе какое пожелаешь платье, и когда мы снова увидимся, ты станешь серьезной американхой.

Мама сообщила, что Иисус поведал ей во сне, будто Ифемелу в Америке будет процветать, а отец сунул ей в руку тощий конвертик и сказал:

— Жалко, что больше нету. — И Ифемелу с печалью осознала, что он, скорее всего, эти деньги одолжил. На фоне всеобщего воодушевления она вдруг почувствовала себя вялой и напуганной.

— Может, лучше мне остаться и доучиться, — сказала она Обинзе.

— Нет, Ифем, надо ехать. Кроме того, тебе и геология-то не нравится. В Америке сможешь учиться чему-нибудь еще.

— Но стипендия не полная. Где я возьму денег, чтобы заплатить остаток? Работать мне по студенческой визе нельзя.

— Найдешь себе в вузе что-нибудь по программе «работай и учись». Разберешься. Семьдесят пять процентов скидки — не шутки.

Она кивнула, волна его веры несла ее вперед. Она навестила его маму — попрощаться.

— Нигерия выгоняет лучшие кадры, — смиренно проговорила мама Обинзе, обнимая Ифемелу.

— Тетя, я буду скучать. Спасибо вам огромное за все.

— Будь здорова, дорогая моя, успехов тебе. Пиши нам. Непременно оставайся на связи.

Ифемелу кивнула, на глазах слезы. Когда уходила, уже отодвинув занавеску на входной двери, услышала вслед:

— И вы с Обинзе всегда держите в голове план. Пусть обязательно

будет план.

Ее слова, такие неожиданные и такие верные, взбодрили Ифемелу. План у них таков: он уедет в Америку в ту же минуту, как завершит учебу. Найдет способ добыть визу. Может, к тому времени Ифемелу уже сможет ему помочь.

В следующие годы, даже после того как связь с ним оборвалась, Ифемелу вспоминала слова его матери — «всегда держите в голове план», — и ее это утешало.

Глава 9

Мариама вернулась с запятнанными маслом бурыми бумажными пакетами из китайского ресторана, таща за собой в душную парикмахерскую запах жира и специй.

— Кино кончилось? — Она глянула на пустой экран телевизора, покопалась в стопке дисков и извлекла еще один.

— Извините, пожалуйста, поем, — сказала Аиша Ифемелу. Присела на краешек стула в углу и принялась есть руками жареные куриные крылышки, уперев взгляд в телевизор. Новый фильм начался с трейлеров — грубо нарезанных сцен, перемежавшихся вспышками света. Каждой вдогонку звучал мужской голос нигерийца, нарочитый и громкий: «Срочно берите себе!» Мариама ела стоя. Сказала что-то Халиме.

— Я сначала закончу и ем, — ответила Халима по-английски.

— Если хотите — поешьте, — сказала клиентка Халимы, молодая женщина с высоким голосом и приятными манерами.

— Нет, я закончу. Мало-мало еще, — сказала Халима. На голове ее клиентки остался лишь клочок волос спереди, торчал, как звериный мех, а все остальное уже было заплетено опрятными микрокосичками, что ниспадали по шее.

— У меня еще час, а потом надо ехать за дочками, — сказала клиентка.

— У вас сколько? — спросила Халима.

— Две, — ответила клиентка. На вид — лет семнадцать. — Две красоти.

Началось новое кино. Экран заняло широко улыбавшееся лицо актрисы средних лет.

— О-о, да! Мне нравится она! — сказала Халима. — Погоди! С ней шуток плохо!

— Вы ее знаете? — спросила Мариама у Ифемелу, показывая на экран.

— Нет, — ответила Ифемелу. Чего они заладили спрашивать, знает ли она голливудских актрис? В парикмахерской слишком воняло едой. Душный воздух смердел жиром, и все же из-за этого Ифемелу немного захотелось есть. Она погрызла свою морковку.

Клиентка Халимы покрутила головой перед зеркалом и сказала:

— Большое вам спасибо, роскошно!

Когда она ушла, Мариама сказала:

— Очень маленькая девочка, и уже двое детей.

— Ой-ой-ой эти люди, — сказала Халима. — Когда девочке тринадцать, она уже все позы знает. То ли дело в Африке!

— То ли дело! — согласилась Мариама.

Обе обратились взглядами к Ифемелу — за согласием, одобрением. Ждали его, в этом общем пространстве африканскости, но Ифемелу ничего не сказала и перелистнула страницу своего романа. Они и ее обсудят, несомненно, когда она уйдет. Эта нигерийская девица вся из себя важная из-за Принстона. Гляньте на ее пищевой батончик, настоящую еду уже не употребляет. Посмеются ехидно — однако насмешка будет мягкой: она же все равно им сестра-африканка, пусть и чуть заблудшая. Новая волна жирной вони затопила зал: Халима открыла свой пластиковый контейнер с едой. Она ела и разговаривала с телевизором:

— Ох, тупой человек! Она заберет твои деньги!

Ифемелу смахнула с шеи липкие волоски. В зале кипел жар.

— Можно дверь не закрывать? — спросила она.

Мариама открыла дверь, подперла ее стулом.

— Жара эта ужас дурная.

* * *

Каждый приход жары напоминал Ифемелу тот, первый, в лето ее приезда. В Америке лето, Ифемелу про это было известно, однако всю свою жизнь она думала, что «за рубежом» — холодное место шерстяных пальто и снега, а раз Америка — это «за рубежом», а заблуждения Ифемелу — сильнее некуда, никаким здравым смыслом их не развеешь, и потому она купила в поездку самую толстую кофту, какую смогла найти в «Теджуошомаркете».^[83] Надела ее в дорогу и, под гул моторов, застегнула ее в салоне самолета до самого горла, а расстегнула, когда они с тетей Уджу выбрались из здания аэропорта. Раскаленный зной смутил ее — смутила и старая пятидверная «тойота» тети Уджу с пятном ржавчины на боку и полопавшейся тканью сидений. Ифемелу таранилась по сторонам, мимо летели дома, автомобили и рекламные щиты, все блеклые, разочаровывающе блеклые: в пейзажах ее воображения все будничное в Америке было покрыто глянцевым лаком. Но больше всего ее потрясло, когда она увидела у кирпичной стены подростка в бейсболке — голова склонена, тело подалось вперед, руки между ног. Обернулась глянуть еще раз.

— Ты видела того мальчишку! — воскликнула она. — Я не знала, что в Америке люди так делают.

— Ты не знала, что люди в Америке пишут? — переспросила тетя Уджу, едва покосившись на мальчика, и продолжила смотреть на светофор.

— А, а, тетя! В смысле, что они на улице это делают. Вот так.

— Нет, не делают. Тут не как у нас дома, где все так поступают. Его за это арестовать могут, но тут и район не лучший, — коротко пояснила тетя Уджу.

Что-то в ней было иначе. Ифемелу заметила это сразу, еще в аэропорту: грубо заплетенные волосы, в ушах никаких серег, объятия быстрые, между делом, словно с их расставания не годы прошли, а неделя.

— Мне надо срочно к книгам, — сказала тетя Уджу, уперев взгляд в дорогу. — Экзамены на носу, сама понимаешь.

Ифемелу не знала, что впереди еще один экзамен, — думала, что тетя Уджу ждет результатов. Но сказала:

— Да, понимаю.

Их молчание весило немало. Ифемелу казалось, что ей надо извиниться, хотя не вполне понимала за что. Быть может, тетя Уджу жалела, что Ифемелу уже здесь, у нее в машине, приехала.

У тети зазвонил телефон.

— Да, это Юджу. — Она произнесла свое имя так, а не «Уджу».

— Ты теперь так себя называешь? — спросила Ифемелу погодя.

— Они меня так называют.

Ифемелу проглотила слова «Ну так это же не твое имя». Сказала вместо этого на игбо:

— Я не знала, что здесь так жарко.

— У нас волна жары, первая за лето, — сказала тетя Уджу, будто Ифемелу должно быть понятно, что это такое — «волна жары».

Никогда прежде зной не казался ей таким *жарким*. Обволакивающий, безжалостный зной. Ручка двери, когда они прибыли на место, оказалась теплой на ощупь. Дике вскочил с ковра в гостиной, заваленного игрушечными машинками и солдатиками, и обнял ее, будто помнил.

— Альма, это моя двоюродная сестра! — сказал он нянечке, бледнокожей женщине с усталым лицом, черные волосы стянуты в хвост на затылке.

Если б Ифемелу повстречала Альму в Лагосе, решила бы, что та белая, но позднее узнала, что Альма — из латиноамериканцев, что в Америке, как ни странно, одновременно есть и этническая, и расовая принадлежность, и через много лет она вспомнила Альму, когда сочиняла для своего блога

текст под названием «Как черному неамериканцу понять Америку: что такое “латиноамериканец”».

Латиноамериканцы — частые спутники черных американцев в рейтингах нищеты; они чуть выше черных американцев на расовой лестнице Америки. Это шоколаднокожая женщина из Перу, коренной житель Мексики. Это народ из Доминиканской Республики, на вид — принадлежащий к двум расам сразу. Это люди из Пуэрто-Рико, посветлее. Это и светлый голубоглазый парень из Аргентины. Достаточно быть испаноговорящим, но не из Испании, — и вуаля, твоя раса называется «латиноамериканец».

Но в тот вечер она почти не заметила ни Альму, ни гостиную, меблированную лишь диваном и телевизором, ни велосипед, прислоненный в углу, — ее захватил Дике. Последний раз она видела его в день поспешного отбытия тети Уджу из Лагоса, он тогда был годовалым малышом, беспрестанно ревел в аэропорту, словно понимал, какой переворот только что произошел в его жизни, и вот он, первоклассник, с безукоризненным американским выговором, бодрый донельзя: такой ребенок не усидит спокойно и минуты — и ему никогда не грустно.

— А чего ты в кофте? Тут слишком жарко! — сказал он, хихикнув, все еще держа ее в объятиях.

Она рассмеялась. Он такой кроха, такой невинный, и все же была в нем и зрелость не по годам, пусть и солнечная: никаких темных замыслов против взрослых в его мире он не вынашивал. В ту ночь, после того как он с тетей Уджу отправился спать, а Ифемелу устроилась на одеяле на полу, он сказал:

— Почему она спит на полу, мам? Мы все тут поместимся, — будто чувствовал, каково ей. Ничего плохого в такой договоренности не было — спала же Ифемелу на циновках, когда навещала бабушку в деревне, — но здесь наконец-то Америка, достолавная Америка наконец-то, и Ифемелу не ожидала, что спать будет на полу.

— Все в порядке, Дике, — сказала она.

Он встал и принес ей свою подушку:

— Вот. Она мягкая и удобная.

Тетя Уджу сказала:

— Дике, иди сюда, ложись. Дай тете поспать.

Но Ифемелу не спалось, ум слишком бодрила новизна всего, и она дождалась, пока тетя Уджу не засопела, после чего выскользнула из комнаты и включила свет в кухне. Толстый таракан сидел на стене рядом со шкафчиками и слегка подрагивал, точно переводил дух. Будь она в кухне у них дома в Лагосе, она бы нашла веник и прибила его, но американского таракана трогать не стала, замерла у кухонного окна. Эта часть Бруклина называлась Флэтлендз, сказала тетя Уджу. Улицы внизу скверно освещены, по обочинам не деревья с густой листвой, а близко наставленные машины, совсем не как миленькие улочки в «Шоу Козби». Ифемелу простояла долго, тело не уверено в себе, напитано новизной. Но ощутила Ифемелу и трепет предвкушения, жажду открыть Америку.

* * *

— Думаю, лучше всего будет, если ты присмотришь летом за Дике и побережешь мне деньги на няню, а потом начнешь искать работу — когда окажешься в Филадельфии, — объявила тетя Уджу наутро. Она разбудила Ифемелу, по-быстрому объяснила, что к чему с Дике, и сказала, что после работы пойдет в библиотеку заниматься. Слова сыпались горохом. Ифемелу хотелось, чтобы тетя слегка сбавила обороты. — Со студенческой визой ты работать не сможешь, а «работать и учиться» — это чушь, заработок никакой, и тебе придется платить за жилье и покрывать разницу в стоимости учебы. Я потолковала кое с кем из друзей, не знаю, помнишь ли ты ее, — Нгози Оконкво? Она теперь американская гражданка и уехала ненадолго в Нигерию, начать свое дело. Я ее упростила — она тебе даст поработать по своей карточке соцобеспечения.

— Как? Я буду под ее именем? — спросила Ифемелу.

— Ну естественно, — сказала тетя Уджу, вскинув брови, будто едва не спросила Ифемелу, не дура ли она. У нее в волосах застряла белая капелька крема для лица, у самого основания одной косы, и Ифемелу собралась сказать ей об этом, но раздумала, промолчала, наблюдая, как тетя Уджу устремляется к двери. Упрек тети Уджу уязвил ее.словно меж ними внезапно исчезла былая близость. Из-за раздраженности тети, из-за этой ее новообретенной колючести Ифемелу чудилось, будто есть много чего, что ей полагается уже знать, а она из-за каких-то личных промахов все никак не освоит. — Есть солонина, можешь сделать сэндвичи на обед, — сказала тетя Уджу, будто это в порядке вещей и не требовало шутливой присказки,

что американцы едят хлеб на обед.

Но Дике не хотел сэндвич. Он показал Ифемелу все свои игрушки, они посмотрели несколько серий «Тома и Джерри», он хохотал от восторга, потому что она их все смотрела еще в Нигерии и рассказывала ему, что случится дальше, а потом Дике открыл холодильник и сказал, что́ нужно приготовить.

— Хот-доги.

Ифемелу осмотрела интересные длинные колбаски и принялась заглядывать в буфет в поисках масла.

— Мамочка говорит, чтоб я звал тебя тетя Ифем. Но ты же мне не тетя. Ты мне двоюродная сестра.

— Ну и зови меня кузиной.

— Ок, куз, — сказал Дике и рассмеялся. Смех у него был такой задушевный, такой открытый. Ифемелу обнаружила растительное масло. — Масла не надо. Просто свари хот-дог в воде.

— В воде? Как это — готовить колбаску в воде?

— Это хот-дог, а не колбаска.

Разумеется, это колбаска, хоть зови ее этим нелепым «хот-дог», хоть нет, и она поджарила две штуки на той же капле подсолнечного масла, какой хватало когда-то на жарку сосисок «Сатиз». [84] Дике смотрел на это с ужасом. Она выключила плиту. Дике сдал назад и сказал: «Буэ». Они глядели друг на друга, между ними — тарелка с булочкой и два сморщенных хот-дога. Тут-то она и поняла, что надо было послушать Дике.

— Можно мне сэндвич с джемом и арахисовым маслом тогда? — спросил Дике. Она последовала его указаниям: сначала намазала на хлеб арахисовое масло, давась смехом от того, как он пристально за нею наблюдал, будто она того и гляди решит и сэндвич поджарить.

Когда вечером Ифемелу рассказала тете Уджу историю с хот-догом, тетя Уджу проговорила без всякого веселья, какое ожидала Ифемелу:

— Это не колбаски, это хот-доги.

— Все равно что говорить, будто бикини — это не нательная одежда. Гость из космоса разницу заметит?

Тетя Уджу пожала плечами; она сидела за кухонным столом, ела гамбургер из мятого бумажного пакета, перед глазами — медицинский учебник. Кожа сухая, вокруг глаз тени, настроение обесцвеченное. Казалось, она смотрит на книгу, а не читает ее.

В продуктовой лавке тетя Уджу не покупала ничего из того, что хотела, — только то, что распродавали, и заставляла себя это хотеть. Взяла пеструю листовку при входе в «Ки-Фуд» и отправилась искать продукты, включенные в распродажу, прочесывала ряд за рядом. Ифемелу катила тележку, Дике шел рядом.

— Мамочка, мне эти не нравятся. Возьми синюю, — сказал Дике, когда тетя Уджу клала в тележку упаковки овсяных хлопьев.

— Эту можно купить одну, а вторую получить в подарок, — сказала тетя Уджу.

— Они невкусные.

— Они по вкусу такие же, как обычные хлопья, Дике.

— Нет. — Дике снял с полки синюю коробку и поспешил к кассе.

— Эй, мальчуган! — Кассирша была дебелая и радушная, щеки красные, шелушившиеся от солнца. — Помогаешь мамочке?

— Дике, положи на место, — сказала тетя Уджу с гнусавым скользящим акцентом, какой она применяла в разговорах с белыми американцами, в присутствии белых американцев, заслышав белых американцев. «Па-ажи на-а-места». И с этим акцентом проступала и новая личина — виноватая и застенчивая. С кассиршей она вела себя чрезмерно подобострастно. — Простите, простите, — сказала она, копаясь в поисках дебетовой карты в кошельке.

Поскольку кассирша наблюдала за ними, тетя Уджу разрешила Дике взять ту коробку с хлопьями, но в машине схватила его за левое ухо, крутнула, дернула.

— Я тебе говорила никогда ничего в продуктовом не брать? Ты меня слышишь? Или хочешь, чтоб я тебя шлепнула, и тогда услышишь?

Дике прижал ухо рукой.

Тетя Уджу обратилась к Ифемелу:

— Вот как в этой стране плохо ведут себя дети. Джейн даже говорила мне, что ее дочка угрожает позвонить в полицию, когда Джейн ее бьет. Вообрази. Девочка не виновата, ее привезли в Америку, и ее тут научили, что можно звонить в полицию.

Ифемелу погладила Дике по коленке. Он не посмотрел на нее. Тетя Уджу вела машину чуточку слишком быстро.

* * *

Дике позвал из ванной, куда его отправили чистить зубы.

— Дике, *и мечаго?*^[85] — спросила Ифемелу.

— Прошу тебя, не разговаривай с ним на игбо, — сказала тетя Уджу. — Он в двух языках запутается.

— Ты о чем вообще, тетя Уджу? Мы росли на двух языках.

— Тут Америка. Другое дело.

Ифемелу промолчала. Тетя Уджу закрыла учебник и устала в пустоту перед собой. Телевизор выключили, из ванной доносился звук бегущей воды.

— Тетя, что такое? — спросила Ифемелу. — Что стряслось?

— В смысле? Ничего не стряслось. — Тетя Уджу вздохнула. — Я провалила последний экзамен. Результаты получила как раз перед твоим приходом.

— Ох.

— Ни единого экзамена за всю жизнь не провалила. Но они не знания проверяли, а способность отвечать на хитрые вопросы с тремя вариантами ответов, которые не имеют никакого отношения к учебным знаниям. — Она встала и ушла в кухню. — Я устала. Я так устала. Думала, что теперь-то все для нас с Дике станет лучше. Мне тут никто не помогал, а деньги кончились так быстро, уму не постижимо. Я училась и пахала на трех работах. И продавщицей в магазине, и лаборанткой, даже в «Бургер Кинге» по несколько часов.

— Все наладится, — беспомощно проговорила Ифемелу. И понимала, насколько это пустые слова. Все незнакомое. Она не могла утешить тетю Уджу, потому что не знала как. Когда тетя Уджу заговорила о своих подругах, приехавших в Америку раньше и сдавших экзамены, — Нкечи из Мэриленда прислала ей обеденный сервиз, Кеми из Индианы купила для нее кровать, Озависа из Хартфорда собрала для нее посуду и одежду, — Ифемелу произнесла «Боже, благослови их», но и эти слова показались неуклюжими и бестолковыми у нее во рту.

По разговорам с тетей Уджу по телефону Ифемелу решила, что тут все неплохо, но теперь осознала, до чего расплывчато тетя Уджу всегда говорила о «работе» и «экзаменах», без всяких подробностей. Или, может, потому что Ифемелу и не спрашивала о подробностях, считая, что ничего в них не поймет. И подумала, глядя на тетю Уджу, что прежняя тетя Уджу никогда бы не стала носить такие неопрятные косы. Никогда бы не потерпела вросших волос, торчавших теперь у нее на подбородке, или затасканных брюк, что мешком висели у нее между ног. Америка утешила ее.

Глава 10

То первое лето оказалось для Ифемелу летом ожидания: она чувствовала, что настоящая Америка — сразу за углом, осталось свернуть. Казалось, чего-то ждут даже дни, соскальзывавшие один в другой, вялые и прозрачные, с долгим вечерним солнцем. У жизни Ифемелу появилось это свойство оголенности, тлеющей пустоты, ни родителей, ни друзей, ни дома, ни знакомых предметов пейзажа, делавших ее тем, что она есть. И она ждала, писала Обинзе длинные, подробные письма, время от времени звонила — звонки, впрочем, были кратки, поскольку тетя Уджу предупредила, что тратиться на телефонные карточки не может, — и сидела с Дике. Он всего лишь ребенок, но с ним она чувствовала родство, близкое к дружбе. Они вместе смотрели его любимые мультсериалы — «Спиногрызов» и «Фрэнклина»,^[86] вместе читали книги, и она приглядывала за ним, пока он играл с детьми Джейн. Джейн жила в соседней квартире. Они с мужем Марлоном происходили из Гренады и говорили с лирическим акцентом, словно того и гляди запоют.

— Они — как мы: у него хорошая работа, он целеустремленный — и они своих детей шлепают, — одобрительно сказала тетя Уджу.

Ифемелу с Джейн посмеялись, когда обнаружили, до чего похоже сложилось у них детство в Гренаде и в Нигерии, с книгами Энид Блайтон,^[87] учителями и отцами-англофилами, боготворившими «Всемирную службу Би-би-си». Джейн была старше Ифемелу всего на несколько лет.

— Я очень рано вышла замуж. Марлона все хотели, как тут откажешь? — рассказала она полушутя.

Они сидели на крыльце их дома, смотрели, как Дике и дети Джейн, Элизабет и Джуниор, катаются по улице на велосипедах туда-сюда, Ифемелу покрикивала Дике не уезжать дальше, дети вопили, бетонные тротуары сияли на жарком солнце, а летнюю тишь прерывали лишь всплески музыки из проезжавших машин.

— Тебе все тут, должно быть, пока еще чужое, — сказала Джейн.

Ифемелу кивнула.

— Да.

На улицу выкатился фургон мороженщика, а с ним — бубенцы мелодийки.

— Знаешь, я тут уже десятый год, а все равно будто обживаюсь только, — продолжила Джейн. — Самое трудное — растить детей. Ты

посмотри на Элизабет, с ней приходится очень осторожно. Если в этой стране не осторожничать, дети становятся невесть кем. Дома все иначе, над ними там власть имеешь. А тут — нет. — У Джейн был безобидный вид, лицо простое, руки тряские, но под легко возникавшей улыбкой таилась льдистая бдительность.

— Сколько ей? Десять? — спросила Ифемелу.

— Девять, а она уже пытается изображать истеричку. Мы платим приличные деньги, чтобы она ходила в частную школу, потому что от государственных тут никакого проку. Марлон говорит, что скоро переедем в пригород, чтобы дети ходили в школу получше. Иначе она начнет вести себя как черные американцы.

— В смысле?

— Не волнуйся, со временем поймешь, — сказала Джейн и встала — сходить за деньгами, детям на мороженое.

Ифемелу с радостью ждала таких посиделок с Джейн на крыльце, пока однажды вечером Марлон не явился с работы и не сказал Ифемелу торопливым шепотом, после того как Джейн ушла за лимонадом для детворы:

— Я думаю о тебе. Хочу поговорить.

Джейн она ничего не сказала. Та считать виноватым Марлона не станет ни в какую — ее светлокожего Марлона со светло-кариими глазами, которого все хотели, и Ифемелу стала избегать их обоих, придумывать затейливые настольные игры, в которые они с Дике могли играть дома.

Как-то раз она спросила у Дике, чем он занимался в школе до лета, и он ответил:

— Кругами.

Их усаживали на пол в круг, и они рассказывали друг другу про то, что кому нравится.

Ифемелу ужаснулась.

— А ты делить умеешь?

Он посмотрел на нее странно:

— Я в первом классе, куз.

— Когда мне было как тебе, я уже знала простое деление.

У нее в уме засело убеждение, что американские дети в начальной школе ничему не учатся, и оно закрепилось, когда Дике рассказал ей, что их учитель иногда раздавал купоны на домашнюю работу: если тебе достался такой купон, можно в этот день домашку не делать. Круги, купоны на домашку — о каких еще глупостях она услышит? И Ифемелу взялась учить его математике — она именовала ее «матема», Дике говорил

«мат», и они решили, что сокращать это слово не будут. Теперь она и не могла представить себе то лето, не вспоминая деление в столбик, наморщенный от растерянности лоб Дике, когда они сидели рядышком за обеденным столом, о своих колебаниях — подкупить его или наорать. Ладно, давай еще раз — и будет тебе мороженое. Не пойдешь играть, пока не сделаешь все без ошибок. Позднее, когда подрос, Дике сказал ей, что математика далась ему легко из-за того лета, в которое Ифемелу его мучила.

— Ты хочешь сказать — учила, — откликнулась она, и это стало постоянной шуткой, к которой они время от времени прибегали как к лакомству.

То было и лето еды. Ифемелу привлекало незнакомое: гамбургеры в «Макдоналдсе» с отрывистым кислым хрустом огурчиков, этот новый вкус, который ей нынче нравился, а завтра — нет, рапы, которые тетя Уджу притаскивала домой, мокрые от острого соуса, вареная колбаса и пеперони, от которых во рту оставалась соленая пленка. Она терялась от пресности фруктов, словно природа забыла приправить покрепче апельсины и бананы, но было приятно на них смотреть, трогать их. Бананы такие здоровенные, такие равномерно желтые, что она прощала им травянистость. Однажды Дике сказал:

— А ты почему так делаешь? Ешь бананы с арахисом?

— Так едят в Нигерии. Хочешь попробовать?

— Нет, — ответил он решительно. — По-моему, Нигерия мне не нравится, куз.

Мороженое, к счастью, — неизменный вкус. Ифемелу загребала прямо из громадных лоханок «купи-одну-получи-вторую-даром» в морозилке, плюхи ванильного и шоколадного, и тарасилась в телевизор. Она смотрела те же сериалы, что и в Нигерии, — «Новоявленного принца из Бель-Эйра», «Другой мир»,^[88] и обнаружила новые, неведомые — «Друзья», «Симпсоны», но завораживала ее реклама. Она тосковала по жизни, которую там показывали, жизни, полной блаженства, где любой беде находился блестящий ответ в виде шампуней, автомобилей и полуфабрикатов, и у нее в голове они стали настоящей Америкой, — Америкой, которую она увидит, лишь когда осенью отправится учиться. Вечерние новости — этот поток пожаров и перестрелок — поначалу ошарашивали: она привыкла к новостям НТВ, где самодовольные военные перерезали ленточки или произносили речи. Но Ифемелу смотрела новости день за днем, на мужчин, уводимых прочь в наручниках, на несчастные семьи перед обугленными дымящимися домами, на обломки машин,

разбитых в полицейских погонях, размытые записи магазинных ограблений, и тревога ее крепла. Она запаниковала из-за какого-то звука у окна, когда Дике укатился на велосипеде слишком далеко. Перестала выносить мусор в темноте — потому что снаружи мог притаиться человек с пистолетом. Тетя Уджу сказала, хохотнув:

— Будешь и дальше смотреть телевизор — решишь, что такое происходит постоянно. Ты знаешь, какая преступность в Нигерии? Может, потому, что мы не докладываем о ней так, как они тут?

Глава 11

Тетя Уджу возвращалась домой с сушеным лицом, напряженная, когда улицы были темны, а Дике — уже в постели, и спрашивала: «Почты мне не было? Почты мне не было?» Вопрос всегда повторялся, все ее существо — на опасной кромке, вот-вот опрокинется. Вечерами она иногда подолгу разговаривала по телефону, приглушенно, будто защищая что-то от пытливого внешнего мира. Наконец она рассказала Ифемелу о Бартоломью.

— Он бухгалтер, разведенный, хочет остепениться. Родом из Эзиовелле,^[89] совсем рядом.

Ифемелу, потрясенная словами тети Уджу, смогла лишь выдать:

— О, хорошо, — и ничего больше.

«Чем он занимается?» и «Откуда родом?» — такие вопросы задала бы ее мама, но когда это имело для тети Уджу значение — что родной город мужчины соседствует с ее?

Однажды в субботу Бартоломью приехал к ним из Массачусетса. Тетя Уджу приготовила потроха с перцем, припудрила лицо и встала к окну в гостиной — ждать, когда подъедет его машина. Дике наблюдал за ней, без настроения возясь с солдатиками, растерянный, но и взбудораженный — чувствовал ее предвкушение. Когда в дверь позвонили, она взволнованно велела Дике:

— Веди себя хорошо!

На Бартоломью были высоко поддернутые штаны-хаки, говорил он с американским акцентом, в котором зияли бреши, а слова путались так, что невозможно было разобрать. Ифемелу по его повадкам уловила жалкое провинциальное воспитание, которое он пытался уравновесить американским выговором, всеми этими «каэцца» и «хоцца».

Он глянул на Дике и проговорил почти безразлично:

— А, да, твой мальчик. Как дела?

— Хорошо, — промямлил Дике.

Ифемелу раздражало, что сын женщины, за которой Бартоломью ухаживает, ему совершенно не интересен, Бартоломью даже не прикидывается, что это не так. Он убийственно не подходил тете Уджу — и не был достоин ее. Человек поумнее осознал бы это и держался сдержаннее — но не Бартоломью. Гость вел себя чванливо, будто он — особый подарок, который тете Уджу повезло отхватить, а тетя Уджу ему потакала. Прежде чем отведать потроха, он сказал:

— Ну-ка поглядим, на что это годится.

Тетя Уджу рассмеялась, и у ее смеха был оттенок согласия, поскольку эти его слова: «Ну-ка поглядим, на что это годится» — были о том, хорошая ли она повариха, а значит, хорошая ли жена. Она вписалась в ритуалы, цвела улыбкой, какая обещала покорность ему, но не миру, бросилась подобрать его вилку, когда та выскользнула у него из рук, подала ему еще пива. Дике, сидя за столом, молча наблюдал, забросив игрушки. Бартоломью ел потроха и пил пиво. Говорил о нигерийской политике со страстью и пылом человека, наблюдавшего за ней издали, читавшего и перечитывавшего статьи в интернете.

— Смерть Кудират^[90] — не зряшная, она подтолкнет демократическое движение так, как и жизнь-то не смогла! Я только что написал на эту тему статью в «Нигерийскую деревню».^[91]

Он говорил, а тетя Уджу кивала, соглашаясь со всем. Между ними часто зияло молчание. Они сели смотреть телевизор — теледраму, предсказуемую, со множеством ярко отснятых кадров, в одном из них — девушка в коротком платье.

— В Нигерии девушки такие вот платья ни за что не наденут, — сказал Бартоломью. — Ты глянь. В этой стране никаких нравственных ориентиров.

Не стоило Ифемелу открывать рот, но имелось в Бартоломью что-то, делавшее молчание невозможным, такой он был чрезмерной карикатурой — с этим его забритым затылком, неизменным с тех пор, как он приехал в Америку тридцать лет назад, с этой его воспаленной нравственностью. Из тех людей, о ком у него в деревне, дома, сказали бы — «пропал». «Уехал в Америку и пропал, — говорили бы люди. — Уехал в Америку и отказался возвращаться».

— Девушки в Нигерии носят платья куда короче это-го-о, — сказала Ифемелу. — В средней школе кое-кто из нас переодевался у подруг дома, чтобы родители не знали.

Тетя Уджу повернулась к ней, глаза предостерегающе сощурены. Бартоломью глянул на нее и пожал плечами, словно ей и отвечать-то не стоило. Неприязнь бурлила меж ними. До конца вечера Бартоломью не обращал на нее внимания. Не обращал он на нее внимания и в будущем. Она потом почитала его публикации в «Нигерийской деревне», все в кислом тоне, нахрапистые, все под псевдонимом Массачусетский бухгалтер-игбо, и ее удивило, как безудержно он пишет, как настоятельно проталкивает затхлые свои доводы.

В Нигерию он не ездил много лет и, вероятно, нуждался в утешении онлайн-сообществ, где и малые замечания перерастали в нападки, где люди бросались личными оскорблениями. Ифемелу представляла себе тех пишущих — в невзрачных домах по всей Америке, жизни их омертвели от работы, — их прилежные сбережения в течение года, чтобы в декабре можно было сгонять домой на недельку, и приезжали они туда с полными чемоданами обуви, одежды и дешевых часов и наблюдали в глазах родственников собственные сияющие образы. Потом они вернутся в Америку и продолжат воевать в интернете за свои мифы о доме, потому что дом теперь стал размытым местом, между «здесь» и «там», но хотя бы в Сети можно пренебрегать осознанием, до чего незначительными они теперь стали.

Нигерийские женщины приезжают в Америку и срываются с цепи, писал Массачусетский бухгалтер-игбо в одном из своих постов; неприятная истина, однако необходимо ее признать. Иначе как еще объяснить высокий уровень разводов среди нигерийцев в Америке и низкий — среди нигерийцев в Нигерии? Русалка-из-Дельты ответила, что для женщин в Америке попросту имеются законы, защищающие их интересы, и будь такие же законы в Нигерии, уровень разводов сравнялся бы со здешним. Отклик Массачусетского бухгалтера-игбо: «Тебе Запад мозги промыл. Постыдилась бы называться нигерийкой». Отвечая Эзе Хаустон, написавшей, что нигерийские мужчины — циники, они возвращаются в Нигерию и стремятся жениться там на медсестрах и врачах только для того, чтобы их супруги зарабатывали им деньги в Америке, Массачусетский бухгалтер-игбо пишет: «А что плохого в том, что мужчина хочет финансовой устойчивости от собственной жены? Женщины разве хотят не того же?»

После его отъезда в ту субботу тетя Уджу спросила Ифемелу:

— Ну что?

— Он отбеливающими кремами пользуется.

— Что?

— Ты не увидела? У него лицо странного цвета. Наверняка применяет дешевые, без противозагарных добавок. Что за мужик будет себе кожу отбеливать, бико?

Тетя Уджу пожала плечами, будто не заметила зеленовато-желтый оттенок лица у этого мужчины — на висках и того хуже.

— Он неплохой. У него хорошая работа. — Она примолкла. — Я не молодую. Я хочу Дике брата или сестру.

— В Нигерии такой мужчина не набрался бы смелости даже

заговорить с тобой.

— Мы не в Нигерии, Ифем.

Прежде чем отправиться в спальню, пошатываясь под тяжестью многих своих тревог, тетя Уджу сказала:

— Прошу тебя, молись, чтоб все получилось.

Ифемелу молиться не стала, но даже если бы взялась, не нашла бы в себе сил молиться за то, чтобы тетя Уджу сошлась с Бартоломью. Ее огорчало, что тетя Уджу согласилась на то, что попросту знакомо.

* * *

Из-за Обинзе Манхэттен пугал Ифемелу. Когда впервые проехала на метро от Бруклина до Манхэттена, с потными руками, она отправилась гулять по улицам, глазеть, впитывать. Женщина, похожая на сильфа, бежит на высоких каблуках, короткое платье плещется следом, она спотыкается, чуть не падает; пухлый мужчина кашляет и сплевывает на тротуар; девушка во всем черном вскидывает руку, ловя пролетающее мимо такси. Бесконечные небоскребы устремляются в небо, а на окнах — грязь. Ослепительное несовершенство всего этого успокоило Ифемелу.

— Чудесно, однако не рай, — сказала она Обинзе. Не чаяла дождаться, когда и он увидит Манхэттен. Воображала, как они гуляют, держась за руки, словно американские пары, каких она тут перевидала, как мешкают у магазинной витрины, застревают почитать меню на двери ресторана, останавливаются у тележки с уличной едой — купить ледяные бутылки холодного чая. «Скоро», — сообщил он в письме. Они часто говорили друг другу «скоро», и это «скоро» придавало их плану вес чего-то всамделишного.

* * *

Наконец пришли результаты тети Уджу. Ифемелу вытащила конверт из почтового ящика, такой тощий, такой обычный, «Экзамен на врачебную лицензию Соединенных Штатов» отпечатано ровным шрифтом, и долго держала его в руках, желая изо всех сил, чтобы новости оказались хорошими. Вскинула конверт вверх, как только тетя Уджу переступила порог.

— Толстый? Толстый? — спрашивала она.

— Что? *Гини*? — спросила Ифемелу.

— Он толстый? — еще раз повторила тетя Уджу, бросив сумку на пол и приблизившись, протягивая руку, лицо перекошено надеждой. Забрала конверт и вскричала: — Получилось! — После чего распечатала, чтобы убедиться, взгляделась в тонкий листок бумаги. — Если провалился, они шлют толстый конверт, чтобы заново все подавать.

— Тетя! Я знала! Поздравляю!

Тетя Уджу обняла ее, они наскакивали друг на друга, слышали дыхание друг дружки, и к Ифемелу вернулось теплое воспоминание о Лагосе.

— Где Дике? — спросила тетя Уджу, словно его еще не уложили, когда она вернулась домой со второй работы. Она ушла в кухню, встала под яркий свет и еще раз всмотрелась в результат, глаза намокли. — Я, значит, буду семейным врачом в этой Америке, — проговорила она едва ли не шепотом. Открыла банку колы, но даже не пригубила.

Позднее сказала:

— Предстоит расплести косы и выпрямить волосы — для собеседований. Кеми сказала, что косы на собеседования нельзя. Если косы, они считают тебя непрофессиональной.

— То есть в Америке нет врачей с заплетенными волосами? — переспросила Ифемелу.

— Я тебе говорю, как мне сказали. Ты не в своей стране. Делаешь, что должен, если хочешь добиться успеха.

И вот она вновь, эта странная наивность, какой тетя Уджу укрывалась, словно одеялом. Иногда, разговаривая с ней, Ифемелу ловила себя на том, что тетя Уджу сознательно оставила в далеких забытых местах какую-то часть себя, что-то сущностное. Обинзе говорил, что это преувеличенная благодарность, какая сопутствует иммигрантской неуверенности в себе. Как это свойственно Обинзе — все объяснять. Обинзе, который был ей проводником все это лето ожидания, — его уверенный голос в телефонной трубке, длинные письма в голубых конвертах авиапочты, — который понимал, пока лето завершалось, то новое, что теперь снадало ее изнутри. Она рвалась начать учебу, обрести настоящую Америку, и все же не давала ей покоя тревога, новая, мучительная ностальгия по бруклинскому лету, ставшему таким знакомым: дети на велосипедах, жилистые черные мужчины в тугих белых майках, звонки фургона с мороженым, громкая музыка из машин без крыш, солнце, сияющее до ночи, и все, что гнило и смердело в волглom воздухе. Ифемелу не хотелось оставлять Дике — одна

эта мысль порождала чувство утраченного сокровища, — и все же хотелось убраться из квартиры тети Уджу и начать жизнь, в которой границы будет определять лишь она сама.

Дике как-то рассказывал ей — с завистью — о своем друге, который съездил на Кони-Айленд и привез оттуда фотографию, сделанную на карусели — крутой горке, и на выходных перед своим отъездом она удивила его, объявив:

— Мы едем на Кони-Айленд!

Джейн объяснила ей, какой поезд годится, сколько это будет стоить. Тетя Уджу одобрила, но никаких денег сверх того, что у Ифемелу было, не добавила. Ифемелу смотрела, как Дике катается на каруселях, вопит от ужаса и восторга, мальчишка, совершенно открытый миру, и не жалела о расходах. Они ели хот-доги и сахарную вату, пили молочные коктейли.

— Скорей бы мне уже не ходить с тобой в девчачий туалет, — сказал он, и Ифемелу хохотала, не могла остановиться. На обратном пути в поезде Дике был усталый и сонный. — Куз, это у нас с тобой лучший день, — сказал он, прислонившись к ней.

Горько-сладким сиянием чистилища перед разлукой накрыло ее через несколько дней, когда она целовала Дике на прощанье — раз, другой, третий, пока Дике не расплакался, этот ребенок, совершенно не привычный к реву, Ифемелу тоже глотала слезы, а тетя Уджу повторяла и повторяла, что Филадельфия — это не очень далеко. Ифемелу вкатила чемоданы в метро, доехала до автостанции на 42-й улице и села в автобус до Филадельфии. Устроилась у окна — кто-то прилепил к стеклу жвачку — и долгие минуты изучала карточку соцстраха и водительские права, принадлежавшие Нгози Оконкво. Нгози Оконкво была лет на десять старше Ифемелу, с узким лицом, с бровями, что начинались как махонькие шарики, а затем раскидывались дугами, со скулами в виде буквы V.

— Я на нее совсем не похожа, — сказала Ифемелу, когда тетя Уджу выдала ей карточку.

— Мы для белых людей все выглядим одинаково, — сказала тетя Уджу.

— А, а, тетя!

— Я не шучу. Двоюродная сестра Амары приехала в прошлом году, и у нее еще нет бумаг на руках, вот она и работала по Амариним документам. Помнишь Амару? Сестра у нее очень светлая и худая. Они вообще друг на друга не похожи. Никто не заметил. Она работает сиделкой в Вирджинии. Просто хорошенько запомни свое новое имя — и все. У меня одна подружка забыла, ее коллега звал-звал, звал-звал, а она ноль внимания.

Ее заподозрили и сдали иммиграционным службам.

Глава 12

Гиника стояла у маленькой людной автостанции — в мини-юбке и топе без бретелек, скрывавшем ей грудь, но не живот, — и ждала Ифемелу, чтобы подхватить ее и забросить в настоящую Америку. Гиника сделалась гораздо худее, вполовину себя прежней, голова смотрелась крупнее, покачивалась на длинной шее и наводила на мысли о неведомом диковинном животном. Гиника протянула руки, словно призывая ребенка в объятия, засмеялась и выкликнула:

— Ифемско! Ифемско!

Ифемелу на миг отбросило в среднюю школу: девчонки в сине-белых форменных платьях и валяных беретах сплетничают, толпясь в школьном коридоре. Они с Гиникой обнялись. От картинности их крепкого объятия, а затем отстранения, а следом вновь объятия у Ифемелу, как странно ей самой это ни было, навернулись слезы.

— Ты глянь! — сказала Гиника, размахивая руками, позвякивая многочисленными серебряными браслетами. — Ты ли это?

— А ты когда бросила есть и начала выглядеть как вяленая рыба? — спросила Ифемелу.

Гиника рассмеялась, схватила чемодан и повернулась к выходу:

— Давай, пошли. Я машину поставила где нельзя.

Зеленый «вольво» ждал на углу узкой улочки. Неулыбчивая женщина в форменной одежде и с брошюрой квитанций в руке топала им навстречу, но тут Гиника нырнула внутрь и завела мотор.

— Пронесло! — сказала она, хохоча.

Бездомный мужчина в затасканной футболке толкал перед собой тележку, набитую тюками, замер у машины, словно перевести дух, уставился перед собой в пустоту, Гиника покосилась на него, выкатываясь на улицу. Ехали с открытыми окнами. У Филадельфии был запах летнего солнца, опаленного асфальта, скворчащего мяса с уличных прилавков с едой на уличных углах; торговцы за прилавками — неведомые бурые мужчины и женщины. Ифемелу полюбятся продававшиеся здесь гиро,^[92] лепешки и ягнятина с капающим отовсюду соусом — как полюбится и сама Филадельфия. В Филадельфии не восставал призрак устрашения, как на Манхэттене, она была задушевной, но не провинциальной, городом, какой способен быть к тебе добрым. Ифемелу видела на тротуарах женщин, отправлявшихся с работы обедать, в кроссовках — в доказательство их

американского предпочтения удобства по сравнению с изяществом; видела накрепко сцепленные юные пары, они время от времени целовались, будто боясь, что если разжать объятие, то любовь растворится, растает в ничто.

— Я у хозяина квартиры одолжила машину. Не хотела забирать тебя на своей сраной тачке. В голове не уместается, Ифемско. Ты — в Америке! — сказала Гиника.

Незнакомый металлический блеск был в ее худощавости, в ее оливковой коже, короткой юбке, задравшейся еще выше, едва прикрывая пах, в ее прямых-препрямых волосах, которые она то и дело заправляла за уши, белокурые пряди сияли на солнце.

— Въезжаем в Университетский город, тут как раз студгородок Уэллсона,^[93] *шэй*,^[94] ты знаешь, да? Можем скататься глянуть на твой вуз, а потом двинем ко мне, в пригород, а вечером — в гости к моей подруге. У нее сходняк. — Гиника переключилась на нигерийский английский — на его выдавший виды пережаренный вариант, рвалась доказать, что нисколько не изменилась. Она с натужной преданностью все эти годы поддерживала связь: звонила, писала, слала книги и бесформенные штаны под названием «слаксы». И вот пожалуйста, теперь говорила «*шэй*, ты знаешь», а Ифемелу не доставало пороху сказать ей, что «*шэй*» уже никто не говорит.

Гиника вспоминала байки из ее первого времени в Америке, будто все они исполнены подспудной мудрости, какая потребуется Ифемелу.

— Ты бы слышала, как они ржали надо мной в старших классах, когда я сказала, что меня ухарили. Потому что «хариться» здесь означает «заниматься сексом»! Пришлось повторять и повторять, что в Нигерии это означает «утомили». И ты представляешь? «Полукровка» тут — ругательство. На первом курсе я рассказывала компашке друзей о том, как меня выбрали самой красивой девочкой во всей школе, еще дома. Помнишь? Не я должна была выиграть. Зайнаб — вот кто должен был. А все потому, что я полукровка. Но такого тут много. Есть всякое фуфло, от белых, какое им в отношении тебя сойдет с рук, а со мной нет. Ну короче, рассказываю я им о том, как там у нас всё и как все мальчишки за мной бегали, потому что я полукровка, а эти такие — ты себя опускаешь. Так что я теперь двухрасовый человек, а если кто-то зовет меня полукровкой, мне полагается обижаться. Я тут видала много народу, у кого белые матери, и у них сплошные заморочки, э. Я знать не знала, что мне заморочки полагается *иметь*, пока не приехала в Америку. Вот честно, если кому охота растить двухрасовых детей, лучше заниматься этим в Нигерии.

— Конечно. Где все мальчишки бегают за девчонками-полукровками.

— Не все мальчишки, кстати. — Гиника скорчила рожицу. — Обинзе бы поторапливался да приезжал в Штаты, пока тебя кто-нибудь не увел. У тебя тип тела, какой тут местным нравится.

— Что?

— Ты худая с большой грудью.

— Я тебя умоляю, я не худая. Я стройная.

— Американцы говорят «худая». Здесь «худая» — хорошее слово.

— Ты поэтому есть перестала? Попы как не бывало. Я всегда жалела, что у меня такой, как у тебя, нету, — сказала Ифемелу.

— Ты представляешь, я начала сбрасывать вес почти сразу, как приехала? Близка к анорексии была. В старших классах ребята обзывали меня Свиной. Понимаешь, дома, когда тебе говорят, что ты похудел, это означает плохое. А тут если говорят, что ты похудел, — говори спасибо. Здесь просто все по-другому, — сказала Гиника немножко завистливо, словно и сама она была в Америке новичком.

Позднее Ифемелу наблюдала за Гиникой дома у ее подруги Стефани — бутылка пива у губ, слова с американским акцентом вылетают изо рта — и поразились, до чего похожа стала Гиника на своих американских подруг. Джессика, американка с японскими корнями, красивая, оживленная, крутила в руке фирменный ключ от своего «мерседеса». Бледнокожая Тереза — с громким смехом, в бриллиантовых сережках-гвоздиках и в невзрачных поношенных туфлях. Стефани, американская китайка, — с безупречным колышущимся каре, кончики волос загибаются к подбородку — время от времени лазила за сигаретами в сумочку с монограммой и выходила на улицу покурить. Хари — кожа кофейного оттенка, черные волосы, облегающая футболка — сказала, когда Гиника представила Ифемелу:

— Я индианка, а не американка индийского происхождения.

Все смеялись над одним и тем же и говорили «Отстой!» об одном и том же — хорошо спелись. Стефани объявила, что у нее в холодильнике есть домашнее пиво, и все выдали хором «Круто!». Следом Тереза сказала:

— А мне можно обычное пиво, Стеф? — тихим голосом человека, боящегося обидеть.

Ифемелу уселась в одинокое кресло в углу, попивала апельсиновый сок, слушала разговоры. «Эта компания — прям зло». «Боже ты мой, с ума сойти, сколько в этом сахара». «Интернет точно изменит мир». Слышала, как Гиника спрашивает:

— Ты знала, что они в свой «холодок» из костей животных что-то там добавляют? — И все застонали.

Существовал некий шифр, каким владела Гиника, существовали методы бытия, которые она освоила. В отличие от тети Уджу Гиника приехала в Америку с гибкостью и пластикой юности, культурные сигналы проникли ей под кожу, и вот уж она ездила в кегельбан, знала о планах Тоби Магуайра^[95] и считала, что оставлять ошметки еды в соуснице — отстой. Громоздились бутылки и банки из-под пива. Все полулежали в изящной истоме на диване и на ковре, а из дискового проигрывателя пер тяжелый рок, который Ифемелу сочла бестолковым шумом. Тереза пила быстрее всех и каждую следующую пустую банку запускала катиться по деревянному полу или по ковру, а все прочие воодушевленно хохотали, от чего Ифемелу растерялась, поскольку ничего особенно смешного в этом не нашла. Откуда они знали, когда смеяться — и над чем смеяться?

* * *

Гиника покупала платье к званому ужину, устраиваемому юристами, у которых она проходила практику.

— Тебе тоже надо вещичек, Ифем.

— Я и десяти кобо не потрачу без нужды.

— Десяти центов.

— Десяти центов.

— Я тебе дам куртку и постельное всякое, но рейтузы тебе точно нужны. Грядут холода.

— Разберусь, — сказала Ифемелу. И разберется. Если надо — наденет все, что есть, одновременно, слоями, пока не найдет работу. Расходы повергали ее в ужас.

— Ифем, я заплачу́.

— Ты тоже, знаешь, не очень-то зарабатываешь.

— Ну хоть что-то зато, — отбрила ее Гиника.

— Очень надеюсь быстро найти работу.

— Найдешь, не волнуйся.

— Не понимаю, как хоть кто-то поверит, что я Нгози Оконкво.

— Не показывай никому права, когда на собеседование пойдешь. Просто карточку соцобеспечения покажи. Может, даже и не спросят. Иногда на таких вот мелких работах и не спрашивают.

Гиника привела ее в одежный магазин, где Ифемелу показалось слишком загроможденно. Он напомнил ей ночной клуб: грохотала диско-

музыка, внутри царил полумрак, а продавщицы, две худорукие девушки во всем черном, носились по залу чересчур шустро. Одна — шоколаднокожая, длинные черные пряди высветлены до рыжего, вторая — белая, она шла к ним, чернильные волосы плескались по воздуху.

— Привет, дамы, как ваши дела? Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила она переливчатым певучим голоском. Начала сдергивать одежду с вешалок, разворачивать то, что лежало на полках, и показывать Гинике.

Ифемелу поглядывала на ценники, пересчитывала в найры и восклицала:

— А, а! Как так, почему эта вещь столько стоит?

Выбирала и тщательно разглядывала то-сё, пыталась понять, что тут что — белье или блузка? рубашка или платье? — но временами все равно не была уверена.

— А вот это буквально только что приехало, — сказала продавщица об искрившемся платье, словно выдавая большую тайну, и Гиника воскликнула с громадным пылом:

— О боже мой, да неужели?

В излишне ярком свете примерочной Гиника надела то платье и вышла на цыпочках.

— Обожаю.

— Но оно же бесформенное, — сказала Ифемелу. Ей это платье показалось мешком, к которому кто-то заскучавший как попало пришил блески.

— Это постмодерн, — объявила Гиника.

Наблюдая, как Гиника охорашивается перед зеркалом, Ифемелу задумалась, разделит ли и она со временем вкусы Гиники к бесформенным платьям, — может, вот это Америка с людьми и делает?

На кассе светленькая продавщица спросила:

— Вам кто-то помогал?

— Да, — сказала Гиника.

— Челси или Дженнифер?

— Простите, я не запомнила имя. — Гиника огляделась, чтобы показать на помощницу, но обе девушки исчезли в примерочных.

— Которая с длинными волосами? — уточнила кассирша.

— Ну, у них обеих волосы длинные.

— Брюнетка?

Брюнетки — обе.

Гиника улыбнулась и посмотрела на кассиршу, кассирша улыбнулась и посмотрела на экран компьютера, и две клеклые секунды проползи, прежде

чем кассирша вымолвила:

— Ничего страшного. Я позже разберусь и прослежу, чтобы ей достался процент.

Выходя из магазина, Ифемелу сказала:

— Я все ждала, когда она спросит: «Которая с парой глаз или с парой ног?» Чего было не спросить: «Черная или белая?»

Гиника рассмеялась.

— Потому что это Америка. Тут положено делать вид, что некоторых вещей не замечаешь.

* * *

Гиника звала Ифемелу пожить с ней, сэкономить на съеме, но ее квартира была слишком далеко, в самом конце Главной линии, и кататься каждый день на поезде в Филадельфию выходило чересчур дорого. Они вместе поискали квартиру в Западной Филадельфии, и Ифемелу поразили гниющие буфеты в кухнях, мыши, сновавшие по пустым спальням.

— Общага в Нсукке грязная была, но хоть без крыс-о.

— Это мышь, — сказала Гиника.

Ифемелу уже собралась подписать договор на съем — если экономия означала жить с мышами, пусть так, — но тут подруга Гиники сказала им, что можно снять комнату на отличных, по университетским понятиям, условиях. Комната находилась в четырехкомнатной квартире с плесневелым ковровым покрытием, над пиццерией на Пауэлтон-авеню, на углу, где наркоманы время от времени роняли трубки для крэка — жалкие огрызки перекрученного металла, блестящего на солнце. Комната Ифемелу — самая дешевая, самая маленькая, окнами на старую кирпичную стену соседнего здания. В воздухе витала собачья шерсть. Ее соседки — Джеки, Елена и Эллисон — выглядели почти взаимозаменяемо, каштановые волосы выпрямлены, клюшки для лакросса свалены в углу. По дому болталась собака Элены, здоровенная, черная, похожая на косматого ослика; иногда внизу лестницы возникала кучка собачьего дерьма, и Елена кричала, словно отыгрывая спектакль для соседок, роль, текст которой был всем известен:

— Ну ты и вляпался по-крупному, дружок!

Ифемелу предпочла бы, чтоб собака жила на улице, где ей и место. Когда Елена спросила, почему Ифемелу за целую неделю после въезда ни

разу не погладила ее собаку или не почесала ей за ухом, Ифемелу ответила:

— Не люблю собак.

— Это типа культурная особенность?

— В смысле?

— В смысле, я типа знаю, что в Китае едят кошатину и собачатину.

— У меня есть друг, дома, вот он любит собак. А я — нет, вот и все.

— О, — сказала Елена и глянула на нее, нахмурившись, как Джеки и Эллисон посмотрели на нее до этого, когда она сказала, что ни разу не посещала кегельбан, будто размышляли, как вообще можно стать нормальным человеком, не побывав в кегельбане. Ифемелу стояла на окраине собственной жизни, делила холодильник и уборную, поверхностную близость с людьми, которых нисколько не знала. С людьми, жившими среди восклицательных знаков. «Великолепно! — часто говорили они. — Это великолепно!» С людьми, которые не терли кожу под душем: в ванной комнате громоздились шампуни, кондиционеры и гели, но не нашлось ни единой мочалки, и вот это — отсутствие мочалок — делало их для Ифемелу недостижимо инопланетными. (Одно из самых ранних личных воспоминаний — ванная, ведро воды посередине, мама говорит: «*Нгва*, три между ног очень-очень хорошенько...», и Ифемелу чуточку перестаралась с луфой — чтобы показать маме, как здорово она может себя отмыть, и после этого несколько дней ковыляла, широко расставляя ноги.) Было в жизни ее соседок нечто, происходившее по умолчанию, убежденная определенность, завораживавшая Ифемелу, так часто они говорили: «Пошли возьмем» — о чем угодно, что им нужно, будь то еще пива, пиццы, жареных куриных крылышек, алкоголя, словно это «возьмем» не требовало денег. Дома она привыкла, что люди сначала спрашивают: «Деньги есть?» — а потом строят подобные планы. Они бросали коробки из-под пиццы на кухонном столе, саму кухню оставляли в беспорядке на целые дни, а по выходным в гостиной собирались их друзья, холодильник набивали упаковками пива, на стульчаке возникали потеки засохшей мочи.

— Мы идем на вечеринку. Пошли с нами, будет веселуха! — сказала Джеки, и Ифемелу влезла в облегающие джинсы и блузку с американской проймой, одолженную у Гиники.

— Вы одеваться не будете, что ли? — спросила она своих соседок перед выходом — на всех троих были мешковатые джинсы, — и Джеки сказала:

— Мы уже одеты. Ты о чем вообще? — И хохотнула, словно намекая, что вот, дескать, еще одна иностранная патология проявилась.

Они отправились в студенческое землячество на Чеснат-стрит, где все

топтались с крепким на водку пуншем в пластиковых стаканчиках, пока Ифемелу не свыклась с мыслью, что танцев не будет: здешние вечеринки означают топтаться и выпивать. Кругом мешанина затасканной ткани и растянутых воротов — студенты на вечеринке, вся одежда определенно изношена. (Годы спустя в блоге появится текст: «Что касается приличной одежды, американская культура до того самодостаточна, что не только не утруждает себя учтивостью самопредставления, но и превратила это в добродетель. “Мы слишком обалдены/заняты/круты/ненапряжны, что не морочим себе голову тем, как выглядим в глазах других людей, и поэтому ходим учиться в пижамах, а в магазин — в нижнем белье”».) Все постепенно напивались, и кто-то уже вяло лежал на полу, а прочие достали фломастеры и принялись писать на оголенной коже павшего: «Отсоси мне. Жмите, Шестые!»^[96]

— Джеки сказала, ты из Африки? — спросил ее юнец в бейсболке.

— Да.

— Вот это круто! — произнес он, и Ифемелу представила, как рассказывает об этом Обинзе и как будет изображать голосом эту фразу.

Обинзе вытащил из нее всю эту историю до последней нитки, перебрал все подробности, задал уйму вопросов, а иногда смеялся, и эхо летело вдоль телефонной линии. Она пересказала ему слова Эллисон: «Эй, мы идем взять перекусить. Айда с нами!» — и Ифемелу решила, что это такое приглашение, а значит, как это бывало с приглашениями дома, Эллисон или кто-то еще будет платить за ее, Ифемелу, еду. Но когда официантка принесла счет, Эллисон прилежно занялась подсчетами, кто сколько напитков заказал, у кого была закуска из кальмаров, — чтобы никто ни за кого не доплачивал. Обинзе счел это очень забавным и в конце сказал:

— Вот такая она, Америка!

Ифемелу это показалось потешным только задним числом. Она с трудом скрыла растерянность от такого вот ограниченного гостеприимства, а также и от всей этой возни с чаевыми — оплатой пятнадцати или двадцати процентов от счета официантке, — что выглядит подозрительно похоже на взятку, насильственную и действенную систему взяточничества.

Глава 13

Поначалу Ифемелу забывала, что она — другой человек. В квартире в Южной Филадельфии ей открыла женщина с усталым лицом и ввела ее в сильную вонь мочи. В гостиной было темно, затхло, и Ифемелу вообразила, что все здание месяцами или даже годами пропитывалось запахом копившейся мочи и сама она ежедневно работала в этом мочевом облаке. В глубине квартиры стонал мужчина — низко, зловеще: стоны человека, которому, кроме этих стонов, больше ничего не осталось, и Ифемелу они напугали.

— Это мой отец, — сказала женщина, глядя на нее пронизательно и оценивающе. — Вы сильная?

Объявление в «Городской газете»^[97] подчеркивало, что понадобится сила. «Сильная сиделка. Платим наличными».

— На эту работу сил хватит, — сказала Ифемелу и поборола порыв выбраться из этой квартиры и бежать, бежать.

— Красивый акцент. Вы откуда?

— Из Нигерии.

— Из Нигерии. А там разве не война?

— Нет.

— Можно посмотреть ваши документы? — спросила женщина, а затем, глянув на водительское удостоверение, продолжила: — Как, простите, вы произносите свое имя?

— Ифемелу.

— Как?

Ифемелу чуть не подавилась.

— Нгози. «Н» — носовое.

— Ух ты. — Женщина с вечно утомленным видом, казалось, слишком устала, чтобы прояснять вопрос с двойным произношением.

— Сможете проживать?

— Проживать?

— Да. Жить здесь, с моим отцом. Есть свободная комната. Три ночи в неделю. По утрам его надо мыть. — Женщина примолкла. — Вы и *впрямь* худышка. Слушайте, у меня еще двое на собеседование, я с вами свяжусь.

— Ладно. Спасибо. — Ифемелу знала, что эту работу она не получит, и была благодарна.

Ифемелу повторила перед зеркалом, собираясь на следующее

собеседование — в ресторане «Морской вид»:

— Я Нгози Оконкво.

— Можно звать вас Гоз? — спросил управляющий, после того как они пожали друг другу руки, и она согласилась, но, прежде чем сказать «да», помедлила — то была малейшая, кратчайшая пауза, но пауза, как ни крути. И Ифемелу задумалась, не потому ли не получила и ту работу.

Гиника позже сказала ей:

— Можно было сказать, что Нгози — твое племенное имя, а Ифемелу — лесное, а поверх еще и духовное добавила бы. Они про Африку в любое фуфло поверят.

Гиника рассмеялась — горловым уверенным смехом. Ифемелу тоже хохотнула, хотя не вполне поняла шутку. И ее внезапно заволокло неким туманом, млечной паутиной, из которой она пыталась выбраться. Началась ее осень полуслепоты, осень растерянностей, жизненного опыта, в каком она прозревала неясные слои ускользавших от нее смыслов.

* * *

Мир опутало тюлем: Ифемелу различала силуэты предметов, но недостаточно четко, никогда недостаточно. Она говорила Обинзе: есть всякое, что вроде бы должно быть понятно, как делать, но нет — мелочи, какие ей следовало бы залучить в свое пространство, а все никак. Он же напомнил ей, до чего быстро она приспособливается, и говорил спокойно, всегда утешающе. Она пыталась устроиться официанткой, портье, барменшей, кассиршей, а затем ждала приглашений на работу, но их все не поступало, и за это она винила себя. Наверняка же делает что-то не так, но никак не понимала, что именно. Пришла осень, сырая, с серым небом. Деньги утекали с ее чахлого счета. Дешевейшие свитеры из «Росса» все еще поражали ценами, к этому прибавлялись расходы на автобусные и железнодорожные билеты, от продуктов у нее в счете тоже зияли бреши, хотя она стерегла на кассе — наблюдала за электронным табло и говорила, когда сумма добиралась до тридцати долларов: «Пожалуйста, хватит. Остальное я не возьму». И чуть ли не каждый день на кухонном столе возникало письмо, в конверте — чек за обучение и слова, отпечатанные прописными буквами: ПРИ НЕПОСТУПЛЕНИИ ПЛАТЕЖА ДО ДАТЫ, УКАЗАННОЙ ВНИЗУ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ, ВАШИ ДАННЫЕ БУДУТ ЗАМОРОЖЕНЫ.

Пугала ее именно самоуверенность прописных букв, а не смысл слов. Она беспокоилась о возможных последствиях — смутная, но постоянная тревога. Она не думала, что ее ждет арест за неоплату учебы, но что происходит, если не платить за учебу в Америке? Обинзе сказал ей, что ничего не произойдет, предложил поговорить с казначеем о рассрочке — хоть какое-то действие с ее стороны. Она часто звонила Обинзе, покупала дешевые карточки в людной лавке при бензоколонке на Ланкастер-авеню и, стирая металлическую пыль, чтобы добраться до цифр, отпечатанных под ней, уже переполнялась предвкушением: она вновь услышит голос Обинзе. Он ее успокаивал. С ним можно было позволить себе чувствовать то, что чувствуешь, не требовалось вымучивать бодрость, как приходилось с родителями, — им она говорила, что все очень хорошо, есть все надежды выйти на работу официанткой, к учебе она приноравливается очень прекрасно.

Светлые пятна ее дней — разговоры с Дике. Его голосок, писклявый по телефону, согревал ее. Дике рассказывал, что происходит в его любимом телесериале, как он выбился на следующий уровень в «Гейм-Бое».

— Ты когда в гости приедешь, куз? — спрашивал он часто. — Лучше бы ты за мной смотрела. Мне не нравится ходить к мисс Браун. У нее в туалете воняет.

Ифемелу скучала по нему. Иногда рассказывала всякое, что он, без сомнения, не понимал, но Ифемелу выкладывала все равно. Рассказывала о своем преподавателе, который в обед усаживался на газоне с сэндвичем, — и он же предложил ей называть его по имени, Элом, он же носил шипастую кожаную куртку и водил мотоцикл. Как-то раз ей пришла первая порция почтового хлама, и Ифемелу доложила Дике:

— Представляешь? Мне письмо сегодня пришло. — Там нашлось предварительное одобрение на кредитную карту, ее имя написали правильно, с изящным наклоном, и Ифемелу воспрянула духом, словно сделалась менее незримой, чуть более присутствующей. Кто-то о ней знал.

Глава 14

А еще была Кристина Томас. Кристина Томас с этим ее линиялым видом — застиранными белыми джинсами, блеклыми волосами, бледной кожей; Кристина Томас в приемной, улыбается; Кристина Томас в белесых рейтузах, из-за которых ноги — будто как у смерти. Стоял теплый день, Ифемелу прошла мимо студентов, валявшихся на газонах; под транспарантом ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕРВОКУРСНИКИ клубились веселенькие воздушные шары.

— Добрый день. Мне зарегистрироваться здесь, правильно? — спросила Ифемелу у Кристины Томас, чье имя она тогда еще не знала.

— Да. Так. Вы. Иностранная. Студентка?

— Да.

— Вам. Сначала. Надо. Взять. Письмо. В. Иностранном. Отделе.

Ифемелу сострадательно полуулыбнулась, потому что Кристина Томас явно страдала какой-то болезнью: объясняя, как пройти в иностранный отдел, она говорила очень медленно, губы сжимались и выпячивались.

— Мне. Надо. Чтобы. Вы. Заполнили. Пару. Анкет. Вы. Понимаете. Как. Это. Заполнять?

И тут Ифемелу поняла, что Кристина Томас разговаривает вот так ради нее, из-за ее зарубежного акцента, и на миг почувствовала себя ребенком — несуразным и слюнявым.

— Я говорю по-английски, — сказала она.

— Да уж наверное, — сказала Кристина Томас. — Я просто не знаю, *хорошо ли*.

Ифемелу сжалась. В этот напряженный неподвижный миг она встретила глазами с Кристиной Томас, после чего взяла анкеты — и сжалась. Сжалась, как жухлый лист. Она говорила по-английски всю жизнь, вела дискуссионный клуб в средней школе и всегда считала американскую гнусавость признаком неразвитости — не с чего было ей хохлиться и сжиматься, но увы. И в последующие недели, пока нисходила осенняя прохлада, Ифемелу принялась тренировать американский акцент.

* * *

Учеба в Америке проста, задания присылали по электронной почте, в

аудиториях кондиционеры, преподаватели разрешали переписывать контрольные. Но Ифемелу было неуютно с тем, что профессура именовала «участием», она не понимала, почему это должно входить в итоговую оценку: «участие» означало студенческий треп, время на занятиях, потраченное на очевидные слова, слова порожные, а иногда и бессмысленные. Американцев с самого первого класса, похоже, натаскивали *всегда что-нибудь говорить* на уроке, неважно что. И Ифемелу сидела, косноязычная, в окружении студентов, легко вписывавшихся в университетские стулья, осененных знанием — но не изучаемого предмета, а того, как *вести себя* в классе. Никогда тут не говорили «я не знаю». Говорили «не уверен» — никаких сведений, зато намеков на возможность некоего знания. Они ковыляли, американцы эти, ходили без всякого ритма. Избегали объяснять впрямую: не говорили: «Спросите у кого-нибудь наверху» — говорили: «Может, вам стоит спросить у кого-нибудь наверху». Если спотыкаешься и падаешь, или подавился чем-нибудь, или еще какая-нибудь незадача свалилась, они не говорили: «Какая жалость». Они говорили: «У вас все в порядке?» — когда очевидно же, что нет. А если сказать им: «Какая жалость», когда они поперхнутся, или споткнутся, или окажутся в переделке, они отвечают: «Ой, вы тут ни при чем». А еще они злоупотребляли словом «воодушевлен»: профессор воодушевлен из-за новой книги, студент воодушевлен занятием, политик по телевизору воодушевлен каким-нибудь законом — чересчур его, этого воодушевления. Кое-какие обороты Ифемелу слышала ежедневно, и они поражали ее, резали слух, и она размышляла, как бы их восприняла мама Обинзе. «Не надо было таких делов». «Тут трое вещей». «Наелся яблоков». «Две сутки». «Приляжь».

— Эти американцы не владеют английским-о, — сказала она Обинзе.

В первый же учебный день она ходила в местную поликлинику и чуточку дольше нужного таращилась на стоящую в углу корзину с бесплатными презервативами. После осмотра регистраторша сказала ей:

— Вы в полной боевой!

Ифемелу ничего не поняла и задумалась, что это значит — «в полной боевой», но погодя решила, что, должно быть, это означает, что она сделала все, что требовалось.

Каждое утро она просыпалась в тревоге из-за денег. Если купить все необходимые учебники, ей не хватит на съем, и потому она одалживала учебники на занятиях и лихорадочно конспектировала, но ее конспекты, когда она обращалась к ним потом, иногда ее путали. Новая студенческая подруга по имени Саманта, тощая женщина, избегавшая солнечного света,

частенько приговаривая «я легко обгораю», бывало, давала Ифемелу учебники на дом.

— Возьми до завтра, конспектируй, если надо, — говорила она. — Я знаю, как все бывает лихо, я потому и ушла из колледжа в свое время — работать.

Саманта была постарше, дружить с ней — облегчение, не то что с этими восемнадцатилетками с отвешенными челюстями, с какими Ифемелу в основном приходилось общаться на курсе. И все же дольше одного дня Ифемелу учебники никогда не задерживала, а нередко отказывалась уносить их домой. Побираться — вот что ее ранило. Иногда после занятий она сидела на скамейке в университетском дворике и смотрела, как студенты шагают мимо громадной серой статуи посередине; у всех у них, казалось, жизнь складывается так, как им хотелось, они могут добыть работу, если нужно, и над каждым на фонарных столбах безмятежно трепещут флажки.

* * *

Она жаждала понять об Америке все, быстро натянуть на себя новую шкуру всезнайки: болеть за какую-нибудь команду в Суперкубке, понимать, что такое «Твинки»^[98] и «выключение» в спорте, измерить Америку в унциях и квадратных футах, заказывать «маффин», не задумываясь, что на самом деле это кекс, и говорить «мы вдарили по рукам» и не чувствовать себя при этом глупо.

Обинзе предлагал ей читать американские книги — романы, историю, биографии. В первом электронном письме, которое ей отправил (в Нсукке только-только открылось интернет-кафе), он составил список книг. «В следующий раз — пожар». Она стояла у библиотечного шкафа и листала первую главу, изготавившись к скуке, но постепенно перешла на диван, уселась и читала, пока не проскочила три четверти книги, после чего остановилась и забрала все до единой книги Джеймза Болдуина,^[99] какие нашлись на полке. Свободное время проводила в библиотеке, так чудесно освещенной; ряды компьютеров, просторные, чистые, воздушные пространства для чтения, гостеприимная яркость всего — будто грешный декаданс. Ифемелу, как ни крути, привыкла читать книги, в которых не хватало страниц: те выпали, пройдя через множество рук. И вот она среди сонмов книг с не перебитыми хребтами. Она писала Обинзе о прочитанных

книгах — прилежные подробные письма, что открыли им новую грань близости: Ифемелу наконец начала понимать власть, какую книги имели над Обинзе. Его тоска по Ибадану из-за «Ибадана» когда-то изумляла ее: как можно страдать по неизвестным тебе местам из-за нескольких слов? Но в те недели, когда она открывала книги одну за другой, многие ряды их, с их кожаным запахом и обещанием неведомых удовольствий, когда садилась, подогнув под себя ноги, в кресло на нижнем этаже или же за столом наверху, под флуоресцентным светом, отражавшимся от книжных страниц, — поняла наконец. Она прочла книги по списку Обинзе, но сверх того выдергивала книгу за книгой, без всякого порядка, читала по одной главе, а затем решала, какие будет шустро читать прямо в библиотеке, а какие возьмет на дом. Она читала, и мифологии Америки начали наполняться смыслом, прояснился и племенной строй Америки — раса, идеология, религия. И это новое знание утешило Ифемелу.

* * *

— Ты заметила, что сама сказала «воодушевлена»? — проговорил Обинзе задорно. — Ты сказала, что воодушевлена интерактивным занятием.

— Правда?

Новые слова сыпались у нее изо рта. Столпы тумана рассеивались. Дома, в Нигерии, она стирала нательное белье каждый вечер и вешала его в неприметном уголке в ванной. Теперь же сваливала белье в корзину и швыряла в стиральную машину по пятницам, и вот это нагромождение грязного белья стало казаться ей нормальным. Подпитанная прочитанными книгами, она подавала голос на занятиях и с восторгом осознавала, что может не соглашаться с преподавателем, но получать за это не нагоняй за неуважение, а ободряющий кивок.

— Мы на занятиях смотрим кино, — сказала она Обинзе. — Они тут говорят о фильмах так, будто они не менее важны, чем книги. Ну и мы смотрим кино и пишем отзывы, и почти всем ставят «А». Представляешь? Несерьезные они, американцы эти-о.

На семинаре по истории — для отличников — профессор Мур, крошечная, застенчивая женщина с видом эмоционально голодающего человека, у которого нет друзей, показала несколько сцен из «Корней», ^[100] яркие картинки на доске в затемненном классе. Когда она выключила

проектор, на стене еще миг, прежде чем погаснуть, провисел призрачный белый лоскут. Впервые Ифемелу посмотрела «Корни» на видео с Обинзе и его мамой, сидя на диванах у них в гостиной в Нсукке. Когда Кунту Кинтея^[101] пороли, чтобы он принял имя, данное ему в рабстве, мама Обинзе резко встала — до того резко, что чуть не споткнулась о кожаный пуф, — и выскочила из комнаты, но Ифемелу успела заметить, что глаза у мамы покраснели. Ифемелу поразило, что мама Обинзе, полностью облаченная в самодостаточность, в решительную замкнутость, способна расплакаться от фильма. И вот теперь, когда подняли жалюзи и аудиторию вновь затопило светом, Ифемелу вспомнила тот субботний вечер — и то, как она, глядя на маму Обинзе, жалела, что не может расплакаться.

— Давайте поговорим о представлении истории в кино, — предложила профессор Мур.

С задних рядов раздался уверенный женский голос с неамериканским акцентом:

— Почему записали слово «негритос»?

По классу ветерком прошелестел всеобщий вздох.

— Ну, это запись с телевизора, и я среди прочего хотела обсудить с вами, как мы представляем историю в массовой культуре, а слово на «н» — безусловно, важная часть этого разговора, — сказала профессор Мур.

— Я не улавливаю смысла, — продолжил уверенный голос.

Ифемелу обернулась. У девушки были естественные волосы, подстриженные коротко, «под мальчика», миловидное лицо с широким лбом, сухопарое, оно напомнило Ифемелу восточных африканцев, вечно выигрывавших по телевизору забеги на длинные дистанции.

— Ну то есть слово «негритос», оно существует. Люди его употребляют. Это часть Америки. Оно причинило людям много боли, и, на мой взгляд, это оскорбительно — запикивать его.

— Так, — произнесла профессор Мур, озираясь, словно призывая помощь.

Помощь пришла в виде сиплого голоса из середины класса.

— Да из-за боли, которое это слово причинило, его и *не следует* употреблять! — «Не следует» едко пронизало воздух: говорившая — девушка-афроамериканка в бамбуковых сережках-кольцах.

— Дело в том, что всякий раз, произнося его, мы раним афроамериканцев, — добавил бледный косматый юноша из первого ряда.

Ифемелу подняла руку — в голове засел Фолкнеров «Свет в августе», который она только что прочла.

— Я не считаю, что это всегда болезненно. Думаю, все зависит от

намерения — и от того, кто говорит.

Девушка рядом с ней, лицо покраснело, выкрикнула:

— Нет! Слово одинаково, от кого бы ни исходило.

— Чепуха. — Вновь уверенный голос. Голос бесстрашный. — Моя мама лупит меня палкой или чужой человек — не одно и то же.

Ифемелу глянула на профессора Мур — проверить, как та отнеслась к слову «чепуха». Профессор Мур, кажется, не заметила: ее черты смерзлись от ужаса в насмешливую улыбку.

— Я согласна: не то же самое, когда это слово употребляют афроамериканцы, но не считаю, что его стоит использовать в кино, поскольку тогда люди, которым его употреблять не следует, станут, а это заденет чувства других людей, — произнесла светлокожая афроамериканка, последняя из четверых черных в классе, в свитере болезненного оттенка фуксии.

— Но это же все равно что отрицание. Если его употребляли вот так, следует так же представлять его и теперь. Оно же не исчезнет, если его прятать. — Вновь уверенный голос.

— Ну, кабы вы нас не продавали, мы бы сейчас об этом вообще не разговаривали, — сказала сиплая афроамериканка вполголоса, но ее тем не менее услышали.

Класс заволокло безмолвием. И еще раз этот голос.

— Простите, но даже если б ни единого африканца не продали другие африканцы, трансатлантическая работоторговля все равно происходила бы. Это европейское предпринимательство. Это европейцы набирали рабочую силу для своих плантаций.

Профессор Мур встряла тихонечко:

— Хорошо, давайте поговорим о том, как историей жертвуют ради развлечения.

После занятия Ифемелу и уверенный голос направились друг к другу.

— Привет. Я Вамбуи. Из Кении. А ты из Нигерии, да? — Она производила устрашающее впечатление: человек, занятый исправлением в этом мире всех и вся.

— Да. Зовут Ифемелу.

Они пожали друг другу руки. В ближайшие недели у них завяжется крепкая дружба. Вамбуи была президентом Ассоциации африканских студентов.

— Ты про ААС не слышала? Приходи на ближайшее собрание в четверг, — сказала она.

Собрания проводили в подвале Уортон-холла, в комнате без окон, с

резким светом; бумажные тарелки, коробки с пиццей и бутылки с газировкой громоздились на металлическом столе, складные стулья расставлены рыхлым полукругом. Нигерийцы, угандцы, кенийцы, ганцы, южноафриканцы, танзанийцы, зимбабвийцы, один конголезец и один гвинеец болтали и подначивали друг дружку, разнообразные акценты — путаница утешительных звуков. Они пародировали американцев: «Так хорошо по-английски говоришь», «Насколько все плохо у вас в стране со СПИДом?», «Как это печально, что людям в Африке приходится жить на доллар в день или меньше». Они же насмеялись и над Африкой, обменивались байками о бессмыслице, тупости — и имели право: эта насмешка — от тоски, от мучительного желания увидеть, как родные места вновь оздоровятся. Здесь Ифемелу ощутила внутри мягкое, зыбкое обновление. Здесь ей не нужно было объясняться.

* * *

Вамбуи сообщила всем, что Ифемелу ищет работу. Дороти, девочка-угандка с длинными косами, работала официанткой в Центральном городе, она сказала, что у нее в ресторане есть вакансии. Но сперва Мвомбеки, танзаниец, учившийся сразу по двум специальностям — инженерия и политология, просмотрел резюме Ифемелу и предложил выкинуть три года учебы в университете в Нигерии: американским нанимателям не нравится, когда работники низшего звена слишком образованны. Мвомбеки напомнил ей Обинзе — непринужденностью, спокойной силой. На собраниях он всех веселил.

— Начальное образование я получил благодаря социализму Ньерере, — говаривал Мвомбеки. — Иначе сидел бы сейчас в Даре,^[102] вырезал уродливых жирафов для туристов. — Когда к ААС присоединились двое новеньких, из Ганы и из Нигерии, Мвомбеки обратился к ним с вводной речью, как он это назвал: — Пожалуйста, не ходите в «К-Март» и не покупайте там двадцать пар джинсов только потому, что они стоят по пять долларов. Джинсы никуда не денутся. Они будут в «К-Марте» и завтра, еще дешевле. Вы в Америке, горячей еды на обед тут не ждите. Эту африканскую привычку необходимо забыть. Оказываясь в гостях у американца при деньгах, приготовьтесь к экскурсии по дому. Выбросьте из головы, что дома ваш отец устроил бы истерику, попробуй кто-нибудь приблизиться к его спальне. Мы все знаем, что

дальше гостиной — никаких экскурсий, ну туалет еще, если совсем уж необходимо. Но вас я прошу улыбаться и идти за хозяином-американцем на осмотр дома — и не забывайте приговаривать, как вам все тут нравится. И не надо поражаться, до чего в американских парочках люди привольно друг друга трогают. В очереди в столовой девушка может гладить молодого человека по руке, молодой человек может обнять девушку за плечи, а еще они потирают друг другу плечи и всяко мур-мур-мур, но вы уж, пожалуйста, подобное за ними не повторяйте.

Все смеялись. Вамбуи выкрикнула что-то на суахили.

— Очень скоро вы начнете осваивать американский акцент, поскольку зачем вам, чтобы люди из всяких служб поддержки переспрашивали по телефону «что? что?». Начнете восхищаться африканцами с безукоризненным американским выговором, как у нашего брата Кофи. Родители Кофи приехали из Ганы, когда ему было два года, но вы на его произношение не ведитесь. Окажетесь у них дома — увидите: они до сих пор ежедневно едят кенкей.^[103] Когда Кофи поставили «С» на занятиях, отец его шлепнул. У них в доме никаких вам американских глупостей. Он каждый год ездит в Гану. Таких, как Кофи, мы зовем американо-африканцами, а не афроамериканцами; афроамериканцами мы называем наших братьев и сестер, чьи предки были рабами.

— Не «С», а «В» с минусом, — парировал Кофи.

— Старайтесь подружиться с нашими афроамериканскими братьями и сестрами — в духе подлинного панафриканизма. Но блюдите и связь с собратьями-африканцами, это поможет вам владеть полной картиной. Всегда посещайте собрания ААС, но, если очень надо, можете попробовать и Союз черных студентов. Заметьте, что в целом афроамериканцы состоят в Союзе черных студентов, а африканцы посещают Ассоциацию африканских студентов. Точки пересечения есть, но их немного. Африканцам, посещающим СЧС, не хватает уверенности в себе, они торопятся сказать: «Я родом из Кении», пусть даже Кения из них прет, не успеют они и рта открыть. Афроамериканцы, посещающие наши собрания, сочиняют стихи про Маму Африку и считают любую африканку царицей нубийской. Если афроамериканец называет вас мандинго^[104] или гузочёсом, он оскорбляет вас как африканца. Кое-кто станет донимать вас дурацкими вопросами об Африке, но с прочими связь установится. Вы обнаружите к тому же, что проще дружить с другими иностранцами — с корейцами, индийцами, бразильцами, с кем угодно, чем с американцами, хоть белыми, хоть черными. Многие иностранцы постигли боль получения

американской визы, и это славное начало для дружбы.

Смеху прибавилось, Мвомбеки и сам хохотал громко, будто впервые слышит собственные шутки.

Позже, после собрания, Ифемелу подумала о Дике — куда он подастся в колледже, в ААС или в СЧС, и кем его сочтут — американо-африканцем или афроамериканцем. Ему предстоит выбирать, кем быть, — или же скорее за него выберут, кто он есть.

* * *

Ифемелу считала, что собеседование в ресторане, где работала Дороти, прошло гладко. Вакансия администратора в зале: Ифемелу облачилась в нарядную блузку, улыбалась радушно, руки жала крепко. Управляющая — хохотушка, переполненная с виду неуправляемым счастьем, — сказала ей:

— Великолепно! Чудесно поговорили! Я с вами вскоре свяжусь! — И потому, когда в тот вечер зазвонил телефон, Ифемелу схватила трубку, надеясь, что это приглашение на работу.

— Ифем, кеду? — сказала тетя Уджу.

Тетя Уджу звонила, чтобы спросить, нашла ли Ифемелу работу, слишком часто.

— Тетя, я тебе первой позвоню, когда найду, — сказала Ифемелу в последнем разговоре, вчера, и вот тетя Уджу звонит опять.

— Нормально, — сказала Ифемелу и уже собралась добавить: «Пока ничего не нашла», как тетя Уджу продолжила:

— С Дике случилось нехорошее.

— Что? — переспросила Ифемелу.

— Мисс Браун сказала мне, что видела его в чулане с девочкой. Девочка — третьеклассница. Судя по всему, они друг другу причинные места показывали.

Возникла пауза.

— И все? — уточнила Ифемелу.

— В каком смысле — «и все»? Ему еще семи лет нету! Это еще что такое? Я ради этого в Америку ехала, что ли?

— Мы, кстати, читали об этом на занятиях недавно. Нормально это. Детям с раннего возраста любопытно всякое такое, но они толком ничего не понимают.

— Нормально, *ква*? Вовсе это не нормально.

— Тетя, мы все в детстве были любопытные.

— Но не в семь же лет! *Туфуаква!*^[105] Где он такого понабрался? Это все детсад, куда он ходит. Как Альма ушла и он начал у мисс Браун, он изменился. Ох уж эти дети без воспитания, он от них всякую дрянь цепляет. Я решила переехать в Массачусетс в конце этого семестра.

— А, а!

— Закончу ординатуру там, Дике пойдет в школу получше — и к нянькам получше. Бартоломью переезжает из Бостона в маленький город, Уоррингтон, свое дело затеет, для нас обоих новое начало. Там младшая школа очень хорошая. И местному врачу напарник нужен, у него практика расширяется. Я с ним поговорила, он заинтересован в моем приезде, когда я тут все закончу.

— Ты уезжаешь из Нью-Йорка в Массачусетс жить в деревне? Разве можно вот так ординатуру бросать?

— Конечно. У меня подруга есть, Ольга, она из России. Тоже уезжает, но ей придется год по второму разу пройти, по новой программе. Хочет в дерматологию, а большинство наших пациентов черные, и она сказала, что кожные болезни выглядят на черной коже иначе, она уверена, что не будет вести практику в черных районах, и потому хочет переехать туда, где пациенты белые. Я ее не виню. Что верно, то верно: моя программа — выше уровнем, но иногда возможность устроиться лучше в городах помельче. Кроме того, я не хочу, чтобы Бартоломью решил, будто у меня несерьезные намерения. Я не молодею. Хочу уже попробовать.

— Ты и впрямь за него замуж собралась.

Тетя Уджу отозвалась с деланным отчаянием:

— Ифем, мне казалось, мы уже эту стадию миновали. Когда я перееду, сходим в суд и поженимся, чтобы он мог выступать законным родителем Дике.

Ифемелу услышала «пип-пип» входящего звонка.

— Тетя, я тебе перезвоню, — сказала она и переключилась на другую линию, не дожидаясь ответа тети Уджу. Звонила управляющая из ресторана.

— Увы, Нгози, — сказала она, — мы решили нанять более квалифицированного человека. Удачи!

Ифемелу положила телефон и подумала о маме — как часто она винила дьявола. «Дьявол — лжец. Дьявол желает строить нам препоны». Ифемелу уставилась на телефонный аппарат, перевела взгляд на счета на столе, и грудь ей сдавило — туго, удушливо.

Глава 15

Мужчина оказался низеньким, тело — комок мышц, волосы реденеющие, выбеленные солнцем. Открыв дверь, он оглядел ее с головы до пят, безжалостно смерил взглядом, а затем улыбнулся и произнес:

— Заходите. Кабинет у меня в подвале. — У Ифемелу побежали мурашки, сделалось неуютно. Было в этом тонкогубом лице нечто испорченное — вид человека, не чуждого корысти. — Я не на шутку занятой малый, — сказал он, жестом приглашая ее присесть на стул посреди тесного кабинета, слегка попахивавшего сыростью.

— Я так и поняла — по объявлению, — сказала Ифемелу. «Личная помощница для занятого спортивного тренера в Ардморе, требования — общительность, способность налаживать контакт».

Она уселась на стул — точнее, примостилась на самом краешке, внезапно прикинув, что, прочитав объявление в «Городской газете», оказалась одна с посторонним мужчиной в подвале неведомого дома посреди Америки. Руки — глубоко в карманах джинсов, он прогуливался взад-вперед мелкими быстрыми шажками, рассказывал, какой высокий на него, тренера по теннису, спрос, а Ифемелу думала, что он того и гляди споткнется о стопки спортивных журналов на полу. Ее укачало от одного взгляда на него. Говорил он — и двигался — очень быстро, выражение лица зловеще бдительное: глаза нараспашку, он слишком подолгу не моргал.

— Короче, дело такое. Есть две вакансии, одна — бумажная работа, вторая — помощь с расслаблением. Бумажная уже занята. Девушка приступила вчера, учится в Брин-Маре,^[106] у нее неделя уйдет на то, чтобы разгрести мои завалы всякого. Там небось и неоткрытые конверты с чеками заваялись. — Он вытащил руку и махнул на свой захламленный стол. — Так вот, мне нужна помощь с расслаблением. Если желаете — работа ваша. Плачу сто долларов, прибавки возможны, загрузка — по мере надобности, без жесткого графика.

Сто долларов в день, чуть ли не вся ее месячная аренда. Она поерзала на стуле.

— Что именно это означает — «помощь с расслаблением»?

Она следила за ним, ждала объяснений. Ее начала огорчать мысль о том, сколько она потратила на пригородный поезд.

— Слушайте, вы не ребенок, — сказал он. — Я так много работаю, что

спать не могу. Не могу расслабиться. Наркотики не употребляю, ну и понял, что мне нужна помощь с расслаблением. Массаж можете мне делать, помогать расслабиться, ну. У меня такая помощница была, но она недавно переехала в Питтсбург. Отличная халтурка — по крайней мере, она так считала. Очень облегчило ей долги перед колледжем.

Он явно говорил это многим другим женщинам — это видно было по продуманному темпу, с каким возникали у него слова. Недобрый он человек. Она не вполне понимала, к чему он клонит, но чем бы оно ни было, она пожалела, что приехала.

Ифемелу встала.

— Можно я подумаю и вам перезвоню?

— Конечно. — Он пожал плечами — грузными от внезапного раздражения, словно у него в голове не уместилось, как она может не улавливать своего же везения. Выпроваживая ее, он быстро закрыл дверь и на прощальное «спасибо» не ответил.

Она отправилась к станции, горюя о потраченных на поезд деньгах. Деревья захлестнуло разноцветьем, красные и желтые листья золотили воздух, и Ифемелу вспомнила прочитанное недавно: «Первая зелень Природы — золото».^[107] Свежий воздух, душистый, сухой, напомнил ей Нсукку в сезон харматана и принес с собой внезапный удар тоски по дому, такой резкий и неожиданный, что на глазах выступили слезы.

* * *

Всякий раз, отправляясь на собеседование или звоня спросить о работе, она говорила себе, что вот он, наконец, ее счастливый день: уж сегодня место официантки, администраторши, няньки для ребенка будет ее, но, даже благословляя себя саму, она чувала мрак в закоулках ума.

— Что я делаю не так? — спрашивала она у Гиники, и Гиника отвечала, что надо потерпеть — и продолжать надеяться. Ифемелу печатала и перепечатывала свое резюме, изобретала прошлый опыт работы официанткой в Лагосе, вписывала имя Гиники как своего нанимателя, с чьими детьми сидела, приводила имя хозяйки квартиры Вамбуи как рекомендателя и на каждом собеседовании тепло улыбалась и крепко жала руки — делала все, что подсказывала прочитанная ею книга по трудоустройству в Америке. Но работы все равно не было. Может, дело в ее заграничном акценте? В недостатке опыта? Но у ее африканских друзей

работа имелась, у всех поголовно, студенты колледжей находили себе занятие — без всякого опыта. Однажды она отправилась на бензоколонку рядом с Чеснат-стрит, и громадный мексиканец сказал, уперев взгляд ей в бюст:

— Вы хотите оператором у нас? Можете поработать на меня другим способом. — И следом, с улыбкой и неизменным злорадством в глазах, сообщил, что вакансия закрыта.

Ифемелу принялась чаще думать о мамином дьяволе, воображать, что он тут может быть замешан. Она без конца добавляла и вычитала, определяла, что ей необходимо, а что — нет, еженедельно готовила рис и фасоль, подогревала маленькими порциями на обед и ужин. Обинзе предложил выслать денег. Его двоюродный брат приехал в гости из Лондона и оставил сколько-то фунтов. Можно обменять их на доллары в Энугу.

— Как можно слать мне деньги из Нигерии? Наоборот должно быть, — сказала она. Но он прислал все равно — чуть больше сотни, прилежно вклеенные в открытку.

* * *

Гиника была занята — помногу работала на практике и готовилась к экзаменам в юридическом институте, но часто звонила спросить, как идут дела с поиском работы, всегда говорила бодро, словно подталкивая Ифемелу надеяться.

— Эта женщина, у которой в благотворительной организации я практику проходила, Кимберли, звонит и говорит, что у нее нянька уходит, надо искать новую. Я ей намекнула про тебя, и она хотела бы с тобой пообщаться. Если наймет — платить будет наличными, вчерную, не придется тогда подложное имя использовать. Ты завтра когда заканчиваешь? Могу за тобой заехать и отвезти на собеседование.

— Если получу эту работу — заработок первого месяца тебе отдам, — сказала Ифемелу, и Гиника рассмеялась.

Гиника оставила машину на круговой подъездной аллее перед домом, в открытую заявлявшем о благополучии: каменный фасад крепок и высокомерен, у входа напыщенно вздымались четыре белые колонны. Открыла Кимберли. Худая, прямая, она обеими руками отбросила с лица густые золотистые волосы, словно одной рукой такую шевелюру не

укротить.

— Как приятно познакомиться, — улыбаясь, сказала она Ифемелу, они пожали друг другу руки — ее оказалась маленькой, костлявой, хрупкой. В золотистом свитере, затянутом поясом на невозможно тонкой талии, с золотыми волосами и в золотых туфлях без каблуков она казалась неправдоподобной, словно солнечный свет. — Это моя сестра Лора, она в гостях. Ну, мы в гостях друг у друга бываем чуть ли не ежедневно! Лора живет практически по соседству. Дети до завтра в горах Поконо, с моей матерью. Решила, что лучше всего все сделать, пока их тут нет.

— Привет, — сказала Лора. Она была такой же тощей, прямой и белокурой, как Кимберли. Ифемелу, описывая их Обинзе, сказала потом, что Кимберли производит впечатление крошечной птички с тоненькими косточками, какие легко сломать, а Лора напоминает ястреба — с острым клювом и себе на уме.

— Привет, я Ифемелу.

— Какое красивое имя, — сказала Кимберли. — Оно что-то означает? Мне нравятся имена из других культур, потому что у них такие чудесные значения — из чудесных богатых культур. — Кимберли улыбалась по-доброму, как человек, который считает, что «культура» — неведомый яркий заповедник ярких людей, понятие, которое всегда необходимо доопределять словом «богатая». Норвегию она бы «богатой культурой» не сочла.

— Я не знаю, что оно значит, — сказала Ифемелу и скорее угадала, нежели заметила тень веселья у Гиники на лице.

— Желаете чаю? — спросила Кимберли, ведя их в кухню, все сплошь хром, гранит и изобилие свободного места. — Мы тут все любители чая, но, разумеется, есть и другое, из чего выбрать.

— Чай — замечательно, — сказала Гиника.

— А вам, Ифемелу? — спросила Кимберли. — Я понимаю, что коверкаю ваше имя, но оно и впрямь такое красивое. Очень красивое.

— Нет, вы произнесли его верно. Мне, если можно, воды или апельсинового сока.

Ифемелу позже осознает, что Кимберли употребляет слово «красивый» в особом смысле. «У меня встреча с красивой подругой из аспирантуры», — говаривала Кимберли, или: «Мы с этой красивой женщиной работаем над проектом в малоимущей части города». И всякий раз женщины, которых она упоминала, оказывались довольно обыденными внешне, но всегда черными. Однажды, в ту же зиму, когда Ифемелу с Кимберли сидели за обширным кухонным столом, пили чай и ждали, когда детей привезут от бабушки, Кимберли сказала:

— Ой, вы посмотрите на эту красивую женщину. — И показала на невыразительную модель в журнале, отличительной чертой которой была лишь ее очень темная кожа. — Слепительная, верно?

— Нет. — Ифемелу примолкла. — Вообще-то можно просто сказать «черная». Не любой черный человек — красавец.

Кимберли опешила, на лице у нее возникло нечто бессловесное, однако затем она улыбнулась, и Ифемелу подумала, что именно сейчас они стали взаправду подругами. Но в тот первый день Кимберли ей понравилась — ее ломкая красота, ее глаза с лиловым оттенком, и сколько в них того, что Обинзе произносил применительно к людям, которые ему нравились, — *оби оча*. Чистое сердце. Кимберли задавала Ифемелу вопросы о ее опыте работы с детьми, слушала внимательно, словно хотела услышать то, что останется недосказанным.

— Она не проходила курс оказания первой неотложной помощи, Ким, — сказала Лора, и Кимберли повернулась к Ифемелу:

— Вы готовы пройти этот курс? Это очень важно, если собираетесь ухаживать за детьми.

— Готова.

— Гиника говорила, что вы уехали из Нигерии, потому что университетские преподаватели вечно бастуют? — спросила Кимберли.

— Да.

Лора знающе кивнула:

— Ужасно это — что в африканских странах происходит.

— Как вам Америка пока? — спросила Кимберли.

Ифемелу рассказала ей о головокружении, какое случилось с ней, когда она впервые оказалась в супермаркете: в отделе с кукурузными хлопьями хотела взять те, которые привыкла есть дома, но внезапно обнаружила сотню разных коробок, вихрь цветов и картинок, едва поборола дурноту. Ифемелу рассказала эту историю, потому что считала ее забавной — и она безобидно потакала американскому эго.

Лора хохотнула.

— Воображаю, как тут голова кругом может пойти!

— Да, в этой стране и впрямь сплошная чрезмерность, — сказала Кимберли. — Я уверена, у вас дома питаются экологичной едой и овощами, но увидите — тут по-другому.

— Если б она питалась у себя в Нигерии экологичными овощами, чего б ей было ехать в Штаты? — спросила Лора. В детстве Лора, должно быть, играла роль старшей сестры, разоблачавшей глупость младшей, всегда по-доброму, по-хорошему и желательно в кругу взрослых родственников.

— Ну, пусть даже у них совсем немного еды — я о том, что, вероятно, это все сплошь экологичные овощи, не франкенпицца, которая у нас тут, — отозвалась Кимберли. Ифемелу ощутила, как пространство между сестрами пронизали колючие шипы.

— Ты ей не рассказала про телевизор, — продолжила Лора. Повернулась к Ифемелу: — Дети Ким допущены до телевизора под присмотром, только Пи-би-эс.^[108] Поэтому, если вас наймут, вам необходимо полностью присутствовать и следить за тем, что происходит, особенно с Морган.

— Ладно.

— У меня нет няни, — сказала Лора, и это ее «у меня» полыхнуло праведностью. — Я — мама на полной ставке, с полным включением. Думала, вернусь работать, когда Афине исполнилось два, но не смогла ее отпустить. Ким тоже с полным включением, но иногда бывает занята — у нее чудесная благотворительная работа, а я вечно хлопочу о няньках. Последняя, Марта, была чудесная, но мы все гадали: та, которая была до Марты, как ее звать-то, позволила Морган, кажется, смотреть неподобающие сериалы. Сама я с ребенком телевидение не допускаю. Считаю, там слишком много насилия. Может, разрешу кое-какие мультики, когда она постарше станет.

— Но и в мультиках же есть насилие, — сказала Ифемелу.

У Лоры сделался раздраженный вид.

— Это мультики. Детей травмирует действительность.

Гиника глянула на Ифемелу, нахмуренный лоб намекнул: оставь эту тему. В начальной школе Ифемелу наблюдала, как расстрельный взвод казнит Лоренса Анини,^[109] ее зачаровывали легенды вокруг его вооруженных ограблений, как он писал предупреждающие письма в газеты, кормил бедняков тем, что украл, растворялся в воздухе, когда приезжала полиция. Мама тогда сказала: «Уйди, это не для детей», но не от души, после того, как Ифемелу все равно уже увидела почти всю перестрелку, тело Анини, грубо привязанное к шесту, дергалось, когда пули попадали в него, а потом обвисло на перекрестье веревок. Ифемелу вспомнила сейчас, до чего завораживающим — и до чего обыденным — это казалось.

— Давайте покажу вам дом, Ифемелу, — сказала Кимберли. — Правильно произнесла?

Они отправились гулять по комнатам: дочкина — с розовыми стенами и покрывалом в рюшках, сына — с барабанной установкой, детская — с

пианино, полированная деревянная крышка заставлена семейными фотографиями.

— Это мы в Индии, — сказала Кимберли. Семья стояла у пустой таратайки рикши, в футболках, у Кимберли золотые волосы собраны на затылке, рядом высокий худощавый муж, маленький белокурый сын и рыжая дочка постарше, у всех бутылочки с водой, все улыбаются. Они улыбались на всех фотоснимках — под парусом, в пеших походах, в туристических местах — и обнимались, непринужденные, белозубые. Напомнили Ифемелу телевизионную рекламу — людей, чьи жизни протекают в постоянном выигрышном свете, чьи оплошности все равно эстетически привлекательны.

— Мы встречали людей, у которых нет ничего, совершенно ничего, но они были такие счастливые, — сказала Кимберли. Из столпившихся на пианино снимков выбрала один, из задних рядов: ее дочь с двумя индианками, кожа темная, обветренная, улыбки — с недостающими зубами. — Такие они были чудесные, эти женщины, — добавила она.

Ифемелу позже выяснила и это: для Кимберли бедняки всегда неповинны. Бедность — сверкающая штука: у Кимберли не умещалось в голове, что бедняки бывают жестоки или злы, поскольку бедность сделала их святыми, и величайшие из них — заграничные бедняки.

— Морган обожает вот это — коренные американцы делают. А Тейлор говорит, она страшная! — Кимберли показала на маленькую фигурку среди фотографий.

— О. — Ифемелу вдруг забыла, кто из них мальчик, а кто девочка: оба имени, Морган и Тейлор, казались ей на слух фамилиями.

Муж Кимберли вернулся домой как раз перед отъездом Ифемелу.

— Привет! Привет! — выкликнул он, вplывая в кухню, рослый, румяный, расторопный. По тому, как его довольно длинные, почти безупречно волнистые волосы спускались к воротнику, Ифемелу поняла, что он неукоснительно заботится о своей шевелюре. — Вы, должно быть, подруга Гиники из Нигерии, — сказал он, улыбаясь и пыща осознанием собственной неотразимости. Он смотрел людям в глаза не потому, что люди были ему интересны, — он знал, что это дает им почувствовать его в них заинтересованность.

С его появлением Кимберли вдруг затаила дыхание. У нее изменился тембр: теперь она говорила высоким голосом робкой женщины.

— Дон, милый, ты рано, — сказала она, когда они расцеловались.

Дон заглянул Ифемелу в глаза и сказал ей, что он едва не оказался в Нигерии — сразу после выборов Шагари,^[110] когда работал консультантом

в одном международном агентстве по развитию, но поездка сорвалась в последнюю минуту, и он очень расстроился, поскольку надеялся зайти в храм и послушать концерт Фелы. Фелу он упомянул походя, задушевно, словно это связывало их, было их с Ифемелу общей тайной. В его балагурстве было некое ожидание успешного соблазнения. Ифемелу глазела на него, говорила мало, противилась обольщению и до странного жалела Кимберли. С такой-то сестрицей и с таким-то мужем.

— Мы с Доном участвуем в одном очень хорошем благотворительном проекте в Малави, вернее, Дон занят в нем гораздо сильнее меня. — Кимберли посмотрела на Дона, тот сделал суровое лицо и произнес:

— Ну, мы делаем что можем, однако отлично понимаем, что мы не мессии.

— Нам правда надо спланировать поездку. Это детский приют. Мы ни разу не были в Африке. Я бы в Африке через свою благотворительную организацию с удовольствием сделала что-нибудь.

Лицо у Кимберли смягчилось, глаза подернуло дымкой, и Ифемелу на миг раскаялась, что приехала из Африки — и стала для этой красивой женщины, с ее отбеленными зубами и роскошными волосами, поводом копать глубоко, чтобы ощутить такую жалость, такую безнадежность. Ифемелу широко улыбнулась, надеясь, что Кимберли от этого полегчает.

— Я беседую еще одного человека и дам вам знать, но я правда считаю, что вы нам отлично подойдете, — сказала Кимберли, провожая Ифемелу и Гинику до двери.

— Спасибо, — сказала Ифемелу. — Я была бы очень рада на вас работать.

На следующий день Гиника позвонила и оставила сообщение, голос — поникший.

— Ифем, прости. Кимберли наняла кого-то другого, но сказала, что будет иметь тебя в виду. Все скоро сложится как-то, ты не очень волнуйся. Я еще позвоню.

Ифемелу захотелось вышвырнуть телефонную трубку. «Иметь ее в виду». Зачем Гиника вечно повторяет это порожнее — «иметь ее в виду»?

* * *

Стояла поздняя осень, деревья отрастили рога, сухие листья по временам забредали в квартиру, арендная плата была просрочена. Чеки

соседок лежали на кухонном столе, стопкой, все розовые и по краям украшенные цветочками. Ифемелу считала это украшательство избыточным — цветочки на чеках в Америке: из счетов словно бы почти уходила серьезность. Рядом с чеками лежала записка, детским почерком Джеки: «Ифемелу, мы отстаем по оплате почти на неделю». Выпиши Ифемелу чек — и ее счет опустеет. Накануне отъезда из Лагоса мама выдала ей баночку «Ментолатума» и сказала:

— Кинь в сумку, это тебе на случай простуды.

Ифемелу порылась в чемодане, открыла и понюхала, намазала немножко под носом. От запаха захотелось плакать. Автоответчик мигал, но она не прослушала: там небось очередная вариация сообщения от тети Уджу. «Кто-нибудь перезвонил? Ты в ближайший “Макдоналдс” и “Бургер Кинг” пробовала? Они не всегда объявляют о вакансиях. До следующего месяца ничего послать тебе не смогу. У меня у самой на счету пусто, вот честно, труд интерна — рабский».

Весь пол устлала газеты, объявления о вакансиях обведены чернильными кружками. Ифемелу подобрала газету, полистала, ища объявление, которое уже видела. «ЭСКОРТ» вновь зацепили ее взгляд. Гиника говорила:

— Выбрось из головы этот эскорт. Говорят, это не проституция, но это она, а хуже всего, что получаешь ты хорошо если четверть заработанного, потому что остальное забирает агентство. Я знаю одну девушку, она этим занималась на первом курсе.

Ифемелу прочитала объявление и еще раз подумала, не позвонить ли, но не позвонила: понадеялась, что последнее собеседование, на которое сходила, — на официантку в маленьком ресторане, где зарплату не платили, только чаевые, — принесет удачу. Они сказали, что если работа достанется ей, то перезвонят в конце дня; она прождала допоздна, но ей так и не позвонили.

* * *

И тут пес Эллены съел ее бекон. Ифемелу разогрела кусок бекона на бумажном полотенце, положила его на стол и отвернулась открыть холодильник. Пес проглотил и бекон, и бумажное полотенце. Ифемелу уставилась на пустое место, где только что был бекон, затем — на пса, тот самодовольно щерился, и вся досада ее жизни вскипела в ней. Пес съел ее

бекон, пес съел ее бекон, а она при этом безработная.

— Твоя собака съела мой бекон, — сказала она Элене, резавшей себе банан на другом конце кухни, куски фрукта падали в плоску с сухим завтраком.

— Ты просто не выносишь моего пса.

— Воспитывать надо лучше. Нечего есть чужую еду со стола.

— Ты уж не убивай мою собаку каким-нибудь вуду.

— Что?

— Шучу! — Элена ухмылялась, ее пес вилял хвостом, а Ифемелу ощутила у себя в венах кислоту; двинулась на Элену, замахнувшись, готовая взорваться прямо Элене в лицо, но, содрогнувшись, поймала себя, замерла, развернулась и ушла наверх. Села на кровать, прижала колени к груди, потрясенная собственным поведением — до чего быстро вскинулась в ней ярость.

Внизу Элена вопила в трубку:

— Богом клянусь, эта сучка попыталась меня ударить только что!

Ифемелу желала врезать своей бесстыжей соседке не оттого, что слюнявая псина сожрала ее бекон, а потому что воевала со всем белым светом и каждое утро просыпалась, словно избитая, воображала орды безликих людей, и все — против нее. Ее это устрашало — невозможность вообразить себе завтрашний день. Когда родители звонили и оставляли сообщения, она сохраняла их, не уверенная, не в последний ли раз слышит их голоса. Быть здесь, жить за рубежом, не знать, когда вновь поедешь домой, — все равно что смотреть, как любовь превращается в тревогу. Когда Ифемелу набирала номер маминой подруги, тети Бунми, и телефон все звонил и звонил безответно, Ифемелу пугалась — тревожилась, что папа умер, а тетя Бунми не знает, как об этом сообщить.

* * *

Позже постучала Эллисон.

— Ифемелу? Хотела напомнить, что твой чек за уплату аренды все еще не на столе. Мы уже очень отстаем.

— Знаю. Пишу. — Она лежала на кровати навзничь. Быть соседкой с арендными неувязками ей не хотелось. Ее бесило, что Гиника на прошлой неделе завезла ей продукты. Ей слышно было, как Джеки говорит внизу на повышенных тонах:

— А нам-то что делать? Мы ей, бля, не родители.

Ифемелу вытащила чековую книжку. Прежде чем выписать чек, она позвонила тете Уджу — поговорить с Дике. А затем, освеженная его невинностью, она позвонила в Ардмор тренеру по теннису.

— Когда можно начать работать? — спросила она.

— Хотите — приезжайте прямо сейчас.

— Хорошо, — сказала она.

Выбрила подмышки, выкопала губную помаду, какую не носила с того дня, как уехала из Лагоса, а там почти всю ее размазала в аэропорту Обинзе по щеке. Что произойдет у них с тренером по теннису? Он сказал «массаж», но его повадки, голос сочились намеками. Может, он из тех белых, про которых она читала, со странными пристрастиями — такие хотят, чтобы женщины водили перышками им по спине или мочились на них. Это она запросто — мочиться на мужчину за сто долларов. Мысль развеселила Ифемелу, и она кривовато улыбнулась. Что бы ни случилось, она возьмется за это, выглядя отменно, она покажет ему, что есть границы, которые она переступить не станет. Она скажет, с ходу: «Если ждете секса, я вам не помощник». Или, вероятно, скажет деликатнее, обиняками: «Заходить слишком далеко — не по мне». А может, она себе навообразала чересчур, — вероятно, тренер только массаж и хочет.

Когда она прибыла к нему в дом, он повел себя бесцеремонно.

— Подымайтесь, — сказал он и повел к себе в спальню, где не было ничего, за исключением кровати и громадной картины с банкой томатного супа на стене. Предложил ей что-нибудь выпить, мимоходом, словно зная заранее, что она откажется, а затем стянул с себя рубашку и лег на постель. Без предисловий? Ифемелу пожалела, что он не действует чуть помедленнее. Слов у нее не нашлось.

— Идите сюда, — сказал он. — Мне нужно согреться.

Ей надо уходить, сейчас же. Равновесие власти над положением склонилось в его сторону — склонялось туда с той минуты, как она переступила его порог. Надо уходить. Она встала.

— Я не могу секс, — сказала она. Получилось пискляво, неуверенно. — Я с вами секс не могу, — повторила она.

— Ой, не, я и не жду, — отозвался он поспешно.

Ифемелу медленно двинулась к двери, размышляя, заперта она или нет, запер ли тренер комнату сам, а затем задумалась, нет ли у него оружия.

— Идите сюда и просто лягте, — сказал он. — Погрейте меня. Я вас немножко пощупаю, ничего такого, что вам будет неприятно. Мне, чтоб расслабиться, нужен человеческий контакт.

Была в его выражении лица и тоне полная уверенность; Ифемелу поняла, что уступает. До чего мерзко это — вот она с чужим человеком, который уже знает, что она останется. Он знал, что она останется, потому что она приехала. Она уже здесь, уже замарана. Она сняла туфли и забралась в постель. Ей не хотелось здесь быть, не хотелось его проворного пальца у себя между ног, не хотелось его вздохов-стонов себе в ухо — и все же она ощутила, как тело ее пробуждается к тошнотворной влаге. После она лежала неподвижно, свернувшись, омертвев. Он ее силой сюда не тащил. Она приехала сама. Она лежала у него в постели, а когда он положил ее руку себе между ног, она сомкнула пальцы, подвигала ими. А теперь, даже после того как она помыла руки и получила от него хрустящую тонкую стодолларовую бумажку, пальцы показались ей липкими — они ей больше не принадлежали.

— Дважды в неделю сможете? Стоимость проезда я покрою, — сказал он, потягиваясь, пренебрежительно: он желал, чтобы она ушла.

Она ничего не ответила.

— Дверь захлопните, — сказал он и отвернулся.

Ифемелу дошла до станции, ощущая себя тяжелой и медленной, мысли забило грязью, а усевшись у окна, заплакала. Казалась себе маленьким шариком, оторванным от всех, одиноким. Мир — громадное, громадное место, а она такая крошечная, такая незначительная, тарыхтит себе пусто. У себя в квартире она принялась мыть руки водой до того горячей, что ошпарила пальцы, на большом взбух мягкий пузырь. Она сняла с себя все и смяла в комок, зашвырнула в угол и сколько-то вперялась в него. Никогда больше эту одежду не наденет, не прикоснется к ней даже. Села голой на кровать и оглядела свою жизнь, в этой тесной комнатенке с плесневелым ковром, со стодолларовой купюрой на столе, с ее телом, напитанным отвращением. Ни за что не надо было туда ездить. Надо было уйти. Ей хотелось стоять под душем, тереть себя, но невыносима была мысль о прикосновении к собственному телу, и Ифемелу натянула ночнушку — осторожно, чтобы дотрагиваться до себя как можно меньше. Вообразила, как собирает вещи, как-то исхитряется купить билет и возвращается в Лагос. Она свернулась в клубок на кровати и заплакала, пожелала залезть в себя и вырвать с корнем память о том, что сегодня произошло. Огонек на автоответчике все мигал. Возможно, Обинзе. Даже помыслить о нем сейчас было невыносимо. Она подумала, не поговорить ли с Гиникой. Наконец позвонила тете Уджу:

— Я съездила поработать на одного человека в пригород. Заплатил сто долларов.

— Э? Очень хорошо. Но ты все равно ищи что-то постоянное. До меня только что дошло: Дике надо купить страховку, поскольку то, что предлагает эта новая больница в Массачусетсе, — чушь собачья, не покрывает ничего. Я до сих пор в себя прийти не могу, сколько предстоит заплатить.

— А ты не хочешь спросить, чем я занималась, тетя? Не спросишь, что я сделала, перед тем как этот человек заплатил мне сто долларов? — Свежий гнев накрыл Ифемелу, вцепился в пальцы так, что они задрожали.

— Что ты сделала? — безжизненно поинтересовалась тетя Уджу.

Ифемелу повесила трубку. Нажала на кнопку «новые» на автоответчике. Первое сообщение — от мамы, говорила она быстро, чтобы удешевить звонок: «Ифем, ты как? Мы звоним узнать, как ты. Не слышали тебя уже сколько-то. Пожалуйста, пошли весточку. У нас все хорошо. Береги тебя Бог».

А затем — голос Обинзе, слова поплыли по воздуху, ей в голову. «Я люблю тебя, Ифем», — сказал он в конце, голосом, который вдруг показался таким далеким, из другого времени и пространства. Она окоченело лежала на кровати. Спать не могла, не могла отвлечься. Начала подумывать, не убить ли тренера по теннису. Будет бить его топором по голове, бить и бить. Воткнет ему нож в мускулистую грудь. Он жил один; вероятно, были и другие проходящие женщины, что раздвигали ноги навстречу его короткому пальцу с обгрызенным ногтем. Никто не узнает, кто из них это сделал. Она оставит нож воткнутым ему в грудь, а затем обыщет ящики его стола и добудет пачку стодолларовых купюр, чтобы было чем платить за квартиру и за учебу.

В ту ночь пошел снег — ее первый снег, а поутру она смотрела на мир за окном, и машины под слоями снега казались пухлыми, бесформенными. Она была обескровлена, отстранена, она плавала в мире, где тьма сходила слишком рано, и все вокруг бродило под бременем пальто, сплюснутые отсутствием света. Дни истощались один в другой, хрустящий воздух обращался льдом, им было больно дышать. Обинзе звонил много раз, но она не снимала трубку. Она стирала его непослушанные сообщения и его нечитанные письма, дала себе тонуть, тонуть быстро, и вытащить себя не могла.

* * *

Каждое утро она просыпалась осоловевшей, мешкотной от печали, устрешенной бесконечной протяженностью грядущего дня. Все загустело. Ее заглотило, она потерялась в вязком тумане, ее заволокло супом пустоты. Между ней и тем, что ей полагалось чувствовать, зияла брешь. Ифемелу ничто не заботило. Она хотела, чтоб заботило, но не понимала, как это, она ускользнула из памяти, ее способность заботиться. По временам она просыпалась, мечась, беспомощная, и видела перед собой, позади себя и вокруг полную безнадежность. Она знала, что нет никакого смысла быть здесь, живой, но сил обдумать предметно, как именно с собой покончить, у нее не находилось. Она лежала на кровати, читала книги и ни о чем не думала. Иногда забывала поесть, а бывало, ждала до полуночи, пока соседки не разойдутся по комнатам, затем разогревала себе еду, грязные тарелки оставляла под кроватью, пока вокруг маслянистых объедков риса и фасоли не образовалась пушистая зеленоватая плесень. Частенько посреди чтения или еды она чувствовала сокрушительную нужду поплакать, и появлялись слезы, рыдания драли ей горло. Она отключила звонок на телефоне. На учебу ходить перестала. Дни замерли в безмолвии и снеге.

* * *

Эллисон вновь колотила в дверь.

— Ты там? Телефон! Говорит, это срочно, господи ты боже мой! Я знаю, что ты там, я слышала, как ты смывала в туалете минуту назад.

Тупой, приглушенный стук, словно Эллисон била в дверь открытой ладонью, а не костяшками, раздражил Ифемелу.

— Она не открывает, — услышала она голос Эллисон, а затем, как раз когда подумала, что Эллисон ушла, стук возобновился. Ифемелу встала с кровати, где лежала и поочередно читала два романа, по главе из каждого за раз, и свинцовыми ногами двинулась к двери. Идти хотелось быстро, как обычно, однако не получалось. Ступни сделались слизняками. Она отперла дверь. Эллисон вытаращилась на нее и сунула ей трубку.

— Спасибо, — сказала Ифемелу и добавила, бормоча вполголоса: — Извини. — Даже говорить, проталкивать слова вверх по горлу и прочь изо рта, оказалось утомительным. — Алло? — произнесла она в телефон.

— Ифем? Что происходит? Что с тобой случилось? — спросила Гиника.

— Ничего, — ответила она.

— Я так за тебя беспокоилась. Слава богу, нашла телефон твоей соседки! Обинзе мне названивает. С ума сходит от беспокойства, — сказала Гиника. — Даже тетя Уджу звонила спросить, не видела ли я тебя.

— Я была занята, — расплывчато отозвалась Ифемелу.

Повисла пауза. Голос у Гиники смягчился:

— Ифем, я здесь, ты же знаешь, правда?

Ифемелу захотелось повесить трубку и вернуться в постель.

— Да.

— У меня хорошие новости. Кимберли позвонила и попросила твой номер телефона. Няня, которую она недавно наняла, уволилась. Кимберли хочет, чтобы ты приступала с понедельника. Сказала, что хотела тебя с самого начала, но Лора уговорила ее нанять другую. В общем, Ифем, у тебя есть работа! Наличка! Черная! Ифемско, это отлично. Она тебе будет платить двести пятьдесят в неделю, больше, чем предыдущей няне. И чистая черная наличка! Кимберли прям отличный человек. Я завтра приеду, отвезу тебя к ней.

Ифемелу ничего не сказала, она пыталась понять. Слова в смыслы лепились небыстро.

На следующий день Гиника стучала и стучала к ней в дверь, прежде чем Ифемелу наконец открыла — и увидела на лестничной площадке Эллисон, та наблюдала с любопытством.

— Мы уже опаздываем, одевайся, — твердо, властно сказала Гиника, не оставив возможности для сопротивления.

Ифемелу натянула джинсы. Чувствовала, что Гиника за ней наблюдает. В машине молчание между ними наполнила рок-музыка. Они оказались на Ланкастер-авеню, уже собрались выехать из Западной Филадельфии, от заброшенных домов и разбросанных повсюду оберток от гамбургеров — к безукоризненным, обсаженным деревьями предместьям Главной линии, и тут Гиника произнесла:

— Кажется, ты страдаешь депрессией.

Ифемелу покачала головой и отвернулась к окну. Депрессия случается с американцами, с их оправдывающей себя нуждой превращать все на свете в болезнь. Не маялась она депрессией, просто немножко устала и немножко вялая.

— Нет у меня депрессии, — сказала она.

Годы спустя она об этом еще напишет: «О болезнях черных неамериканцев, названия которых они отказываются знать». Одна женщина из Конго написала ей длинный ответный комментарий. Она переехала в Вирджинию из Киншасы и через несколько месяцев первого семестра в

колледже начала чувствовать по утрам головокружение, сердце стучало так, словно того и гляди выпорхнет, желудок крутило от тошноты, пальцы покалывало. Она отправилась к врачу. И, даже отметив «да» по всему списку симптомов в анкете, которую ей выдал врач, отказалась принять диагноз «панические атаки», потому что панические атаки случаются только у американцев. В Киншасе ни у кого панических атак не бывало. И даже под каким-нибудь другим названием никто такого не ведал, никак это не называлось, и все тут. Может, что-то возникает лишь после того, как его назовут?

— Ифем, через это многие проходят, и я понимаю, тебе непросто приспособиться на новом месте, и всё без работы и без работы. В Нигерии мы про всякое такое, вроде депрессии, не разговариваем, но она существует. Тебе бы повидать кого в поликлинике. Там всегда есть психотерапевты.

Ифемелу не отвлекалась от окна. Она вновь ощутила это сокрушительное желание плакать, глубоко вдохнула и понадеялась, что пройдет. Пожалела, что не рассказала Гинике о тренере по теннису, что не поехала напрямиком к Гинике домой, но теперь уж поздно, отвлечение к себе затвердело внутри. Ифемелу никогда не сможет слепить фразы, чтобы изложить эту историю.

— Гиника, — сказала она, — спасибо тебе. — Голос прозвучал сипло. Навернулись слезы, она не смогла их обороть. Гиника остановилась на бензоколонке, выдала Ифемелу салфетку и подождала, пока слезы утихнут, после чего завела мотор и доехала до дома Кимберли.

Глава 16

Кимберли назвала это «бонусом найма».

— Гиника сказала, что у вас некоторые трудности, — сказала Кимберли. — Пожалуйста, не отказывайтесь.

Ифемелу и в голову бы не пришло отказываться от чека: она теперь сможет оплатить кое-какие счета, отправить что-то родителям. Маме понравились присланные туфли, с кисточками, узконосые, такие она в церковь носит.

— Спасибо, — сказала мама и, тяжело вздохнув в трубку, добавила: — Обинзе заходил повидаться.

Ифемелу молчала.

— Какие бы у тебя там ни были беды, обсуди это с ним, — сказала мама.

Ифемелу ответила:

— Ладно, — и принялась говорить о чем-то другом. Когда мама сказала, что уже две недели нет света, Ифемелу это внезапно оказалось чужим, а сам дом — далеким. Она уже не помнила, каково это — сидеть весь вечер при свечах. Она больше не читала новости на *Нигерия. ком*, потому что любой заголовок, даже самый отвлеченный, отчего-то напоминал ей об Обинзе.

Поначалу она дала себе месяц. Месяц, чтобы омерзение к себе улетучилось, а затем она позвонит Обинзе. Но месяц прошел, а она по-прежнему держала Обинзе впаянным в молчание, затыкала кляпом свой ум, чтобы думать об Обинзе как можно меньше. По-прежнему удаляла его письма, не читая. Много раз принималась писать ему, сочиняла электронные послания, но потом останавливалась и выбрасывала черновики. Придется рассказать ему, что произошло, — а ей невыносима была сама мысль об этом. Ей было стыдно, она опозорилась. Гиника все спрашивала и спрашивала, что случилось, за что Ифемелу оборвала связь с Обинзе, а Ифемелу говорила, что ничего такого, просто ей нужно побыть с собой, и Гиника тарасилась на нее ошарашенно: «Просто нужно побыть с собой?»

Ранней весной прилетело настоящее письмо от Обинзе. Чтобы стереть любую его электронную записку, требовался всего один щелчок мыши, и после первого такого щелчка остальные давались легче, поскольку она не представляла себе, как читать второе, не прочитав первого. Но письмо —

другое дело. Оно принесло величайшую скорбь на свете. Ифемелу осела на кровать, держа конверт в руках, понюхала его, взгляделась в знакомый почерк. Вообразила, как Обинзе сидит у себя за столом на мальчуковой половине доме, рядом с маленьким гудящим холодильником, пишет спокойно, как это ему свойственно. Она хотела прочесть это письмо, но не смогла заставить себя даже вскрыть конверт. Положила на стол. Прочтет через неделю — неделя нужна, чтобы собраться с силами. И ответит, сказала она себе. Все ему расскажет. Но через неделю письмо все еще лежало нетронутым. Ифемелу положила сверху книгу, затем еще одну, и в один прекрасный день письмо поглотили папки и книги. Ифемелу его так и не прочтет.

* * *

С Тейлором было просто, ребячливый ребенок, игривый, по временам до того наивный, что Ифемелу виновато считала его бестолковым. Но Морган, всего трех лет от роду, уже имела повадки скорбного подростка. Она читала всякое намного умнее своего уровня, по уши во всевозможных кружках, а на взрослых смотрела из-под прикрытых век, словно осведомленная о тьме, что пронизала их жизни. Ифемелу сперва невзлюбила Морган, откликаясь на то, что считала в девочке полновесной неприятной насупленностью. В первые недели с детьми Ифемелу бывала с Морган прохладной, а иногда и холодной, решив не потакать этому избалованному вкрадчивому ребенку с пыльцой красноватых веснушек на носу, но за несколько месяцев прониклась Морган — и это чувство старалась ей не показывать. Была с ней решительной и невозмутимой, отвечала на прямой взгляд прямым взглядом. Возможно, поэтому Морган делала, что Ифемелу ей велела. На мать эта девочка внимания обычно не обращала. А с таким отцом, как у Морган, смурная бдительность ребенка превратилась в жизненную позицию. Дон прибывал домой и влетал в детскую, ожидая, что в его честь все вокруг замрет. И все замирало — за исключением Морган и ее дел. Кимберли, лстивая и пылкая, спрашивала, как прошел у него день, сбивалась с ног, угождая, словно не очень верила, что он вновь к ней вернулся. Тейлор бросался Дону на руки. А Морган отрывалась от телевизора, или книги, или игры понаблюдать за ним, будто видела его насквозь, Дон же меж тем старался не суетиться под ее пронзительным взглядом. Иногда Ифемелу задумывалась: не Дон ли тут

напрокудил? Может, он изменял Кимберли, а Морган застучала? Измена — первое, что приходит на ум о мужчинах вроде Дона, с их флером похоти. Но, возможно, ему хватает одной лишь игривости: он отчаянно флиртовал, но дальше не заходил, поскольку роман на стороне потребовал бы некоторых усилий, а такие мужчины берут, а не дают.

Ифемелу частенько вспоминала тот вечер в начале ее работы няней: Кимберли не было дома, Тейлор играл, а Морган читала в детской. Внезапно Морган отложила книгу, спокойно поднялась к себе и ободрала обои у себя в комнате, опрокинула туалетный столик, сорвала покрывало с постели и взялась дергать за накрепко приклеенный ковролин, но тут уж вбежала Ифемелу и остановила ее. Морган была как маленький стальной робот, она вырывалась с силой, напугавшей Ифемелу. Вероятно, этот ребенок вырастет серийной убийцей, как женщины в теледетективах, что стоят полуголые на темных дорогах и завлекают шоферов-дальнобойщиков, чтобы удавить их. Когда Ифемелу наконец постепенно ослабила хватку на утомившейся Морган, та вернулась вниз к своей книге.

Позднее Кимберли, плача, спросила дочь:

— Милая, скажи мне, что не так?

И Морган ответила:

— Все это розовое у меня в комнате не по мне, я уже слишком взрослая.

Теперь Кимберли дважды в неделю возила Морган к психотерапевту в Бэла-Кинвуд. Они с Доном начали осторожничать рядом с дочерью и трусить под ее осуждающим взглядом.

Когда Морган выиграла конкурс рассказа в садике, Дон приехал домой с подарком. Кимберли встревоженно стояла у подножия лестницы, а Дон отправился наверх — вручать подарок, обернутый в сверкающую бумагу. Вернулся через пару мгновений.

— Даже не взглянула. Встала и ушла в ванную — и сидит там, — сказал он. — Оставил подарок у нее на кровати.

— Ну ничего, милый, она передумает, — сказала Кимберли, обнимая его, поглаживая по спине.

Позже Кимберли вполголоса сказала Ифемелу:

— Морган с ним очень сурова. Он так старается, а она ни в какую. Нет, и все тут.

— Морган никого к себе не подпускает, — отозвалась Ифемелу. Дону неплохо бы помнить, что ребенок тут Морган, а не он.

— К вам она прислушивается, — проговорила Кимберли грустновато.

Ифемелу захотелось сказать: «Выбор у нее не очень-то велик», поскольку хотела, чтобы Кимберли не была такой очевидной в своей податливости: возможно, Морган просто нужно почувствовать, что мама способна ей противостоять. Но вслух Ифемелу сказала:

— Все потому, что я ей не родственница. Она меня не любит и потому не чувствует по отношению ко мне ничего сложного. Я просто ей досаждаю — в лучшем случае.

— Не понимаю, что я делаю не так, — сказала Кимберли.

— Время такое. Пройдет, вот увидите. — Кимберли хотелось защищать, хотелось оберегать.

— Единственный человек, который ей нравится, — мой двоюродный брат Кёрт. Вот его она обожает. Когда семья в сборе, а Кёрта нет, она кукуется. Узнаю, не может ли он к нам заехать, потолковать с ней.

* * *

Лора принесла журнал.

— Вы гляньте, Ифемелу, — сказала она. — Это не Нигерия, но близко. Я знаю, знаменитости бывают с приветом, но вот эта, похоже, дело делает.

Ифемелу с Кимберли глянули на страницу вместе: тощая белая женщина улыбалась в объектив, на руках у нее сидел темнокожий африканский младенец, а вокруг живым ковром столпились темнокожие африканские детишки. Кимберли издала неопределенное «хм-м-м», словно не понимая, что ей полагается чувствовать.

— Еще и шикарная, — добавила Лора.

— Верно, — сказала Ифемелу. — И такая же тощая, как детвора, только у нее хуоба — по личному выбору, а у них — нет.

У Лоры выскочил смешок.

— А вы и *впрямь* смешная! Нравится мне ваша бойкость!

Кимберли не рассмеялась. Позднее, один на один с Ифемелу, она сказала:

— Мне неловко за Лору, не надо было ей так говорить. Мне слово «бойкость» никогда не нравилось. Это слово применимо к некоторым людям, а к некоторым — нет.

Ифемелу пожала плечами, улыбнулась и сменила тему. Она не понимала, зачем Лора выискивает всякие данные по Нигерии, спрашивает ее о мошенничествах по 419-й статье, рассказывает ей,

сколько денег нигерийцы ежегодно высылают из Америки на родину. Интерес этот был воинственный и недоброжелательный — и впрямь странно уделять столько внимания тому, что тебе не нравится. Вероятно, все это на самом деле направлено против Кимберли: Лора эдаким извращенным способом досаждала сестре — говорила всякое, за что Кимберли приходилось извиняться. Впрочем, вроде бы слишком много трудов, а выгоды почти никакой. Поначалу Ифемелу сочла извинения Кимберли трогательными, пусть и необязательными, но постепенно стали возникать вспышки раздражения: все новые и новые извинения Кимберли оттеняло самолюбование, словно Кимберли считала, будто извинениями сможет изгладить все зазубрины на земной поверхности.

* * *

Через несколько месяцев работы Ифемелу няней Кимберли поинтересовалась:

— Может, имеет смысл переехать к нам? Цоколь у нас — однокомнатная квартира с отдельным входом. За аренду ничего не возьмем, разумеется.

Ифемелу уже подыскивала себе студию, рвалась убраться от своих соседок, раз теперь ей это было по карману, а в жизнь Тёрнеров ввязываться еще сильнее ей не хотелось, но все же подумала было согласиться, поскольку услышала в голосе Кимберли мольбу. В конце концов решила, что жить с ними не сможет. Когда отказалась, Кимберли предложила ей пользоваться их запасным автомобилем.

— Вам будет гораздо проще добираться сюда после занятий. Это старая машина. Мы собирались от нее избавляться. Надеюсь, она у вас не заглохнет посреди дороги, — добавила Кимберли, будто «хонда», отработавшая всего несколько лет, без единой вмятины на корпусе, вообще способна заглохнуть на ходу.

— Не следует вам доверять мне уезжать на вашей машине. А ну как я однажды не вернусь? — сказала Ифемелу.

Кимберли рассмеялась.

— Она, в общем, недорого стоит.

— У вас американские права есть же? — спросила Лора. — В смысле, вам по закону можно водить машину в этой стране?

— Конечно, можно, Лора, — отозвалась Кимберли. — С чего бы ей

принимать машину, если нельзя?

— Я просто проверяю, — сказала Лора, будто Кимберли не способна задавать жесткие вопросы не гражданам Америки.

Ифемелу глядела на них, таких похожих с виду — и таких несчастных. Но несчастье Кимберли было внутренним, непризнанным, заслоненным ее стремлением к тому, чтобы все было таким, каким должно, а также и надеждой: она верила в счастье других людей, поскольку это означало, что и она однажды станет счастливой. Несчастье Лоры было иным, колючим, — она желала, чтобы все вокруг нее были несчастны, поскольку убедила себя, что несчастной она будет всегда.

— Да, у меня есть американские права, — сказала Ифемелу, а затем заговорила о курсах безопасного вождения, которые она прошла в Бруклине, прежде чем получила права, и как жульничал инструктор, тощий белый мужчина со спутанными волосами соломенной масти. В темной подвальной комнате, набитой иностранцами, в которую вел еще более темный узкий лестничный пролет, инструктор собрал со всех наличные, а затем включил проектор и показал фильм про безопасное вождение. Время от времени он бросал шутки, которых никто не понимал, и хихикал сам с собою. Ифемелу фильм показался несколько подозрительным: как автомобиль, ехавший так медленно, ухитрился натворить столько ущерба в аварии, да еще и водителю шею сломать? После фильма инструктор выдал экзаменационные вопросы. Ифемелу сочла их простыми, она быстро закрасила карандашом ответы. Маленький южноазиатский мужчина рядом с ней, лет пятидесяти от роду, все поглядывал на нее умоляющими глазами, а она делала вид, что не понимает его призывов помочь. Инструктор собрал экзаменационные листки, приговаривая: «Спасибо, спасибо» — в широком диапазоне акцентов, и все разбрелись. Теперь они могли подавать на американские права. Ифемелу изложила эту историю с липовой открытостью, словно ей она виделась примечательной, да и только, а не тем, что может досадить Лоре. — Странно это было, поскольку до того я считала, что в Америке никто не жульничает, — добавила Ифемелу.

Кимберли проговорила:

— Ох, батюшки.

— Это в Бруклине дело было? — спросила Лора.

— Да.

Лора пожала плечами, словно говоря, что, разумеется, такое бывает в Бруклине — но не в той Америке, где живет она сама.

* * *

Камнем преткновения стал апельсин. Круглый, огненный апельсин, который Ифемелу принесла с собой на обед, очищенный и разделенный на четвертинки, в пакетике на молнии. Она ела за кухонным столом, а Тейлор рядом заполнял листок с домашним заданием.

— Хочешь, Тейлор? — спросила она и предложила ему дольку.

— Спасибо, — сказал он. Положил в рот. Лицо ему перекошило. — Плохой! Там что-то внутри!

— Это косточки, — сказала она, поглядев на то, что он выплюнул в ладонь.

— Косточки?

— Да, апельсиновые косточки.

— У апельсинов внутри ничего нет.

— Есть. Выброси в мусорку, Тейлор. Покажу тебе обучающее видео.

— У апельсинов внутри ничего нет, — повторил он.

Всю свою жизнь он ел апельсины без косточек, апельсины, выращенные безупречно оранжевыми, со шкуркой без изъянов, без косточек внутри, и восемь лет он не знал, что у апельсинов, к примеру, внутри бывают косточки. Он помчался в детскую — рассказать Морган. Та оторвалась от книги, воздела неспешную скупающую длань и заправила прядь волос за ухо.

— Конечно же у апельсинов есть косточки. Мама просто покупает такой вид, который без. Ифемелу не купила правильные. — И Морган наделила Ифемелу осуждающим взглядом.

— Этот апельсин для меня правильный, Морган. Я выросла на апельсинах с косточками, — ответила Ифемелу, включая видеомаягнитофон.

— Ладно. — Морган пожала плечами. Кимберли она не сказала бы ничего, просто прожгла бы ее взглядом.

В дверь зазвонили. Чистильщик ковров, должно быть. Кимберли с Доном планировали наавтра благотворительную вечеринку с коктейлями, для друга семьи, о котором Дон сказал так:

— Один выпендрож это все — с этим его выдвигением в конгресс, ему и близко ничего не светит.

Ифемелу удивилась: Дон, похоже, распознавал это в окружающих, при этом сам бродил вслепую в тумане собственного. Она отправилась открыть дверь. На пороге стоял коренастый краснолицый мужчина при чистящем оборудовании, что-то висело у него на плече, что-то, походившее на

газонокосилку, торчало у ног.

Увидев ее, он напрягся. Сперва черты осенило изумлением, а следом они окостенели враждебностью.

— Это вам ковер почистить? — спросил он, словно ему было плевать, словно она могла передумать, словно он хотел, чтобы она передумала. Она глянула на него, в глазах — насмешка, она тянула миг, нагруженный предубежденностью: он счел ее хозяйкой дома, и она оказалась не тем, что он ожидал увидеть в этом величественном каменном особняке с белыми колоннами.

— Да, — сказала она наконец, внезапно устав. — Миссис Тёрнер предупреждала, что вы придете.

Как в чародейском фокусе, враждебность исчезла мгновенно. Лицо расплылось в улыбке. Она тоже из прислуги. Вселенная вновь обустроилась так, как ей полагается.

— Как поживаете? Знаете, где она хотела, чтоб я начал? — спросил он.

— Наверху, — ответила Ифемелу, впуская его внутрь, размышляя, где в его теле существовало прежде все это добродушие. Его она никогда не забудет — клочки сухой кожи на обветренных, шелушащихся губах — и начнет один из постов у себя в блоге со слов: «Иногда в Америке раса есть класс». И далее изложит историю этого резкого преобразования, а закончит ее так: «Для него ничего не значило, сколько у меня денег. По его мнению, я не вписывалась в образ хозяйки того величавого дома — по внешнему виду. Согласно американскому общественному договору, “черных” в целом зачастую лепят в одну кучу с “нищими белыми”. Нет “нищих черных” и “нищих белых”. Есть черные и нищие белые. Такие дела».

Тейлор взбудоражился.

— Можно я помогу? Можно? — спрашивал он у чистильщика.

— Нет, спасибо, дружище, — отвечал тот. — Я справлюсь.

— Надеюсь, не с моей комнаты начнет, — проговорила Морган.

— А что? — поинтересовалась Ифемелу.

— Не хочу, и все.

* * *

Ифемелу хотелось рассказать Кимберли о чистильщике, но Кимберли, вероятно, застесняется и станет извиняться за то, что совсем не ее вина, как она часто — слишком часто — извинялась за Лору.

Наблюдать, как Кимберли дергалась, чтобы все сделать правильно и не понимая, как именно — правильно, — сплошное расстройство. Расскажи Ифемелу про чистильщика, поди знай, как откликнется Кимберли: рассмеется, извинится, схватится за телефон и позвонит в компанию жаловаться.

И потому она рассказала Кимберли про Тейлора и апельсин.

— Он правда думал, что косточки в апельсине — это плохо? Вот потеха-то.

— Морган, конечно, быстро объяснила ему, что к чему, — сказала Ифемелу.

— Ну разумеется.

— Когда я была маленькой, мама говорила мне, что, если я проглочу косточку, у меня на голове вырастет апельсиновое дерево. Не одно тревожное утро провела я у зеркала. Тейлору, по крайней мере, эта детская травма не грозит.

Кимберли рассмеялась.

— Привет! — Через черный ход явилась Лора с Афиной, крошечной деткой-былинкой, волосики жидкие до того, что просвечивал бледный череп. Худышка. Может, из-за Лориных овощных пюре и жестких диетных правил ребенок недокормлен.

Лора поставила на стол вазу.

— Завтра будет смотреться шикарно.

— Красиво, — сказала Кимберли, склоняясь поцеловать Афины в макушку. — Вот буфетное меню. Дон считает, что подборка закусок слишком простенькая. Ну не знаю.

— Хочет добавить? — спросила Лора, оглядывая меню.

— Он решил, что она простовата, очень был мил по этому поводу.

В детской Афина расплакалась. Лора отправилась к ней, и вскоре последовали уговоры:

— Хочешь эту, милая? Желтую, или синюю, или красную? Какую хочешь?

Дай ей одну любую, подумала Ифемелу. Перегружать четырехлетнего ребенка выбором, налагать на него бремя принятия решения означает отнимать у него безмятежность детства. Взрослость уже не за горами, и там человеку предстоит принимать все более и более сумрачные решения.

— Капризничает сегодня, — сказала Лора, возвращаясь в кухню, когда плач Афины унялся. — Свозила ее на осмотр после ушной инфекции, и с ней весь день одни хлопоты. А, и я сегодня познакомилась с совершенно очаровательным нигерийцем. Приезжаем мы в поликлинику, а там новый

врач, только что вышел на работу, нигериец, заскочил поздороваться. Напомнил мне вас, Ифемелу. Я читала в интернете, что нигерийцы — самая образованная иммигрантская группа в стране. Само собой, это ничего не говорит о тех, кто живет меньше чем на доллар у вас дома, но, когда познакомилась с тем врачом, я вспомнила о той статье, и о вас, и о прочих привилегированных африканцах, кто живет в этой стране. — Лора примолкла, и Ифемелу, как это часто бывало, почувствовала, что Лоре еще есть что сказать, но она сдерживается. Странно это — когда тебя именуют привилегированным. Привилегированные — это Кайоде Да Силва, у которого паспорт разбух от пограничных штампов, кто ездил в Лондон на лето и в клуб «Икойи» поплавать, кто мог походя бросить: «Мы к французикам, за мороженым».

— Меня за всю жизнь никто ни разу не называл привилегированной! — сказала Ифемелу. — Приятно.

— Думаю, смену врача, пусть этот Афины лечит. Чудесный он, такой ухоженный, учтивый. Доктор Бингэм меня не очень-то устраивал — с тех пор как доктор Хоффмен ушел, во всяком случае. — Лора вновь взялась за меня. — У меня в магистратуре была одна женщина из Африки, прям как этот врач, — из Уганды, кажется. Чудесная, а с другой афроамериканкой у нас в классе не ладила совсем. У нее всяких этих заморочек не было.

— Вероятно, когда отцу-афроамериканцу не разрешали голосовать, потому что он черный, отец-угандец баллотировался в парламент или учился в Оксфорде, — предположила Ифемелу.

Лора уставилась на нее, состроила насмешливо-растерянную гримасу.

— Погодите, я что-то упустила?

— Я просто считаю, что это упрощенческое сравнение. Нужно чуть больше понимать историю, — сказала Ифемелу.

Губы у Лоры скривились. Она пошатнулась, но собралась.

— Ну, пойду заберу дочь и добуду каких-нибудь книг по истории в библиотеке, если смогу разобраться, как они выглядят! — заявила Лора и выскочила вон.

Ифемелу чуть ли не слышала, как у Кимберли бешено стучит сердце.

— Простите, — произнесла Ифемелу.

Кимберли покачала головой и пробормотала:

— Я понимаю, что с Лорой бывает непросто. — Взгляд уперт в салат, который Кимберли перемешивала.

Ифемелу поспешила навверх к Лоре.

— Простите. Я только что вам нагрубилa и хотела извиниться. — Но неловко ей было только из-за Кимберли — та принялась мешать салат так,

словно собиралась сделать из него пюре.

— Все нормально, — фыркнула Лора, приглаживая дочери волосы, и Ифемелу знала, что Лора еще долго не размотает на себе шерстяную шаль обиженной.

* * *

Назавтра, кроме чопорного «здрасьте», Лора ни словечком Ифемелу не одарила. Дом наполнился невнятным бормотанием, гости подносили бокалы к губам. Они все походили друг на друга, наряды приличные и осторожные, чувство юмора — приличное и осторожное, и все они, как и подобает верхам американского среднего класса, слишком часто употребляли слово «чудесно».

— Вы мне поможете с вечеринкой, правда? Прошу вас, — обратилась Кимберли к Ифемелу, как это всегда бывало перед домашними сборищами.

Ифемелу не очень понимала, в чем заключается ее помощь, поскольку буфетное обслуживание заказывали, а дети отправлялись спать рано, однако она чувствовала, что под легкостью приглашения Кимберли скрывается нечто, похожее на нужду. В некотором малом смысле, который Ифемелу постигала не до конца, ее присутствие вроде как придавало Кимберли устойчивости. Если Кимберли нужно, чтобы Ифемелу присутствовала, та будет.

— Это Ифемелу, наша няня и моя подруга, — так Кимберли представляла ее гостям.

— Вы такая красивая, — сказал кто-то из мужчин, зубы ослепительно белые. — Африканки роскошны, особенно эфиопки.

Некая пара заговорила о сафари в Танзании.

— У нас был чудесный проводник, и мы теперь оплачиваем его первой дочери образование.

Две женщины рассказали, что они жертвуют в чудесную благотворительную организацию в Малави, которая копает колодцы, в чудесный сиротский приют в Ботсване, в чудесный кооператив микрокредитования в Кении. Ифемелу глазела на них. Была в благотворительности некая роскошь, с которой Ифемелу не могла отождествиться и которой не располагала. Принимать «благотворительность» как должное, упиваться ею, адресованной людям, которых не знаешь, — вероятно, все потому, что у этих людей есть вчера,

сегодня и ожидаемое завтра. Ифемелу им в этом завидовала.

Миниатюрная дама в строгом розовом пиджаке сказала:

— Я председатель совета благотворителей Ганы. Мы работаем с деревенскими женщинами. Нам всегда было интересно всякое африканское, мы не хотим быть НПО, не использующей местный труд. Если будете искать работу после выпуска и решите вернуться домой и работать в Африке — позвоните мне.

— Спасибо.

Ифемелу захотелось, внезапно и отчаянно, быть из страны людей, которые дают, а не получают, быть из тех, кто мог давать и, следовательно, млеть в благодати дарующего, быть среди тех, кому по силам изобильная жалость и сострадание. Она вышла на веранду за свежим воздухом. За живой изгородью она видела ямайскую няню соседских детей, та шла по подъездной аллее; она вечно избегала взгляда Ифемелу и не любила здороваться. А затем заметила движение на другом краю веранды. Дон. Было в нем что-то вороватое, и Ифемелу почуяла — даже не увидела, — что он только что завершил телефонный разговор.

— Прекрасная вечеринка, — сказал он ей. — Попросту повод для нас с Ким созвать друзей. Роджеру совершенно не по чину, и я ему говорил — никаких шансов, ни к черту...

Дон все говорил, голос слишком уснащен добронравием, а ей в глотку вцеплялась неприязнь. Они с Доном так не беседуют. Слишком много данных, слишком много болтовни. Захотелось сказать ему, что она ни слова из того телефонного разговора не слышала, — если было вообще что слушать, и ничего не знает — и не желает знать.

— Там небось потеряли вас уже, — сказала она.

— Да, нам надо возвращаться, — сказал он, словно они вышли вместе. Внутри Ифемелу увидела, что Кимберли стоит посреди детской, чуть отдельно от кружка друзей: она искала Дона и, заметив его, вперила в него взгляд, и лицо у нее размягчилось, тревога слетела с него.

* * *

Ифемелу рано удалилась с вечеринки: до отхода ко сну хотелось поговорить с Дике. Трубку сняла тетя Уджу.

— Дике спит? — спросила Ифемелу.

— Зубы чистит, — ответила тетя, а затем добавила вполголоса: —

Опять спрашивал про свою фамилию.

— И что ты ему сказала?

— То же самое. Ты знаешь, он меня никогда про такое не спрашивал, пока мы сюда не переехали.

— Может, это из-за того, что теперь есть и Бартоломью, и новое окружение. Он привык, что ты раньше была вся его.

— На этот раз он не спросил, почему у него моя фамилия, он спросил, означает ли это, что отец его не любил.

— Тетя, может, пора объяснить ему, что ты была не второй женой?

— Я была практически второй женой. — Прозвучало это запальчиво, даже капризно — тетя Уджу крепко стиснула в пальцах собственную историю. Она сказала Дике, что его отец был из военного правительства, что она — его вторая жена и что они дали ему ее фамилию, чтобы защитить его, поскольку некоторые люди в правительстве — не его отец — натворили нехорошего. — Ладно, вот Дике, — сказала тетя Уджу обычным тоном.

— Привет, куз! Видала бы ты, как я сегодня в футбол играл! — похвастался Дике.

— Как так выходит, что ты забиваешь все классные голы, когда меня нет на игре? Они тебе снятся, может? — спросила Ифемелу.

Он захохотал. Он все еще был смешливым, чувство юмора — цельным, но после переезда в Массачусетс прозрачным он быть перестал. Вокруг него образовалась некая пленка, его стало трудно прочитывать, голова вечно склонена над «Гейм-Боем», и он лишь время от времени взглядывал на мать и на мир — с истомой, слишком тяжелой для ребенка. Оценки в школе просели. Тетя Уджу грозила ему все чаще. Когда Ифемелу приезжала последний раз, тетя Уджу говорила ему:

— Отправлю тебя обратно в Нигерию, если еще раз так сделаешь! — говорила на игбо, как бывало, лишь когда она сердилась, и Ифемелу тревожилась, что игбо станет для него языком ссор.

Тетя Уджу тоже изменилась. Поначалу ей было вроде бы любопытно, она предвкушала новую жизнь.

— Тут такое белое место, — говорила она. — Представляешь, заскочила в аптеку за помадой, поскольку до торгового центра полчаса, а тут все оттенки такие бледные! Они не возят то, что не могут продать! Но тут хотя бы тихо и спокойно и можно запросто пить воду из-под крана, в Бруклине я бы ни за что не стала.

Шли месяцы, и тон ее постепенно скис.

— Учительница Дике говорит, что он агрессивный, — сказала тетя

Уджу однажды, после того как ей позвонили и пригласили зайти к директору школы. — Агрессивный — представляешь? Она хочет перевести его на специальное обучение, как они это называют, где его посадят в классе одного и приведут человека, натасканного обращаться с психованными детьми. Я сказала той женщине, что это не мой сын, а ее отец — вот кто агрессивный. Вы посмотрите на Дике — только потому, что он выглядит по-другому, когда делает то же, что и другие мальчики, это называется агрессией. И тогда директор мне говорит: «Дике такой же, как все мы. Совсем мы не считаем его другим». Это что за притворство такое? Я велела этому директору посмотреть на моего сына. Таких на всю школу двое. Второй ребенок — полукровка, и, если глядеть издали, не скажешь, что он черный. Мой сын выделяется — как можно говорить, что вы не видите разницы? Я совершенно против, чтобы его переводили в специальный класс. Он умнее их всех, взятых вместе. Они хотят его выделить. Кеми меня предупредила. Говорила, что попытались то же самое проделать с ее сыном в Индиане.

Дальнейшие жалобы тетя Уджу посвятила своей ординатуре, какая тут вялая и маленькая практика, медкарты до сих пор заполняются вручную и хранятся в пыльных папках, а когда ординатура закончилась, она стала жаловаться на пациентов, которые считают, будто делают ей одолжение, обслуживаясь у нее. Бартоломью она едва упоминала, словно жила в Массачусетсе с Дике вдвоем, в доме у озера.

Глава 17

Однажды солнечным июльским днем Ифемелу решила, что бросит изображать американский акцент, — и в тот же день она познакомилась с Блейном. Акцент был убедительный. Она довела его до совершенства, пристально наблюдая за друзьями и телеведущими: это размазанное «т», сливочный накат «р», фразы, начинавшиеся с «так что», скользящий ответ «вот как?» — но акцент у нее потрескивал от сознательности действия, то был жест воли. Нужно было усилие — изгибать губу, подвертывать язык. Если паниковала, или боялась, или отшатывалась от огня — забывала, как производить все эти американские звуки. И потому решила прекратить — тем летним днем, в выходные годовщины рождения Дике. Ее решение подкрепил звонок телефонного агента. Она была у себя в квартире на Спринг-Гарден-стрит — в первом по-настоящему своем доме в Америке, только ей одной принадлежащем: студия с неисправным краном и шумным обогревателем. За недели после переезда она ощутила себя легкой в шаге, облеченной благополучием, поскольку открывала холодильник и знала, что все в нем — ее, мыла ванну, зная, что не извлечет из слива неприятно чужие соседские волосы.

— Официально в двух кварталах от реального раёна. — Так выразился управдом Джамал, сообщая ей, чтоб не удивлялась выстрелам; она ежевечерне открывала окно, напрягая слух, но доносились до нее лишь звуки зрелого лета, музыка из проезжавших машин, оживленный смех играющих детей и окрики их матерей.

В то июльское утро ее уже ждала упакованная сумка выходного дня, она готовила себе омлет, и тут зазвонил телефон. На определителе высветилось «не опознан», и она решила, что, возможно, это родители из Нигерии. Но звонил телефонный агент, юный американец, предлагавший междугородние и международные звонки подешевле. Она всегда сбрасывала звонки таких агентов, но было что-то в голосе этого человека, из-за чего она выключила плиту и продолжила слушать, — что-то пронзительно юное, неутомимое, не испытанное, легчайшая дрожь, вроде бы нахрапистое дружелюбие клиентского обслуживания — но почему-то без нахрапа, словно он говорил то, чему его научили, но до смерти не хотел обидеть Ифемелу.

Он спросил, как она поживает, какие погоды стоят у нее в городе, и доложил, что в Фениксе довольно жарко. Вероятно, он первый день вышел

на эту работу, наушник неудобно воткнул в ухо, а сам он отчасти надеялся, что людей, которым он звонит, не окажется дома. Поскольку ей было до странного жаль его, она спросила, есть ли у них тарифы для Нигерии дешевле пятидесяти семи центов за минуту.

— Повисите, я посмотрю Нигерию, — сказал он, и Ифемелу вновь занялась омлетом.

Он вернулся и сказал, что тариф тот же, но не звонит ли она в какие-нибудь еще страны? В Мексику? В Канаду?

— Ну, иногда звоню в Лондон, — сказала она. Гиника уехала туда на лето.

— Хорошо, подождите, посмотрю Францию, — сказал он.

Она фыркнула от смеха.

— У вас там что-то смешное? — спросил он.

Ифемелу расхохоталась еще пуще. Открыла было рот объяснить ему, в лоб: смешно, что он продает международные телефонные тарифы и не знает, где Лондон, но что-то удержало ее — его образ, может, восемнадцать или девятнадцать ему, тучный, розоволицый, неловкий с девушками, обожает видеоигры, никакого понимания бурных противоречий этого мира. И потому она сказала:

— Тут старая смешная комедия по телику.

— Ой, правда? — сказал он и тоже рассмеялся. Ей это разбило сердце — какой же он зеленый, — а когда он вернулся к ней с тарифами звонков во Францию, она поблагодарила его и сказала, что они лучше, чем те, какими она пользуется, и что подумает, не сменить ли ей провайдера.

— Когда вам лучше перезвонить? Если можно... — сказал он. Она задумалась, платят ли им комиссионные. Увеличится ли у него заработок, если она перейдет на его телефонную компанию? Потому что она перейдет — ей это ничего не будет стоить.

— По вечерам, — сказала она.

— Можно спросить, с кем я разговаривал?

— Меня зовут Ифемелу.

Он повторил имя с чрезмерной тщательностью.

— Это французское?

— Нет. Нигерийское.

— Ваша семья оттуда?

— Да. — Она стряхнула омлет на тарелку. — Я там выросла.

— Ой, правда? И давно вы Штатах?

— Три года.

— Ух ты. Круто. По выговору прям полностью американка.

— Спасибо.

И лишь после того, как отключилась, она почувствовала мерзость буйного стыда, залившего ее целиком, за то, что сказала ему спасибо, за то, что сплела гирлянду из его слов «По выговору прям полностью американка» и повесила ее себе на шею. Почему это комплимент, достижение — американский выговор? Она победила: Кристина Томас, бледнолицая Кристина Томас, под чьим взглядом она сжалась, как маленькое поверженное животное, теперь разговаривала с ней нормально. Само собой, она победила, но триумф этот был дутым. Ее мимолетная победа оставила по себе обширное гулкое пространство, потому что она присваивала себе — слишком долго — тон голоса и способ жить, которые были не ее. И потому она доела омлет и решила перестать изображать американский акцент. Впервые она заговорила без американского акцента тем же вечером на станции «13-я улица», склоняясь к женщине за стойкой «Амтрэка».

— Будьте любезны, мне билет туда-обратно до Хэверхилла. Возвращаюсь в воскресенье вечером. У меня есть студенческая льготная карточка, — сказала она и ощутила прилив удовольствия, придав «т» полноту в слове «льготная», не раскатав «р» в слове «Хэверхилл». Вот это по-настоящему ее, это голос, каким она говорила бы, если б пробудилась от глубокого сна во время землетрясения. И все же она решила: если дама из «Амтрэка» отзовется на ее акцент, заговорив в ответ слишком медленно, как с идиотом, тогда Ифемелу включит свой Голос г-на Агбо — манерное, сверхпристальное произношение, какому она выучилась в дискуссионном клубе в средней школе, где бородатый г-н Агбо, подергивая себя за истрепанный галстук, проигрывал записи Би-би-си на кассетнике, а затем заставлял учеников произносить слова еще и еще раз, пока не начинал сиять и не восклицал: «Верно!» Изобразит она — вместе с Голосом г-на Агбо — и легкий подъем бровей, какой ей казался высокомерным жестом иностранца. Однако все это не потребовалось, поскольку дама из «Амтрэка» ответила буднично:

— Покажите, пожалуйста, удостоверение личности, мисс.

И потому Ифемелу не задействовала Голос г-на Агбо вплоть до знакомства с Блейном.

В поезде было людно. Место рядом с Блейном оказалось единственным во всем вагоне, докуда хватало глаз, а газета и бутылка сока, лежавшие на сиденье, — вроде бы Блейна. Она остановилась, показав жестом на сиденье, но он смотрел прямо перед собой. Позади нее женщина протискивалась с тяжелым чемоданом, а кондуктор объявил, что всю

ручную кладь следует убрать со свободных мест, и Блейн увидел, что над ним стоит Ифемелу, — как ему вообще удалось ее не заметить? — но делать он все равно ничего не стал. И тут всплыл Голос г-на Игбо:

— Простите. Это ваше? Не могли бы вы убрать это?

Она поставила сумку на верхнюю багажную полку и устроилась на сиденье, чопорно, вцепившись в журнал, телом сдвинувшись в проход, подальше от Блейна. Поезд тронулся, Блейн произнес:

— Простите, пожалуйста, я не заметил, что вы стоите.

Его извинения удивили ее, выражение лица у него было таким серьезным и искренним, будто он натворил что-то куда хуже.

— Все в порядке, — отозвалась она, улыбнувшись.

— Как вы поживаете? — спросил он.

Она склонилась сказать: «Хорошо-а-вы?» — этим вот американским певучим манером, но произнесла другое:

— У меня все славно, спасибо.

— Меня зовут Блейн, — сказал он и протянул руку.

На вид — высокий. Человек с кожей цвета имбирного пряника, тело худощавое, пропорциональное, такие безукоризненно смотрятся в форменной одежде — любой. Она тут же поняла, что он афроамериканец, а не с Карибских островов или африканец, не ребенок иммигрантов ни отсюда, ни отсюда. Она этому не сразу научилась. Однажды спросила у таксиста: «Так вы откуда?» — знающим, панибратским тоном, уверенная, что из Ганы, а он ответил: «Из Детройта» — и пожал плечами. Но чем дольше она жила в Америке, тем лучше научилась различать, иногда по внешнему виду и походке, но в основном по повадкам и манерам, эту тонкую разницу, какую культура впечатывает в людей. В отношении Блейна она не сомневалась: потомок черных мужчин и женщин, проживших в Америке сотни лет.

— Я Ифемелу, рада знакомству, — сказала она.

— Вы нигерийка?

— Да, нигерийка.

— Буржуа-нигерийка, — сказал он с улыбкой. В его поддразнивании — в том, что он счел ее привилегированной, — была удивительная мгновенная задушевность.

— Такая же буржуа, как и вы, — сказала она. Оба уже оказались на твердой почве флирта. Она молча оглядела его, светлые хаки и моряцкую рубашку. Так одеваются с некоторой вдумчивостью — этот человек смотрел на себя в зеркало, но не слишком долго. Он знал о нигерийцах, сказал он, — работал доцентом в Йеле, и хотя его интересы касались

преимущественно юга Африки, как не знать о нигерийцах — они же всюду.

— Сколько их? Каждый пятый африканец — нигериец? — спросил он, по-прежнему улыбаясь. Было в нем что-то и ироническое, и нежное. Он словно бы считал, что у них на двоих немало шуток по умолчанию, какие не нужно озвучивать.

— Да, мы, нигерийцы, не промах. Приходится. Нас слишком много, а места — не очень, — сказала она, и ее поразило, до чего они близко друг от друга — разделяет их лишь подлокотник.

Он заговорил на американском английском, от которого она только что отказалась, — такой заставляет телефонных опрашивающих считать тебя белым и образованным.

— Стало быть, ваша тема — южная Африка? — спросила она.

— Нет. Сравнительная политология. В аспирантуре по политологии одной Африкой в этой стране заниматься нельзя. Можно сравнивать Африку с Польшей или Израилем — но сосредоточиваться на Африке? Не дадут.

Он подразумевал «они», это предполагало некое «мы» — Ифемелу и Блейна. Ногти у него были чистые. Обручального кольца нет. Она принялась воображать отношения — просыпаться вдвоем зимой, нежиться в ослепительной белизне утреннего света, пить чай «английский завтрак»; она надеялась, что он из тех американцев, которым нравится чай. Его сок — бутылка воткнута в сетку кресла перед ним — натуральный гранат. Простая бурая бутылка с простой бурой этикеткой — и стильно, и полезно. Никакой химии в соке, никаких чернил на украшение бутылки. Где он это купил? Такое на железнодорожных станциях не продают. Может, он веган и не доверяет большим корпорациям, покупает только на сельскохозяйственных рынках, а сок везет прямо из дома? Ифемелу недолюбливала подруг Гиники, большинство — из вот таких, их праведность и раздражала, и принижала ее, но Ифемелу изготавилась простить Блейну его добродетели. У него в руках оказалась библиотечная книга в твердом переплете, названия она разобрать не могла, а «Нью-Йорк таймз» он затолкал туда же, куда и бутылку. Он глянул на ее журнал, и она пожалела, что не прихватила с собой сборник стихов Эсиабы Иробы,^[111] который собиралась читать в поезде на обратном пути. Он решит, что она читает только пустячные модные журналы. Ее настиг внезапный неразумный порыв сказать ему, как сильно она любит поэзию Юзефа Комуныяка,^[112] — чтобы оправдаться. Первым делом она прикрыла ладонью ярко-красную помаду на лице модели на обложке. А затем

подалась вперед и сунула журнал в сетку перед собой и сказала, слегка фыркнув, до чего абсурдно, как женские журналы навязывают образы мелкокостных мелкогрудых белых женщин всему остальному миру женщин — многокостному, многоэтническому, — чтобы тот подражал.

— Но я все равно их читаю, — добавила она. — Как курение: сплошной вред, но продолжаешь этим заниматься.

— Многокостная и многоэтническая, — повторил он, развеселившись, в глазах тепло от нескрываемого интереса; ее обаяло, что он не из тех мужчин, кто, увлекшись женщиной, изображал эдакую прохладцу, сделанное безразличие. — Вы аспирантка? — спросил он.

— Я на младших курсах в Уэллсоне.

Померещилось ей или и впрямь лицо у него вытянулось от разочарования — или от удивления?

— Правда? Вы смотрите более зрелой.

— Все верно. Я поучилась в колледже в Нигерии, прежде чем сюда приехать. — Она повозилась на сиденье, решительно желая вернуться на твердую почву флирта. — Вы тоже смотрите для преподавателя слишком молодо. Ваши студенты небось путаются, кто тут преподаватель.

— Думаю, они путаются много в чем. Я учу второй год. — Он примолк. — Вы об аспирантуре думаете?

— Да, но меня тревожит, что после аспирантуры я уже не смогу изъясняться по-английски. Знаю одну женщину-аспирантку, подругу подруги, так ее слушать страшно. Семиотическая диалектика интертекстуальной современности. Бредятина совершенная. Иногда мне кажется, что они живут в параллельной действительности академического знания, говорят на академическом, а не на английском и не догадываются, что происходит в настоящем мире.

— Довольно радикальное мнение.

— Не понимаю, как тут может быть иное.

Он рассмеялся, и ей стало приятно, что удалось его насмешить.

— Но я вас слышу, — сказал он. — Мои исследовательские интересы включают общественные движения, политэкономия диктатур, американское избирательное и представительское право, расовые и этнические вопросы в политике и финансирование кампаний. Такая вот у меня классическая самореклама. Большая часть — чушь собачья. Преподаю я на своих занятиях и раздумываю, какое это имеет значение для ребят.

— Ой, я уверена, имеет. Я бы к вам с удовольствием походила. — Слишком пылко она заговорила. Вышло не так, как ей хотелось. Загнала

себя, сама того не желая, в роль потенциальной студентки. Он, кажется, стремился сменить направление беседы — может, тоже не рвался к ней в наставники. Сказал ей, что возвращается в Нью-Хейвен из гостей — ездил к другу в Вашингтон, округ Колумбия.

— А вы куда направляетесь? — спросил он.

— В Уоррингтон. Недалеко от Бостона. У меня там тетя живет.

— А в Коннектикуте бываете?

— Нечасто. В Нью-Хейвене не была ни разу. Но в торговых центрах в Стэмфорде и Клинтоне доводилось.

— Ах, ну да, торговые центры. — Уголки губ у него слегка подались вниз.

— Вам не нравятся торговые центры?

— Если не считать их бездушности и безликости? Вполне нравятся.

Она никогда не понимала вот этого неприятия торговых центров, того, что во всех одни и те же магазины, ей эта одинаковость казалась уютной. А при его-то тщательно подобранном гардеробе он же должен где-то закупаться?

— А вы сами, значит, растите хлопок и шьете себе одежду? — спросила она.

Он рассмеялся, она тоже. Представила себя и его, рука об руку, в торговом центре в Стэмфорде, она его подначивает, напоминает ему этот их разговор в день знакомства и вскидывает лицо — поцеловаться. Не свойственно ей было разговаривать с чужими людьми в общественном транспорте — она станет заниматься этим чаще, когда через несколько лет заведет блог, но сейчас она говорила и говорила, возможно, из-за новизны собственного голоса. Чем дольше они беседовали, тем больше она убеждала себя, что это не случайность, что во встрече с этим мужчиной в день, когда она вернула себе свой голос, есть какое-то особое значение. Она сообщила ему, давась смехом, как человек, которому не терпится добраться до финала собственного анекдота, о телефонном агенте, считавшем, что Лондон — во Франции. Блейн не рассмеялся — он покачал головой.

— Вообще не учат ничему этих телефонных агентов. Небось наняли на время, без страховки, без льгот.

— Да, — сказала она пристыженно. — Мне его даже немножко жалко было.

— Мой факультет переехал несколько недель назад в другое здание. Йель нанял профессиональных перевозчиков и наказал им разложить вещи каждого сотрудника из старой администрации ровно по тем же местам в новых кабинетах. Что они и сделали. Все мои книги расставили как надо.

Но знаете, что я заметил чуть погодя? Многие книги были поставлены вверх тормашками. — Он смотрел на нее, словно ожидая, что вот сейчас у них случится общее на двоих озарение, и один озадаченный миг она не очень понимала, к чему, собственно, эта история.

— Ой. Перевозчики не умеют читать, — произнесла она наконец.

Он кивнул.

— Было для меня в этом что-то совершенно убийственное... — Голос его затих.

Она принялась воображать, каков он в постели: нежный, внимательный любовник, для которого эмоциональная полнота не менее важна, чем семяизвержение, он не станет судить ее за рыхлую плоть, по утрам будет просыпаться в ровном настроении. Она поспешно отвела взгляд, испугавшись, что он прочтет ее мысли, — такие поразительно отчетливые были те образы.

— Хотите пива? — спросил он.

— Пива?

— Да. В вагоне-ресторане подают пиво. Хотите? Я собираюсь сходить.

— Да. Спасибо.

Ифемелу застенчиво привстала, чтобы пропустить Блейна, и понадеялась, что унюхает на нем что-нибудь, — но нет. Парфюмерии на нем не было. Возможно, он бойкотирует одеколоны, потому что изготовители одеколонов скверно обращаются со своими сотрудниками. Она смотрела, как Блейн идет по вагону, зная, что он знает, что она за ним наблюдает. Предложение пива ей понравилось. Ифемелу беспокоилась, что он пьет исключительно экологичный гранатовый сок, но теперь мысль об экологичном гранатовом соке показалась приятной — пиво же он тоже пьет. Он вернулся с пивом и пластиковыми стаканчиками и эдак лихо налил ей, и в этом Ифемелу увидела густой налет романтики. Пиво ей никогда не нравилось. В ее детстве пиво было мужским алкоголем, грубым и неизящным. Теперь же, сидя рядом с Блейном, смеясь над его рассказом о том, как он на первом курсе впервые по-настоящему напился, Ифемелу осознала, что пиво ей может нравиться. Зерновая его полнота.

Он говорил о своих студенческих годах — об идиотизме поедания сэндвича со спермой на посвящении в студенческое братство, о том, что в Китае его постоянно звали Майклом Джорданом, когда он на втором курсе путешествовал по Азии, как умерла от рака через неделю после выпуска его мама.

— Сэндвич со спермой?

— Они драчили в питу, и нужно было откусить, но глотать не

обязательно.

— О господи.

— Ну, есть надежда, что все дурацкое сделаешь, пока молод, чтобы не пришлось заниматься этим позднее, — сказал Блейн.

Кондуктор объявил, что следующая остановка — Нью-Хейвен, и Ифемелу ощутила укол утраты. Вырвала страницу из журнала и написала свой номер телефона.

— У вас визитки нет? — спросила она.

Он похлопал по карману.

— Не с собой.

Пока Блейн собирал вещи, они молчали. А затем — визг поездных тормозов. Ифемелу заподозрила — и понадеялась, что ошибается, — будто он не хотел давать ей свой номер.

— Ну, дадите, может, свой номер — если помните его? — спросила она. Жалкая шутка. Эти слова у нее изо рта выпихнуло пиво.

Блейн записал свой номер на ее журнале.

— Всего вам доброго, — сказал он. Едва коснулся ее плеча, уходя, и было что-то в его глазах, что-то трепетное и печальное, из-за чего она сказала себе, что зря считала, будто он дает свой номер с неохотой. Он уже по ней скучал. Ифемелу пересела на его сиденье, нежась в оставленном тепле его тела, и смотрела в окно, как он шагает по платформе.

Прибыв домой к тете Уджу, она первым делом хотела позвонить Блейну. Но подумала, что лучше подождать несколько часов. Через час она сказала «ну на хер» — и набрала номер. Он не ответил. Она оставила сообщение. Перезвонила позже. Нет ответа. Она звонила, звонила, звонила. Нет ответа. Набрала в полночь. Сообщения не оставила. Все выходные она звонила и звонила ему, а он так и не снял трубку.

* * *

Уоррингтон — дремотный городок, городок самодовольный: петляющие дороги в густом лесу — даже главная дорога, которую местные не желали расширять из-за боязни, что к ним понаедут иностранцы из большого города, была извилистой и узкой; сонные дома скрывались за деревьями, а по выходным синее озеро усыпали лодки. В окне гостиной тетиного дома озеро мерцало, и синева его была такой спокойной, что не давала отвести взгляд. Ифемелу стояла у окна, а тетя Уджу сидела за

столом, попивая апельсиновый сок, и кичилась своими горестями, как драгоценностями. Это стало обычным делом, когда приезжала Ифемелу: тетя Уджу сгребала все свои неудовольствия в шелковый кошель, тетешкала их, наводила блеск, а когда настаивала суббота приезда Ифемелу, Бартоломью не было дома и Дике сидел у себя наверху, тетя Уджу вытряхивала свои беды на стол и крутила-вертела каждую и так и сяк, чтобы на них заиграл свет.

Иногда она рассказывала одну и ту же историю дважды. Как давеча пошла в публичную библиотеку, забыла достать невозвращенную книгу из сумочки, и охранник сказал ей: «Вы, народ, вечно все делаете наперекосяк». Как вошла в смотровую, и пациентка спросила: «Когда придет врач?» А когда сообщила, что она и есть врач, лицо у пациентки сделалось как обожженная глина.

— Ты представляешь, она в тот вечер позвонила и велела передать ее карту другому врачу! Вообрази?

— А что Бартоломью обо всем этом думает? — Ифемелу обвела единым жестом комнату, вид на озеро, городок.

— Этот слишком занят своими делами. Уезжает спозаранку, возвращается поздно, и так каждый день. Дике иногда по целым неделям его и в глаза не видит.

— Удивительно, что ты все еще здесь, тетя, — сказала Ифемелу тихонько, и обе понимали, что под «здесь» она имеет в виду далеко не только Уоррингтон.

— Я хочу еще одного ребенка. Мы пытаемся. — Тетя Уджу поднялась, подошла и встала рядом, у окна.

На деревянной лестнице загрохотали шаги, и на кухню ввалился Дике в облезлой футболке и шортах, в руках — «Гейм-Бой». При всякой встрече Ифемелу казалось, что он сделался еще выше — и еще непроницаемее.

— Ты в этой же футболке в лагере будешь? — спросила тетя Уджу.

— Да, мама, — ответил он, уперев взгляд в мерцавший экран у себя в руках.

Тетя Уджу заглянула в духовку. Нынче утром, в первый день его летнего лагеря, она согласилась нажарить ему куриных наггетсов к завтраку.

— Куз, мы же сегодня в футбол играем, да? — спросил Дике.

— Да, — отозвалась Ифемелу. Она взяла у него из тарелки наггет и сунула себе в рот. — Куриные наггетсы на завтрак — это странно, но вот это вообще курица или пластик?

— Перченый пластик, — сказал он.

Ифемелу проводила его до автобуса и посмотрела, как он забирается внутрь, бледные лица других детей прилипли к окнам, водитель помахал ей слишком любезно. Она ждала на остановке и вечером, когда автобус привез Дике обратно. На лице у него была настороженность, близкая к грусти.

— Что случилось? — спросила она, обняв его за плечи.

— Ничего, — сказал он. — Давай в футбол поиграем?

— После того как ты расскажешь мне, что случилось.

— Ничего не случилось.

— Думаю, тебе нужно сладкого. Завтра, возможно, его будет даже с перебором — деньрожденный торт все же. Но давай по печеню.

— Ты подкупаешь детей, с которыми сидишь, сладким? Черт, вот везет им.

Она расхохоталась. Достала из холодильника упаковку «Орео».

— Ты с детьми, которых нянчишь, в футбол играешь? — спросил он.

— Нет, — ответила она, хотя время от времени они с Тейлором пинали мяч туда-сюда в их непомерно большом, заросшем деревьями дворе. Иногда, если Дике спрашивал ее о детях, с которыми она сидела, Ифемелу потакала его ребяческому интересу и рассказывала, в какие игрушки те дети играют и какой жизнью живут, но старательно делала вид, что они для нее мало что значат. — Ну и как в лагере?

— Хорошо. — Пауза. — Моя старшая по отряду Хэли? Она всем раздала крем от загара, а мне нет. Сказала, мне не надо.

Ифемелу заглянула ему в лицо — почти безразличное, до жути. Не понимала, что тут сказать.

— Она просто решила, что раз темнокожий, то крем от загара тебе не нужен. Но это не так. Многие не догадываются, что темным людям тоже нужен крем от загара. Я тебе добуду, не волнуйся. — Она говорила слишком быстро, не уверенная, что говорит все правильно — или что вообще правильно тут говорить, — и тревожилась, поскольку это огорчило его так, что стало заметно по лицу.

— Да все нормально, — сказал он. — Даже забавно. Мой друг Дэнни ржет над этим.

— Почему твой друг считает, что это смешно?

— Потому что смешно!

— Ты же хотел, чтобы она и тебе дала крем, так?

— Наверное, — сказал он, дернув плечами. — Я просто хочу быть как все.

Она обняла его. Погодя отправилась в магазин и купила ему здоровенный флакон крема от загара, а когда приехала в следующий раз,

увидела, что флакон валяется у Дике на тумбочке, забытый, бесполезный.

КАК ЧЕРНОМУ НЕАМЕРИКАНЦУ ПОНЯТЬ АМЕРИКУ: АМЕРИКАНСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ СТРОЙ

В Америке племенной строй жив и процветает. Есть четыре типа племенных отношений: класс, идеология, регион и раса. Начнем с класса. тут все просто. Богатеи и беднота.

Второй тип — идеология. Либералы и консерваторы. Эти не просто не согласны по политическим вопросам — и та и другая сторона считает противника злом. Межплеменные браки не поощряются, а когда они все же случаются — это диковина. Третий тип — регион. Север и Юг. Эти две стороны сражались в Гражданской войне, и суровые клейма сохранились еще с тех времен. Север смотрит на Юг сверху вниз, а Юг обижен на Север. И наконец, раса. В Америке существует лестница расовой иерархии. Белые всегда сверху, особенно белые англосаксонцы-протестанты, также именуемые БАСП, а американские черные — всегда снизу, а все, что посередине, зависит от времени и места. (Или же, как гласят чарующие строки, если бел — везде поспел, если бур — будь рядом, чур, а раз черен — тебе горе!^[113]) Американцы считают по умолчанию, что все про свои племена всё понимают. Но чтобы в этом разобраться, нужно некоторое время. Так что, когда у нас в вузе вел приглашенный профессор, одна моя однокурсница шепнула другой: «О боже, он на вид такой еврей» — и содрогнулась, по-настоящему. Будто еврей — это что-то плохое. Я тогда не врубилась. На мой глаз, белый мужчина, мало чем отличавшийся от моей однокурсницы. Еврей для меня в те поры — нечто смутное, нечто библейское. Но я быстро разобралась. Видите ли, на американской расовой лестнице еврей — белый, но на пару-тройку ступеней ниже белого.

Несколько путает: я знала одну желтоволосую веснушчатую девушку, которая говорила, что она еврейка. Как американцы отличают, кто еврей, а кто нет? Откуда моя однокурсница знала, что тот дядя был евреем? Я где-то читала, как в давности американские колледжи выясняли у своих абитуриентов фамилию матери — чтобы убедиться, что они не евреи, поскольку в колледжи евреев не принимали. Может, вот так можно различать? По фамилиям? Чем дольше тут живешь, тем больше врубаешься.

Глава 18

Новая клиентка Мариамы была в джинсовых шортах в обликку на задку и в кроссовках того же ярко-розового цвета, что и майка. Громадные серьги-кольца чиркали ей по лицу. Она встала перед зеркалом и принялась объяснять, какие косички-«кукурузу» ей надо.

— Типа зигзагом, пробор вот тут сбоку, но волосы не вплетаем сначала, добавляем уже в хвосте, — сказала она, произнося слова медленно, чрезмерно выговаривая. — Понимаете? — добавила она, заведомо убежденная, похоже, что Мариама не понимает.

— Понимаю, — тихо сказала Мариама. — Желаете посмотреть фото? У меня такая прическа есть в альбоме.

Альбом пролистали, и клиентка наконец удовлетворилась и уселась, вокруг шеи ей повязали потрепанный пластик, высоту кресла подогнали по росту, а Мариама все это время несла улыбку, исполненную всевозможных недомолвок.

— Я тут последний раз ходила к одной плетельщице, — сказала клиентка, — та тоже африканка, так она решила подпалить мне чертовы волосы! Достала зажигалку, а я такая: Шонтэй Уайт, не дай этой женщине поднести эту штуку близко к твоим волосам. И я такая спрашиваю, а это еще зачем? А она такая, хочу почистить вам косы, а я такая, что? Она мне пытается показать, пытается провести зажигалкой вдоль косы, и тут я прям с катушек слетела.

Мариама покачала головой:

— Ох, беда. Жечь — плохо. Мы так не делаем.

Вошла клиентка, волосы — под ярко-желтой лентой.

— Здравсьте, — сказала она. — Хотела б заплестись.

— Вам какие косички? — спросила Мариама.

— Да просто обычные «квадратики», средние.

— Хотите длинные? — уточнила Мариама.

— Не очень. Может, до плеч?

— Ладно. Пожалуйста, садитесь. Она вас обслужит, — сказала Мариама, показав на Халиму, — та сидела в глубине салона, впереv взгляд в телевизор. Халима встала и потянулась — чуть дольше необходимого, словно демонстрируя неохоту.

Женщина села и махнула рукой на горку дисков.

— Продаете нигерийское кино? — спросила она у Мариамы.

— Было такое, но у меня поставщик бросил свое дело. Хотите купить?

— Нет. Просто у вас их, я гляжу, много.

— Некоторые прям хорошие, — сказала Мариама.

— Я это смотреть не могу. Видимо, предвзята. У меня дома, в Южной Африке, нигерийцы знамениты тем, что воруют кредитки, ширяются наркотиками и творят черт-те что. Наверное, и фильмы у них типа того же.

— Вы из Южной Африки? Никакого акцента! — воскликнула Мариама.

Женщина пожала плечами.

— Я тут давно. Разницы почти никакой.

— Да, — сказала Халима, внезапно оживившись, и встала позади клиентки. — Когда я сюда приезжаю с сыном, они бьют его в школе из-за африканского акцента. В Ньюарке. Вы бы видите лицо моего сына! Бурое как лук. Они бьют, бьют, бьют его. Черные ребята так вот его бьют. Теперь акцент всё — и никаких проблемов.

— Какой ужас, — сказала женщина.

— Спасибо. — Халима улыбнулась, влюбленная в эту женщину за ее невозможный подвиг — американский акцент. — Да, Нигерия очень коррупция. Худшая коррупция в Африке. Я кино смотрю, но нет, в Нигерию не еду! — Она слегка махнула рукой.

— Я не могу жениться на нигерийце и никому в семье не дам жениться на нигерийце, — сказала Мариама и метнула извиняющийся взгляд в Ифемелу. — Не все, но многие делают там плохое. Даже убийство за деньги.

— Ну, про это мне неизвестно, — сказала клиентка нерешительно сдержанным тоном.

Аиша глядела на все это молча и лукаво. Погодя она шепнула Ифемелу с подозрением на лице:

— Вы тут пятнадцать лет, а американского акцента нет. Почему?

Ифемелу пренебрегла этим вопросом и вновь открыла «Тростник» Джина Тумера. Уставилась на строчки и внезапно пожалела, что не может обратить время вспять и отложить свой отъезд домой. Возможно, она поторопилась. Не надо было продавать квартиру. Надо было принять предложение журнала «Письмовно» о покупке ее блога и о найме ее на зарплату как ведущей. А ну как вернется она в Лагос и поймет, что это было ошибкой? Даже мысль о том, что она всегда сможет возвратиться в Америку, не утешила ее, как хотелось бы.

Фильм закончился, и в возникшем затишье клиентка Мариамы сказала:

— Вот эта тугая. — Коснулась одной из кукурузных «грядок», змеившихся у нее по черепу, голос — громче необходимого.

— Нет проблем. Сделаю по новой, — сказала Мариама. Она угождала, стелила гладко, но Ифемелу видела, что Мариама считала свою клиентку нахалкой, а косичку — нормальной, но то была часть ее новой американской самости — пыл клиентского обслуживания, блестящая фальшь поверхностей, и Мариама приняла ее, впитала. Когда клиентка уйдет, она, может, стряхнет с себя эту маску и скажет что-нибудь Халиме и Аише об американках, до чего они избалованные, незрелые и самоуверенные, но со следующей клиенткой она опять станет безупречной версией себя-американки.

Ее клиентка произнесла:

— Миленько. — Расплатилась с Мариамой и ушла, а вскоре явилась молодая белая женщина, мягкотелая и загорелая, волосы стянуты сзади в свободный хвост.

— Здравсьте! — сказала она.

Мариама ответила: «Здравсьте» — и стала ждать, вновь и вновь отирая руки о перед шортов.

— Я бы хотела заплести волосы. Вы же можете меня заплести, правда?

Мариама улыбнулась чрезмерно угодливо.

— Да. Мы делаем какие угодно прически. Хотите косы или «кукурузу»? — Теперь она ожесточенно вытирала кресло. — Прошу вас, садитесь.

Женщина села и сказала, что хочет «кукурузу».

— Как у Бо Дерек в кино. Знаете фильм «10»? [\[114\]](#)

— Да, знаю, — сказала Мариама. Ифемелу усомнилась в этом.

— Меня зовут Келси, — объявила женщина словно бы всем в зале. Она вела себя с настырным дружелюбием. Спросила, откуда Мариама, сколько та прожила в Америке, есть ли у нее дети, как идут дела.

— Дела по-всякому, но мы стараемся, — сказала Мариама.

— Но у себя в стране вы бы этим не могли заниматься, так? Не чудесно ли, что вам удалось приехать в Штаты и ваши дети могут теперь жить лучше?

У Мариамы сделался изумленный вид.

— Да.

— А женщинам у вас в стране разрешено голосовать? — спросила Келси.

Долгая пауза.

— Да.

— Что вы читаете? — обратилась Келси к Ифемелу.

Ифемелу показала ей обложку романа. Заводить разговор не хотелось. Особенно с Келси. Она распознала в Келси национализм либеральных американцев, изобильно критиковавших Америку, но не любивших, когда за это брался кто-то другой, от остальных ожидалось молчание и благодарность. И они всегда напоминали, до чего Америка лучше того места, откуда вы приехали.

— Хорошая?

— Да.

— Роман, верно? О чем?

Почему люди спрашивают «О чем?», будто роман непременно о чем-то одном? Ифемелу этот вопрос не нравился — и не нравился бы, даже если, вдобавок к своей подавленной нерешительности, у нее не проклевывалась головная боль.

— Вероятно, эта книга вам бы не подошла, если у вас специфические вкусы. Автор смешивает прозу со стихами.

— У вас замечательный акцент. Откуда вы?

— Из Нигерии.

— Ух. Круто. — У Келси были тонкие пальцы — идеальные для рекламы колец. — Я осенью собираюсь в Африку. В Конго и в Кению, попробую и Танзанию посмотреть.

— Это здорово.

— Я читала книги — готовилась. Все рекомендуют «И пришло разрушение»,^[115] это я читала в старших классах. Очень хорошая, но вроде как устаревшая, правда? В смысле, она не очень-то помогла мне разобраться в современной Африке. Только что дочитала отличную книгу — «Излучина реки».^[116] Благодаря ей я по-настоящему поняла, как все устроено в современной Африке.

Ифемелу то ли фыркнула, то ли хмыкнула, но от комментария воздержалась.

— Она такая искренняя, самая искренняя книга об Африке из всех, какие я читала, — сказала Келси.

Ифемелу завозилась. Ей претил многозначительный тон Келси. Голова болела все сильнее. Она не считала, что «Излучина реки» — вообще об Африке. Роман о Европе — о тоске по ней, о битом жизнью индийце, рожденном в Африке, который чувствовал себя таким уязвленным, таким униженным в том, что не родился европейцем, членом расы, которую он так превозносил за способность создавать, что обратил свои воображаемые

личные неудачи в раздраженное презрение к Африке: в своем всезнающем высокомерии к африканцам он мог хоть ненадолго сделаться европейцем. Ифемелу откинулась в кресле и произнесла все это ровным тоном. Вид у Келси сделался ошарашенным — мини-лекции она не ожидала. Но затем она добродушно произнесла:

— Ой, ну да, понятно, почему вы могли так прочесть этот роман.

— А мне понятно, почему *вы* прочли его так, как прочли, — отозвалась Ифемелу.

Келси вскинула брови, словно Ифемелу была из тех слегка неуравновешенных людей, которых лучше избегать. Ифемелу закрыла глаза. Такое ощущение, что над головой собирались тучи. Она почувствовала слабость. Возможно, это жара. Она завершила отношения, которые не были несчастливymi, закрыла блог, который ей нравился, и теперь гналась за чем-то, что не могла внятно объяснить даже себе самой. Можно было б написать в блоге и о Келси — об этой девушке, которая отчего-то считала, что чудесным манером непредвзята в чтении книг, тогда как все вокруг читают эмоционально.

— Волосы хотите? — спросила Мариама у Келси.

— Волосы?

Мариама показала ей упаковку накладных волос в прозрачном пакетике. Глаза у Келси расширились, она быстро глянула по сторонам, на пакетик, из которого Аиша вынимала тонкие пряди для каждой косички, на упаковку, которую начала распечатывать Халима.

— О боже. Вот как это делается. Я-то думала, что у афроамериканок с косичками такие густые волосы!

— Нет, мы используем накладные, — сказала Мариама, улыбаясь.

— Может, в следующий раз. Думаю, сегодня пусть будут просто мои, — сказала Келси.

Ее собственные волосы много времени не потребовали — семь рядов, слишком тонкие пряди уже рыхлели прямо в косах.

— Классно! — сказала она под конец.

— Спасибо, — отозвалась Мариама. — Пожалуйста, приходите еще. Я вам в следующий раз другой фасон сделаю.

— Классно!

Ифемелу наблюдала за Мариамой в зеркало и размышляла о своих новых американских самостях. В зеркало она впервые глянула благодаря Кёрту и, залившись румянцем достижения, увидела себя другую.

Кёрту нравилось говаривать, что у них любовь с первого смеха. Когда бы их ни спрашивали, как они познакомились, — даже те, кого они едва знали, — Кёрт излагал историю, как Кимберли их представила друг другу — его, двоюродного брата из Мэриленда, и ее, няню-нигерийку, о которой Кимберли столько рассказывала, и как его обворожил ее низкий голос, ее косичка, выбившаяся из-под резинки. Но именно когда Тейлор ворвался в детскую в синем плаще и трусах и заорал: «Я Капитан Подштанник!»^[117] — и Ифемелу запрокинула голову и расхохоталась, вот тут-то Кёрт и влюбился. Смех у нее был такой живой — плечи содрогались, грудь вздымалась и опадала; это был смех женщины, которая когда смеется, то смеется по-настоящему. Временами, когда они оставались одни и она хохотала, он подначивал ее: «Вот что меня проняло. И знаешь, что я подумал? Если она так смеется, интересно, как она делает *все остальное*?» Он говорил ей, что она знала, до чего очаровала его, — как тут не знать? — но сделала вид, что не понимает, потому что белого мужчину себе не хотела. По правде сказать, она его увлеченности не заметила. Она всегда умела улавливать желание мужчин, но не с Кёртом — не сразу. Она все еще думала о Блейне, видела, как он идет по платформе на станции Нью-Хейвен, призрак, наполнявший ее роковым томлением. Ифемелу не про сто влекло к Блейну — Блейн ее покорила, у нее в мыслях он стал ей безупречной американской парой, какую никогда не заполучить. И все же с тех пор она втюривалась — и не раз, все мельче по сравнению с тем ударом в поезде, и вот только выпросталась из втюренности в Эйба с курса по этике, Эйба-белого, Эйба, которому она изрядно нравилась, который считал ее умной и смешной, даже привлекательной, но как женщину не расценивал. Эйб был ей любопытен, он ее интересовал, но любой ее флирт виделся ему простыми любезностями, — Эйб свел бы ее с каким-нибудь своим чернокожим другом, если бы у него такой водился. Для Эйба она оставалась невидимкой. Это удавило ее втюренность и, быть может, заставило бы проморгать Кёрта. Но вот однажды вечером, когда они с Тейлором играли в мяч, мальчик закинул мяч высоко, слишком высоко, тот упал в кусты рядом с соседским вишневым деревом.

— Кажется, мы его потеряли, — сказала Ифемелу. За неделю до этого там же исчезла тарелка фрисби.

Кёрт восстал с садового кресла (он следил за каждым ее движением, как сообщил ей позднее) и вломился в кусты, чуть ли не нырнул, как в

пруд, и появился оттуда с желтым мячом.

— Йе-е! Дядя Кёрт! — обрадовался Тейлор. Но Кёрт Тейлору мячик не отдал — он протянул его Ифемелу. Она увидела в его глазах то, что он хотел, чтобы она увидела. Ифемелу улыбнулась и поблагодарила. Позже, в кухне, после того как поставила для Тейлора видео и пила воду из стакана, Кёрт сказал:

— Тут мне пора пригласить тебя на ужин, но сейчас я приму все, чем удастся разжиться. Можно купить тебе выпить? Мороженого? Ужин? Билет в кино? Сегодня вечером? В эти выходные, пока я не уехал в Мэриленд?

Он смотрел на нее зачарованно, голова чуть склонена, и Ифемелу ощутила, как внутри что-то разворачивается. Как же великолепно это — быть желанной, да еще и этим мужчиной со стильным металлическим браслетом на руке, смазливый и с ямочкой на подбородке, как у моделей из каталогов в универмагах. Он начал ей нравиться, потому что она нравилась ему.

— Ты так изящно ешь, — сказал он ей на первом свидании в итальянском ресторане в Старом городе. Ничего особенно изящного в том, как она подносила вилку ко рту, не было, однако ей было приятно, что он считает иначе. — Короче, я богатый белый чувак с Потомака, но не такой козел, каким мне положено быть, — говорил он так, будто уже сообщал об этом и это было хорошо воспринято и в первый раз. — Лора вечно талдычит, что моя мама богаче Господа Бога, но в этом я не уверен.

Он говорил о себе с таким смаком, словно вознамерился изложить ей все, что только можно, — и сразу. Его семья сотню лет держала гостиницы. Он уехал в колледж в Калифорнию и так сбежал из семьи. Окончил и отправился путешествовать по Латинской Америке и Азии. Что-то потянуло его назад, домой, возможно, смерть отца, а может, его невезучесть в отношениях. И год назад он вернулся в Мэриленд, начал свое дело, связанное с программированием, чтобы не ввязываться в семейный бизнес, и ездил в Потомак по воскресеньям — обедать с матерью. Говорил он о себе с простотой и без лишних подробностей, считая, что ей интересны его байки просто потому, что они интересны ему самому. Его мальчишеский задор поражал ее. Крепкое тело — они обнялись у порога ее квартиры.

— Я собираюсь перейти к поцелую ровно через три секунды, — сказал он. — К настоящему поцелую, который способен завести нас далеко, поэтому, если не хочешь, чтобы это случилось, рекомендую отшатнуться сейчас же.

Ифемелу не отшатнулась. Поцелуй возбудил ее так, как возбуждает все неизведанное. Потом Кёрт сказал настойчиво:

— Нам нужно сообщить Кимберли.

— Сообщить Кимберли — что?

— Что мы встречаемся.

— А мы встречаемся?

Он рассмеялся, она — тоже, хотя и не шутила. Он был открытым, фонтанировал — цинизм пролетал мимо его ушей. Она ощущала, что ее обаяли, что она почти беспомощна перед этим, что ее влечет следом; вероятно, они и впрямь встречаются после одного поцелуя — раз он сам в этом так уверен.

Кимберли на следующий день приветствовала ее так:

— Привет, голубок.

— Вы, значит, прощаете своему двоюродному брату, что он пригласил прислугу? — спросила Ифемелу.

Кимберли рассмеялась, а затем — в порыве, который поразил и тронул Ифемелу, — обняла ее. Они неловко отпустили друг друга. По телевизору в детской вещала Опра, и публика разразилась аплодисментами.

— Ну, — сказала Кимберли, сама несколько ошарашенная объятиями, — я просто хотела сказать... я за вас обоих очень рада.

— Спасибо. Но это всего одно свидание и никакой консумации.

Кимберли хихикнула, и на миг показалось, что они обе — школьницы, сплетничающие о мальчиках. Ифемелу временами чуяла, что под хорошенько смазанными частями жизни Кимберли таится искра сожаления — не только о том, по чему она томилась в настоящем, но и о том, чего ей не хватало в прошлом.

— Видели бы вы Кёрта нынче утром, — сказала Кимберли. — Я его таким сроду не наблюдала! Он очень взбудоражен.

— Чего это? — спросила Морган. Она стояла на пороге кухни, детское тельце напряжено от враждебности. Позади нее Тейлор пытался выпрямить ноги маленькому пластиковому роботу.

— Ну, милая, об этом тебе придется спросить дядю Кёрта.

Кёрт пришел в кухню, застенчиво улыбаясь, волосы чуть влажные, благоухая свежим, легким одеколоном.

— Привет, — поздоровался он. Ночью он звонил ей — сообщить, что не может уснуть. «Это ужас до чего слюняво, но я полон тобой, будто дышу тобой, понимаешь?» — сказал он, и она подумала, что новеллисты заблуждаются: настоящие романтики — мужчины, а не женщины.

— Морган спрашивает, почему ты такой взбудораженный, — сказала Кимберли.

— Ну, Морг, я взбудоражен, потому что у меня новая подруга, очень

особенный человек, и ты ее, наверное, знаешь.

Ифемелу пожалела, что Кёрт закинул руку ей на плечо: они же не помолвку объявляют, я вас умоляю. Морган вытаращилась на них. Ифемелу глянула на Кёрта ее глазами: ослепительный дядя, выдавший мир, со всякими смешными шутками на ужинах в День благодарения, крутой — и достаточно молодой, чтобы ее понимать, но и достаточно взрослый, чтобы попытаться втолковать Кимберли, что к чему у Морган.

— Ифемелу твоя девушка? — спросила Морган.

— Да, — ответил Кёрт.

— Какая гадость, — сказала Морган, и на лице у нее возникло искреннее отвращение.

— Морган! — воскликнула Кимберли.

Морган развернулась и потопала наверх.

— Она втюрилась в дядю Кёрта, а тут нянька влезла на ее землю. Трудное дело, — сказала Ифемелу.

Тейлор, обрадованный, похоже, и новостями, и тем, что удалось выпрямить ноги роботу, произнес:

— А вы с Ифемелу поженитесь и родите ребеночка, дядя Кёрт?

— Ну, дружище, пока мы собираемся провести вместе много-много времени, узнать друг друга.

— А, ладно, — сказал Тейлор, несколько сдувшись, но когда домой вернулся отец, Тейлор кинулся к нему: — Ифемелу и дядя Кёрт поженятся, и у них будет ребеночек!

— Ой, — опешил Дон.

Его удивление напомнило Ифемелу Эйба с курса по этике: Дон считал ее привлекательной и интересной, Кёрта тоже считал привлекательным и интересным, но ему и в голову не приходило мыслить их как пару, вместе, в хрупких путах романа.

* * *

Кёрт никогда прежде не был с черной женщиной, он сообщил ей об этом после их первого раза, у него в пентхаусе в Балтиморе, самоуничтожительно трянув головой, словно это нужно было давным-давно проделать, а он что-то все не удосуживался.

— Ну, за вежу, раз так, — сказала она, изображая подъем бокала.

Вамбуи как-то сказала, после того как Дороти представила им всем на

заседании ААС своего нового голландского бойфренда: «Не могу я белых мужчин, испугаюсь их голых, такие они все бледные. Ну, может, итальянца с серьезным загаром. Или еврея — темного еврея».

Ифемелу смотрела на светлые волосы и светлую кожу Кёрта, ржавого цвета родинки у него на спине, на тонкий золотистый пушок на груди, и подумала, до чего сильно она не согласна с Вамбуи.

— Ты такой сексапильный, — сказала она.

— Ты *сексапильнее*.

Он сказал, что никогда прежде не влекло его к женщине так сильно, ни разу не видел он такого красивого тела — безупречная грудь, безупречный зад. Ее это повеселило — что он счел безупречным задом то, что Обинзе именовал «плоской жопкой», грудь свою она считала обычной большой, уже слегка покатой книзу. Он желал сосать ей пальцы, слизывать мед с ее сосков, размазывать мороженое ей по животу, будто просто лежать кожа к коже недостаточно.

Потом он захотел перевоплощений. «А давай ты будешь Фокси Браун», [\[118\]](#) — сказал он, и Ифемелу сочла это милым, эту способность изображать, полностью растворяться в персонаже, и подыгрывала ему, потакала, упиваясь его удовольствием, хотя терялась, отчего все это его так будоражит. Частенько, лежа голой рядом с Кёртом, она ловила себя на мыслях об Обинзе. Старалась не сравнивать их прикосновения. Рассказала Кёрту о своей школьной влюбленности Мофе, но об Обинзе — ни звука. Казалось кощунством обсуждать Обинзе, именовать его своим «бывшим» — до чего же легкомысленное слово, не говорит ни о чем и ничего не значит. С каждым месяцем молчания, что пролетал меж ними, Ифемелу ощущала, как само это молчание затвердевает и превращается в плотную неповоротливую статую, какую невозможно сокрушить. Она все еще принималась писать ему, часто, но всякий раз бросала, всякий раз решала не отправлять электронную весточку.

* * *

С Кёртом она в собственных мыслях сделалась женщиной без всяких узлов и забот, женщиной, бегущей под дождем, во рту — вкус напитанной солнцем клубники. «Напиток» стал частью архитектуры ее жизни — мохито и мартини, сухое белое и фруктовое красное. Она ходила с Кёртом в походы, сплавлялась на каяке, жила в палатке рядом с дачей его семьи —

ничто из этого в своей жизни она прежде и вообразить не могла. Сделалась легче, стройнее; она была Девушкой Кёрта, и в эту роль она скользнула, как в любимое платье, которое к лицу. Она больше смеялась — потому что он смеялся так часто. Его оптимизм ослеплял ее. Кёрт бурлил планами.

— У меня мысль! — говорил он то и дело.

Она представляла его ребенком, окруженным избытком разноцветных ярких игрушек, этого ребенка вечно подталкивают ко всяким «проектам», а его будничные затеи считают чудесными.

— Поехали завтра в Париж! — сказал он однажды в выходной. — Знаю-знаю, это очень неоригинально, но ты там никогда не была, и это восторг, что Париж тебе покажу я!

— Не могу я взять и полететь в Париж. У меня нигерийский паспорт. Мне надо подавать документы на визу, с выпиской со счета, страховкой и всякими доказательствами, что я не останусь в Европе нахлебником.

— Ага, я забыл. Ладно, в следующие выходные поедем. С визой разберемся на неделе. Я добуду завтра выписку со своего счета.

— Кёртис, — сказала она чуть сурово, чтобы образумить его, но, глядя с большой высоты на город, она уже втянулась в вихрь его задора. Он не унывал ни за что и никогда, так умеют только американцы его типа, и было в этом нечто ребяческое, что Ифемелу казалось и восхитительным, и отталкивающим. Однажды они пошли гулять по Саут-стрит, потому что она никогда не видела лучшей, по его словам, части Филадельфии, он сунул свою ладонь в ее, и они шагали мимо тату-салонов и стоек пацанов с розовыми волосами. Рядом с «Королевством кондомов»^[119] он нырнул в крошечный салон таро и потащил Ифемелу за собой. Женщина за черной вуалью сказала им:

— Я вижу свет и долгое счастье перед вами двоими.

Кёрт воскликнул:

— Мы тоже! — и дал ей сверху десять долларов.

Позже, когда его бурливость сделалась для Ифемелу испытанием, неизбежная эта солнечность, которую подмывало разбить, сокрушить, то воспоминание — в салоне таро на Саут-стрит — останется для нее одним из лучших о Кёрте, тот день, исполненный обещанием лета: Кёрт, такой пригожий, такой счастливый, истинно верующий. Он верил в добрые предзнаменования и позитивные мысли, в счастливые концовки фильмов, и веру эту ничто не обременяло, потому что он не обдумывал глубоко, прежде чем выбрать, во что уверовать, — он просто верил.

Глава 19

Мать Кёрта обладала бескровным изяществом, волосы блестели, кожа в хорошей сохранности, одежда, дорогая и изысканная, придавала ей дорогой и изысканный вид; она казалась состоятельным человеком, который оставляет мало чаевых. Кёрт звал ее «матушкой» — несколько формально, с архаическим призвуком. По воскресеньям они обедали вместе. Ифемелу нравился этот воскресный трапезный ритуал в причудливой обеденной зале гостиницы, где полно нарядных людей, сребровласых пар с внуками, женщин средних лет с брошами на лацканах. Единственным еще одним черным человеком был строго облаченный официант. Ифемелу ела рыхлую яичницу, тонко нарезанный лосось и полумесяцы свежей дыни, наблюдая за Кёртом и его матушкой, оба ослепительно золотоволосые. Кёрт болтал, а его мать завороченно слушала. Сына она обожала — этот ребенок родился поздно, когда она уже не была уверена, сумеет ли зачать, и был он обаяшкой, а его манипуляциям она всегда поддавалась. Он был ее искателем приключений, вечно притаскивал всякую экзотику — встречался с японкой, с венесуэлкой, — но рано или поздно остепенится как следует. Она терпела кого угодно из его пассий, но не считала себя обязанной разделять его влюбленности.

— Я республиканка, вся наша семья тоже. Мы очень против пособий, однако очень поддерживали гражданские права. Я просто хочу, чтобы вы понимали, какого рода мы республиканцы, — заявила она Ифемелу при первой встрече, словно это самое главное, что нужно сразу прояснить.

— Желаете знать, какого рода я республиканка? — спросила Ифемелу.

У матери Кёрта сделался изумленный вид, но затем лицо ее растянулось в тугой улыбке. «Вы забавная».

Однажды она сказала Ифемелу:

— У вас красивые ресницы. — Внезапные, неожиданные слова, после них она продолжила попивать свой «беллини», будто не расслышала от Ифемелу ее ошарашенное «спасибо».

По дороге обратно в Балтимор Ифемелу это вспомнила:

— Ресницы? Она, похоже, изо всех сил искала, какой бы сделать комплимент.

Кёрт расхохотался.

— Лора говорит, что моя матушка не любит красивых женщин.

* * *

Однажды на выходных у них была Морган.

Кимберли с Доном хотели забрать детей во Флориду, но Морган ехать отказалась. И Кёрт предложил ей провести выходные в Балтиморе. Он планировал лодочную прогулку, и Ифемелу подумала, что им с Морган стоит побыть вдвоем.

— Ты не едешь, Ифемелу? — спросила Морган, понурившись. — Я думала, мы все *вместе*. — Слово «вместе» прозвучало с бóльшим оживлением, чем Ифемелу когда-либо слышала от Морган.

— Конечно, еду, — ответила она. Морган наблюдала, как Ифемелу красит ресницы и наносит блеск для губ. — Иди-ка сюда, Морг, — подозвала ее Ифемелу и намазала девочке губы блеском. — Почмокай. Хорошо. Ну ты и красотка же, мисс Морган?

Морган рассмеялась. По причалу Ифемелу и Кёрт шли рядом, держа Морган за руки, та радовалась, что ее держат за обе руки, а Ифемелу думала, как это иногда бывало мимоходом, о браке с Кёртисом, об их жизни, погруженной в уют, он ладит с ее семьей и друзьями, а она — с его, за вычетом матери. Они пошучивали о свадьбе. Ифемелу рассказала ему о церемонии выкупа невесты, о том, что народ игбо проводил их до поднесения вина и церковного венчания, а он шутил, что поедет в Нигерию платить за невесту, доберется до ее отчего дома, посидит с ее отцом и дядьями и уговорит их отдать Ифемелу за так. Она в ответ шутила, что пройдет между скамьями в вирджинской церкви под музыку «Невеста идет»,^[120] а его родственники будут таращиться в ужасе и спрашивать друг у дружки шепотом, чего это прислуга нарядилась в свадебное платье.

* * *

Они угнездились на диване: она читала роман, он смотрел что-то спортивное. Ее умиляло, до чего поглощали его игры, как он щурился и замирал от сосредоточенности. Во время рекламных пауз она его подзуживала, дескать, почему у американского футбола нет внутренней логики — какие-то обрюзгшие мужчины прыгают друг на друга, и всё? И чего это бейсболисты столько времени околачиваются без дела да поплевывают, а потом вдруг срываются и непонятно зачем бегут? Он

смеялся и пытался объяснить, опять и опять, смысл хоум-ранов и тачдаунов, но ей было неинтересно: понять означало не мочь больше его дразнить, и потому она утыкалась обратно в книгу и готовилась приставать к нему в следующий перерыв.

Диван был мягкий. Кожа у нее светилась. В вузе она добрала себе дополнительных баллов и подняла средний балл успеваемости. За высокими окнами гостиной открывалась обширная Внутренняя гавань, вода блестела, мерцали огни. Ифемелу накрыло ощущением благополучия. Вот чем наделил ее Кёрт — даром благополучия, безмятежности. Как быстро она привыкла к их жизни, к паспорту, заполненному визовыми штампами, к угодливости стюардесс в кабинах первого класса, к шелковистому постельному белью в гостиницах, где они останавливались, и к мелочам, которые она копила: к баночкам консервов с подносов на завтрак, крошечным флакончикам кондиционера, тряпичным тапочкам, даже к полотенцам для лица, если они оказывались особенно мягкими. Она выскользнула из своей старой кожи. Она почти полюбила зиму, сверкающий покров ледяного инея на крышах машин, роскошное тепло кашемировых свитеров, которые Кёрт ей накупил. В магазинах он не смотрел на цены. Он покупал ей продукты и учебники, слал подарочные сертификаты универмагов, сам возил ее по магазинам. Просил бросить работу няньки — они могли бы проводить больше времени вместе, если б ей не приходилось каждый день присматривать за детьми. Но она отказалась.

— Мне нужна работа, — сказала она.

Ифемелу копила деньги, отправляла домой все больше. Хотела, чтобы родители переехали на другую квартиру. В соседнем от них квартале случилось вооруженное ограбление.

— Что-нибудь побольше, в районе получше, — говорила она.

— Нам тут нормально, — отвечала мама. — Неплохо тут. Они выстроили новые ворота на улице, запретили окады после шести вечера, так что стало безопасно.

— Ворота?

— Да, рядом с киоском.

— С каким киоском?

— Ты не помнишь киоск? — удивилась мама. Ифемелу примолкла. На воспоминаниях — сепия. Киоск она вспомнить не могла.

Папа наконец нашел работу — замдиректора по кадрам в одном новом банке. Купил мобильный телефон. Купил новые колеса для маминой машины. Постепенно вернулся к своим монологам о Нигерии.

— Сказать об Обасанджо, что он хороший человек, не получится, но следует признать, что некоторое добро он этой стране принес: кругом процветает дух предпринимательства, — говорил он.

Странно было звонить ему напрямую, ловить отцово «Алло?» после второго же гудка, а затем он слышал ее голос, возвышал свой, чуть не крича, как всегда бывало у него с международными звонками. Маме нравилось разговаривать с веранды, чтобы долетало до соседей: «Ифем, как погода в Америке?»

Мама задавала беззаботные вопросы и принимала беззаботные ответы. «Все в порядке?» — и у Ифемелу не оставалось выбора, только «да». Отец помнил курсы, которые она упоминала, и выпрашивал подробности. Она выбирала слова, стараясь не проговориться о Кёрте. Проще было ничего им о Кёрте не сообщать.

— Каковы твои перспективы найма? — спрашивал отец. Приближался ее выпуск, заканчивалась студенческая виза.

— Меня записали к консультанту по профориентации, встречаемся на следующей неделе, — отвечала Ифемелу.

— У всех выпускников есть консультант по профориентации?

— Да.

Отец издал звук восторженного почтения.

— Америка — организованная страна, изобильны возможности работы.

— Да. Они многим студентам подобрали хорошее место, — отозвалась Ифемелу. Вранье это — но отцу хотелось его услышать.

Контора профконсультаций — душное место, с горами папок, уныло валявшимися по столам, знаменитое тем, что в нем битком консультантов, просматривавших резюме и просивших сменить шрифт или формат и выдававших студентам просроченные контактные данные людей, которые никогда не перезванивали. Когда Ифемелу явилась туда впервые, ее консультант, Рут, карамельнокожая афроамериканка, сказала:

— Чем вы по-настоящему желаете заниматься?

— Работать.

— Да, но кем именно? — уточнила Рут, слегка изумившись.

Ифемелу глянула на свое резюме на столе.

— Специальность у меня — коммуникации, значит, что угодно в коммуникациях, в СМИ.

— Есть у вас страсть, работа мечты?

Ифемелу покачала головой. Почувствовала себя слабой — без страсти-то, не уверенной, чем хочет заниматься. Интересы у нее смутные и разные

— журнальное издание, мода, политика, телевидение, — но ни у одного не было отчетливых очертаний. Она посетила ярмарку вакансий у себя в вузе, где студенты с серьезными минами, облаченные в неуклюжие костюмы, пытались смотреться взрослыми, достойными настоящей работы. Кадровики — сами недавно из колледжей, юнцы, которых отправили уловлять юнцов, — рассказывали ей о «возможностях роста», «хорошей совместимости» и «льготах», но делались уклончивыми, когда понимали, что она не гражданка США и что им придется, если ее наймут, нисходить в темный тоннель бумажной возни с иммигрантом.

— Надо было мне выбрать себе специальностью инженерное дело или вроде того, — сказала она Кёрту. — Специалисты в коммуникациях стоят десять центов за дюжину.

— Я знаю кое-кого, с кем мой отец вел дела, — может, они помогут, — сказал Кёрт. И вскоре доложил, что у нее будет собеседование в конторе в центре Балтимора — на должность пиарщицы. — Нужно зажечь на интервью, и работа — твоя. Я знаю ребят еще в одном немаленьком месте, но в этом здорово то, что они тебе добудут рабочую визу и зарядят процесс получения грин-карты.

— Что? Как тебе это удалось?

Он пожал плечами.

— Позвонил тому-сему.

— Кёрт. Ну правда. Я не знаю, как тебя благодарить.

— У меня есть соображения, — отозвался он, по-мальчишески довольный.

Новости сплошь хорошие, и все же Ифемелу смотрела на все трезво. Вамбуи пахала на трех работах, втихую, чтобы заработать пять тысяч долларов, какие требовалось заплатить одному афроамериканцу за женитьбу ради грин-карты; Мвомбеки отчаянно пытался найти компанию, которая наняла бы его по временной визе, а тут вот Ифемелу — розовый шарик, невесомый, плавает на поверхности, и толкают ее вверх обстоятельства вне ее самой. В глубине своей благодарности она ощутила толику обиды: Кёрт несколькими звонками добился переделки мира, заставил все встать на свои места — туда, куда он сам хотел.

Когда она сообщила Рут о собеседовании в Балтиморе, та сказала:

— Мой единственный совет? Уберите косы, распрямите волосы. Никто про это не говорит, но оно значимо. Мы хотим, чтобы вы получили эту работу.

Тетя Уджу говаривала о чем-то подобном, и Ифемелу тогда посмеялась. Теперь ей хватало ума не зубоскалить.

— Спасибо, — сказала она Рут.

С тех пор как приехала в Америку, Ифемелу всегда заплетала волосы с длинными накладными прядями, вечно беспокоясь из-за цены. После каждого плетения ходила месяца три, а то и четыре, пока череп не начинал чесаться совсем уж невыносимо, а косы — лохматиться от свежей поросли. Впереди новое приключение — выпрямление волос. Она расплела косы, стараясь не чесать голову, чтобы не потревожить защитную грязь. Выпрямителей за это время прибавилось разных, ряды упаковок в аптечных отделах «Для этнических волос», улыбочивые лица черных женщин с невозможно прямыми блестящими волосами, а рядом слова «растительный» и «алоэ», обещавшие деликатность воздействия. Ифемелу купила себе зеленую упаковку. У себя в ванной тщательно намазала вдоль кромки волос защитный гель, а затем взялась умащивать шевелюру жирным выпрямителем, участок за участком, руки — в пластиковых перчатках. Запах напомнил ей о школьной химической лаборатории, и она с силой толкнула фрамугу в ванной, ее часто заедало. Засекла время, пристально следила за часами, смыла выпрямитель ровно через двадцать минут, но волосы остались курчавыми, жесткость не поменялась. Не схватился выпрямитель. Вот это слово — «схватился» — употребила парикмахерша в Западной Филадельфии. «Подруга, вам профессионал нужен, — сказала она, обмазывая голову Ифемелу другим выпрямителем. — Люди считают, что сэкономят, возясь дома, да вот нет».

Ифемелу ощутила лишь легкое жжение, поначалу, но парикмахерша смыла выпрямитель, Ифемелу склоняла голову назад над пластиковой мойкой, и тут иглы жгучей боли впились ей в разные точки черепа — и далее по всему телу, и обратно к голове.

— Легкий ожог, — сказала парикмахерша. — Но вы гляньте, какая красота. Ну, подруга, волосы у вас струятся, как у белой!

Волосы у Ифемелу теперь висели, а не торчали, прямые, гладкие, разделенные пробором, и чуть загибались к подбородку. Ушел задор. Она себя не узнала. Салон покинула чуть ли не в скорби; пока парикмахерша гладила утюжком концы прядей, запах горелого, чего-то живого, которое умирало, а не должно было, наваял на Ифемелу ощущение утраты. Кёрт, поглядев на нее, сделал неопределенное лицо.

— Тебе самой нравится, детка? — спросил он.

— Судя по всему, тебе — нет, — проговорила она.

Он ничего не сказал. Потянулся погладить ее по волосам, словно это могло исправить его к ним отношение.

Она оттолкнула его.

— Ай. Осторожнее. У меня небольшой ожог от выпрямителя.

— Что?

— Ничего страшного. В Нигерии я к этому привыкла. Смотри.

Она показала ему келоидный рубец за ухом, маленькое яростное вздутие кожи, которое она заработала, когда тетя Уджу выпрямляла ей волосы плойкой, еще в школе.

— Отогни ухо, — приговаривала тетя Уджу, и Ифемелу оттопыривала ухо, напряженно, не дыша, в ужасе от раскаленной докрасна плойки, только что снятой с плиты, но воодушевленная будущим плеском прямых волос. И однажды ее все же прижгло — она чуть дернулась, рука у тети Уджу тоже, и раскаленный металл опалил кожу за ухом.

— О господи, — проговорил Кёрт, распахнув глаза. Он настоял, чтобы ему дали осторожно осмотреть ее череп — проверить, сильно ли она пострадала. — О господи.

Его ужас придал ей больше беспокойства, чем обычно. Она никогда не чувствовала такой близости с Кёртом, как в тот раз, сидя на кровати неподвижно, уткнувшись лицом ему в рубашку, аромат умягчителя проникал в нос, а Кёрт бережно раздвигал свежесвыпрямленные пряди.

— Зачем ты это с собой делаешь? У тебя роскошные волосы, когда в косах. А когда ты их расплела в тот раз и оставила как есть? Еще шикарнее, такие они густые, круть.

— Мои густые крутые волосы были бы кстати, подайся я на подпевки в джаз-бэнд, а на этом собеседовании надо выглядеть профессионально, а «профессионально» означает «лучше всего прямые», но если уж кудрявые, то как у белых — крупными завитками или волнами, но не курчавыми во все стороны.

— Это ж, бля, ужас как неправильно, что ты должна это делать.

Ночью она ворочалась, пытаясь поудобнее пристроить голову на подушке. Через два дня на коже черепа образовались струпья. Через три дня из них начал сочиться гной. Кёрт настаивал на враче, а она смеялась над ним. Заживет, сказала она, — и зажило. Позднее, после того как она со свистом проскочила собеседование и женщина, говорившая с ней, пожалала ей руку и сказала, что Ифемелу «чудесно подходит» компании, она задумалась, сочла бы эта женщина так же, если б Ифемелу вошла в кабинет со своим густым, курчавым, богоданным нимбом волос — с афро.

Родителям про то, как она получила эту работу, Ифемелу не доложила; отец сказал:

— Никаких сомнений, что ты преуспеешь. Америка создает возможности, чтобы люди процветали. Нигерии, само собой, есть чему

поучиться.

А мама, услышав от Ифемелу, что через несколько лет та, возможно, станет американской гражданкой, запела.

КАК ЧЕРНОМУ НЕАМЕРИКАНЦУ ПОНЯТЬ АМЕРИКУ: К ЧЕМУ СТРЕМЯТСЯ БАСПЫ?

У профессора Крепыша есть коллега, приглашенный лектор-еврей с густым акцентом из какой-то европейской страны, где большинство людей принимает на завтрак стакан антисемитизма. И вот профессор Крепыш рассказывает о гражданских правах, а этот еврей и говорит: «Черные не страдали так, как евреи». Профессор Крепыш возражает: «Да ну же, у нас тут что, олимпийские состязания по угнетению?»

Профессор-еврей не понял выражения, а «олимпийские состязания по угнетению» — такой специальный оборот, употребляемый американцами-либералами, чтобы вы почувствовали себя бестолочью и заткнулись. Однако олимпийские состязания по угнетению — они идут *на самом деле*. Американские расовые меньшинства — черные, латиноамериканцы, азиаты и евреи — все хавают говно от белых, говно разных сортов, но тем не менее говно. Каждый втайне считает, что ему достается худшее. Так вот, нету Объединенной Лиги Угнетенных. Впрочем, все остальные думают, будто они лучше черных, потому что, ну, они не черные. Возьмем, например, Лили, испаноговорящую женщину с кофейной кожей, черноволосую, она прибиралась в доме у моей тетки в новоанглийском городке. Спеси у нее было выше крыши. Неуважительная, убирала скверно, требовала чего-то. Моя тетя считала, что ей не нравилось работать у черных. Прежде чем наконец уже уволить ее, тетя сказала: «Тупая женщина, она думает, что она белая». Белизна, таким образом, то, к чему стремятся. Не все, конечно (прошу комментаторов воздержаться от

очевидных заявлений), но многие меньшинства питают противоречивое стремление к белизне БАСПов или, точнее, к привилегиям белизны БАСПов. Бледная кожа им, вероятно, не нравится, зато им точно по нраву заходить в магазин и не получать себе на хвост парня-охранника. Ненавидеть Гоя и Жрать Его Тоже, как говорил великий Филип Рот.^[121] Если все в Америке стремятся быть БАСПами, к чему же тогда стремятся сами БАСПы? Кто-нибудь в курсе?

Глава 20

Ифемелу полюбила Балтимор — за его лоскутное обаяние, за улицы угасшей славы, за фермерский рынок, появлявшийся по выходным под мостом, пышущий зелеными овощами, пухлобокими фруктами и праведными душами, — но все же не так, как свою первую зазнобу, Филадельфию, город, сжимавший историю в нежных объятиях. Когда Ифемелу приехала в Балтимор, зная, что будет здесь жить, а не просто в гости к Кёрту, она сочла этот город брошенным и для любви непригодным. Здания лепились друг к другу линиями, сутулыми рядами, а по занюханым углам хохлилась публика в дутых куртках, черные и блеклые люди ждали автобусов, воздух вокруг них туманился мраком. Многие шоферы у вокзала были эфиопами или пенджабцами.

Ее таксист-эфиоп сказал:

— Не пойму, что у вас за акцент. Вы откуда?

— Из Нигерии.

— Из Нигерии? Вы совсем на африканку не похожи.

— Почему же я не похожа на африканку?

— Потому что у вас блузка слишком в обтяжку.

— Ничего не слишком.

— Я думал, вы с Тринидада или откуда-то оттуда. — Он смотрел в зеркало заднего вида осуждающе и озабоченно. — Будьте очень осторожны, иначе Америка вас испортит.

Когда годы спустя она сочиняла пост в блоге «О раздорах в рядах черных неамериканцев в Америке», то рассказала об этом таксисте, но изложила это как чью-то чужую историю, тщательно стараясь не намекать, африканка она или с Карибов, поскольку ее читатели не знали, кто она в самом деле.

Она рассказала о таксисте Кёрту, о том, как его искренность взбесила ее и как она сходила в привокзальный туалет — проверить, и впрямь ли слишком в обтяжку сидит на ней розовая блузка с длинным рукавом. Кёрт хохотал до упаду. Эту историю он полюбил, среди прочих, выкладывать друзьям. *Она и впрямь пошла в туалет на вокзале — проверить блузку!* Друзья у него были под стать ему самому — солнечные, богатые люди, которых будоражила блестящая поверхность вещей. Друзья ей нравились, и она чувствовала, что нравится им. Для них она была интересной, необычной — она говорила что думала, в лоб. Они ждали от нее

определенного поведения и прощали ей определенные жесты, потому что она иностранка. Однажды, сидя с ними в баре, она услышала, как Кёрт разговаривал с Брэдом и произнес слово «трепло». Ифемелу поразило это слово, до чего оно неисправимо американское. Трепло. Это слово ей и в голову не приходило. Поняв это, она осознала, что Кёрт и его друзья в некотором смысле никогда не станут для нее постижимы.

Она сняла квартиру в Чарлз-Виллидж, однокомнатную, со старыми деревянными полами, хотя могла бы жить и с Кёртом: большая часть ее одежды была в его увешанной зеркалами гардеробной. Теперь они виделись каждый день, а не только по выходным, и она разглядела в нем новые пласты, до чего трудно ему было находиться в покое, просто пребывать в покое, не думая, чем бы дальше заняться, до чего он привык сбрасывать штаны и оставлять их на полу на несколько дней, пока не придет домработница. Их жизнь наполнилась планами, которые он напридумывал, — Косумель на одну ночь, Лондон на длинные выходные, — и она время от времени брала такси в пятницу вечером, чтобы встретить его в аэропорту.

— Клёво, а? — спрашивал он, и она соглашалась: клёво, да. Он вечно придумывал, что бы еще такого *сделать*, а она говорила ему, что для нее это редкость, она выросла не в делании, а в бытии. Быстро добавляла, впрочем, что ей все нравится, потому что ей взаправду нравилось, и она понимала, до чего важно ему это слышать.

В постели он беспокоился.

— Тебе так нравится? Тебе со мной приятно? — спрашивал он то и дело. И она говорила «да», по правде, но чувствовала, что он не всегда ей верил, или же эта вера длилась недолго, а затем ему вновь требовалось подтверждение. Было в нем что-то легче эго, но темнее неуверенности, чему нужна была постоянная подпитка, полировка, воцеление.

* * *

И тут у нее начали выпадать волосы на висках. Она купала их в насыщенных, густых ополаскивателях и сидела на ингаляторах, пока вода не собиралась каплями у нее на шее. Линия волос тем не менее с каждым днем сдвигалась все дальше.

— Это все химия, — сказала ей Вамбуи. — Ты в курсе, что там в выпрямители кладут? Эта дрянь тебя убить может. Надо волосы отрезать и

отрастить натуральные.

Волосы у самой Вамбуи теперь были в коротких дредах, которые Ифемелу не нравились: она считала их жидкими и редкими, миловидному лицу Вамбуи они не шли.

— Не хочу дреды, — сказала она.

— Так не обязательно дреды же. Носи афро или косы, как раньше. С натуральными волосами много чего сделать можно.

— Не могу же взять и отстричь волосы, — проговорила Ифемелу.

— Выпрямлять волосы все равно что в тюрьме сидеть. Ты взаперти. Твои волосы тобой управляют. Ты сегодня не пошла с Кёртом побегать, потому что не хочешь пропотеть эту прямизну. На том снимке, что ты мне послала, в лодке, ты волосы спрятала. Ты вечно воюешь, чтобы твои волосы вели себя так, как им не положено. Если отпустишь свои и будешь о них заботиться как следует, не будут выпадать, как сейчас. Могу помочь состричь их, хоть сейчас. Не о чем тут заморачиваться.

Вамбуи была такая уверенная, так убеждала. Ифемелу нашла ножницы. Вамбуи состригла ей волосы, оставила два дюйма — новую поросль со времен последнего выпрямления. Ифемелу глянула в зеркало. Сплошные глаза, огромная голова. Смотрелась она в лучшем случае как мальчишка, а в худшем — как насекомое.

— Я такая уродина, аж самой страшно.

— Красавица ты. Костная структура отлично видна теперь. Ты просто не привыкла к себе такой. Привыкнешь, — сказала Вамбуи.

Ифемелу все глядела и глядела в зеркало. Что она натворила? Она выглядела незавершенной, словно волосы, короткие, щетинистые, требовали внимания, чтобы с ними что-нибудь сделали — *еще*. Вамбуи ушла, и Ифемелу отправилась в аптеку, нацепив бейсболку Кёрта. Купила масла и умощения, применила одно за другим на влажные волосы, затем — на сухие, желая, чтобы случилось неведомое чудо. Что-нибудь, что угодно, чтобы ее волосы ей понравились. Подумала купить парик, но от париков сплошная тревога, вечная угроза, что слетит с головы. Она решила, что структурообразователь распушит пружинистые колечки, выгладит курчавость хоть немножко, но структурообразователь — тот же выпрямитель, только помягче, и от дождя все равно придется прятаться.

Кёрт сказал ей:

— Брось дергаться, детка. Круто и смело смотришься на самом деле.

— Не хочу я, чтобы прическа у меня была *смелой*.

— В смысле, стильно, шикарно. — Он примолк. — Красиво.

— Просто вылитый мальчишка.

Кёрт промолчал. Была в выражении его лица скрытая веселость, как будто он не понимал, с чего она расстраивается, но лучше об этом не заикаться.

На следующий день она сказала больно и забралась обратно в постель.

— Ты не отпросилась с работы, чтобы мы побыли на день дольше на Бермудах, зато отпросилась из-за прически? — спросил Кёрт, обложившись подушками, подавляя смех.

— Не могу я в таком виде выходить. — Она закопалась под одеяло, словно прячась.

— Не так все плохо, как тебе кажется, — отозвался он.

— Ты по крайней мере теперь признаешь, что все же плохо.

Кёрт рассмеялся.

— Ты знаешь, о чем я. Иди сюда.

Он обнял ее, поцеловал, а затем скользнул вниз и принялся массировать ей ступни; ей нравился теплый нажим, ощущение от его пальцев. Но расслабиться не получалось. Отражение в зеркале в ванной ошарашило ее — тусклая, помятая сном, на голове — какой-то моток шерсти. Она взялась за телефон и отправила Вамбуи сообщение: «Ужасные волосы. Не смогла выйти на работу».

Ответ от Вамбуи прилетел через несколько минут: «Сходи в Сеть. *СчастливКурчавКосмат. ком.* Сообщество людей с натуральными волосами. Вдохновишься».

Ифемелу показала это сообщение Кёрту:

— Дурацкое какое название у сайта.

— Действительно, но, по-моему, затея стоящая. Сходи туда как-нибудь.

— Типа прямо сейчас. — Ноутбук Кёрта стоял открытым на столе. Направляясь к столу, Ифемелу заметила резкую перемену в Кёрте. Внезапную напряженную прыть. Его посеревший, панический рывок к ноутбуку. — Что такое? — спросила она.

— Они ничего не значат. Письма ничего не значат.

Она уставилась на него, понукая ум работать. Он не ожидал, что она схватится за его компьютер, — такое бывало очень редко. Он ей изменяет. До чего странно — ей это и в голову не приходило ни разу. Ифемелу взяла в руки ноутбук, крепко, но Кёрт и не пытался к нему тянуться. Просто стоял и смотрел. Страница почты свернута рядом со страницей о школьном баскетболе. Она прочла несколько сообщений. Посмотрела на приложенные фотографии. Письма от женщины — с адреса «СверкающаяПаола123» — полнились намеками, а в ответных от Кёрта

намека было ровно столько, чтобы женщина продолжала писать. «Собираюсь приготовить тебе ужин, одетая в тугое красное платье и на каблуках до неба, — писала она, — а ты приноси себя и бутылку вина». Кёрт отвечал: «В красном тебе будет отлично». Женщина примерно ее возраста, но был у нее на присланных фотографиях вид тяжкого отчаяния, волосы выкрашены в дерзкий блондинистый, глаза обременены избытком голубых теней, вырез слишком глубок. Ифемелу удивило, что Кёрт счел ее привлекательной. Его бывшие белые девушки все были со свежими личиками школьниц.

— Я с ней познакомился в Делавэре, — пояснил Кёрт. — Помнишь, та конференция, куда я тебя с собой звал? Она принялась таскаться за мной прямо с порога. Так и не отлипает с тех пор. Проходу не дает. Знает, что у меня есть девушка.

Ифемелу смотрела на один из снимков — профиль, черно-белый, голова откинута назад, длинные волосы струятся. Эта женщина любила свои волосы и думала, что и Кёрту они понравятся.

Она посмотрела на него — футболка, шорты, уверен в своих оправданиях. Ему можно, как ребенку, — безоговорочно.

— Ты ей тоже писал, — сказала она.

— Но это потому что она не отцеплялась.

— Нет, потому что ты сам хотел.

— Ничего не было.

— Дело не в этом.

— Прости. Я знаю, ты и так расстроена, ужасно не хочется делать хуже.

— Все твои девушки носили длинные струящиеся волосы, — сказала она, голос пропитан обвинением.

— Что?

Она вела себя нелепо, но знание этого нелепости не умаляло. Фотографии его бывших девушек подзуживали ее — стройная японка с прямыми волосами, выкрашенными в красный, оливковокожая венесуэлка в спиральных локонах до плеч, белая девушка, вся в волнах каштановых прядей. Ифемелу захлопнула ноутбук. Почувствовала себя маленькой и уродливой. Кёрт все говорил и говорил.

— Я скажу ей, чтоб больше никогда не писала мне. Этого больше никогда не повторится, детка, честное слово, — сказал он, и она подумала, что у него выходило, будто не он, а эта женщина за все в ответе.

Ифемелу развернулась, натянула Кёртову бейсболку, побросала вещи в сумку и ушла.

* * *

Кёрт пришел к ней чуть погодя и притащил столько цветов, что, когда она ему открыла, его лицо за ними едва просматривалось. Она знала, что простит его, потому что верила ему. Сверкающая Паола — просто еще одно его приключенье. Он бы с ней дальше не зашел, но ее внимание подогрел бы, пока не надоест. Сверкающая Паола — как серебряные звезды, которые учителя клеят в младших классах детям на тетрадные страницы с домашним заданием, источник поверхностного, мимолетного удовольствия.

Выходить в город не хотелось, быть с ним в сокровенности ее квартиры — тоже: Ифемелу все еще обижалась. Она нацепила повязку для волос, и они пошли гулять, Кёрт — сплошная угодливость и обещания, шли рядом, но не касались друг друга, вплоть до пересечения улицы Чарльза с Университетской Парковой, а затем обратно, до ее дома.

* * *

На работу она сообщала, что болеет, три дня подряд. Наконец вернулась — с очень коротким, чрезмерно расчесанным и умасленным афро.

— Выглядите по-другому, — говорили ей коллеги, все до единого — осторожно.

— Это что-то означает? Типа что-то политическое? — спросила Эми — Эми, у которой на стенке в загончике висел портрет Че Гевары.

— Нет, — ответила Ифемелу.

В столовой мисс Маргарет, грудастая афроамериканка, восседавшая за стойкой, — и, помимо двух охранников, второй чернокожий человек в компании — спросила:

— Зачем волосы состригла, милая? Ты лесбиянка?

— Нет, мисс Маргарет, — по крайней мере пока.

Через несколько лет, в день, когда Ифемелу увольнялась, она отправилась в столовую на последний обед.

— Уходишь? — спросила мисс Маргарет, скорбя. — Прости, милая. Им тут надо бы с людьми получше обращаться. Думаешь, и из-за волос у тебя не сладилось?

* * *

На *СчастливиКурчавКосмат. ком* был ярко-желтый задник, на форуме куча постов, превью фотографий черных женщин мигали сверху. У всех были длинные дреды, мелкие афро, громадные афро, твисты, косы, мощные бурные кудри и завитки. Здесь выпрямители называли «кремовым крэком». Они бросили делать вид, что волосы у них такие, какими не были, бросили шарахаться от дождя и избегать потения. Они хвалили фотографии друг друга и завершали комментарии словом «обнимаю». Жаловались, что черные журналы никогда не публикуют на своих страницах женщин с натуральными волосами, писали о косметических продуктах, настолько ядовитых от минеральных масел, что они не увлажняют естественные волосы. Обменивались рецептами. Они создали для себя виртуальный мир, где их кудрявые, курчавые, косматые, шерстистые волосы были нормой. И Ифемелу погрузилась в этот мир с безоглядной благодарностью. Женщины с прической, как у нее, имели свое наименование: ВТА, Вот-Такусенькое Афро. Она узнала — от женщин, выкладывавших длинные инструкции, — что нужно избегать шампуней с кремнийорганикой, применять несмываемые кондиционеры на влажные волосы, спать в атласном платке. Ифемелу заказывала товары у женщин, изготавливавших снадобья у себя на кухнях и доставлявших с отчетливыми инструкциями: **ЛУЧШЕ СРАЗУ В ХОЛОДИЛЬНИК. НЕ СОДЕРЖИТ КОНСЕРВАНТОВ.** Кёрт открывал холодильник, доставал контейнер с этикеткой «масло для волос» и спрашивал:

— На тост можно мазать?

Кёрт был сам не свой, уж так его все это завораживало. Он читал посты на *СчастливиКурчавКосмат. ком*.

— По-моему, это отлично! — говорил он. — Прямо как *движение* черных женщин.

Однажды на фермерском рынке они с Кёртом стояли рука об руку перед лотком с яблоками, мимо прошел черный мужчина и пробормотал:

— Никогда не задумывалась, чего это ты ему нравишься вся такая как из джунглей?

Она замерла, на миг усомнившись, не померещились ли ей эти слова, а затем вновь глянула на того мужчину. В походке у него было слишком много ритма, что намекало на некоторую вздорность натуры. На такого человека и внимания-то обращать не стоит. И все же его слова задели ее, приоткрыли дверь новым сомнениям.

— Ты слышал, что тот мужик сказал? — спросила она Кёрта.

— Нет, а что?

Она покачала головой.

— Ничего.

Она упала духом и, пока Кёрт смотрел дома по телевизору какую-то игру, поехала в магазин косметики, пробежалась пальцами по маленьким завиткам шелковистых прямых локонов. А затем вспомнила пост Джамилы1977: «Всем сестрам, какие любят свои прямые локоны, моя любовь, но я никогда больше себе на голову конскую гриву цеплять не стану» — и ушла из магазина, очень захотев вернуться домой, залогиниться и сообщить об этом на форуме. Написала так: «Слова Джамилы напомнили мне, что нет ничего красивее, чем то, что дал мне Господь». Ей написали ответов, понаклеили значков с большим пальцем вверх, сказали, как им всем нравится ее фотография. Она сроду столько не говорила о Боге. Писать в Сети все равно что исповедоваться в церкви: зычный рев поддержки оживил ее.

В непримечательный день ранней весной — никаким особым светом не позлащенный, никаким значительным событием не увековеченный — случилось то самое время, которое, как это часто бывает, преобразило ее сомнения: она глянула в зеркало, сунула руки в волосы, густые, пружинистые, великолепные, и не смогла представить ничего другого. Попросту влюбилась в свою шевелюру.

ПОЧЕМУ ТЕМНОКОЖИЕ ЧЕРНЫЕ ЖЕНЩИНЫ — И АМЕРИКАНКИ, И НЕАМЕРИКАНКИ — ЛЮБЯТ БАРАКА ОБАМУ

Многие американские чернокожие гордо заявляют, что в них есть кое-что «индийское». Что означает: «Слава богу, мы не полнокровные негры». Это означает, что они не чересчур темные. (Для ясности: когда белые люди говорят «темные», они имеют в виду греков или итальянцев, а когда черные говорят «темные», они имеют в виду Грейс Джоунз.^[122]) Американские черные мужчины любят, чтобы в их черных женщинах была некая экзотическая доля — полукитайская, например, или примесь чероки. Им нравятся женщины посветлее.

Но не забывайте, что черные американцы считают «светлым». Кое-кто из этих «светлых» в странах с черными неамериканцами попросту прозывался бы белым. (А, да, темные американские черные светлых не выносят — за то, что тем слишком легко с дамами.)

Ну вот что, братья мои черные неамериканцы, не задирайте нос. Поскольку это фуфло существует и в карибских, и в африканских странах. Не так же все плохо, как у американских черных, говорите? Может быть. Но все равно есть. Кстати, чего это эфиопы считают, что они не такие уж черные? А мелкоостровитяне^[123] рвутся всем доложить, что они «смешанных» кровей? Но не станем отвлекаться. Итак, светлая кожа в среде черных американцев в цене. Но все делают вид, что это уже не так. Говорят, дни проверки по бумажному пакету^[124] (гляньте, что это значит, в Сети) давно позади, хватит уже на это кивать. Однако ныне большинство черных американцев из преуспевающих артистов и публичных фигур — светлые. Особенно женщины. У многих преуспевающих американцев-черных белые жены. Те, кто позволяет себе черную супругу, заводят светлую (их еще именуют мулатками). И именно поэтому темные женщины любят Барака Обаму. Он сломал шаблон! Он женился на одной из них. Он знает то, о чем мир, похоже, не догадывается: темные черные женщины — совершенно круты. Они хотят, чтобы Обама победил, потому что, возможно, кто-нибудь возьмет красотку-шоколадку в крупнобюджетный ромком, какой пройдет в кино по всей стране, а не в трех выпендренных театрах в Нью-Йорке. Видите ли, в американской поп-культуре красивые темные женщины — невидимки. (Еще одна столь же незримая категория — мужчины-азиаты. Но они, по крайней мере, сверхумные.) В кино темные чернокожие дамы играют толстых милых мамушек или же сильных, нахрапистых, а иногда пугающих женщин на вторых ролях, подпирающих стенку. Им приходится излучать мудрость и твердость характера, пока белая женщина добывает

себе любовь. Но никогда они не играют пылких женщин, красивых, желанных и все такое. И потому темные черные женщины надеются, что Обама исправит положение. А, и еще темные черные женщины — за наведение чистоты в Вашингтоне, за уход из Ирака и все такое прочее.

Глава 21

Воскресным утром позвонила тетья Уджу, разгоряченная и напряженная:

— Ты глянь на этого мальчику! Приезжай и посмотри, что за дрянь он хочет надеть в церковь. Отказался надевать то, что я для него приготовила. Ты же понимаешь: если он не оденется как следует, они все найдут, что про это сказать. Если они неряхи — это не беда, а вот когда мы — совсем другое дело. Я его так же и про школу просила — веди себя потише. Давеча мне сказали, что он болтал на уроке, а он мне заявил, что он болтал, потому что доделал, что велено. Пусть ведет себя потише, потому что он вечно будет отличаться от всех остальных, но пацан не понимает. Поговори, прошу тебя, с твоим двоюродным!

Ифемелу попросила Дике уйти с телефоном к себе.

— Мама хочет, чтобы я носил эту уродливую рубашку. — Говорил он вяло, бесстрастно.

— Я знаю, какая это неклевая рубашка, Дике, но надень ради нее, ладно? Только в церковь. Только сегодня.

Она знала, о какой рубашке речь, — о полосатой безвкусной рубашке, которую для Дике купил Бартоломью. Такие рубашки Бартоломью и покупал, они напоминали его друзей, с которыми Ифемелу однажды познакомилась на выходных, — нигерийская пара, приехавшая в гости из Мэриленда, их двое сыновей сидели рядом с ними на диване, оба застегнутые наглухо, чопорные, заточенные в духоту иммигрантских устремлений родителей. Она не хотела, чтобы Дике выглядел так же, но понимала тревоги тети Уджу — та торила себе путь по неизведанной территории.

— Ты, может, в церкви никого из знакомых и не встретишь, — сказала Ифемелу. — А я поговорю с твоей мамой, чтобы она тебя больше не заставляла это носить.

Она уговаривала, пока Дике не согласился — если ему разрешат идти в кроссовках, а не в ботинках со шнурками, как настаивала мама.

— Я приеду в эти выходные, — пообещала Ифемелу. — Привезу с собой своего бойфренда Кёрта. Наконец-то познакомитесь.

С тетей Уджу Кёрт был услужлив и чарующ и так ее умасливал, что Ифемелу несколько смутилась. За ужином с Вамбуи и прочими подругами Кёрт то и дело доливал в бокалы. Обаятельный — таким сочла его одна из девушек: «Твой бойфренд — он такой обаятельный». И Ифемелу пришло на ум, что обаяние она не любит. Не любит такое, как у Кёрта, — с потребностью ослеплять, изображать. Она жалела, что Кёрт не ведет себя поспокойнее, посдержаннее. Когда он заводил разговоры с людьми в лифтах или обильно раздавал комплименты посторонним, она затаивала дыхание, уверенная, что все увидят, до чего он любит чужое внимание. Но все всегда улыбались в ответ, отвечали и позволяли себя обожать. Как и тетя Уджу.

— Кёрт, попробуйте суп? Ифемелу вам такой не готовила? А жареный банан пробовали?

Дике наблюдал, говорил мало, вежливо и учтиво, хотя Кёрт шутил с ним, болтал о спорте и очень старался завоевать его расположение — Ифемелу опасалась, что он сейчас начнет ходить колесом. Наконец Кёрт спросил:

— Хочешь в кольцо покидать?

Дике пожал плечами.

— Ладно.

Тетя Уджу смотрела им вслед.

— Ты глянь, он ведет себя так, будто все, к чему ты прикасаешься, начинает пахнуть духами. Ты ему и впрямь нравишься, — сказала тетя Уджу, а затем, поморщившись, добавила: — Даже с такой прической.

— Тетя, бико, оставь мою прическу в покое, — сказала Ифемелу.

— Как джут. — Тетя Уджу запустила пальцы в афро Ифемелу.

Ифемелу отвела голову.

— А если бы в любом журнале и в любом фильме, какие тебе бы попались, были красавицы с волосами, как джут? Ты бы сейчас моими любовалась.

Тетя Уджу фыркнула:

— Ладно, можешь говорить об этом по-английски, но я говорю как есть. В натуральных волосах всегда что-то неряшливое и неопрятное. — Тетя Уджу примолкла. — Ты читала сочинение своего брата?

— Да.

— Как он может говорить, будто не знает, кто он такой? С каких это пор он запутался? И с каких пор у него трудное имя?

— Поговори с ним, тетя. Если он так чувствует, значит, он так чувствует.

— Думаю, он так написал, потому что этому их там учат. Все у них запутанные, самосознание то, самосознание сё. Кто-то совершит убийство и скажет — все потому, что это мама его не обнимала, когда ему было три годика. Или вытворят что-нибудь гадкое и скажут, мол, у них болезнь, они с ней борются.

Тетя Уджу глянула в окно. Кёрт с Дике стучали бейсбольным мячом во дворе, а дальше начинались густые заросли. В последний приезд Ифемелу проснулась и увидела в кухонное окно пару изящно несшихся оленей.

— Я устала, — сказала тетя Уджу вполголоса.

— В смысле? — Ифемелу знала, впрочем, что далее последуют лишь очередные жалобы на Бартоломью.

— Мы оба работаем. Мы оба приходим домой в одно и то же время, и знаешь, чем занимается Бартоломью? Усаживается в гостиной, включает телевизор и спрашивает, что у нас на ужин. — Тетя Уджу скривилась, и Ифемелу заметила, до чего та поправилась, заметила зачаток второго подбородка, незнакомый разлет ноздрей. — Хочет, чтобы я отдавала ему свою зарплату. Вообрази! Сказал, что так устроен брак, раз он глава семьи, и что я не должна слать деньги брату без его разрешения, что платежи за машину мы должны делать из моей зарплаты. Я хочу подыскать Дике частную школу — при таких-то глупостях, что творятся в государственной, — но Бартоломью говорит, что это слишком дорого. Слишком дорого! Меж тем его дети учились в частных школах в Калифорнии. Он вообще не берет в голову, что там происходит в школе у Дике. Давеча я туда пошла, а завуч на меня накричала через весь зал. Вообрази. Так нагрубил. Я заметила, что на других родителей она через весь зал не орет. Ну я подошла и отбрила ее. Эти люди, они тебя доводят до зла, а никуда не денешься — чтоб достоинство сохранить. — Тетя Уджу покачала головой. — Бартоломью плевать, что Дике до сих пор зовет его дядей. Я говорила ему предложить Дике звать его папой, но хоть бы что. Ему только и надо, чтоб я ему зарплату отдавала, готовила потроха с перцем по субботам, пока он смотрит европейскую лигу по спутниковому. С чего это я должна ему зарплату отдавать? Он за мое медобразование платил? Хочет начать дело, ему не дают кредит, а он им говорит, что засудит их за дискриминацию, потому что кредитная история у него неплохая и он выяснил, что человек, который в нашу церковь ходит, получил заем при кредитной истории куда хуже. Я, что ли, виновата, что ему заем не дают? Его сюда заставляли переезжать, что ли? Он разве не знал, что мы тут будем единственные черные? Он сюда ехал, не потому что ему тут будет выгоднее? Сплошь деньги, деньги, деньги. Он рвется рабочие

решения принимать за меня. Что бухгалтер знает о медицине? Мне всего-то и надо, чтоб с удобствами. Хочу заплатить ребенку за колледж. Не надо мне работать дополнительно, чтоб денег накопить. Я ж не собираюсь яхту покупать, как американцы. — Тетя Уджу ушла от окна и села за стол. — Даже не знаю, чего я сюда приехала. Тут на днях аптекарша сказала, что у меня непонятный акцент. Вообрази, я попросила лекарство, а она мне прямо сказала, что у меня акцент непонятный. В тот же самый день, будто они сговорились, один пациент, бездарный брандахлыст, весь в татуировках, сказал мне катиться откуда приехала. А все потому, что я знала: врет он про боли — и отказалась выписать ему обезболивающее. Почему я эту дрянь терпеть должна? Во всем виноваты Бухари,^[125] Бабангида и Абача, потому что они разрушили Нигерию.

Странное дело: тетя Уджу очень часто говорила о бывших главах страны, упоминала их имена с ядовитыми нападками, но никогда не заикалась о Генерале.

Кёрт и Дике вернулись в кухню. У Дике покраснели глаза, он слегка вспотел и сделался болтлив: там, в баскетбольном пространстве, он заглотил звезду Кёрта.

— Хочешь водички, Кёрт? — спросил он.

— Зови его дядей Кёртом, — поправила тетя Уджу.

Кёрт хохотнул.

— Или кузеном Кёртом. Давай куз Кёрт?

— Ты мне не кузен, — сказал Дике, улыбаясь.

— Стану — если женюсь на твоей кухне.

— Смотря сколько предложишь за нее! — воскликнул Дике.

Все засмеялись. У тети Уджу сделался довольный вид.

— Давай попей и выходи ко мне во двор, Дике? — предложил Кёрт. — У нас там дело недоделанное!

Кёрт легонько тронул Ифемелу за плечо, спросил, все ли с ней хорошо, а затем вышел вон.

— *О на-эджи ги ка аква*, — проговорила тетя Уджу, в голосе — заряд обожания.

Ифемелу улыбнулась. Кёрт и впрямь берег ее, как яйцо. С ним она чувствовала себя хрупкой, драгоценной. Позднее, когда они уехали, она сунула свою руку в его, сжала: она гордилась — и собой с ним, и им самим.

Как-то раз утром тетя Уджу проснулась и отправилась в ванную. Бартоломью только что почистил зубы. Тетя Уджу потянулась за своей щеткой и заметила в раковине здоровенную плюху зубной пасты. Такой бы хватило, чтобы разок почистить зубы. Лежала эта плюха вдали от стока, мягкая и расплывающаяся. Тете Уджу стало мерзко. Как вообще человек чистил зубы, если после него в раковине осталось столько пасты? Не заметил, что ли? Когда оно упало, он себе на щетку еще выдавил? Или просто почистил почти сухой? То есть зубы у него, значит, нечищенные. Но зубы Бартоломью тетю Уджу не волновали. А вот плюха зубной пасты в раковинке — очень даже. Сколько раз она по утрам отмывала зубную пасту, споласкивала раковину. Но не сегодня. Сегодня с нее хватит. Она звала и звала его по имени, громко. Он спросил, что случилось. Она сообщила ему, что случилась паста в раковинке. Он глянул на тетю и пробормотал, что, дескать, торопился, уже опаздывал на работу, а она сказала ему, что у нее тоже есть работа, что зарабатывает она больше, чем он, — на случай, если он забыл. Она платит за его машину, между прочим. Он вылетел из ванной и ушел вниз. В этой точке тетя Уджу умолкла, а Ифемелу вообразила, как Бартоломью в этой его рубашке с контрастным воротничком и в брючках, подпернутых слишком высоко, спереди не шедшие ему стрелки, ноги иксом, выметается вон. Голос тети Уджу в трубке был необычайно спокоен.

— Я нашла квартирку в городе под названием Уиллоу. Очень милое место, во дворе ворота, рядом с университетом. Мы с Дике съезжаем в эти выходные, — сказала тетя Уджу.

— А, а! Тетя, так спешно?

— Я старалась. Хватит.

— А Дике что сказал?

— Он сказал, что ему в лесу жить не нравилось вообще. О Бартоломью — ни слова. В Уиллоу Дике будет гораздо лучше.

Ифемелу название города понравилось. Уиллоу: на слух — словно свежее выжатое начинание.

**МОИМ СОБРАТЬЯМ ЧЕРНЫМ
НЕАМЕРИКАНЦАМ: В АМЕРИКЕ, ДЕТКА, ТЫ —
ЧЕРНЫЙ**

Дорогой черный неамериканец, когда решишь

приехать в Америку, ты станешь черным. Не спорь. Перестань долдонить, что ты — ямаец или гайанец. Америке плевать. Ну и что, что в своей стране ты не был «черным»? Ты же теперь в Америке. У нас у всех случается посвящение в Общество Бывших Негров. Мое состоялось на младших курсах, когда меня попросили огласить мнение черного человека, — я, правда, не понимала, о чем речь. Ну я и сочинила что-то там. И признайся, ты говоришь «я не черный» только потому, что знаешь: черный — это самый низ расовой лестницы Америки. И ты такого не потерпишь. Не отрицай. Были б у черных все привилегии белых — что тогда? По-прежнему напирал бы: «Не зовите меня черным, я с Тринидада»? Вряд ли. Короче, ты черный, детка. А заделался черным — расклад такой: показывай, что ты обижен, когда в анекдотах возникают слова «арбуз»^[126] или «смоляное чучелко», даже если ты не знаешь, о чем вообще базар, а поскольку ты черный неамериканец, скорее всего, и не узнаешь. (На младших курсах белый однокашник спрашивает, нравится ли мне арбуз, я говорю «да», а другой однокашник говорит, о господи, какой расизм, и я теряюсь. «Что? Почему?») Всегда кивай, когда черный кивает тебе в местах большого скопления белых. Это называется «черный кивок». Так черные говорят друг другу: «Ты не одинок, я тоже тут». Описывая черную женщину, которую ты обожаешь, всегда используй слово СИЛЬНАЯ, потому что такими черным женщинам в Америке полагается быть. Если ты женщина, пожалуйста, не вываливай, что у тебя на уме, как привыкла у себя в стране. Потому что в Америке решительные черные женщины — ЛЮТЫЕ. А если ты мужчина, будь сверхмилым, никогда не заводись, иначе кто-нибудь забеспокоится, что ты сейчас выхватишь пушку. Когда смотришь телевизор и слышишь «расовые оскорбления», — немедленно обижайся. И пусть сам ты при этом думаешь: «Ну чего мне не объяснят, что там на самом деле сказали?» И пусть сам бы предпочел выбирать, до какой степени тебе обижаться и обижаться ли вообще, — обижаться обязан в любом случае.

Когда докладывают о преступлении, молись, чтобы его совершил не черный, а если все же черный, держись от места преступления как можно дальше, недели напролет, иначе тебя могут задержать за сходство с подозреваемым. Если черная кассирша плохо обслуживает человека впереди тебя в очереди, сделай комплимент обуви этого человека или еще чему-нибудь — чтобы возместить ему скверное обслуживание, потому что за проступки кассирши ты отвечаешь в равной мере. Если учишься в колледже Лиги плюща и юный республиканец говорит тебе, что ты сюда попал исключительно благодаря позитивной дискриминации, не хлещись перед ним своими безупречными оценками в старших классах. Мягко намекни, что главную выгоду от позитивной дискриминации получили белые женщины. Если доводится есть в ресторане, чаевые оставляй щедрые. Иначе следующего черного, который сюда придет, обслужат ужасно, потому что официанты воют, когда им достается черный столик. Видишь ли, у черных есть ген, который не дает им оставлять чаевые, так что уж превозмоги его. Если рассказываешь не черному о чем-то расистском, что с тобой приключилось, проследи, что говоришь беззлобно. Не жалуйся. Будь великодушным. Если получится — переведи в шутку. Главное — не сердись. Черным не полагается сердиться на расизм. Иначе сочувствия никакого. Это применимо только к белым либералам, кстати. Белым консерваторам даже и не пытайся рассказывать ни о каких расистских случаях. Потому что консерватор скажет тебе, что настоящий расист тут ТЫ, — и челюсть у тебя отвалится от растерянности.

Глава 22

Однажды в субботу в торговом центре в Уайт-Марш Ифемелу повстречала Кайоде Да Силву. Она стояла внутри, у входа, ожидая, когда Кёрт подгонит машину, и Кайоде чуть не налетел на нее.

— Ифемско! — воскликнул он.

— О боже. Кайоде!

Они обнялись, оглядели друг дружку, наговорили все то, что произносят люди, не видевшиеся много лет, оба вернулись к своим нигерийским голосам и нигерийским самостям — стали громче, выразительнее, пересыпали фразы довесками «о». Кайоде уехал сразу после средней школы в университет Индианы, окончил много лет назад.

— Я работал в Питтсбурге, но только что переехал в Силвер-Спринг, на новую работу. Обожаю Мэриленд. Всюду натыкаюсь на нигерийцев — в продуктовых лавках, в торговых центрах. Все равно как дома. Но ты небось уже в курсе.

— Да, — сказала она, хотя в курсе и не была. Ее Мэриленд был маленьким, ограниченным миром американских друзей Кёрта.

— Я собирался тебя отыскать, кстати. — Он смотрел на нее, словно впитывая подробности, запоминая, чтобы потом рассказывать об их встрече.

— Правда?

— Так мы с моим другом Зедом болтали тут на днях, и всплыла ты, он сказал, что слышал, будто ты живешь в Балтиморе, а поскольку я рядом, не мог бы я тебя найти и проверить, все ли у тебя хорошо, — и рассказать ему, как ты выглядишь.

Ее мгновенно охватила немота. Она пробормотала:

— О, вы все еще общаетесь?

— Да. Мы восстановили связь, когда он переехал в Англию в прошлом году.

Англия! Обинзе в Англии. Ифемелу отдалилась, не обращала на него внимания, сменила электронный адрес и телефон, но из-за этой новости все равно глубоко ощутила, что ее предали. В его жизни случились перемены, а она не знает о них. Он в Англии. Всего несколько месяцев назад они с Кёртом ездили в Англию, на фестиваль Гластонбери, а затем провели два дня в Лондоне. Обинзе, может, тоже был там. Она могла наткнуться на него, гуляя по Оксфорд-стрит.

— Так что случилось-то? Вот честно, я ушам своим не поверил, когда он сказал, что вы, ребята, не на связи. А, а! А мы все такие ждали приглашения на свадьбу-о! — сказал Кайоде.

Ифемелу пожала плечами. Внутри у нее что-то рассыпалось, и нужно было все это собрать.

— Как сама? Как жизнь? — спросил Кайоде.

— Хорошо, — холодно отозвалась она. — Жду, когда меня бойфренд заберет. Кажется, это он.

По лицу Кайоде тут же стало заметно, как он отзывает задор, как отступает его армия теплоты, поскольку он отчетливо ощутил, что она решила его, Кайоде, к себе не подпускать. Она уже удалялась. Бросила через плечо:

— Будь здоров.

Предполагалось, что они обменяются телефонами, поговорят подольше, станут вести себя ожидаемо. Но в Ифемелу бушевали чувства. И она сочла Кайоде виновным за то, что он знал об Обинзе, — за то, что притащил его обратно.

— Только что столкнулась со старинным другом из Нигерии. Не виделись со школы, — сказала она Кёрту.

— Ух ты, правда? Здорово. Он тут живет?

— В округе Коламбия.

Кёрт наблюдал за ней, ждал продолжения. Ему бы хотелось пригласить Кайоде выпить вместе с ними, подружиться с ее другом, быть таким же любезным, как со всеми. И вот это выжидательное лицо раздражило Ифемелу. Она желала тишины. Допекало даже радио. Что Кайоде расскажет Обинзе? Что она встречается с белым красавцем на двудверном БМВ, носит афро, за ухо заткнут красный цветок? Какие выводы Обинзе из этого сделает? Чем он занят в Англии? Она отчетливо вспомнила солнечный день — в ее воспоминаниях об Обинзе всегда светило солнце, и она этому не доверяла, — когда его друг Оквудиба притащил к нему домой видеокассету и Обинзе сказал: «Британский фильм? Пустая трата времени». С его точки зрения, смотреть имело смысл только американские фильмы. И вот теперь он в Англии.

Кёрт смотрел на нее.

— Встреча с ним тебя расстроила?

— Нет.

— Он тебе был бойфренд или как-то?

— Нет, — ответила она, глядя в окно.

Позже в тот же день она отправила письмо на хотмейловский адрес

Обинзе: «Потолок, я даже не знаю, с чего начать. Я наткнулась сегодня в торговом центре на Кайоде. Просить прощения за мою молчанку выглядело бы глупо даже для меня самой, но я прошу тебя простить меня — и чувствую себя очень глупо. Я расскажу тебе все, что случилось. Я скучала и скучаю по тебе». Он не ответил.

— Я забронировал для тебя шведский массаж, — сказал Кёрт.

— Спасибо, — отозвалась она. А затем, тише, добавила — чтобы воздать ему за свою зловредность: — Ты такой славный.

— Не хочу я быть славным. Я хочу, бля, быть любовью всей твоей жизни, — сказал Кёрт с нажимом, от которого она оторопела.

Часть третья

Глава 23

В Лондоне ночь приходила слишком рано, висела в утреннем воздухе угрозой, а затем после обеда опускались сине-серые сумерки, и викторианские здания облекало еще большей печалью. В те первые недели холод ошарашил Обинзе невесомой опасностью, он сушил ноздри, углублял тревоги, вынуждал Обинзе мочиться чересчур часто. По тротуару он ходил быстрее, туго свернутый в себе, руки — глубоко в карманах пальто, одолженного двоюродным братом, серого шерстяного пальто, рукава у которого чуть ли не проглатывали пальцы целиком. Иногда он останавливался у входа в метро, часто — у цветочного или газетного лотка и наблюдал, как люди протискиваются мимо. Они все ходили очень быстро, люди эти, словно имелось у них место назначения, куда надо срочно попасть, цель в жизни, а у него — нет. Он провожал их взглядом потерянного томления и думал: «Вам можно работать, вы тут законно, вы — зримы, но даже не догадываетесь, до чего вам повезло».

Именно на станции метро он встретился с ангольцами, которые устроят его женитьбу, и случилось это ровно через два года и три дня после того, как он прибыл в Англию, — он считал.

— Поговорим в машине, — сказал по телефону один перед этим, в тот же день.

Их черный «мерседес» старой модели был тщательно ухожен, коврики повело от пылесоса волнами, кожаные сиденья блестели от натирки. Двое мужчин смотрелись одинаково — толстые брови у обоих почти срастались на переносице, хотя Обинзе они сказали, что просто друзья, одевались они тоже один в один — в кожаные куртки и длинные золотые цепи. Плоские стрижки торчали на головах, как цилиндры, и Обинзе они удивили, но, возможно, это была часть их хипового образа — прически-ретро. Разговаривали они с уверенностью людей, проделывавших такое и раньше, а также с легким высокомерием: его судьба, как ни крути, — в их руках.

— Мы постановили Ньюкасл, потому что знаем людей оттуда, а в Лондоне сейчас слишком горячо, слишком много браков в Лондоне, ага, зачем нам неприятности, — сказал один. — Все получится. Ты, главное, веди себя тихо, ага? Не привлекай к себе внимания, пока свадьба не состоится. В пабах не бузи, ага?

— Я никогда толком драться не умел, — сказал Обинзе сухо, но ангольцы не улыбнулись.

— Деньги при тебе? — спросил второй.

Обинзе выдал две сотни фунтов, все — двадцатифунтовыми купюрами, которые он добыл из банкомата за два дня. Аванс — чтобы доказать, что у него серьезные намерения. Позднее, после встречи с девушкой, заплатит две тысячи фунтов.

— Остальное — вперед, ага? Мы часть потратим на всякую колготу, а остальное пойдет девушке. Чувак, ты ж понимаешь, мы ничего на этом не навариваем. Обычно просим гораздо больше, но сейчас это ради Илобы, — сказал первый.

Обинзе им не поверил, даже тогда. Он познакомился с этой девушкой, Клеотилд, несколько дней назад, в торговом центре в «Макдоналдсе», у которого окна смотрели на промозглый вход в метро через улицу. Он сидел за столиком с ангольцами, наблюдал, как мимо спешат люди, и раздумывал, кто из них — она, а ангольцы тем временем шептали в телефоны: возможно, устраивали другие женитьбы.

— Привет! — сказала она.

Обинзе эта девушка поразила. Он ждал кого-нибудь в оспинах, густо замазанных косметикой, лихую и бывалую тетку. Но появилась вот эта, бодрая и свежая, в очках, оливковокожая, чуть ли не ребенок, с застенчивой улыбкой, тянула молочный коктейль через соломинку. Она походила на университетскую первокурсницу, невинную или бестолковую, — или и то и другое.

— Я просто хотел спросить, уверены ли вы во всем этом, — сказал он ей, а затем, встревоженный, что спугнет, добавил: — Я вам очень признателен, и от вас это мало что потребует: я через год получу все бумаги и мы разведемся. Но хотелось все же познакомиться и убедиться, что вы не против.

— Да, — сказала она.

Он смотрел на нее, ждал дальнейшего. Она застенчиво поиграла с соломинкой, не встречаясь с Обинзе взглядом, и он не сразу понял, что она ведет себя так из-за него, а не из-за обстоятельств. Он ей понравился.

— Я хочу помочь маме. Дома все сложно, — сказала она, ее слова — с легкой подкладкой небританского акцента.

— Она с нами, ага, — сказал один из ангольцев нетерпеливо, словно Обинзе посмел усомниться в том, что они ему уже сообщили.

— Покажи ему данные, Клео, — сказал второй анголец.

Вот это «Клео» прозвучало фальшиво: Обинзе почуял это и по тому, как это было сказано, и по тому, как она это восприняла, — на лице промелькнуло легкое удивление. Навязанная фамильярность: этот анголец

никогда прежде не звал ее Клео. Обинзе задумался, откуда ангольцы вообще ее знают. У них список девушек с евросоюзовскими паспортами, которым нужны деньги? Клеотилд отбросила с лица волосы — бурю тугих кудрей — и поправила очки, будто готовилась к предъявлению своего паспорта и водительских прав. Обинзе рассмотрел их. Она показалась ему моложе двадцати трех.

— Можно ваш телефон? — попросил Обинзе.

— Просто звони нам, — сказали ангольцы чуть ли не хором. Но Обинзе написал свой номер на салфетке и придвинул к ней. Ангольцы одарили его лукавыми взглядами. Позднее, по телефону, она сказала ему, что живет в Лондоне уже шесть лет и копит деньги на школу моды, хотя ангольцы сказали, что она живет в Португалии.

— Хотите встретиться? — спросил он. — Будет гораздо проще, если мы постараемся узнать друг друга поближе.

— Да, — сказала она без промедления.

Они поели в пабе рыбу с картошкой, на торцах деревянных столов — тонкая корка жира, девушка рассказывала о своей любви к моде и расспрашивала его о нигерийских национальных костюмах. Показалась более зрелой: он заметил блеск у нее на щеках, более выраженные завитки волос и понял, что она над своим внешним видом потрудилась.

— Чем будете заниматься, когда получите документы? — спросила она. — Привезете свою девушку из Нигерии?

Эта очевидная прямота его тронула.

— У меня нет девушки.

— Я никогда не была в Африке. Было бы здорово съездить. — Она сказала «в Африке» мечтательно, как влюбленная иностранка, нагрузив это слово экзотическим восторгом. Она рассказала, что ее черный отец-анголец бросил их с ее белой матерью-португалкой, когда Клеотилд было всего три года, и отца она с тех пор не видела — и в Анголе ни разу не была. Произнесла она это, пожав плечами и цинично вскинув брови, словно это ее несколько не огорчало, и этот жест оказался таким ей не свойственным, до того не в ладу с ней самой, что он понял, как сильно ее это расстраивает. Были в ее жизни неурядицы, о которых ему хотелось знать больше, части ее крепкого фигуристого тела, к каким он желал бы прикоснуться, но Обинзе остерегался все усложнять. Он дождется, когда пройдет свадьба, когда завершится деловая часть их отношений. Она, казалось, понимала это без всяких обсуждений. И вот в последующие недели они встречались и разговаривали, иногда репетировали, как будут отвечать на вопросы иммиграционного собеседования, а иногда просто болтали о футболе, и

был меж ними крепнувший порыв сдерживаемого желания. Было это желание и когда они стояли рядом, не соприкасаясь, в метро, ожидая поезда, в их взаимных подначках, что он болеет за «Арсенал», а она — за «Манчестер юнайтед», в долгих взглядах. После того как он заплатил ангольцам две тысячи фунтов наличными, она сообщила ему, что ей они выдали всего пятьсот.

— Просто говорю. Я знаю, что у тебя больше нет денег. Хочу сделать это все ради тебя, — сказала она.

Клеотилд смотрела на него, в глазах плескалось несказанное, и она вернула ему чувство цельности, напомнила, как сильно он изголодался по чему-то простому и чистому. Он хотел поцеловать ее — верхняя губа, мерцающая блеском для губ, розовее, чем нижняя, — обнять ее, сказать, как глубоко, неудержимо он ей благодарен. Она никогда не баламутила его котел тревог, никогда не тыкала ему в лицо своей властью. Одна восточноевропейская женщина, рассказывал ему Илоба, потребовала от нигерийца за час до официальной женитьбы тысячу фунтов сверху — или она уйдет. Мужчина запаниковал и принялся обзванивать друзей — собирать деньги.

— Чувак, мы тебе отличный вариант замутили. — Это все, что ангольцы сказали, когда Обинзе спросил, сколько они выдали Клеотилд, — этим их тоном людей, которые понимали свою востребованность. Это же они, в конце концов, отвели его к юристу, негромкому нигерийцу с шерстяными волосами, отъезжавшему на стуле назад, чтобы дотянуться до шкафа с папками, и приговаривавшему: «Вы все еще можете жениться, пусть у вас виза и просрочена. Более того, женитьба — ваш единственный выход».

Это они состряпали его квитанции за воду и бензин на предыдущие полгода, с его именем и адресом в Ньюкасле, это они отыскивали человека, который «разберется» с его водительскими правами, — этот человек загадочно именовался Бурый. Обинзе встретил Бурого на вокзале в Баркинге: встал у ворот, как и договаривались, в водовороте людей, оглядываясь по сторонам и ждал звонка, поскольку Бурый отказался дать ему свой номер.

— Ждете кого-то? — А вот и Бурый — щуплый человек, зимняя шапка натянута до самых бровей.

— Да. Я Обинзе, — отозвался он, чувствуя себя персонажем шпионского романа, которому положено говорить дурацкими ребусами.

Бурый повел его в тихий угол, вручил конверт, а в нем обнаружили водительские права Обинзе с его фотокарточкой, и вид у них был

всамделишный, слегка потрепанный, как у вещи, которой пользовались год. Тонкая пластиковая карточка, но карман она ему оттянула. Через несколько дней он зашел в некое лондонское здание, которое снаружи походило на церковь, шатровое, суровое, а внутри — неопрятное, суетливое, завязанное в узлы толп. Надписи на белых досках гласили: РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ — ТУДА, БРАКОСОЧЕТАНИЯ — ТУДА. Обинзе, прилежно заморозив выражение лица до бесстрастного, выдал водительское удостоверение служащему за столом.

К двери приближалась женщина, громко беседовавшая со своим спутником.

— Ты посмотри, как тут битком. Сплошь липовые браки, все до единого, раз уж ими Бланкетт^[127] занялся.

Возможно, она приехала зарегистрировать смерть и ее слова — лишь одинокий выброс горя, но Обинзе ощутил знакомый комок паники в груди. Служащий разглядывал его права — слишком долго. Секунды затягивались и густели. «Сплошь липовые браки, все до единого», — звенело у Обинзе в голове. Наконец конторщик глянул на него и подтолкнул бланк анкеты.

— Женимся, да? Поздравляю! — Слова выскочили с механической доброжелательностью постоянного повторения.

— Спасибо, — сказал Обинзе и попытался разморозить лицо.

На столе высилась прислоненная к стене белая доска, на ней синим — места и даты грядущих свадеб; его взгляд задержался на имени в самом низу. Околи Окафор и Кристал Смит. Околи Окафор был его однокашником в школе и университете, немногословный мальчик, которого дразнили за то, что у него вместо имени фамилия, а позднее он прибил к какой-то зверской секте в университете и уехал из Нигерии во время одной долгой забастовки. И вот пожалуйста, имя-призрак, женится в Англии. Возможно, тоже ради бумажек. Околи Окафор. В университете все звали его Околи Папарацци. В день, когда погибла принцесса Диана, группа студентов собралась перед лекцией, обсуждая услышанное по радио в то утро, повторяя и повторяя «папарацци», все такие знающие и уверенные, пока в паузе Околи Окафор не сказал тихонько: «А кто такие эти папарацци? Мотоциклисты, что ли?» — и тут же заработал себе прозвище Околи Папарацци.

Память, ясная, как световой луч, повела Обинзе к поре, когда он еще верил, что мироздание прогнетя по его воле. Он вышел на улицу, и на него опустилась меланхолия. Как-то раз, на последнем курсе университета, в год, когда люди танцевали на улицах, потому что умер генерал Абача, его мать сказала: «Однажды я огляжусь и увижу, что все люди, которых я

знала, умерли или за рубежом». Говорила она устало, они сидели в гостиной, ели вареную кукурузу и убае.^[128] Он расслышал в ее голосе печаль поражения, будто ее друзья, уехавшие преподавать в Канаду и Америку, подтвердили ее величайшую личную несостоятельность. На миг он почувствовал, что и сам предает ее, строя планы: защищать диссертацию в Америке, работать в Америке, жить в Америке. С этим планом Обинзе просуществовал долго. Конечно, он знал, до чего неразумным бывает американское посольство — ректору, уж кто бы мог подумать, однажды отказали в визе на конференцию, — но Обинзе в своем плане не сомневался. Позднее он раздумывал, откуда взялась эта уверенность. Вероятно, все потому, что он никогда не хотел просто уехать *за рубеж*, как многие другие: кое-кто отбыл в Южную Африку, что позабавило Обинзе. Для него всегда была Америка, только Америка. Стремление, выпестованное и вскормленное за многие годы. Реклама на НТВ «Эндрю выселяется»,^[129] которую Обинзе смотрел ребенком, придавала очертания его жажде. «Чуваки, я выселяюсь, — говорил персонаж Эндрю, с вызовом глядя в объектив. — Ни приличных дорог, ни света, ни воды. Чуваки, тут даже бутылку газировки не достать!» Пока Эндрю выселялся, солдаты генерала Бухари пороли взрослых на улицах, профессура бастовала, чтобы ей платили получше, а мать Обинзе решила, что фанты ему больше когда взбредет в голову нельзя, только по воскресеньям — с разрешения. И вот так Америка стала местом, где завались бутылок с фантой, без всякого разрешения. Он вставал перед зеркалом и повторял слова Эндрю: «Чуваки, я выселяюсь!» Позднее, когда он выкапывал журналы, книги, фильмы и чужие байки об Америке, его страсть приобрела некое мистическое свойство и Америка стала местом, назначенным ему судьбой. Он видел себя на улицах Гарлема, в разговорах с американскими друзьями о достоинствах Марка Твена, у горы Рашмор. Через несколько дней после выпуска из университета, разбухший от знания об Америке, он подал документы на визу в американское посольство в Лагосе.

Обинзе уже знал, что лучший на собеседованиях — белобородый мужчина, и, продвигаясь в очереди, надеялся, что собеседовать его будет не этот кошмар — миловидная белая женщина, знаменитая своими воплями в микрофон и оскорблениями в адрес даже бабуль. Наконец пришел его черед, и белобородый мужчина сказал: «Следующий!» Обинзе приблизился и подsunул свои бумаги под стекло. Мужчина пролистал их и по-доброму сказал: «Простите, вы не соответствуете. Следующий!» Обинзе оторопел. За следующие три месяца сходил еще трижды. Каждый раз ему говорили,

не посмотрев в бумаги: «Простите, вы не соответствуете», и всякий раз он выбирался из кондиционированной прохлады посольского здания на резкий солнечный свет ошеломленный, не верящий.

— Это все страх терроризма, — говорила мама. — Американцы теперь боятся молодых иностранцев.

Она велела ему найти работу и попробовать через год. Его попытки устроиться ни к чему не привели. Проверочные задания он ездил выполнять и в Лагос, и в Порт-Харкорт,^[130] и в Абуджу, задания казались ему простыми, и он посещал собеседования, легко отвечал на вопросы, но затем следовала долгая гулкая тишина. Кое-кто из друзей получил работу — те, у кого не было высшего образования второй категории,^[131] как у него, и кто не говорил так же свободно, как Обинзе. Он раздумывал, может, у него изо рта пахнет томленьем по Америке и наниматели чувят это — или же то, как одержимо он по-прежнему рыскает по сайтам американских университетов. Обинзе жил с матерью, ездил на ее машине, спал со впечатлительными юными студентками, по ночам торчал в интернет-кафе со всеобщими тарифами, а дни иногда проводил у себя в комнате, читая и прячась от матери. Ему претила ее спокойная бодрость, ее потуги быть оптимисткой, ее рассказы о том, что теперь, когда у власти президент Обасанджо, все меняется, компании мобильной связи и банки растут, нанимают больше, даже выдают молодежи кредиты на автомобили. В основном, правда, она предоставляла его самому себе. Не стучала в дверь. Просто просила домработницу Агнес оставлять для Обинзе еду в кастрюле и выносить у него из комнаты грязную посуду. И вот однажды мама повесила ему записку на раковине в ванной: «Меня пригласили на научную конференцию в Лондон. Надо поговорить». Он растерялся. Когда она вернулась домой с лекции, он сидел в гостиной — ждал ее.

— Мамуля, *нно*,^[132] — сказал он.

Она кивнула в ответ на его приветствие и положила сумку на середину стола.

— Я собираюсь внести твое имя в свою анкету на британскую визу — как моего научного ассистента, — сказала она тихо. — Это даст тебе полугодовую визу. Сможешь остаться с Николасом в Лондоне. Посмотришь, что тебе удастся сделать со своей жизнью. Может, сообразишь, как перебраться оттуда в Америку. Я знаю, что в мыслях ты уже давно не здесь.

Он уставился на нее.

— Я понимаю, что такие вот вещи нынче делаются, — сказала она,

усаживаясь на диване рядом с ним, пытаюсь говорить как ни в чем не бывало, однако по непривычной бойкости ее слов он ощущал, до чего ей неуютно. Сама она — из поколения смятенных, они не понимали, что творится в Нигерии, но позволяли себе влечься за ураганом. Она была женщиной сдержанной, одолжений не просила, не врала, от студентов не принимала даже рождественских открыток, потому что это ее компрометирует, считала каждый потраченный кобо любого комитета, в который входила, — и вот пожалуйста, ведет себя, будто говорить правду — роскошь, какая им больше не по карману. Это шло вразрез со всем, чему она его учила, но он знал, что правда в их положении и впрямь сделалась роскошью. Она врала ради него. Если бы за него врал кто-то еще, это имело бы для него мало значения — или никакого, но врала за него она, и он получил полугодовую визу в Соединенное Королевство и ощутил себя, еще до отъезда, пропащим. Он не выходил на связь, потому что рассказать ему было нечего — хотел дожидаться, когда будет что. Он пробыл в Англии три года, а поговорили они за это время всего несколько раз — натужно; он представлял себе, как она удивляется, почему он никем за это время не стал. Но она никогда не выспрашивала подробностей — ждала, когда он сам пожелает рассказать. Позднее, когда он вернулся домой, ему было мерзко от собственной спеси, от слепоты к ней, и он проводил с ней много времени, полный решимости искупить, вернуться к их прежним отношениям, но сперва попытаться определить границы их отчужденности.

Глава 24

Все шутили о людях, уехавших за границу мыть туалеты, и потому Обинзе подошел к своей первой работе с иронией: вот и он за границей моет в резиновых перчатках туалеты и таскает ведра в конторе торговца недвижимостью на втором этаже лондонского здания. Всякий раз, когда он открывал качающуюся дверь в кабинку, она словно вздыхала. Красивая женщина, мывшая дамский туалет, была гайанкой, примерно его возраста, и более сияющей кожи он в жизни не видывал. В том, как она говорила и держалась, он чувствовал воспитание, близкое к своему, детство, смягченное семьей, бесперебойными трапезами, мечтами, в которых не существовало и понятия о мытье туалетов в Лондоне. Она не обращала внимания на его дружеские жесты, говорила «Добрый вечер» — и только, формальнее некуда, но с белой женщиной, которая прибирала конторы на этажах повыше, была мила, а однажды он видел их в пустом кафе, они пили чай и тихонько беседовали. Он постоял, посмотрел на них, и великая печаль проникла в его мысли. Нет, не отвергала она дружбу как таковую — она просто не хотела дружить с ним. Вероятно, дружба между ними в заданных условиях и не была возможна: она гайанка, он нигериец, а это слишком близко к тому, чем была она сама, он знал о ней подробности, а с полячкой она могла изобретать себя заново, быть кем угодно по своему вкусу.

Туалеты вообще-то не беда, ну моча мимо писсуара, ну смыли не тщательно; мыть их было проще, чем для мойщиков туалетов в студгородке в Нсукке, где потеки дерьма марали стены, и Обинзе всякий раз задумывался, зачем кому-то может понадобиться так себя утруждать. И потому его потрясло, когда однажды вечером он зашел в кабинку и обнаружил гору дерьма на крышке унитаза, мощную, пирамидальную, симметричную, будто ее тщательно лепили на точно отмеренном месте. Смотрелась как свернувшийся на коврик щенок. Ему подумалось о легендарной сдержанности англичан. Двоюродная сестра его жены, Оджиуго, как-то раз сказала: «Англичане будут жить по соседству с тобой годы напролет, но никогда не поздороваются. Словно застегнулись на все пуговицы». В этом вот зрелище имелось некоторое расстегивание. Человек, которого уволили? Отказали в повышении? Обинзе долго не мог отвести глаз от этой кучи дерьма, чувствуя себя все мельче и мельче, пока наблюдаемое не стало личным оскорблением, ударом в челюсть. И это — за

три фунта в час. Он снял перчатки, положил их рядом с кучей дерьма и вышел из здания. В тот вечер он получил письмо от Ифемелу. «Потолок, я даже не знаю, с чего начать. Я наткнулась сегодня в торговом центре на Кайоде. Просить прощения за мою молчанку выглядело бы глупо даже для меня самой, но я прошу тебя простить меня — и чувствую себя очень глупо. Я расскажу тебе все, что случилось. Я скучала и скучаю по тебе».

Он тарасился на сообщение. Он так желал этого — долго-долго. Получить от нее весточку. Когда она перестала отвечать ему, он неделями тревожился до бессонницы, бродил по дому посреди ночи, гадая, что с ней приключилось. Они не ссорились, любовь их сияла, как и прежде, план в силе, и вдруг — тишина, тишина жестокая и полная. Он названивал ей, пока она не сменила номер, он слал ей электронные письма, связывался с ее матерью, с тетей Уджу, с Гиникой. Тон Гиники, когда она сказала: «Ифем нужно время, кажется, у нее депрессия», подействовал, как лед, приложенный к коже. Ифемелу не покалечилась, не ослепла от какого-нибудь несчастного случая, не страдает от внезапной амнезии. Она общалась с Гиникой и другими, но не с *ним*. Он писал ей в почту, просил, чтобы она хотя бы объяснила, в чем дело, что случилось. Вскоре его электронные послания начали возвращаться недоставленными: она закрыла этот адрес. Он скучал по ней, тоска глубоко надрывала его. Он обижался на Ифемелу. Он без конца размышлял, что же произошло. Он изменился, замкнулся в себе. Его то сжигал гнев, то скручивало от растерянности, то изнуряла печаль.

И вот — письмо от нее. Тон тот же, словно она не ранила его, не бросила истекать кровью больше пяти лет назад. Зачем пишет теперь? Что ей рассказать? Что он моет туалеты, а сегодня созерцал кучу дерьма? Откуда она знала, что он вообще жив еще? Он, может, умер, пока она молчала, а ей и невдомек. Он ощутил, что его предали, — и рассердился. Щелкнул на «стереть» и «очистить корзину».

* * *

У двоюродного брата Николаса было скуластое лицо бульдога, но при этом оно оставалось привлекательным, — а может, дело не в чертах, а в общем приятном впечатлении: высокий, широкоплечий, с привольной мужественностью. В Нсукке он был всеобщим любимцем студгородка; его потрепанный «фольксваген-жук» стоял у пивной, у тамошних пьющих он

навсегда остался в памяти. Две Здоровенные Ляли как-то раз легендарно сцепились из-за Николаса в хостеле «Белло» — драли друг на друге блузки, а он, повеса, ни к кому не привязывался, пока не встретил Оджиуго. Оджиуго была маминой любимой студенткой, единственной достойной быть ее научной ассистенткой; она заехала однажды в воскресенье обсудить какую-то книгу. Николас тоже заехал — на ежевоскресный ритуал, поесть риса. Оджиуго носила оранжевую помаду и драные джинсы, говорила без обиняков и курила на людях, подогревая злые сплетни и неприязнь других девчонок — не потому, что все это себе позволяла, а потому что осмеливалась на все это, не пожив за рубежом и не имея родителя-иностранца — за такое ей бы простили недостаток приспособленчества. Обинзе помнил, как пренебрежительно она общалась с Николасом поначалу, не обращала на него внимания, а он, непривычный к девичьему безразличию, болтал все громче и громче. Но в конце концов уехали они на его «фольксвагене» вместе. Потом они гоняли на этой машине по всему студгородку, Оджиуго за рулем, рука Николаса болтается в переднем окне, орет музыка, в повороты вписывались лихо, а однажды — даже с приятелем, сидевшем впереди на капоте. Они вместе курили и пили прилюдно. Творили вокруг себя томные легенды. Однажды их видели в пивбаре, на Оджиуго громадная белая рубашка Николаса, а ниже — ничего, а на Николасе джинсы и ничего сверху. «Дела табак, так что у нас один наряд на двоих», — невозмутимо сообщил он друзьям.

То, что Николас растерял свою юношескую бесшабашность, Обинзе не удивило — зато удивила утрата даже малейшего воспоминания о ней. Николас, муж и отец, домовладелец в Англии, говорил со здравомыслием настолько суровым, что получалось едва ли не потешно.

— Если приедешь в Англию с визой, по которой нельзя работать, — говорил ему Николас, — первым делом надо искать не еду или воду, а НГС, [\[133\]](#) чтобы устроиться на работу. Берись за все. Ничего не трать. Женись на гражданке Евросоюза, справь документы. И тогда у тебя начнется жизнь.

Николас, похоже, счел, что дело свое сделал — донес слова мудрости, и в последующие месяцы едва разговаривал с Обинзе. Будто не было у того больше старшего кузена, который предложил Обинзе в пятнадцать лет попробовать сигарету, который рисовал на листке бумаги схемы, чтобы Обинзе понимал, что делать пальцами у девушки между ног. По выходным Николас бродил по дому в напряженном облаке молчания, нянчил свои тревоги. И только во время матчей с «Арсеналом» слегка расслаблялся с банкой «Стеллы Артуа» под рукой и вопил: «Давай, Арсенал!» — вместе с Оджиубо и их детьми, Нной и Нне. После игры лицо у него застывало

вновь. Он приходил домой с работы, обнимал детей и Оджиубо и спрашивал:

— Как вы? Чем занимались сегодня, народ?

Оджиубо перечисляла свои дела. Виолончель. Пианино. Скрипка. Домашка. Кумон.

— Нне гораздо лучше читает с листа, — добавляла она. Или: — Нна небрежно занимался по Кумону и две задачки сделал неправильно.

Николас хвалил или отчитывал каждого ребенка, Нну, у которого было отцово щекастое бульдожье лицо, и Нне с круглым темным красивым лицом, как у ее матери. Говорил Николас с ними только по-английски, тщательно, словно считал, что игбо, общий у него с их матерью, заразит детей, а может, из-за этого они растеряют свой драгоценный британский акцент. А затем говорил:

— Оджиуго, молодец. Я голодный.

— Да, Николас.

Она подавала ему еду — тарелку на подносе доставляла ему в кабинет или помещала перед телевизором на кухне. Обинзе по временам гадал, кланялась ли она, ставя поднос, или же кланяться было частью ее поведения, ее согбленных плеч и изгиба шеи. Николас говорил с ней в том же тоне, в каком и с детьми. Однажды Обинзе услышал:

— Вы, народ, устроили беспорядок у меня в кабинете. Уходите, пожалуйста, все.

— Да, Николас, — ответила она и вывела детей.

«Да, Николас» — таков был ее ответ почти на все, что он говорил. Иногда, за спиной у Николаса, она перехватывала взгляд Обинзе и корчила смешную мину — раздувала щеки шариками или высовывала язык из уголка рта. Это напоминало Обинзе безвкусное кривлянье из нолливудских фильмов.

— Я все думаю о вас с Николасом в Нсукке, — сказал однажды вечером Обинзе, помогая ей резать курицу.

— А, а! Ты знаешь, что мы трахались на людях? В Театре искусств. Даже в здании инженерного факультета как-то вечером, в тихом углу в коридоре! — Она рассмеялась. — Женитьба меняет многое. И в этой стране все непросто. Я оформила себе бумаги, потому что училась тут в аспирантуре, а он, представляешь, с документами разобрался всего два года назад и потому долго жил в страхе, работал под чужими именами. Такое с головой чудеса творит, эзиокву.^[134] Ему было совсем нелегко. Теперешняя его работа очень хорошая, но он на договоре. Не знает, продлят ли. У него хорошее предложение из Ирландии, сам знаешь, в Ирландии сейчас

серьезный бум, программисты хорошо устраиваются, но он не хочет туда переезжать. Образование для детей здесь гораздо лучше.

Обинзе достал из буфета несколько склянок со специями, посыпал курицу и сунул горшок в духовку.

— Ты в курицу мускатный орех кладешь? — спросила Оджиуго.

— Да, — ответил Обинзе. — А ты нет?

— А я откуда знаю? Кто бы за тебя замуж ни вышел — выиграет в лотерею, ей-ей. Кстати, что, ты говорил, случилось у вас с Ифемелу? Она мне так нравилась.

— Она уехала в Америку, прозрела и забыла меня.

Оджиуго рассмеялась.

Зазвонил телефон. Поскольку Обинзе постоянно и пылко ждал звонка из агентства по трудоустройству, при каждом звонке паника слегка прихватывала его за грудь, и Оджиуго приговаривала:

— Не волнуйся, Зед, все у тебя сложится. Ты глянь на мою подругу Босе. Ты в курсе, что она пыталась устроиться в лечебницу, ей отказали, и она прошла все круги ада, пока не получила все бумажки? А теперь у нее своих два детских садика и дача в Испании. С тобой будет так же, не дергайся, *рануба*.^[135]

Была в ее утешениях некоторая неубедительность, автоматическое выражение доброй воли, не требующее никаких конкретных усилий с ее стороны, никакой помощи ему. Иногда он размышлял — без всякой обиды, — правда ли она желает ему найти работу, поскольку, найди он ее, не сможет сидеть с детьми, пока Оджиуго бегаёт в «Теско» за молоком, не сможет готовить ей завтрак, пока она проверяет их подготовку перед школой — у Нне по фортепиано или скрипке, у Нны — по виолончели. Было что-то в тех днях, по чему Обинзе позднее станет скучать, — мазать маслом тост в слабом утреннем свете, пока по дому плавают звуки музыки, а иногда и голос Оджиуго, возвышенный в похвале или раздражении: «Молодец! Давай еще раз!» или «Что ты за ерунду городишь?»

Тем же вечером, после того как Оджиуго привела детей из школы домой, она сказала сыну:

— Твой дядя Обинзе приготовил курицу.

— Спасибо, что помогаешь маме, дядя, но я вряд ли буду курицу. — У Нны были те же игривые манеры, что и у его матери.

— Ты посмотри на этого мальчика, — сказала Оджиуго. — Твой дядя готовит лучше, чем я.

Нна закатил глаза:

— Ладно, мамочка, если ты так настаиваешь. Можно я телевизор

посмотрю? Всего десять минуток?

— Хорошо, десять минут.

Наступил получасовой перерыв в занятиях перед приходом преподавательницы французского, и Оджиуго наделала сэндвичей с вареньем, тщательно срезав корочки. Нна включил телевизор — показывали музыкальный номер с участием мужчины, увешанного множеством здоровенных блестящих золотых цепей.

— Мапочка, я тут подумал, — сказал Нна. — Хочу быть рэпером.

— Нельзя тебе рэпером, Нна.

— Но я хочу, мамочка.

— Не будешь ты рэпером, милый. Мы в Лондон приехали не для того, чтобы ты стал рэпером. — Она глянула на Обинзе: — Ты полюбуйся на этого мальчика.

Нне пришла в кухню с пакетом «Солнца Капри». [\[136\]](#)

— Мапочка? Можно мне, пожалуйста?

— Да, Нне, — ответила Оджиуго и, повернувшись к Обинзе, повторила дочкины слова с нарочитым британским акцентом: — «Мапочка, можно мне, пожалуйста?» Ты слышишь, сколько в этом выпендрежа? Ха! Моя дочь далеко пойдет. Вот почему все наши деньги текут в Брентвудскую школу. [\[137\]](#) — Оджиуго шумно поцеловала Нне в лоб, и Обинзе осознал, наблюдая, как Оджиуго празднично поправляет выбившуюся прядь волос у Нне, что она совершенно довольный жизнью человек. Еще один поцелуй Нне в лоб. — Как ты себя чувствуешь, Ойиннея? — спросила она.

— Хорошо, мамочка.

— Завтра не забудь прочесть не только строчку, которую тебе задали. Продвись дальше, ладно?

— Ладно, мамочка. — Нне вела себя торжественно — как ребенок, решительно настроенный ублажать взрослых.

— У нее завтра экзамен по скрипке, а с чтением с листа непросто, — сказала Оджиуго, будто Обинзе способен был забыть такое: Оджиуго уже давно твердила об этом. В прошлые выходные он побывал с ней и с детьми на дне рождения в арендованном гулком зале, вокруг носились индийские и нигерийские дети, а Оджиуго нашептывала ему то-сё о некоторых, кто был смышлен в математике, но отставал по грамматике, о том, кто был для Нне главным соперником. Она знала оценки по контрольным у всех умненьких деток. Не сумев вспомнить, сколько получила за последнюю контрольную лучшая подружка Нне, индийская девочка, Оджиуго подозвала Нне и

спросила у нее. «А, а, Оджиуго, пусть играет», — сказал Обинзе.

Оджиуго запечатлела на лбу у Нне третий поцелуй.

— Сокровище мое. Нужно еще платье для праздника.

— Да, мамочка. Что-нибудь красное, нет, бордовое.

— У ее подружки праздник, у русской девочки, они подружились, потому что у них общая учительница по скрипке. Когда я познакомилась с мамой девочки, мне показалось, что на ней что-то нелегальное надето, вроде меха вымершего животного, и она пыталась изображать, будто у нее нет русского акцента, быть большей британкой, чем сами британцы!

— Она хорошая, мамочка, — сказала Нне.

— Я не сказала, что она нехорошая, мое сокровище, — отозвалась Оджиуго.

Нна сделал погромче.

— Уверни громкость, Нна, — велела Оджиуго.

— Мамочка!

— Уверни громкость сейчас же!

— Но я ничего не слышу, мамочка!

Громкость он не увернул, а Оджиуго больше ничего ему не сказала; повернулась к Обинзе и продолжила разговаривать.

— Кстати, об акцентах, — сказал Обинзе. — А Нна выкрутился бы, если бы у него не было иностранного акцента?

— Ты о чем?

— В прошлую субботу, когда Чика и Босе привезли своих детей, я подумал, что нигерийцы тут спускают своим детям столько всякого лишь потому, что у тех иностранный акцент. Правила другие.

— Имба,^[138] дело не в акцентах. В Нигерии люди воспитывают в детях страх, а не уважение. Мы не хотим, чтобы они нас боялись, но это не значит, что мы им все с рук будем спускать. Мы их наказываем. Мальчик знает, что я его стукну, если чудить начнет. Серьезно шлепну.

— Мне кажется, эта дама слишком много наобещала.^[139]

— О, она все это исполнит!^[140] — Оджиуго улыбнулась. — Знаешь, я книг не читала сто лет. Времени нету.

— Моя мама говаривала, что ты станешь выдающимся литературным критиком.

— Да. Пока сын ее брата меня не обрюхатил. — Оджиуго примолкла, все еще улыбаясь. — А теперь у меня только дети. Хочу, чтобы Нна учился в Школе лондонского Сити.^[141] А дальше, с божьей помощью, — в Мальборо или Итоне.^[142] Нне — уже звезда в учебе, я знаю, она получит

стипендию в любой приличной школе. Все теперь ради них.

— В один прекрасный день они вырастут и покинут дом, а ты станешь для них источником неловкости или раздражения, они прекратят снимать трубку или неделями не будут звонить, — сказал Обинзе. И, едва успев договорить, пожалел о своих словах. Мелочно вышло, не так, как ему хотелось. Но Оджиуго не обиделась. Пожала плечами и промолвила:

— Тогда я возьму сумку да пойду стоять у их дома.

Обинзе смутило, что она не печалится ни о чем, чего могла бы достичь. Свойственно ли это всем женщинам или они просто умеют скрывать свои личные сожаления, откладывая жизнь, включаться в заботу о детях? Оджиуго торчала на форумах по образованию, музыке и школам и рассказывала Обинзе о своих находках так, будто взаправду считала, что всему миру должно быть интересно, как музыка помогает развивать математические способности у девятилетних. Или же часами висела на телефоне, болтая с подругами о том, какой преподаватель скрипки лучше, а какой учебный курс — зряшная трата денег.

Однажды, когда спешила с Нной на его занятия по фортепиано, она позвонила Обинзе и сказала, смеясь:

— Представляешь, я забыла почистить зубы!

Она возвращалась домой со встреч «Наблюдателей за весом» и сообщала ему, сколько она набрала или сбросила, пряча печенья «Твикс» в сумке, а следом со смехом предлагала «Твикс» ему. Позднее она присоединилась к другой программе похудения, ходила на две утренние встречи и, вернувшись домой, сообщила ему:

— Больше туда не пойду. Они с тобой обращаются, точно у тебя с головой нехорошо. Я сказала, дескать, нет у меня никаких внутренних неурядиц, уверяю вас, я просто люблю вкус еды, а одна спесивая женщина сказала мне, будто у меня внутри что-то не так и что я подавляю. Чушь. Эти белые думают, что у всех вокруг беда с головой.

Она теперь стала вдвое крупнее, чем когда-то в университете, и пусть в те поры никогда не одевалась с иголки, был в ее нарядах намек на тщательно продуманный стиль: джинсы, подвернутые у щиколоток, мешковатые блузки, съезжавшие на одно плечо. А ныне она смотрелась просто неряшливо. Джинсы обнажали валик рыхлой плоти над талией, что уродовало посадку футболок, будто под ними отросло нечто инородное.

Иногда приходили ее подруги, усаживались на кухне и болтали, пока не разбегались за детьми. В те недели, когда Обинзе внутренне призывал телефон зазвонить, он научился различать их голоса. Отчетливо слышал их из крошечной спальни наверху, где читал, лежа на кровати.

— Я тут познакомилась с одним мужчиной, — говорила Чика. — Милый-о, но такой дремучий. Вырос в Ониче,^[143] ну и вы представляете, какой у него дремучий акцент. Он путает «с» и «ш». «Пойду на шоппинг». «Шадитесь в крешло».

Все рассмеялись.

— Ну в общем, он рассказал мне, что желает жениться на мне и усыновить Чарлза. Желает он! Будто благотворительностью заняться хочет. Желает! Вообразите. Но он не виноват, просто мы в Лондоне. Он из породы мужчин, на каких я в Нигерии и не глянула бы, какое там встречаться. Беда в том, что вода тут в Лондоне вечно не ту дырочку находит.

— Лондон всех уравнивает. Мы все теперь в Лондоне — и все теперь одинаковые, вот чушь-то, — сказала Босе.

— Может, ему ямайскую женщину себе найти, — сказала Амара. Муж бросил ее ради ямайки, с которой у него, как выяснилось, втайне имелся четырехлетний ребенок, и Амаре удавалось свернуть любой разговор на тему ямайцев. — Эти вест-индские женщины забирают наших мужчин, а наши мужчины — идиоты, вот и идут за ними. Того и гляди начнут залетать, а жениться на них не надо-о, пусть только алименты платят. Тратят все деньги на прически и ногти.

— Да, — дружно согласились Босе, Чика и Оджиуго. Привычное, автоматическое согласие: эмоциональное благополучие Амары было важнее того, что они на самом деле считали.

Зазвонил телефон. Оджиуго поговорила, а затем вернулась и доложила:

— Эта вот женщина, которая звонила, — тот еще персонаж. Ее дочка и моя Нне в одном оркестре. Я с этой женщиной познакомилась, когда у Нне был первый экзамен. Приехала на «бентли», черная, с водителем, все дела. Спросила меня, где я живу, а когда я сказала — сразу поняла, что она себе думает: как кому-то из Эссекса может прийти в голову Национальный детский оркестр? Ну и я решила нарваться и сказала ей: «Моя дочь ходит в Brentwood», и видали бы вы ее лицо! Вы ж понимаете, что такие, как мы, не должны заикаться о частных школах и музыке. Предел наших мечтаний — хорошая государственная школа. И я просто глядела на нее и внутри смеялась. И тут она мне начала рассказывать, что музыка для детей — это очень дорого. Все говорила и говорила, как это дорого, будто видела мой пустой банковский счет. Вообразите-о! Из тех она черных, которые хотят быть единственными черными в помещении, потому что любой другой черный для нее прямая угроза. Она только что позвонила, чтобы сообщить мне, что прочитала в интернете о какой-то одиннадцатилетней девочке, у

которой пятая категория, [\[144\]](#) и ее не взяли в Национальный детский оркестр. Зачем звонить, чтобы доложить мне эту паршивую новость?

— Враг прогресса! — сказала Босе.

— Она ямайка? — спросила Амара.

— Она черная британка. Откуда она родом, я не знаю.

— Наверняка ямайка, — сказала Амара.

Глава 25

Ловкий — вот каким словом все описывали Эменике в средней школе. Ловкий — ядовитое обожание всех. Ловкий Парень. Ловкий Мужик. Если было откуда добыть экзаменационные вопросы, Эменике знал откуда. Знал он и какая девчонка пошла на аборт, какой недвижимостью владели родители состоятельных учеников, кто из учителей с кем спал. Он всегда говорил быстро, задиристо, будто любой разговор был спором, скорость и сила его слов подразумевали авторитетность и пресекали возражения. Он знал — и рвался знать. Когда бы Кайоде ни возвращался с лондонских каникул, пыша злободневностью, Эменике допрашивал его о самых свежих фильмах и музыке, после чего инспектировал обувь и одежду.

— Это один и тот же дизайнер? Как вот это называется? — спрашивал Эменике с дикой жаждой в глазах. Он доложил всем, что его отец в их родном городе — *игве*^[145] и что он отправил сына в Лагос жить с дядей, пока Эменике не стукнет двадцать один, чтобы не подвергать мальчика тяготам королевской жизни. Но однажды в школу прибыл старик в брюках с заплатой возле колена, лицо изможденное, тело согбенно от унижений, навязанных ему нищетой. Все мальчишки смеялись, обнаружив, что это и есть на самом деле отец Эменике. Смех тот быстро забылся — возможно, потому, что никто никогда толком не верил в историю про королевского сына; Кайоде вообще-то всегда звал Эменике селянином у него за спиной. А может, все потому, что Эменике был им нужен — у него имелись сведения, каких не доставалось больше никому. Вот эта бесшабашность и привлекала к нему Обинзе. Эменике был из тех немногих, для кого «читать» не означало «учиться», и они часами обсуждали книги, меняли знание на знание и играли в скрэбл. Их дружба крепла. В университете, когда Эменике жил с ним на мужской половине в доме его матери, люди иногда считали их родней. «Как там твой брат?» — спрашивали у Обинзе. И Обинзе отвечал: «В порядке», не вдаваясь в объяснения, что они с Эменике вообще не родственники. Однако многое Обинзе об Эменике не знал, о многом не спрашивал. Эменике частенько отсутствовал в школе, недели напролет, и лишь расплывчато говорил, что «уезжал домой», и без конца толковал о людях, «выбравшихся» за рубеж. Была в нем скрученная пружиной, неугомная непоседливость человека, считавшего, что рок по ошибке выделил ему место ниже его истинной судьбы. Когда он уехал в Англию во время забастовки на их втором курсе, Обинзе и не знал, что

Эменике получил визу. И все же порадовался за него. В Эменике было через край устремлений, и Обинзе решил, что эта виза — милость: устремлениям теперь можно достичь своего. Довольно скоро стало казаться, что Эменике оповещает лишь о прогрессе: завершил диссертацию, нашел работу в жилищном хозяйстве, женился на англичанке — городском адвокате.

Эменике стал первым, кому Обинзе позвонил, прибыв в Англию.

— Зед! Рад тебя слышать. Давай я перезвоню, у меня тут сейчас управленческое заседание, — сказал Эменике. Когда Обинзе позвонил вторично, голос у Эменике был несколько измученный. — Я в Хитроу. Мы с Джорджиной едем на неделю в Брюссель. Перезвоню, когда вернемся. Рвусь увидеться с тобой, чувак!

На электронное письмо Эменике ответил похоже: «Как я рад, что ты тут, чувак, когда ж увидимся-то!» Обинзе сдуру вообразил, что Эменике его примет, покажет, что к чему. Он наслушался историй о друзьях и родственниках, которые в суровости зарубежной жизни сделались ненадежными, даже ожесточенными версиями бывших себя самих. Но что там говорят об упрямстве надежды, о нужде верить в собственную исключительность, в то, что такое случается с другими, у кого друзья не такие, как у тебя? Обинзе обзвонил остальных друзей. Носа, уехавший сразу после выпуска, забрал его на станции метро и отвез в паб, где вскоре собрались и другие друзья. Все жали друг другу руки, хлопали по спинам и пили светлое. Смеялись, вспоминая школу. Подробностей текущей жизни сообщали очень мало. Когда Обинзе сказал, что ему нужно добыть НГС, и спросил: «Ребят, как тут крутиться?» — все неопределенно покачали головами.

— Просто держи нос по ветру, чувак, — сказал Чиди.

— Главное — поближе к центру Лондона. В Эссексе ты слишком далеко от всего, — сказал Вале.

Пока Носа вез его обратно на остановку, Обинзе спросил:

— А ты где работаешь, парень?

— В подполье. Серьезный замут, но все наладится, — сказал Носа. Хотя Обинзе понимал, что речь о метро, слова «в подполье» навеяли мысли о мрачных тоннелях, что вгрызались в землю и тянулись бесконечно, никуда не ведя. — А наш мистер Ловкий Парень Эменике? — спросил Носа, и голос оживился злорадством. — У него все очень хорошо, живет в Излингтоне со своей женой-ойинбо, которая ему в матери годится. Сделался пафосным-о. С обычными людьми больше не разговаривает. Он может помочь тебе порядок навести.

— Он много ездит, мы еще не виделись, — сказал Обинзе, чересчур отчетливо слыша увечность собственных слов.

— Как твой двоюродный братец Илоба? — спросил Носа. — Я видел его в прошлом году на свадьбе у брата Эмеки.

Обинзе даже не помнил, что Илоба живет теперь в Лондоне, — видел его последний раз за несколько дней до выпуска. Илоба был просто из родного города матери, но так воодушевлялся их с Обинзе родством, что все в студгородке считали их двоюродными братьями. Илоба, улыбаясь, частенько подтаскивал стул и без приглашения подсаживался к Обинзе и его друзьям в придорожном баре — или же являлся к Обинзе на порог воскресными вечерами, когда тот был изможден бездельем воскресных вечеров. Как-то раз Илоба остановил Обинзе на плацу возле корпуса общеобразовательных предметов, жизнерадостно окликнув его: «Родич!» — а затем вывалил все сведения о браках и смертях людей из маминого родного города, которых Обинзе едва знал.

— Удоакпуаньи умер сколько-то недель назад. Ты его не знал? У них участок рядом с твоей матерью.

Обинзе кивал и издавал уместные звуки, потакая Илобе, поскольку тот всегда был очень милым и самозабвенным, а штаны у него такие тесные и короткие, что торчали костлявые щиколотки; благодаря им он заработал себе кличку Илоба Прыг-Скок, которое вскоре превратилось в Лоба Пустячок.

Обинзе добыл номер Илобы у Николаса и позвонил ему.

— Зед! Родич! Ты не говорил, что собираешься в Лондон! Как твоя мама? А дядя, который женился на той, из Абаганы?^[146] Как Николас? — Голос у Илобы наполнился простым счастьем.

Бывают люди, отродясь не способные застревать в темных эмоциях, в трудностях, и Илоба был из таких. Такими людьми Обинзе восхищался — и ему с ними было скучно. Когда Обинзе спросил, не может ли Илоба помочь ему обрести НГС, он с пониманием отнесся бы и к некоторой сдержанности, и к некоторой грубости — в конце концов, он вышел на связь с Илобой только потому, что ему от него было что-то нужно, — однако удивился, до чего искренне и пылко Илоба рвался ему помочь.

— Я бы тебе свой дал, но я по нему работаю, и это рискованно, — сказал он.

— Где работаешь?

— В Центральном Лондоне. Охранником. Оно непросто, в этой стране вообще непросто, но справляемся. Ночные смены мне нравятся, потому что успеваю читать по учебе. На управленца учусь, мастерская степень в

Бёркбеке.^[147] — Илоба примолк. — Зед, ты не волнуйся, помозгуем вместе. Давай я поспрашиваю и тебе сообщу.

Илоба перезвонил через две недели и доложил, что кое-кого нашел.

— Его зовут Винсент Оби. Он из Абиа.^[148] Один мой друг нас связал. Он готов встретиться с тобой завтра вечером.

Они встретились на квартире у Илобы. У жилища был клаустрофобный дух: бетонные джунгли без деревьев, иссеченные стены здания. Все вокруг казалось слишком мелким, слишком тесным.

— Приятное у тебя место, Лоба Пустячок, — сказал Обинзе — не потому что квартира была приятной, а потому что у Илобы квартира в Лондоне.

— Я бы тебя позвал к себе насовсем, Зед, но живу с двумя двоюродными. — Илоба поставил на стол бутылки с пивом и маленькую тарелку жареного чин-чина.^[149] Он пронзил Обинзе острой тоской по дому — этот ритуал гостеприимства. Обинзе вспомнил, как ездил на Рождество в деревню с матерью, и тетки угощали его чин-чином.

Винсент Оби оказался маленьким кругленьким человеком, утопленным в джинсы и несуразное пальто. Они с Обинзе обменялись рукопожатиями и оценили друг друга. По развороту Винсентовых плеч, по тому, какой он был тертый с виду, Обинзе понял, что Винсент очень рано научился по необходимости разбираться со своими задачами самостоятельно. Обинзе представил себе его нигерийскую жизнь: общинная средняя школа, набитая босоногими детьми, техникум, оплаченный с помощью множества дядьев, многодетная семья и толпа иждивенцев у него на малой родине, которые, когда б он ни приезжал, ожидали громадные буханки хлеба и деньги на карман, прилежно раздаваемые каждому. Обинзе взглянул на себя глазами Винсента: сынок университетской профессорши, выросший на сливочном масле, просит его помощи. Поначалу Винсент изображал британский акцент, слишком много раз повторив «правдаш».

— Это бизнес, правдаш, но я тебе помогу. Пользуйся моим НГС и плати мне сорок процентов всего, что заработаешь, — сказал Винсент. — Это бизнес, правдаш. Если не получу того, о чем договорились, я о тебе донесу.

— Брат мой, — сказал Обинзе, — это чуточку многовато. Ты же понимаешь мое положение. У меня ничего нет. Прошу тебя, подвинься.

— Тридцать пять процентов, дальше некуда. Это бизнес. — Он отбросил акцент и заговорил на нигерийском английском. — Знаешь ли,

людей в твоём положении полно.

Илоба заговорил на игбо:

— Винсент, мой брат пытается накопить денег на документы. Тридцать пять — это очень много, *о рика*^[150], *бико*. Прошу тебя, пожалуйста, попробуй нам помочь.

— Ты же понимаешь, некоторые половину забирают. Да, он попал в положение, но мы тут все в нём. Я помогаю ему, но это бизнес. — Игбо у Винсента был с деревенскими нотками. Он положил карточку НГС на стол и начал писать номер своего банковского счета на клочке бумаги. У Илобы зазвонил телефон. В тот вечер, с приходом сумерек, когда небо преобразилось в бледно-лиловое, Обинзе стал Винсентом.

Глава 26

После случая с горкой дерьма на крышке унитаза Обинзе-Винсент уведомил агентство, что на эту работу более не вернется. Взятся штудировать газетные страницы, посвященные вакансиям, сел на телефон и подрядился, пока агентство не подыщет ему другую работу, убирать просторные коридоры на складе моющих средств. Здание по соседству убирал желтушный темноволосый бразилец.

— Я Винсент, — сказал Обинзе, когда они встретились в подсобке.

— Я Ди. — Молчание. — Нет, ты не англичанин, сможешь произнести, значит. Мое настоящее имя — Дуэрдиньито, но англичане, они не могут, поэтому зовут меня Ди.

— Дуэрдиньито, — повторил Обинзе.

— Да! — Восторженная улыбка. Неприметная связь инородцев. Они поговорили, опорожня пылесосы, об Олимпийских играх 1996 года, Обинзе злорадствовал, что Нигерия победила Бразилию, а следом и Аргентину.

— Кану^[151] молодец, что уж там, — сказал Дуэрдиньито. — Но Нигерии повезло.

Обинзе ежевечерне был покрыт химической пылью. В ушах оседал какой-то песок. Обинзе, прибираясь, старался не дышать глубоко — страшился опасности в воздухе, пока его управляющий не сказал, что он уволен по сокращению штата. Следующая работа — временная замена в компании, доставлявшей кухни, неделю за неделей сидеть рядом с белыми шоферами, которые звали его «поденщиком», нескончаемые стройки, грохот, каски, таскание деревяшек по длинным лестницам, никакой помощи, никакой благодарности. В том, как шоферы ездили с ним молча, и в их тоне, когда они говорили «поденщик», Обинзе ощущал их неприязнь. Однажды, когда он споткнулся и упал на колено, да так сильно, что обратно к грузовику хромал, шофер сказал остальным на складе: «Коленке его амба, потому что он мумба-юмба!» — и все рассмеялись. Это злобствование задевало, но лишь самую малость — Обинзе было важно, что он зарабатывал четыре фунта в час, в сверхурочные — и того больше, а когда его отправили на другой склад доставки в Западном Тёрреке, он забеспокоился, что там ему не достанется сверхурочных.

Начальник нового склада выглядел как архетип англичанина, каким Обинзе его себе представлял: высокий, тощий, волосы песочного цвета,

глаза голубые. Но оказался улыбчивым, а в воображении Обинзе англичане не улыбаются. Звали его Роем Снеллом. Он энергично потряс Обинзе руку.

— Так, Винсент, ты из Африки? — спросил он, показывая Обинзе склад размером с футбольное поле, куда просторнее предыдущего, и всюду грузили машины, расплющенные картонные коробки складывали в глубокую яму, переговаривались люди.

— Да. Я родился в Бирмингеме, в Нигерию меня привезли, когда мне было шесть. — Они с Илобой решили, что такая история — самая убедительная.

— А чего вернулся сюда? Плохи дела в Нигерии?

— Просто хотел попробовать, не лучше ли будет здесь.

Рой Снелл кивнул. Он показался человеком, для которого определение «славный» будет всегда в самый раз.

— Сегодня будешь работать с Найджелом, он наш младшенький, — сказал он, показывая на мужчину с бледным рыхлым телом, колючими темными волосами и едва ли не херувимским личиком. — Думаю, тебе тут понравится, малец Винни! — Переход от Винсента к мальцу Винни занял у него пять минут, и в последующие месяцы, когда они играли в пинг-понг во время обеденных перерывов, Рой говорил остальным: «Надо мне забороть мальца Винни, ну хоть раз!» И все прыскали и повторяли за ним: «мальца Винни».

Обинзе веселило, до чего рьяно пролистывали эти мужики свои газеты по утрам — и вперялись в фото большегрудой женщины, изучали ее, будто невероятно интересный предмет, хотя этот снимок ничем не отличался от картинки в предыдущий день или на прошлой неделе. Разговоры у них, пока ждали погрузки, вечно крутились вокруг машин, футбола и, главное, женщин, каждый рассказывал байки чересчур завиральные и чересчур похожие на то, что уже было доложено днем раньше или неделю назад, и всякий раз они поминали «штанишки» — «деваха засветила штанишки», — и Обинзе веселился еще больше, поскольку в нигерийском английском «штанишками» называли в первую очередь шорты, а не исподнее, и он представлял этих пышных женщин в скверно сидящих шортах-хаки, какие он носил в младших классах средней школы.

По утрам Рой Снелл приветствовал его на работе тычком в живот.

— Малец Винни! Все путем? Все путем? — спрашивал он. Он всегда вписывал Обинзе на задания, за которые лучше платили, всегда спрашивал, не хочет ли он поработать в выходные, а это вдвое больше денег, всегда интересовался девушками. Словно Рой к нему как-то по-особенному проникся, и была в этом и опека, и доброта.

— Ты ж ни разу не перепихнулся, как в Британию приехал, а, малец Винни? Могу дать тебе номерок одной девахи, — предложил Рой как-то раз.

— У меня дома девушка, — сказал Обинзе.

— Чего ж плохого в перепихоне-то?

Кое-кто рядом заржал.

— Моя девушка умеет колдовство, — сказал Обинзе.

Рой счел это еще более смешным, чем казалось Обинзе. Он хохотал, уняться не мог.

— Она, значит, по ведьмовству, а? Ладно, никаких тогда тебе перепихонов. Всегда хотел поехать в Африку, малец Винни. Думаю, возьму отпуск и дерну в Нигерию, когда ты туда соберешься. Покажешь мне окрестности, найдешь мне каких-нибудь нигерийских девах, малец Винни, но никакого ведьмовства!

— Да, можно.

— О, с тобой точно можно! Вид у тебя такой, будто ты знаешь, что к чему с девахами, — сказал Рой и прописал Обинзе еще один тычок в живот.

Рой часто ставил Обинзе работать с Найджелом — возможно, потому, что они были самыми младшими на весь склад. В то первое утро Обинзе заметил, что другие мужчины, пившие кофе из бумажных стаканчиков и глазевшие в график на доске, кто с кем работает, над Найджелом смеялись. У Найджела не было бровей, и участки чуть розовой кожи там, где полагалось быть бровям, придавали его пухлому лицу незавершенный, призрачный вид.

— Я в пабе напился вдрызг, и мои кореша сбрили мне брови, — сказал Найджел Обинзе, словно извиняясь, когда они жали друг другу руки.

— Никаких тебе перепихонов, пока брови не отрастишь, кореш, — выкрикнул один из работяг, когда Найджел с Обинзе направились к грузовику.

Обинзе привязал в глубине стиральные машины, затянул стропы до звона, а затем влез в кабину и изучил карту — поискал кратчайшие маршруты до адреса доставки. Найджел резко входил в повороты и бормотал о том, как нынче люди водят. На светофоре достал из сумки, которую держал у ног, бутылку одеколона, попрыскал себе на шею и предложил Обинзе.

— Нет, спасибо, — сказал Обинзе. Найджел пожал плечами. Через несколько дней предложил еще раз. В кабине от запаха этого одеколона было не продохнуть, и Обинзе по временам глубоко втягивал свежий воздух из окошка.

— Ты ж недавно из Африки. Лондонских видов не видел, кореш, а? — спрашивал Найджел.

— Верно, — говорил Обинзе.

И вот так, после ранних доставок в Центральном Лондоне, Найджел взялся прокатить Обинзе — показал ему Букингемский дворец, Тауэрский мост, а попутно всю дорогу болтал об артрите своей матери и о титьках своей подруги Хейли. Чтобы полностью разобраться, что говорит Найджел, ушло кое-какое время — из-за его акцента, который был еще более искаженной версией акцентов тех, с кем Обинзе работал: всякое слово вывихнуто и растянуто так, что на выходе получалось что-то совсем другое. Как-то раз Найджел сказал «мужской», а Обинзе послышалось «морской», а когда Обинзе наконец понял, что Найджел имел в виду, тот рассмеялся и сказал:

— У тебя выговор как бы пафосный, а? Африканский пафосный.

Однажды, уже через несколько месяцев работы, после доставки нового холодильника куда-то в Кензингтон Найджел отозвался о старике, вышедшем в кухню: «Настоящий жентьльмен, этот-то». Тон восторженный, слегка подобострастный. Вид у старика был неряшливый и похмельный, волосы всклокочены, халат на груди распахнут, и сказал он насмешливо: «Вы, конечно, понимаете, как это все установить», словно сомневался. Обинзе поразило, что Найджел счел этого человека «жентьльменом» и потому не стал брюзжать, какая грязная у старика кухня, как обычно бывало. А заговори человек с другим акцентом, Найджел бы обозвал его жмотом — за то, что не дал чаевых.

Они подъезжали к следующему адресу доставки, в Южном Лондоне, Обинзе только что позвонил заказчику и сообщил, что они уже рядом, и тут Найджел выпалил:

— Что сказать девушке, которая нравится?

— В смысле? — не понял Обинзе.

— Если по правде, я Хейли не дрючу вообще-то. Она мне нравится, но я не знаю, как ей сказать. Давеча зашел к ней, а там у нее какой-то парняга. — Найджел примолк. Обинзе постарался сохранить бесстрастное лицо. — А ты, похоже, знаешь, как с деваками разговаривать, кореш, — добавил Найджел.

— Просто скажи ей, что она тебе нравится, — промолвил Обинзе, вспоминая, как гладко Найджел, наравне с другими мужиками на складе, частенько добавлял своих баек о перепихонах с Хейли, а однажды — даже о том, как он дрючил подругу Хейли, пока сама она была в отпуске. — Никаких выкрутасов, никаких подходцев. Просто скажи ей, мол, ты мне

нравишься и я считаю, что ты красивая.

Найджел одарил его уязвленным взглядом. Словно убедил себя, что Обинзе — мастак в смысле женщин, и ждал от него некоей глубинной мудрости, о какой Обинзе, выгружая посудомоечную машину на тележку и катя ее к дверям, мечтал и сам. Дверь открыла индианка, дородная, добрая домохозяйка; предложила им чаю. Многие предлагали им чаю или воды. Одна грустная с виду женщина предложила Обинзе маленькую баночку домашнего варенья, и он замялся, но отчего-то догадался, что какая б ни была у этой женщины глубокая печаль, от его отказа она сделается глубже, и потому забрал варенье домой, и оно все еще томилось в холодильнике непочатое.

— Спасибо, спасибо, — приговаривала индианка, пока Обинзе с Найджелом устанавливали новую посудомойку и выкатывали старую.

В дверях она дала Найджелу чаевые. Найджел был единственным шофером, делившимся пополам с Обинзе, — остальные прикидывались, что забывают поделиться. Однажды, когда Обинзе работал с другим шофером, старая ямайка сунула ему в карман десять фунтов, пока шофер не видит.

— Спасибо, брат, — сказала она, и Обинзе захотелось позвонить матери в Нсукку и рассказать об этом.

Глава 27

На Лондон оседали угрюмые сумерки; Обинзе зашел в кафе при книжном магазине и уселся за моккой и черничным кексом. Пятки у него приятно гудели. Не очень холодно — в шерстяном пальто Николаса ему потелось, оно теперь висело на спинке стула. Таков был его еженедельный подарок самому себе: зайти в книжный магазин, купить дорогуший кофейный напиток и прочитать как можно больше за так, вновь стать Обинзе. Иногда он просил высадить его в центре Лондона после доставки и тогда бродил по улицам, в итоге оказывался в каком-нибудь книжном, плюхался на пол где-нибудь в углу, подальше от скопления людей. Читал современную американскую прозу — надеялся отыскать отклик своим мечтам, чувство Америки, частью которой себя представлял. Желал знать о повседневной жизни Америки, о том, что люди едят, что их поглощает, из-за чего им стыдно, к чему тянет, но прочитывал роман за романом и разочаровывался: ничего глубокого, ничего серьезного, ничего насущного, в основном все растворялось в ироничной пустоте. Он читал американские газеты и журналы, а британские лишь пролистывал, потому что там появлялось все больше статей об иммиграции, и каждая порождала новую панику у него в груди. «Школы заполонили беженцы». Он все еще никого не нашел. На прошлой неделе встретился с двумя нигерийцами, далекими друзьями друзей, и они сказали, что знают одну женщину из Восточной Европы, и он отдал им сто фунтов. Теперь же они не перезванивали, а если звонить им, включался автоответчик. Кекс он не доел. Обинзе не осознавал, как быстро набежал в кафе народ. Ему было удобно, даже уютно, он увлекся журнальной статьей, и тут подошла женщина с ребенком и спросила, можно ли к нему подсесть. Орехового цвета кожа, темные волосы. Он подумал, что они бангладешцы или шриланкийцы.

— Конечно, — сказал он и сдвинул стопку книг и журналов, хотя они и не занимали ту часть стола, которую подсевшие к Обинзе хотели для себя. Мальчику на глаз было лет восемь-девять, облачен в свитер с Микки-Маусом, в руках — синий «Гейм-Бой». У женщины было кольцо в ноздре, крошечная стекловидная штучка, блестящая, когда женщина двигала головой. Она спросила, хватит ли ему места для журналов, не подвинуться ли ей. Затем сообщила сыну — смешливым тоном, явно адресованным Обинзе, — что она вечно сомневается, для помешивания ли предназначены узкие деревянные щепочки рядом с пакетиками сахара.

— Я не маленький! — сказал ее сын, когда она собралась нарезать ему кекс.

— Я думала, тебе так будет проще.

Обинзе поднял взгляд и увидел, что она обращается к сыну, а смотрит на него и в глазах у нее некое томление. Он уловил в этом возможность, шанс встречи с незнакомкой и подумал о тропах, какими это может его повести.

У мальчика было радостное и пытлиное лицо.

— Вы живете в Лондоне? — спросил он Обинзе.

— Да, — ответил тот, но это «да» не излагало его истории — что он и впрямь живет в Лондоне, но невидимкой, его существование — как стертый карандашный набросок: всякий раз, заведя полицейского или кого угодно в форме, хоть самую малость пахнувшего властью, Обинзе боролся с позывом удрать.

— Его отец скончался год назад, — сказала женщина вполголоса. — Первый раз приехали в Лондон без него. Раньше каждый год бывали на Рождество. — Женщина все кивала и кивала вслед словам, а у мальчика сделался раздраженный вид, как будто он не хотел, чтобы Обинзе это знал.

— Как жаль, — сказал Обинзе.

— Мы были в Тейте, — сказал мальчик.

— Понравилось? — спросил Обинзе.

Мальчик скривился.

— Скучно.

Женщина поднялась.

— Нам пора. Идем на спектакль. — Она повернулась к сыну и добавила: — «Гейм-Бой» с собой не берем, так и знай.

Мальчик не обратил на нее внимания, сказал Обинзе «пока» и направился к двери. Мать одарила Обинзе долгим взглядом, еще более искательным, чем прежде. Быть может, она глубоко любила своего мужа, и впервые осознать, что она вновь чувствует притяжение, оказалось ошарашивающим открытием. Он смотрел, как они уходят, раздумывал, не подняться ли и не спросить ли, как с ней связаться, но знал, что не станет. Было что-то в этой женщине, что натолкнуло его на мысли о любви, и, как всегда, на ум пришла Ифемелу. И тут совершенно внезапно на него нахлынуло плотское желание. Припадок вожделения. Ему захотелось трахнуть кого-нибудь. Надо отправить эсэмэску Тендаи. Они познакомились на вечеринке, куда его притащил Носа, и Обинзе очутился в тот вечер в ее постели. Бывалая, широкобедрая зимбабвийка Тендаи, любительница подолгу лежать в ванне. Она таращилась на него в смятении,

когда он впервые прибрался у нее в квартире и приготовил ей джоллоф. Она до того не привыкла, чтобы мужчина обращался с ней по-человечески, что наблюдала за ним безотрывно, тревожно, затуманенным взором, словно задерживала дыхание и ждала, когда ее начнут обижать. Она знала, что у него нет документов.

— Иначе ты был бы из тех нигерийцев, что работают в интернет-технологиях и водят БМВ, — сказала она.

У нее был британский ВНЖ, а через год — и паспорт, и она намекала, что, возможно, согласится ему помочь. Но он не хотел усложнять себе жизнь женитьбой ради документов: однажды она проснется и убедит себя, что не ради документов это все затевалось.

Прежде чем уйти из книжного, он отправил Тендаи СМС: «Ты дома? Думал заскочить». Он шел к метро, на него сыпалась ледяная морось, крошечные капли дождя разбрызгивались о его пальто, а когда добрался до лестницы, поразился, сколько на ней плевков. Почему не выйти со станции и уже тогда плевать? Он сел на замаранное сиденье в шумном поезде, напротив женщины, читавшей вечернюю газету. «Говорите дома по-английски, велит иммигрантам Бланкетт». Он вообразил себе статью, которую она читала. Столько их было теперь в газетах, и эхо их на радио и в телевизоре, даже в болтовне людей на складе. Над Британскими островами дул ветер, столь провонявший страхом перед беженцами, что он заражал всех паникой неотвратимого рока, и потому статей насочиняли — и их было кому читать — попросту и напористо, будто писавшие жили в мире, где настоящее не связано с прошлым, и никто не мыслит теперешний наплыв в Британию черных и коричневых людей из стран, созданных Британией, нормальным ходом истории. Но Обинзе все же понимал. Это же утешительно — такое отрицание истории. Женщина закрыла газету и посмотрела на него. У нее были жесткие бурые волосы и холодный недоверчивый взгляд. Обинзе призадумался, что у нее на уме. Размышляет ли она, что вот, дескать, один из этих иммигрантов-нелегалов, перегружающих и без того людный остров? Позднее, в поезде на Эссекс, он заметил, что все люди вокруг него — нигерийцы, громкие разговоры на йоруба и пиджине заполнили вагон, и он на миг увидел эту раскованную небелую инородность сцены недоверчивыми глазами белой женщины в метро. Он вновь подумал о шриланкийской или бангладешской женщине и о тени скорби, из-под которой она только начала выбираться, подумал о маме и об Ифемелу, о жизни, какую себе придумал, какую теперь вел, — о жизни, залакированной работой и чтением, паникой и надеждой. Никогда прежде не было ему так одиноко.

Глава 28

Однажды утром ранним летом, когда в воздухе возникло обновленное тепло, Обинзе прибыл на склад и тут же понял, что чего-то не хватает. Мужики избегали смотреть на него, в движениях — неестественная скованность. Найджел, завидев Обинзе, стремительно — слишком стремительно — направился к туалетам. Они знали. Должны были рано или поздно узнать. Видели заголовки в газетах — беженцы истощают государственную систему здравоохранения, — знали об ордах, все более заполняющих запруженный остров, а теперь проведали, что он — из проклятых, работает под именем, которое ему не принадлежит. А где же Рой Снелл? Ушел звонить в полицию? В полицию ли в таких случаях звонят? Обинзе попытался вспомнить подробности историй о людях, которых ловили и депортировали, но ум онемел. Обинзе почувствовал себя голым. Захотелось развернуться и удрать, но тело продолжало двигаться против его воли к погрузочной площадке. И тут он засек движение у себя за спиной, быстрое, резкое, слишком близко, и не успел обернуться, как ему на голову натянули бумажный колпак. Это был Найджел, а с ним — сборище улыбавшихся мужиков.

— С днем рождения, малец Винни! — сказали они хором.

Обинзе замер, напуганный полной пустотой в голове.

А затем осознал, в чем дело. У Винсента день рождения. Рой, видимо, сказал всем. Обинзе и сам-то не помнил, какая у Винсента дата рождения.

— Ой! — только и вымолвил он; облегчение — до тошноты.

Найджел позвал его в буфет, туда же потопали все остальные, Обинзе сел с ними — сплошь белые, кроме него и Патрика с Ямайки, — по кругу пошли кексы и кола, на которые они скинулись, чтобы отметить его день рождения, каким его знали, и от этого понимания на глаза Обинзе навернулись слезы: спасен.

Винсент позвонил ему в тот вечер, и Обинзе слегка удивился, поскольку Винсент звонил ему лишь раз, много месяцев назад, когда сменил банк и хотел выдать новый номер счета. Обинзе задумался, поздравлять ли Винсента с днем рождения и не связан ли и впрямь его звонок с этой датой.

— Винсент, кеду? — сказал он.

— Хочу повышения. — Он это в кино услышал? Эти слова, «хочу повышения», звучали натужно и комично. — Хочу сорок пять процентов. Я

знаю, что ты теперь работаешь больше.

— Винсент, а, а. Сколько у меня выходит? Ты же знаешь, я коплю деньги на эту историю с женитьбой.

— Сорок пять процентов, — повторил Винсент и повесил трубку.

Обинзе решил не обращать внимания. Он знал такой тип людей: напугают, чтобы посмотреть, как далеко могут зайти, а затем сдают назад. Если позвонить Винсенту, это придаст тому уверенности и он начнет требовать больше. Обинзе еженедельно ходил в Винсентов банк и клал деньги ему на счет — Винсент не рискнет остаться без такого. И потому, когда через неделю среди утренней суеты шоферов и грузовиков Рой сказал: «Малец Винни, зайти-ка ко мне в кабинет на минутку», Обинзе и не задумался. На столе у Роя лежала газета, сложенная на странице, где размещался снимок большегрудой женщины. Рой медленно поставил чашку с кофе на газету. Ему с виду было неудобно, и на Обинзе он впрямую не смотрел.

— Кто-то вчера позвонил. Сказал, что ты не тот, за кого себя выдаешь, что ты нелегал и работаешь под именем некоего брита. — Пауза. Обинзе прожгло изумлением. Рой вновь взялся за чашку. — Давай-ка ты принесешь завтра свой паспорт, и мы это все проясним, ладно?

Обинзе пробормотал первые пришедшие на ум слова:

— Ладно. Принесу завтра паспорт.

Он вышел из кабинета, зная, что никогда не вспомнит, что чувствовал мгновения назад. Просил ли Рой принести паспорт, исключительно чтобы облегчить ему увольнение, дать ему выход, или же Рой действительно верил, что звонивший не прав? Зачем кому-то звонить по такому поводу, если это неправда? Обинзе никогда не доводилось так старательно казаться нормальным, как в тот день, усмирять затопившую его ярость. Не мысль о власти, какую имел над ним Винсент, бесила его, а безоглядность, с какой Винсент ее применил. Обинзе покинул в тот вечер склад — в последний раз, жалея более всего на свете, что не назвал Найдзелу и Рою свое настоящее имя.

Несколько лет спустя, в Лагосе, когда Шеф велел ему найти белого человека, который мог бы стать главным управляющим, Обинзе позвонил Найдзелу. Номер мобильного телефона тот не сменил.

— Это малец Винни.

— Винсент! Ты в порядке, кореш?

— Я в порядке, как ты? — сказал Обинзе. А затем, погодя, произнес: — Винсент — не мое настоящее имя, Найджел. Меня зовут Обинзе. У меня для тебя работа в Нигерии.

Глава 29

Ангольцы говорили ему, что «все подорожало» или «стало круче», — расплывчатые слова, какими полагалось объяснять каждый следующий дополнительный запрос на деньги. «Мы так не договаривались», — отвечал Обинзе. Или: «У меня сейчас нет лишних наличных», а они отвечали: «Все подорожало, ага» — тоном, какой, как Обинзе казалось, должен сопровождаться пожатием плеч. Далее следовало молчание, безмолвие телефонной линии, сообщавшее ему, что это его трудности, не их. «Выплачу до пятницы», — говорил он наконец, после чего вешал трубку.

Мягкое сострадание Клеотилд его успокаивало. Она говорила ему: «У них мой паспорт», и ему это казалось смутно зловещим, чуть ли не удержанием заложника. «Иначе мы б могли все сами сделать», — добавляла она. Но он не хотел — ни сам, ни вдвоем с Клеотилд. Слишком важно это, ему нужен был вес знаний ангольцев, их опыт, чтобы все вышло гладко. Николас уже одолжил ему денег, Обинзе ненавидел себя за эту просьбу — из-за осуждения в неулыбчивых глазах Николаса, будто тот считал, что Обинзе — тюфяк избалованный, а у многих нет двоюродных братьев, у кого можно одалживаться. Эменике оставался единственным, у кого можно было попросить. Когда они разговаривали в последний раз, Эменике доложил Обинзе:

— Не знаю, видел ли ты этот новый спектакль в Уэст-Энде, но мы с Джорджиной недавно сходили — и прям обожаем, — будто Обинзе, работая доставщиком, жестоко экономя, поглощенный иммигрантскими тревогами, мог хотя бы помыслить о спектакле в Уэст-Энде.

Слепота Эменике удручила Обинзе, поскольку означала пренебрежение или того хуже — безразличие к нему и его текущей жизни. Он позвонил Эменике и сказал, произнося слова быстро, выпихивая их вон, что ему нужно пятьсот фунтов, которые он вернет, как только найдет другую работу, а затем, помедленнее, рассказал Эменике об ангольцах, о том, как близок он уже к бракосочетанию, но возникло так много дополнительных расходов, которые Обинзе не планировал.

— Без проблем. Давай встретимся в пятницу, — сказал Эменике.

И вот Эменике сидел напротив Обинзе в тускло освещенном ресторане, стряхнув с плеч куртку и явив рыжеватый кашемировый свитер, на вид — с иголки. Эменике, в отличие от большинства их друзей, живших теперь за рубежом, веса не набрал и не отличался от себя

прежнего, каким Обинзе помнил его в Нсукке.

— Зед, чувак, ты отлично выглядишь! — сказал он, и слова эти пылали неискренностью. Ну конечно же Обинзе не выглядел отлично: плечи ссутулены от напряжения, одежда — с плеча брата. — Абез, ^[152] прости, что не нашел времени встретиться. У меня рабочее расписание чумовое, а у нас еще и разъездов много. Я бы пригласил тебя к себе пожить, но такие решения я в одиночку принимать не могу. Джорджина не поймет. Сам знаешь этих *ойинбо*, они не ведут себя, как мы. — Губы у него задвигались, сложилось нечто вроде ухмылки. Он насмехался над женой, но по молчаливому благоговению тона Обинзе понимал, что эта насмешка окрашена уважением, она — над тем, что Эменике, вопреки себе самому, считал по определению чем-то превосходящим себя. Обинзе вспомнил, как в средней школе Кайоде частенько говаривал об Эменике: пусть хоть обчитается книг, но село — оно у него в крови. — Только что вернулись из Америки. Чувак, тебе надо съездить в Америку. Нет другой такой страны на свете. Мы прилетели в Денвер, а оттуда ехали машиной до Вайоминга. Джорджина только что покончила с одним крутым делом, помнишь, я тебе говорил, когда я в Гонконг летал? Она там была по работе, и я к ней мотался на длинные выходные. Ну и я подумал, что надо нам в Америку съездить, Джорджине нужен отдых.

У Эменике запищал телефон. Он вытащил его из кармана, глянул, скорчил рожицу, будто хотел, чтобы его спросили, о чем эсэмэска, но Обинзе спрашивать не стал. Он устал; Илоба дал ему свою карточку налогоплательщика, хотя это было рискованно для них обоих — работать по ней одновременно, но все агентства найма, какие перебрал Обинзе, требовали паспорт, а не одну лишь карточку. Пиво на вкус казалось пресным, и он мечтал, чтоб Эменике попросту выдал ему деньги. Но Эменике продолжил вещать и жестикулировать, движения плавные, уверенные, повадки — как у человека, убежденного, что он знает много всякого, неведомого другим. И все же некое отличие от него прежнего имелось, но Обинзе не мог его назвать. Эменике проговорил долго, часто предваряя ту или иную байку присловьем: «Про эту страну надо понимать следующее». Мысли Обинзе уплыли к Клеотилд. Ангольцы сказали, что по крайней мере двое людей с ее стороны должны явиться в Ньюкасл — чтобы избежать подозрений, но она позвонила ему вчера и предложила привезти с собой только одну подругу, чтобы Обинзе не пришлось платить за проезд и проживание в гостинице еще двоих. Он счел это милым, но попросил привезти все же обеих: рисковать не хотелось.

Эменике рассказывал о каком-то случае на работе:

— Я вообще-то приехал на встречу первым, папки с собой, а затем отошел в сортир, а когда вернулся, этот дурак-ойинбо говорит мне: «Ой, вы, я смотрю, продолжаете жить по африканскому времени». И знаешь что? Я ему высказал. Он мне с тех пор шлет письма, зовет выпить. Выпить за что? — Эменике приложился к пиву. Пиво у него было уже третье по счету, и Эменике делался расхлябаннее и громче. Все его байки о работе были на один сюжет: кто-нибудь недооценивает или унижает его, а он в конце концов берет верх — последним ловким словом или поступком. — Скучаю по Найдже.^[153] Столько не виделись, но у меня нет времени съездить домой. Кроме того, Джорджина поездку в Нигерию не переживет! — заявил Эменике и рассмеялся. Родные края он представлял как джунгли, а себя — как их толкователя. — Еще по пиву? — спросил Эменике.

Обинзе покачал головой. Кто-то, пытаясь пробраться к столику позади них, смахнул куртку Эменике со стула на пол.

— Ха, ты глянь на этого. Хочет испортить мне «акваскутум».^[154] Подарок на последний мой день рождения, от Джорджины, — сказал Эменике, вешая куртку на стул. Обинзе не знал этой торговой марки, но по пижонской ухмылке на лице Эменике понял, что тут полагается изумиться. — Уверен, что не хочешь больше пива? — спросил Эменике, озираясь по сторонам в поисках официантки. — Она на меня внимания не обращает. Ты заметил, какая она хамка? Эти восточно-европейцы прям не любят обслуживать черных.

После того как официантка приняла у Эменике заказ, он вытащил конверт с деньгами.

— Вот, чувак. Я помню, ты просил пятьсот, но тут тысяча. Пересчитаешь?

Пересчитаешь? Обинзе чуть не ляпнул это вслух, но слова не выбрались наружу. Дать денег на нигерийский манер означало запихнуть их тебе стиснутыми кулаками в руки, отведя взгляд, от бурной благодарности — а она обязана быть бурной — отмахнуться, и деньги уж точно не пересчитывать, а иногда и не взглянуть на них, пока один не останешься. Но Эменике сейчас предлагал ему пересчитать деньги. И Обинзе так и сделал — медленно, сознательно, перекладывая банкноту за банкнотой из одной руки в другую, раздумывая, не бесил ли он Эменике все те годы в школе и университете. Обинзе не насмехался над Эменике, как Кайоде и другие ребята, но и не защищал его. Вероятно, Эменике презирал этот нейтралитет.

— Спасибо, чувак, — сказал Обинзе. Разумеется, там была тысяча.

Может, Эменике подумал, что пятидесятифунтовая купюра могла выскользнуть у него по пути в ресторан?

— Это не заем, — сказал Эменике, откидываясь на спинку стула, тонко улыбаясь.

— Спасибо, чувак, — повторил Обинзе — с благодарностью и облегчением, вопреки всему. Его тревожило, сколько всего ему еще предстоит оплатить перед свадьбой, и если цена всему этому такова — Обинзе пересчитывает денежный подарок, а Эменике наблюдает взглядом власти, — пусть.

У Эменике зазвонил телефон.

— Джорджина, — сказал он радостно, прежде чем принять звонок. Голос у него слегка возвысился — ради Обинзе. — Обалденно с ним повидаться — после стольких лет. — Далее, после паузы: — Разумеется, дорогая, надо так и сделать. Он отложил телефон и сказал Обинзе: — Джорджина хочет заскочить через полчаса и забрать нас, поедем поужинать вместе. Годится?

Обинзе пожал плечами:

— Я от еды никогда не отказываюсь.

Перед прибытием Джорджины Эменике сказал ему вполголоса:

— Обо всей этой истории с женитьбой не заикайся.

Со слов Эменике, Обинзе представлял себе Джорджину как хрупкую простушку, успешного адвоката, которая тем не менее не знала подлинного зла в этом мире, но когда та приехала, квадратнолицая, с крупным квадратным телом, каштановые волосы решительно подстрижены, человек на вид хваткий, Обинзе тут же понял, что она прямолинейная, проницательная, даже ушлая. Подумал, что ее клиенты, наверное, мгновенно доверяют ее умениям. Такая женщина не поленится проверить финансы благотворительных организаций, в которые вкладывается. Зачем Эменике описывал ее как безалаберную английскую розу? Она прижалась губами к губам Эменике, затем повернулась к Обинзе — пожать ему руку.

— Есть какие-нибудь пожелания? — спросила она Обинзе, расстегивая коричневое замшевое пальто. — Тут рядом есть приятное индийское место.

— Ой, там довольно обшарпанно, — сказал Эменике. Он переменялся. В голосе появились незнакомые интонации, выражался он медлительнее и весь сделался гораздо прохладнее. — Можно в то новое место в Кензингтоне, тут недалеко.

— Не уверена, что Обинзе там будет интересно, дорогой, — сказала Джорджина.

— О, думаю, ему понравится, — возразил Эменике.

Самодовольство — вот в чем отличие. Эменике женился на британке, жил в британском доме, трудился на британской работе, путешествовал по британскому паспорту, говорил «упражняться» применительно к умственной, а не к физической деятельности. Он алкал этой жизни и никогда по-настоящему не верил, что обретет ее. А теперь позвоночник у него не гнулся от самодовольства. Он насытился. В ресторане в Кензингтоне на столе сияла свеча, а блондин-официант, слишком высокий и пригожий для официанта, подал им крошечные вазочки с чем-то похожим на зеленый джем.

— Наш новый аперитив — лимонно-тимьяновый, с комплиментами от шефа, — сказал он.

— Великолепно, — сказал Эменике, мгновенно погружаясь в один из ритуалов новой жизни: брови нахмурены, полная сосредоточенность, попивает воду с газом, изучает меню.

Они с Джорджиной обсудили закуски. Призвали официанта — задать вопрос. Обинзе поразило, до чего серьезно Эменике воспринимает это посвящение в вудуизм изысканных трапез: когда официант принес им то, что походило на три изящных кусочка зеленой водоросли, за которые предстояло заплатить тринадцать фунтов, Эменике восторженно потер руки. Бургер Обинзе подали в четырех частях, выложенных в просторный стакан для мартини. Когда принесли заказ Джорджины — грудку сырой говядины с солнышком яичного желтка на вершине, — Обинзе старался не смотреть, пока ел сам: опасался, что его может посетить искушение стошнить.

Эменике разговаривал за всех — рассказывал Джорджине о временах, когда они с Обинзе вместе учились в школе, едва позволяя тому вставить хоть слово. В байках, которые Эменике излагал, они с Обинзе были буянами и всеобщими любимцами, вечно влипавшими в блистательные неприятности. Обинзе наблюдал за Джорджиной, лишь теперь до конца осознавая, насколько она старше Эменике. По крайней мере лет на восемь. Мужские очертания ее лица смягчились от частых кратких улыбок, но улыбки те были вдумчивые — улыбки прирожденного скептика, и Обинзе раздумывал, в какой мере она верит историям Эменике, в какой мере здравый смысл в ней отменен любовью.

— У нас завтра званый ужин, Обинзе, — сказала Джорджина. — Вы обязаны быть.

— Да, забыл сказать, — встрял Эменике.

— Обязательно приходите, правда. Мы позвали нескольких друзей, и, думаю, вам с ними понравится, — продолжила Джорджина.

— Я с удовольствием, — сказал Обинзе.

* * *

Их террасный дом в Излингтоне с короткой чередой ухоженных ступеней, ведущих к зеленой входной двери, к прибытию Обинзе пах жареной едой. Внутри его впустил Эменике.

— Зед! Ты рано, мы вот только заканчиваем на кухне. Заходи, посиди у меня в кабинете, пока все соберутся.

Эменике отвел его наверх, в кабинет — чистую, яркую комнату, высветленную белыми книжными шкафами и белыми шторами. Окна занимали здоровенные пространства стен, и Обинзе представил, каково здесь после обеда — все блистательно залито светом, — сел в кресло у двери и погрузился в какую-то книгу.

— Я вернусь за тобой чуть погодя, — сказал Эменике.

На подоконнике стояли фотографии: Эменике щурится перед Сикстинской капеллой, показывает пальцами «V» у Колизея, рубашка — того же светло-орехового цвета, что и стена руин. Обинзе вообразил его, прилежного, решительного, в местах, которые полагалось посетить, как Эменике думал не о том, на что смотрит, а о снимках, которые тут сделает, — и о людях, которые эти фотографии увидят. Люди, которые будут знать: Эменике в этих победах участвовал. Взгляд Обинзе зацепился за Грэма Грина в книжном шкафу. Он снял с полки «Суть дела», прочесть первую главу, и внезапно заскучал по своим подростковым годам, когда мама перечитывала этот роман каждые несколько месяцев. Пришел Эменике.

— Это Во?

— Нет. — Обинзе показал ему обложку. — Мама обожает эту книгу. Всегда старалась заставить меня полюбить английские романы.

— Во — лучше всех. «Брайдсхед»^[155] — ближайшее к идеальному роману из всего, что я читал.

— Во мне кажется мультяшным. Не врубаюсь я просто в эти так называемые комические британские романы. Они будто не способны браться за настоящую глубокую сложность человеческой жизни и прибегают к этой вот комичности. Грин — другая крайность, слишком мрачный.

— Не, чувак, перечитал бы ты Во. Грин меня как-то не понимает, хотя

первая часть «Конца одного романа»^[156] обалденная.

— Этот кабинет — мечта, — сказал Обинзе.

Эменике пожал плечами.

— Хочешь себе книг? Бери что нравится.

— Спасибо, чувак, — сказал Обинзе, зная, что не возьмет ни одной.

Эменике осмотрел кабинет — словно бы глазами Обинзе.

— Этот стол мы нашли в Эдинбурге. У Джорджины уже было несколько хороших вещей, но кое-что мы добыли вместе.

Обинзе задумался, до чего полностью Эменике врос в эту свою новую личину, раз даже один на один рассуждал о «хорошей мебели», словно представление о «хорошей мебели» не было чуждым нигерийскому миру, где новой вещи полагалось выглядеть новой. Обинзе, возможно, сказал бы Эменике что-нибудь на эту тему, но не теперь: слишком многое в их дружбе уже сместилось. Обинзе проследовал за Эменике вниз. Обеденный стол — буйство красок, яркие разношерстные керамические тарелки, некоторые со сколами по краям, изящные красные бокалы, темно-синие салфетки. В серебряной чаше на середине стола в воде плавали нежные молочно-белые цветки. Эменике представил всех всем.

— Это старый друг Джорджины — Марк, а это его жена Ханна, которая, между прочим, дописывает докторскую работу по женскому оргазму — или же израильскому женскому оргазму.

— Ну не настолько уж она узкоспециальная, — сказала Ханна под общий смех, радушно пожимая Обинзе руку. У Ханны было загорелое участливое лицо с широкими чертами — лицо человека, не переносящего раздоры. Марк, бледнокожий и взъерошенный, сжал ей плечо, но смеяться с остальными не стал. Произнес: «Как поживаете» — едва ли не формально.

— Это наш дорогой старый друг Филлип, лучший стряпчий в Лондоне — после Джорджины, разумеется, — сказал Эменике.

— Все ли мужчины в Нигерии такие роскошные, как ты сам и твой друг? — шутливо-томно спросил Филлип у Эменике, пожимая руку Обинзе.

— Съезди в Нигерию — проверь, — сказал Эменике и подмигнул, поддерживая между ним и Филлипом нечто, похожее на нескончаемый флирт.

Филлип был худощавым и элегантным, красная шелковая рубашка расстегнута у горла. Манерность, мягкие движения кистей, помавание перстами напомнили Обинзе одного мальчика у них в школе — его звали Хадоме, — который, поговаривали, платил младшеклассникам, чтобы они

ему отсасывали. Как-то раз Эменике и двое других ребят заманили Хадоме в туалет и избили его, глаз у Хадоме заплыл быстро, как раз перед концом учебного дня, и стал смотреться гротескно, громадным лиловым баклажаном. Обинзе стоял у туалета с другими пацанами — с теми, кто не полез драться, но стоял и похохатывал рядом, кто дразнил и издевался, кто кричал: «Гомик! Гомик!»

— А это наша подруга Алекса. Алекса только что переехала в Холленд-Парк, после многих лет во Франции, так что мы, везунчики, теперь будем видеться с ней гораздо чаще. Она работает в музыкальном издании. А еще она великолепный поэт, — сказал Эменике.

— Ой, перестань, — отмахнулась Алекса, а затем, обращаясь к Обинзе, спросила: — А вы, дорогой, откуда сами?

— Из Нигерии.

— Нет-нет, в смысле в Лондоне, дорогой.

— Вообще-то из Эссекса, — сказал он.

— Понятно, — отозвалась она, словно бы разочарованно. Маленькая женщина с очень бледным лицом и помидорно-красными волосами. — Ну что, поедим, мальчики-девочки? — Она взяла в руки тарелку и рассмотрела ее.

— Обожаю эти тарелки. Не соскучишься с ними — с Джорджиной и Эменике, правда? — сказала Ханна.

— Мы их купили на том базаре в Индии, — сказал Эменике. — Ручная работа сельских женщин, такая красота. Видите эту деталь на кромке? — Он поднял со стола тарелку.

— Утонченно, — сказала Ханна и глянула на Обинзе.

— Да, очень мило, — пробормотал Обинзе.

В Нигерии такие тарелки с любительской отделкой, с некоторой комковатостью по краю, ни за что бы гостям не показали. Обинзе по-прежнему не понимал, действительно ли Эменике стал человеком, считавшим, что нечто красиво только потому, что сделано бедняками из зарубежной страны, или попросту научился это изображать. Джорджина разлила напитки. Эменике подал закуску — краба с яйцом вкрутую. Натянул на себя продуманное, четко выверенное обаяние. Часто приговаривал «ох, батюшки». Когда Филлип пожаловался на французскую пару, строившую в Корнуолле дом рядом с его, Эменике произнес:

— Между тобой и закатом?

«Между тобой и закатом?» Обинзе — или кому угодно еще, с кем он вырос, — и в голову не пришло бы задать подобный вопрос.

— Ну и как вам Америка? — спросил Филлип.

— Чарующее место, вот правда. Мы провели несколько дней с Хьюго в Джексоне, Вайоминг. Вы с Хьюго познакомились в прошлое Рождество, да, Марк?

— Да. И чем он там занят? — На Марка тарелки не произвели впечатления, похоже: он, в отличие от жены, в руки свою не взял и разглядывать не стал.

— Это лыжный курорт — без особых претензий. В Джексоне говорят: публика, желающая, чтобы ей завязывали шнурки на лыжных ботинках, ездит в Эспен, — сказала Джорджина.

— От мысли о катании на лыжах в Америке мне делается довольно дурно, — сказала Алекса.

— Почему? — спросила Ханна.

— У них же на курорте диснеевская станция — с Микки-Маусом в лыжной экипировке?

— Алекса в Америке была всего один раз, еще в школе, но обожает ненавидеть ее издали, — пояснила Джорджина.

— А я любил Америку издали — всю свою жизнь, — произнес Обинзе. Алекса повернулась к нему с легким изумлением, будто не ожидала, что он вообще заговорит. При свете свечей у ее волос появился странный противоестественный блеск. — Я здесь заметил, что многие англичане благоговеют перед Америкой, но при этом глубоко презирают ее, — добавил Обинзе.

— Совершенно верно, — согласился Филлип, кивая Обинзе. — Совершенно верно. Презрением родителя, ребенок которого сделался куда красивее, обрел куда более интересную жизнь.

— Но американцы нас, бритов, обожают, обожают акцент, королеву и двухпалубные автобусы, — возразил Эменике. Вот оно и сказано: он считал себя британцем.

— Знаете, какое там у Эменике случилось великое озарение? — продолжила Джорджина, улыбаясь. — Разница между американским и британским «пока».

— Пока? — переспросила Алекса.

— Да. Он говорит, что британцы тянут его гораздо дольше, а американцы бросают коротко.

— Таково было великое озарение. Оно объясняет всю разницу между этими странами, — сказал Эменике, зная, что все рассмеются, и все рассмеялись. — А еще я думал о разнице в подходах к инородности. Американцы улыбаются тебе и необычайно дружелюбны, но если тебя зовут не Кори и не Чэд, то никаких усилий, чтобы произнести твое имя

правильно, не сделают. Бриты, если вести себя с ними чересчур дружелюбно, будут насуплены и недоверчивы, однако с иностранными именами обращаются так, будто они действительно настоящие.

— Любопытно, — сказала Ханна.

Джорджина добавила:

— Несколько утомительно говорить о том, что Америка замкнута на саму себя, — да и мы этому способствуем: когда в Америке происходит что-нибудь значительное, в Британии все газетные заголовки про это, а когда что-то значимое случается здесь, в Америке оно — хорошо если на последних страницах, а то и вовсе нет. Но я все же считаю, что самое неприятное — вульгарный национализм, верно, дорогой? — обратилась Джорджина к Эменике.

— Абсолютно, — откликнулся Эменике. — О, и мы посетили родео. Хьюго подумал, мы, может, хотим приобщиться к культуре. — Все захихикали. — И мы посмотрели этот невероятный парад малышей с сильно накрашенными лицами, сплошное маханье флагами и «Боже, храни Америку». Я был в ужасе от того, что в таких местах никогда не знаешь, что может с тобой приключиться, если сказать вслух: «Не нравится мне Америка».

— Когда я там проходил практику по стипендии, мне Америка тоже показалась довольно ура-патриотической, — сказал Марк.

— Марк — детский хирург, — пояснила Обинзе Джорджина.

— Возникает ощущение, что люди — прогрессивные люди, в смысле, поскольку американские консерваторы откуда-то совсем с другой планеты, даже относительно тори, — вполне способны критиковать свою страну, но когда ты в это лезешь, им не нравится, — сказал Марк.

— А где ты был? — спросил Эменике, будто знал Америку до последнего уголка.

— В Филадельфии. В особой больнице под названием Детская. Довольно примечательное место, практика оказалась очень стоящей. В Англии я бы несколько лет потратил, чтобы увидеть редкие случаи, какие там у меня возникли за несколько месяцев.

— Но ты не остался, — подытожила Алекса едва ли не торжествующе.

— Я не планировал оставаться. — Лицо у Марка никогда не обретало никакого выражения.

— Кстати говоря, я тут недавно связалась с одной великолепной благотворительной организацией, которая пытается прекратить наем в Великобритании медиков-африканцев, — сказала Алекса. — На том континенте попросту не осталось врачей и медсестер. Полная трагедия!

Врачи-африканцы пусть остаются в Африке.

— С чего бы им хотеть работать по профессии, если то и дело нет электричества и зарплат? — спросил Марк безучастно. Обинзе догадался, что Алекса ему очень не нравилась. — Я из Гримзби и уж точно не хочу работать там в районной больнице.

— Но это же не совсем то же самое, правда? Мы тут говорим о беднейших в мире людях. На врачах-африканцах лежит ответственность, — сказала Алекса. — Жизнь и в самом деле несправедлива. Если у них есть привилегия врачебной степени, с нею возникает и ответственность — помогать своему народу.

— Понятно. Стало быть, ни у кого из нас подобной ответственности перед проклятыми городами на севере Англии нету? — спросил Марк.

Лицо у Алексы покраснело. Воздух меж ними во внезапной напряженной тишине сморщился, но тут Джорджина встала и сказала:

— Все ли готовы к моему жареному ягненку?

Мясо хвалили все, а Обинзе показалось, что оно чуточку недостояло в духовке. Он прилежно разрезал свой кусок, съел части, посеревшие от готовки, а замаранные розоватой кровью оставил на тарелке. Далее разговор повела Ханна, словно чтобы сгладить атмосферу, голос успокаивающий, темы — для всеобщего согласия, и она их меняла, когда чувствовала надвигающееся противоречие. Разговор тек симфонично, голоса согласно врывались один в другой: до чего жестоко так обращаться с китайскими ловцами моллюсков, до чего абсурдна затея платного высшего образования, до чего несуразно, что охотники на лис осадили парламент. Все рассмеялись, когда Обинзе сказал:

— Я не понимаю, почему охота на лис — такой серьезный вопрос в этой стране. Разве нет ничего важнее?

— Что же может быть важнее? — сухо переспросил Марк.

— Ну, это у нас тут единственный способ ведения классовой войны, — сказала Алекса. — Благородные землевладельцы и аристократия охотятся, видите ли, а мы, либеральный средний класс, негодуем. Хотим отнять у них их дурацкие игрушки.

— Несомненно хотим, — сказал Филлип. — Это чудовищно.

— Вы читали, что Бланкетт говорил, дескать, он не знает, сколько в этой стране иммигрантов? — спросила Алекса, и Обинзе тут же напрягся, сдавило грудь.

— «Иммигрант» — это, разумеется, кодовое название мусульманина, — вклинился Марк.

— Если ему и впрямь хочется знать, пусть обойдет все стройки в этой

стране и посчитает по головам, — сказал Филлип.

— Любопытно было посмотреть, как оно сложилось в Америке, — сказала Джорджина. — Они тоже суется на тему иммиграции. Хотя, конечно, Америка к иммигрантам всегда была добрее, чем Европа.

— Ну да, но это потому, что европейские страны основаны на исключении, а не на включении, как Америка, — сказал Марк.

— Но еще же и другая психология, верно? — подхватила Ханна. — Европейские страны окружены странами, похожими между собой, а у Америки под боком Мексика, это, по сути, развивающаяся страна, и потому имеем другую психологию по отношению к иммиграции и границам.

— Но у нас нет иммигрантов из Дании. У нас иммигранты из Восточной Европы — вот наша Мексика, — сказала Алекса.

— За вычетом расы, ясное дело, — сказала Джорджина. — Восточные европейцы — белые. Мексиканцы — нет.

— А как дела с расой, на твой взгляд, Эменике? — спросила Алекса. — Это же незаконно расистская страна, верно?

— Для этого в Америку ездить необязательно, Алекса, — сказала Джорджина.

— Мне показалось, что в Америке черные и белые работают вместе, но вместе не развлекаются, а у нас тут черные с белыми развлекаются вместе, а вот работают врозь, — сказал Эменике.

Остальные задумчиво покивали, будто он сказал нечто глубокое, но тут возник Марк:

— Я, кажется, не очень понял.

— Думаю, класс в этой стране — в воздухе, которым люди дышат. Все знают свое место. Даже люди, которых злит классовость, так или иначе свое место приняли, — сказал Обинзе. — Белый мальчик и черная девочка, выросшие вместе в одном и том же рабочем городке в этой стране, могут сойтись, и раса не будет иметь первостепенного значения, а в Америке, даже если белый мальчик и черная девочка выросли в одном квартале, раса будет решающей. Алекса вновь глянула на него с удивлением.

— Некоторое упрощение, но да, примерно это я и имел в виду, — медленно проговорил Эменике, откидываясь на стуле, и Обинзе почувствовал упрек. Следовало помалкивать: здесь, в конце концов, его, Эменике, сцена.

— Но тебе же не доводилось сталкиваться там с расизмом, Эменике? — спросила Алекса, и тон ее предполагал, что в ответ последует «нет». — Разумеется, люди предубеждены — но не все ли мы таковы?

— Ну нет, — сказала Джорджина твердо. — Расскажи-ка историю с

таксистом, дорогой.

— А, ту. — Эменике, поднимаясь подать всем сырную тарелку, пробормотал что-то Ханне на ухо, отчего она улыбнулась и коснулась его руки. Какой же это восторг для Эменике — жить в мире Джорджины.

— Выкладывай, — потребовала Ханна.

И Эменике выложил. Рассказал историю о поездке в такси, которое он поймал как-то раз вечером на Верхней улице; вдалеке огонек у машины, что она свободна, был включен, а когда она подъехала ближе, огонек погас, и Эменике решил, что этот таксист уже не на работе. После того как автомобиль проехал мимо, Эменике обернулся — просто так — и увидел, что таксист опять включил огонек и чуть дальше по улице остановился и принял на борт двух белых женщин.

Эменике рассказывал Обинзе эту историю и прежде, и его поразило, до чего по-другому он ее излагал теперь. Он не упоминал о бешенстве, какое ощутил, стоя на улице и глядя на ту машину. Его трясло, сказал он Обинзе, руки потом дрожали еще долго, его самого перепугали такие чувства. Но теперь, попивая остатки красного вина, глядя на цветы, что плавали в чаше перед ним, он говорил тоном, очищенным от гнева, пропитанным лишь высокомерной позабавленностью, а Джорджина вклинивалась то и дело: «Вы представляете?»

Алекса, пылавшая от красного вина, с красными глазами под алой прической, сменила тему:

— Бланкетту стоит проявить здравомыслие и сделать так, чтобы эта страна оставалась прибежищем. Людей, переживших ужасные войны, совершенно необходимо впускать! — Она обратилась к Обинзе: — Согласны?

— Да, — сказал он и ощутил, как сквозь него дрожью пробежало отчуждение.

Алекса и прочие гости — возможно, даже Джорджина, — все до единого сочувствовали побегу от войны, от нищеты, какая сокрушает человеческие души, но не понимали нужду побега от гнетущей летаргии отсутствия выбора. Они не понимали, почему люди вроде Обинзе, выросшие сытыми-обутыми, но погрязшие в неудовлетворенности, воспитанные с рождения искать чего-то еще, ныне решаются совершать опасный, незаконный поступок — уезжать, притом что никто из них не голодал, не был изнасилован, не из сожженной деревни: просто задыхаясь от отсутствия выбора и определенности.

Глава 30

Николас выдал Обинзе к свадьбе костюм.

— Хороший итальянский костюм, — сказал он. — Мне мал, а тебе в самый раз должен быть.

Брюки оказались велики и, когда Обинзе затягивал ремень, собирали, зато пиджак, тоже слишком большой, прикрывал эти неприглядные складки на талии. Обинзе, впрочем, было все равно. Он так сосредоточился на том, чтобы превозмочь этот день, чтобы наконец начать жить, что готов был облачиться, если надо, хоть в детский подгузник. Они с Илобой встретили Клеотилд у муниципалитета. Та стояла под деревом с подругами, волосы стянуты белой лентой, глаза смело подведены черным; она смотрелась старше, сексапильнее. Платье цвета слоновой кости сидело на бедрах туго. На платье раскошеливался Обинзе. «У меня нет ни одного приличного выходного наряда», — сказала она виновато, когда позвонила сообщить, что у нее не нашлось ничего, что смотрелось бы убедительно по-невестинному.

Клеотилд обняла его. Он выглядел нервным и пытался отвлечься от нервозности мыслями о том, как им будет после этого вместе, о том, что меньше чем через час он будет волен увереннее гулять по британским улицам — и волен целовать Клеотилд.

— Кольца взяла? — спросил ее Илоба.

— Да, — ответила Клеотилд.

Они с Обинзе купили пару за неделю до этого, простые одинаковые дешевые кольца, в каком-то переулке, и у Клеотилд был такой счастливый вид, она, смеясь, надевала и снимала кольца, и Обинзе задумался, не жалеет ли она, что свадьба ненастоящая.

— Через пятнадцать минут, — сказал Илоба. Он назначил себя распорядителем. Фотографировал на цифровую камеру, держа ее на вытянутой руке и приговаривая: — Пближе! Хорошо, еще разок!

Его задор и бодрость раздражали Обинзе. В поезде на Ньюкасл, накануне, пока Обинзе пялился в окно, не способный даже читать, Илоба все болтал и болтал, пока голос его не сделался далеким рокотом, — возможно, оттого, что он слишком усердно пытался отвлечь Обинзе от тревог. Теперь же он с непринужденным дружелюбием разговаривал с подругами Клеотилд — о новом тренере «Челси», о Большом Брате, словно они все собрались тут ради чего-то обыденного и нормального.

— Пора, — сказал Илоба.

Они направились к муниципалитету. Сияло послеполуденное солнце. Обинзе отворил дверь и отступил в сторону, пропуская остальных в безжизненный коридор, где они остановились оглядеться — понять, куда дальше, к кабинету регистрации. За дверями оказалось двое полицейских, наблюдавших за ними с каменными лицами. Обинзе утишил панику. Волноваться не о чем, совсем не о чем, убеждал он себя, в муниципалитете, может, полицейские — обычное дело, но по неожиданной тесноте коридора, по внезапному сгущению сумрака в воздухе он понял: что-то не так, а затем увидел, как к ним приближается какой-то мужчина, короткие рукава рубашки закатаны, щеки такие красные, будто мужчину ужасно загримировали.

— Вы — Обинзе Мадуевеси? — спросил краснощекий. У него в руках была стопка бумаг, и Обинзе разглядел ксерокопию своего паспорта.

— Да, — тихо отозвался Обинзе, и это слово, «да», стало знаком для краснощекого сотрудника иммиграционной службы, для Илобы, Клеотилд и для него самого, что все кончено.

— Ваша виза истекла, и вам не разрешено находиться на территории Великобритании, — объявил краснощекий.

Полицейский застегнул наручники у него на запястьях. Обинзе показалось, что он наблюдает эту сцену издали: вот он идет к полицейской машине на улице, плюхается на слишком мягкое заднее сиденье. Столько раз в прошлом он боялся, что это произойдет, столько было мгновений, слившихся в единую смазанную панику, но теперь это ощущалось как глухой отголосок катастрофы. Клеотилд рухнула наземь и зарыдала. Она, может, и не была ни разу на родине отца, но в тот миг Обинзе убедился в ее африканскости — иначе как удалось бы ей пасть на землю с таким театральным шиком? Он задумался, оплакивает ли она его, себя саму или то, что могло между ними случиться? Тревожиться ей, впрочем, незачем: поскольку сама она — европейская гражданка, полицейские на нее едва глянули. Тяжесть наручников по дороге в участок ощущал только Обинзе — он молча сдал свои часы, ремень и кошелек и наблюдал, как полицейский принимает у него телефонную трубку и выключает ее. Просторные брюки Николаса сползли у Обинзе с бедер.

— Обувь будьте любезны. Снимите обувь, — сказал полицейский.

Он снял обувь. Его отвели в камеру. Она оказалась маленькой, с бурыми стенами и металлическими прутьями решетки, такими толстыми, что не обхватить рукой; камера напомнила ему клетку шимпанзе в унылом, заброшенном нсуккском зоопарке. Высоко под потолком горела одинокая

лампочка. Была в этой крошечной камере опустошающая гулкая бескрайность.

— Вы знали, что ваша виза истекла?

— Да, — ответил Обинзе.

— Вы собирались устроить фиктивный брак?

— Нет. Мы с Клеотилд встречались.

— Я могу организовать вам адвоката, но вас, очевидно, депортируют, — бесстрастно произнес сотрудник миграционной службы.

Когда адвокат явился — пухлолицый, темные полукружия под глазами, — Обинзе вспомнил все фильмы, где государственный адвокат рассеян и утомлен. Он пришел с сумкой, но не открыл ее, сел напротив Обинзе с пустыми руками — ни папки, ни бумаги, ни ручки. Вид у него был милый и участливый.

— У правительства сильная позиция, мы можем подавать на апелляцию, но, по чести сказать, это лишь отсрочит решение и вас рано или поздно удалят из Великобритании, — сказал он как человек, много раз произнесший именно эти слова, в том же тоне, гораздо чаще, чем он мог — или хотел — помнить.

— Я не против вернуться в Нигерию, — сказал Обинзе. Последняя толика достоинства была словно обертка, сползавшая с чего-то, что он отчаянно пытался красиво упаковать.

Адвокат вроде бы удивился.

— Ладно, — сказал он, встал чуть поспешно, будто благодарный, что ему облегчили задачу. Обинзе наблюдал, как он уходит, уже собираясь поставить галочку в анкете: клиент не против, чтобы его удалили. «Удалили». От этого слова Обинзе ощутил себя неодушевленным. Нечто удаляемое. Нечто, не дышащее и не думающее. Вещь.

* * *

Он не выносил холодной тяжести наручников, отметину, какую они, воображал Обинзе, оставят у него на запястьях, блеск связанных друг с другом окружностей, отнимавших у него возможность двигаться. Вот его в наручниках ведут по залу манчестерского аэропорта, в прохладе и грохоте этого аэропорта, среди мужчин, женщин и детей, пассажиров, уборщиков и охранников, наблюдающих за ним и раздумывающих, какое такое зло он содеял. Он упирал взгляд в высокую белую женщину, спешившую впереди

него, волосы развеваются, на спине — рюкзак. Она не поняла бы его историю, зачем он сейчас идет по аэропорту, в металле, вцепившемся ему в запястья, поскольку люди вроде нее не пускаются в путь с неизбывной тревогой о визах. Она, может, слегка беспокоится о деньгах, о том, где остановится, о безопасности, вероятно даже о визах, но никогда не охвачена тревогой, от какой скручивает позвоночник.

Его отвели в комнату, у стены — унылые нары. Там уже сидело трое мужчин. Один, из Джибути, говорил мало, лежал и таращился в потолок, будто вспоминая весь свой путь, приведший его в изолятор манчестерского аэропорта. Двое других оказались нигерийцами. Тот, что помладше, сидел на кровати и беспрестанно щелкал суставами пальцев. Тот, что постарше, бегал по комнатке и не затыкался.

— Братан, как они тебя поймали? — спросил он у Обинзе с мгновенной фамильярностью, какой Обинзе не выносил. Что-то в этом человеке напомнило Обинзе Винсента. Обинзе пожал плечами и ничего не ответил: только потому, что они в одной камере, любезности не нужны.

— Можно мне, пожалуйста, что-нибудь почитать? — спросил Обинзе у сотрудницы иммиграционной службы, когда она пришла за джибутийцем: к нему явился посетитель.

— Почитать, — повторила она, вскинув брови.

— Да. Книгу, журнал или газету.

— Вы хотите почитать, — сказала она с высокомерной ухмылкой на лице. — Увы. Но есть комната с телевизором, вас туда пустят после обеда.

В комнате с телевизором болталась группа мужчин, многие — нигерийцы, они шумно разговаривали. Другие сидели, погруженные в свои печали, слушали, как нигерийцы обмениваются байками, по временам смеются, иногда жалеют себя.

— А, это, *на*,^[157] я по второму разу уже. Первый раз был по другому паспорту, — сказал один.

— *На*, на работе, *вей*^[158] они меня ловят-о.

— *Е гет*^[159] один парень, *вей* они депортируют, он-то назад не бумаги делать. *На* он *вей* помогает мне, — сказал второй.

Обинзе завидовал им, таким вот — людям, походя менявшим имена и паспорта, способным планировать возвращение, чтобы все сделать заново, потому что терять им нечего. У Обинзе их сноровки не имелось: он мягкий, мальчишка, выросший на кукурузных хлопьях и чтении книг, с матерью, в поры, когда говорить правду не было роскошью. Обинзе стыдился находиться рядом с ними, среди них. У них этого стыда не было, и этому он

тоже завидовал.

* * *

В изоляторе он чувствовал себя освеженным, без кожи, верхние слои его самости содраны. Голос матери в телефонной трубке показался едва знакомым: какая-то женщина говорила на отточенном нигерийском английском, спокойно велела ему быть сильным, она приедет в Лагос и встретит его, а Обинзе вспомнил, как много лет назад, когда правительство генерала Бухари перестало выдавать населению насущные продукты и мама больше не возвращалась домой с бесплатными жестянками молока, она принялась толочь дома соевые бобы — делала молоко. Говорила, что соевое молоко питательнее коровьего, и, хотя сам Обинзе отказывался пить зернистую жидкость по утрам, он наблюдал за мамой, как она пьет, за ее безропотным здравым смыслом. То же она выказывала и сейчас, по телефону, говоря, что она за ним приедет, будто всегда жила с этой возможностью — что ее сына задержат, что он будет ждать, когда его удалят из чужедальной страны.

Он много думал об Ифемелу, воображал, как у нее дела, как изменилась ее жизнь. Она как-то раз призналась ему, еще в университете: «Знаешь, что я больше всего обожала в тебе в школе? Что ты запросто мог сказать: “Я не знаю”. Другие пацаны делали вид, что знают, а на самом деле нет. А у тебя вот эта уверенность была, и ты всегда мог признать, что чего-то не знаешь». Он счел это необычным комплиментом и дорожил этим образом себя самого — возможно, просто понимал, что это не вполне правда. Интересно, что она подумала бы, узнай, где он сейчас? Посочувствовала, это уж точно, однако не разочаровалась бы, пусть самую малость? Он едва не попросил Илобу с ней связаться. Отыскать ее нетрудно: он уже проведал, что она живет в Балтиморе. Но не попросил. Когда Илоба приезжал к нему, он говорил об адвокатах. Они оба понимали, что все без толку, но Илоба все равно о них толковал. Сидел напротив Обинзе, уложив голову на руку, и рассуждал об адвокатах. Обинзе думал, не существуют ли некоторые из этих адвокатов исключительно у Илобы в голове.

— Я знаю одного адвоката, в Лондоне, гайанца, он представлял интересы одного мужика, без документов, тот чуть ли не в самолете уже сидел по дороге домой, и вдруг — бац! На свободе. Теперь айтишником

работает. — В прочих случаях Илоба утешался, произнося очевидные вещи: — Вот если б успели поженить тебя до их приезда. Знаешь, явись они хоть через секунду после того, как вас назвали мужем и женой, они б тебя не тронули? — Обинзе кивал. Он знал, что Илоба знает, что он знает. В последний приезд Илобы, когда Обинзе сообщил ему, что его назавтра перевозят в Дувр, Илоба принялся плакать. — Зед, это все должно было сложиться иначе.

— Илоба, ну что ты глупости говоришь? Перестань плакать, друг мой, — сказал Обинзе, довольный, что сейчас может изображать сильного.

И все же, когда к нему приехали Николас с Оджиуго, ему не понравилось, до чего натужно они пытались быть оптимистами, чуть ли не делать вид, будто он всего лишь хворает в больнице, а они его навещают. Сели напротив, между ними — голый холодный стол, и заговорили о будничном, Оджиуго — чуточку быстровато, а Николас за тот час произнес больше, чем Обинзе слышал от него за недели: Нне приняли в Национальный детский оркестр, Нна выиграл еще одну награду. Они принесли Обинзе деньги, книги, сумку одежды. Одежду покупал Николас, она была в основном новой — и Николасова размера. Оджиуго то и дело приговаривала:

— Но они с тобой хорошо обращаются? Они с тобой хорошо обращаются? — будто обращение — это главное, а не клятая истина всего происходящего: что он — в изоляторе, что его того и гляди вышлют из страны. Никто не вел себя нормально. Все были под чарами его неудачи.

— Ждут, когда появится место на рейсе в Лагос, — сказал Обинзе. — Продержат в Дувре, пока не найдется свободное место.

Обинзе читал о Дувре в газете. Бывшая тюрьма. Все это казалось абсурдным — его везли мимо электронных ворот, высоких стен, проволоки. Камера оказалась меньше, холоднее, чем манчестерская, а его сокамерник, тоже нигериец, сказал ему, что не даст себя депортировать. У него было затвердевшее лицо, лишенное плоти.

— Я сниму с себя рубашку и обувь, когда попытаются меня в самолет посадить. Буду просить убежища, — сказал он Обинзе. — Если снять рубашку и обувь, они тебя на борт не примут. — Он часто повторял это, как мантру. Время от времени он громко пукал, без слов, а иногда падал на колени посреди их крохотной камеры, возносил руки к небесам и молился: — Отче наш, да святится имя Твое! Все Тебе по плечу! Благословляю имя Твое! — Ладони его были глубоко исчерчены. Обинзе гадал, какие изуверства выдали эти руки. Обинзе удушала эта камера, выпускали их лишь на прогулку и поесть — пищу, наводившую на мысли о

вареных червях. Есть он не мог и чувствовал, что тело тощает, плоть исчезает. Ко дню, когда его вывели к фургону рано поутру, щетина, как газонная трава, покрывала весь низ его лица. Еще не рассвело. С ним были еще две женщины и пятеро мужчин, все в наручниках, все в Нигерию, в аэропорту Хитроу их прогнали через таможенную и паспортный контроль — и далее в самолет, а все пассажиры пялились на них. Усадили в самом конце, на задних рядах, рядом с туалетом. Обинзе весь полет просидел неподвижно. От подноса с едой отказался.

— Нет, спасибо, — сказал он стюардессе.

Женщина рядом с ним пылко проговорила:

— Можно мне его порцию? — Эта тоже из Дувра. У нее были очень темные губы и бойкий, неунывающий вид. Обинзе не сомневался: она добудет другой паспорт, с другим именем и попытает счастья еще раз.

Когда самолет начал снижаться над Лагосом, стюардесса встала над ними и громко произнесла:

— Вы не выходите. Сотрудник иммиграционной службы придет и примет вас под свою ответственность. — Лицо у нее напряглось от отвращения, будто они тут все преступники и позорят честных нигерийцев вроде нее самой.

Самолет опустел. Обинзе глядел в окно на старый самолет, стоявший под мягким послеполуденным солнцем, пока по проходу к ним не двинулся человек в форме. Огромное пузо — небось с трудом рубашку застегивает.

— Да, да, я пришел принять вас под свою ответственность! Добро пожаловать на родину! — сказал он добродушно, и это напомнило Обинзе о способности нигерийцев смеяться, вот так запросто дотягиваться до веселья. Он скучал по этой черте. «Мы слишком много смеемся, — сказала как-то раз мама. — Может, нам стоит меньше смеяться и больше разбираться со своими неурядицами».

Человек в форме отвел их в кабинет и выдал анкеты. Имя. Возраст. Страна отбытия.

— Они с вами хорошо обращались? — спросил человек у Обинзе.

— Да, — сказал Обинзе.

— Есть у вас что для ребят?

Обинзе на миг уставился на него, в это открытое лицо, на этот незамысловатый взгляд на мир: депортации случались ежедневно, а жизнь продолжалась. Обинзе вынул из кармана десятифунтовую купюру — часть денег, которые выдал ему Николас. Человек принял деньги с улыбкой.

Снаружи — все равно что дышать паром: у Обинзе закружилась голова. Его окутало новой печалью — печалью грядущих дней, когда он

будет чувствовать, что мир слегка накренился, а зрение размыто. В зоне прибытия, отдельно от прочих встречающих, его ждала мама.

Часть четвертая

Глава 31

После того как Ифемелу рассталась с Кёртом, она сказала Гинике:

— Было там чувство, которое я хотела чувствовать, но не чувствовала.

— Ты о чем? Ты же ему изменила! — Гиника покачала головой, словно Ифемелу спятила. — Ифем, вот честно, я тебя иногда не понимаю.

Это правда, Ифемелу изменила Кёрту с юнцом, который жил в ее доме в Чарлз-Виллидж и играл в рок-группе. Но правда была и в том, что с Кёртом она тосковала, что ее порывы вечно не у нее в руках. Ей не удавалось верить себе до конца рядом с ним — со счастливым красавцем Кёртом, с его способностью лепить жизнь по своему усмотрению. Она любила и его, и удалую легкую жизнь, какую он ей дарил, но все же частенько подавляла в себе позыв создавать острые углы, мозжить эту его солнечность, пусть совсем чуть-чуть.

— Думаю, ты членовредительствуешь, — сказала Гиника. — Потому и с Обинзе порвала вот так. А теперь изменяешь Кёрту, потому что на каком-то уровне считаешь, будто не заслужила счастья.

— Сейчас ты мне пропишешь таблетки от синдрома членовредительства, — проговорила Ифемелу. — Бред какой-то.

— Чего ты тогда это делаешь?

— Это была ошибка. Люди совершают ошибки. Вытворяют глупости.

Вытворила она это, если честно, потому что стало любопытно, однако Гинике об этом сообщать не захотела, поскольку выглядело это ветреностью. Гиника не поняла бы, Гиника предпочла бы серьезную и важную причину — членовредительство, например. Ифемелу даже сомневалась, нравится ли ей он, Роб, носивший грязные драные джинсы, замызганные ботинки, мятые фланелевые рубашки. Она не понимала гранж: выглядеть убого, потому что можешь себе позволить не выглядеть убого, — насмешка над истинным убожеством. Из-за такого стиля одежды Роб казался поверхностным, и все же был ей любопытен — какой он окажется голым, в постели с ней. Секс в первый раз удался, она была сверху, скользила, стонала, хватала его за волосы на груди и чувствовала себя слегка и блистательно опереточной. Но во второй раз, после того как она пришла к нему в квартиру и он потянул ее в объятия, на нее снизошло великое оцепенение. Он уже тяжело дышал, а она выпрастывалась из его хватки и забирала сумку — уйти. В лифте на нее накатило пугающее ощущение, что она искала чего-то плотного, пульсирующего, но все, к чему

прикасалась, растворялось в ничто. Она отправилась домой к Кёрту и все ему выложила.

— Это ничего не значило. Случилось один раз, я очень жалею.

— Перестань придуриваться, — сказал он, но она поняла — по недоверчивому ужасу, от которого синева его глаз сделалась глубже, — что он понимал: она не придуривается. Не один час они старательно обходили друг друга, пили чай, ставили музыку, проверяли электронную почту, Кёрт лег навзничь на диван, молчаливый и неподвижный, и лишь потом он спросил:

— Кто он?

Она назвала имя. Роб.

— Белый?

Ее удивило, что он об этом спрашивает — и так сразу.

— Да.

Впервые она увидела Роба много месяцев назад, в лифте, в неопрятной одежде, с невымытыми волосами, он улыбнулся ей и сказал:

— Наблюдаю вас тут.

Затем, когда бы она с ним ни сталкивалась, он смотрел на нее с неким ленивым интересом, будто оба понимали: что-то произойдет между ними, вопрос лишь — когда.

— Кто он, бля, такой? — спросил Кёрт.

Она рассказала, что Роб живет этажом выше, что они только здоровались, и всё, — до того вечера, когда она увидела, как он возвращается из алкогольной лавки; он тогда спросил, не хочет ли она с ним выпить, и она совершила дурацкий, импульсивный поступок.

— Ты дала ему то, что он хотел, — сказал Кёрт. Плоскости его лица начали делаться жестче. Странные это слова для Кёрта — такое говорила тетя Уджу, которая считала секс чем-то, что женщина дает мужчине себе в убыток.

Во внезапном легкомысленном припадке бесшабашности она поправила Кёрта:

— Я взяла, что хотела. Если что и дала ему, это по чистой случайности.

— Ты себя послушай, ты, бля, послушай себя! — Голос у Кёрта огрубел. — Как ты могла так со мной поступить? Я с тобой хорошо обращался.

Он уже смотрел на их отношения сквозь линзу прошедшего времени. Она растерялась от этой способности романтической любви мутировать, от того, как быстро возлюбленный может стать чужаком. Куда же девалась

любовь? Может, настоящая любовь — семейная, как-то связанная кровью, поскольку любовь к детям не умирает, как романтическая.

— Ты меня не простишь, — сказала она полувопросительно.

— Сука, — сказал он.

Словом этим он замахнулся, как ножом: оно вылетело у него изо рта, острое от ненависти. Услышать, как Кёрт произносит слово «сука» с таким холодом, оказалось до того невозможным, что у нее на глаза навернулись слезы, — знать, что она превратила его в человека, который способен сказать «сука» так холодно, жалеть, что он не из тех, кому не под силу произнести слово «сука» невзирая ни на что. Одна у себя в квартире, она плакала и плакала, скомканная у себя в гостиной на коврике, и так редко по нему ходили, что от него все еще пахло магазином. Ее отношения с Кёртом были тем, чего она хотела, гребнистой волной в ее жизни, а Ифемелу тем не менее взяла топор и рубанула. Зачем она все уничтожила? Подумалось, что мама сказала бы: это все дьявол. Ифемелу пожалела, что не верит в дьявола, в некое существо за пределами ее самой, что пленило ее ум и заставило уничтожить то, что дорого.

Она неделями названивала Кёрту, поджидала его выхода из дома, вновь и вновь извинялась, говорила и говорила, как сильно хочет со всем разобраться. В тот день, когда она проснулась и наконец смирилась с тем, что Кёрт ей не перезвонит, не откроет дверь к себе в квартиру, как бы настойчиво она ни стучала, Ифемелу отправилась в их любимый бар в центре. Барменша, знавшая их обоих, одарила ее тихой улыбкой — улыбкой сочувствия. Ифемелу улыбнулась в ответ и заказала очередной мохито, думая, что, может, эта барменша лучше подходит Кёрту — каштановые волосы, выглаженные феном до атласа, тонкие руки, тугая черная одежда, способность всегда быть безупречно, безобидно общительной. Она еще и безупречно, безобидно верна, должно быть: если бы у нее был такой мужчина, как Кёрт, ей неинтересно было бы экспериментальное совокупление с посторонним человеком, исполнявшим нестройную музыку. Ифемелу уставилась в свой стакан. Что-то с ней не то. Она не знала что, однако что-то с ней не то. Голод, неугомонность. Неполнота знания о себе. Чувство чего-то далекого, за пределами досягаемости. Ифемелу поднялась, оставила на стойке большущие чаевые. В памяти о разрыве с Кёртом надолго осталась стремительная поездка в такси по Чарлз-стрит, Ифемелу чуть пьяно, чуть полегче и чуть одиноко, шофер-пенджабец гордо рассказывает ей, что его дети учатся в школе лучше американцев.

* * *

Через несколько лет, на званом вечере на Манхэттене, через день после того, как Барак Обама стал кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, в окружении гостей, поголовно пылких сторонников Обамы, глаза растроганы от вина и победы, лысеющий белый мужчина произнес: «Обама покончит с расизмом в этой стране», а широкобедрая фасонистая поэтесса с Гаити соглашалась, кивала, ее афро пространнее, чем у Ифемелу, и сказала, что она три года встречалась в Калифорнии с белым мужчиной, но раса никогда не была для них камнем преткновения.

— Это вранье, — сказала ей Ифемелу.

— Что? — переспросила женщина, будто не расслышала.

— Это вранье, — повторила Ифемелу.

Женщина выпучила глаза.

— Вы рассказываете мне, каков был мой собственный опыт?

И хотя Ифемелу к тому времени уже поняла, что люди вроде этой женщины говорят то, что говорят, чтобы другим было уютно, — и лишь бы показать, что они осознают, Как Далеко Мы Продвинулись, и хотя сама Ифемелу тогда уже была счастливо включена в круг друзей Блейна, один из них — новый возлюбленный этой женщины, и хотя стоило бы оставить эту тему в покое, Ифемелу не промолчала. Не могла. Слова опять пересилили ее — выбрались из глотки и вывалились наружу:

— Что раса не была для вас камнем преткновения, вы говорите, лишь бы выдать желаемое за действительное. Мы все хотели бы, чтобы желаемое было действительным. Но это вранье. Я приехала из страны, где раса — не камень преткновения: я не считала себя черной и стала ею, лишь прибыв в Америку. Когда вы черный в Америке и влюбляетесь в белого человека, раса не имеет значения, когда вы вдвоем и без всех, потому что остаетесь лишь вы и ваша любовь. Но стоит вам выйти на улицу, раса начинает иметь значение. Но мы об этом не говорим. Мы даже не сообщаем нашим белым партнерам обо всяких мелочах, которые нас бесят, мы бы хотели, чтобы кое-что наши партнеры понимали получше, но мы тревожимся, что нам скажут, дескать, мы передергиваем — или слишком чувствительны. Мы не хотим, чтобы они говорили нам, ты глянь, как далеко мы продвинулись, всего сорок лет назад нам даже быть парой закон не позволил бы, тырыпыры, тырыпыры, поскольку знаете, что мы думаем, когда они это говорят? Мы думаем, какого хера оно вообще было вне закона? Но мы

ничего такого вслух не произносим. Мы сваливаем это в кучу у себя в голове, а когда приходим на приличные либеральные ужины вроде этого, мы говорим, что раса не имеет значения, потому что нам полагается так говорить — чтобы нашим приличным либеральным друзьям было уютно. Это правда. Я по собственному опыту сужу.

Хозяйка-француженка глянула на своего американского мужа, лукавая улыбка на лице: самые незабываемые званые ужины случаются, когда гости высказываются неожиданно и потенциально обидно.

Поэтесса покачала головой и обратилась к хозяйке:

— Я бы с удовольствием прихватила домой немного того чудесного соуса, если еще осталось. — И посмотрела на остальных, словно у нее в голове не помещалось, что она вообще все это слышит.

Но они-то слышали — все примолкли, все глядели на Ифемелу, как будто та собиралась выдать непристойную тайну, которая и взбудоражит их, и впутает во что-то. Ифемелу выпила слишком много белого вина, по временам у нее в голове возникала качка, и позднее она отправила письмо с извинениями и поэтессе, и хозяйке. Но все смотрели на нее, даже Блейн, чье выражение лица она в кои-то веки не смогла прочесть отчетливо. И она заговорила о Кёрте.

Не то чтоб они с Кёртом избегали расового вопроса. Они говорили об этом неким скользким манером — ничего не признавали, никак не вовлекались и заканчивали словом «дурь»: так рассматривают любопытную безделушку и кладут на место. Или перебрасывались шутками, от которых становилось немножко онемело и неудобно, в чем она никогда не сознавалась. И Кёрт при этом не делал вид, будто в Америке быть черным и быть белым — это одно и то же: он понимал, что это не так. А Ифемелу не понимала другого: как Кёрту удавалось ухватывать что-то одно и при этом оставаться полностью глухим к другому, похожему, как он мог запросто совершать одно усилие воображения, но ломался на другом. Перед свадьбой его двоюродной сестры Эшли, например, он подвез Ифемелу в маленький спа-салон рядом со своим домом детства — Ифемелу хотела привести в порядок брови. Ифемелу зашла внутрь и улыбнулась азиатке за стойкой:

— Здрасьте. Я бы хотела подровнять брови воском.

— Мы с кудрявыми не работаем, — ответила женщина.

— Вы не работаете с кудрявыми?

— Нет. Простите.

Ифемелу надолго задержала на ней взгляд — спорить не имело смысла. Ну не работают они с кудрявыми, значит, не работают, что бы это

ни значило. Она позвонила Кёрту, попросила его вернуться и забрать ее, поскольку этот салон не работает с кудрявыми. Кёрт вошел, синие глаза — еще синее, и сказал, что желает разговаривать с администратором.

— Вы, бля, сделаете моей девушке брови — или я это блядское место закрою. Вы не заслужили свою лицензию.

Женщина преобразилась в улыбчивую услужливую кокетку.

— Простите, пожалуйста, это недоразумение, — сказала она.

Да, с бровями они разберутся. Ифемелу не хотелось — она опасалась, что эта женщина ее ошпарит, сорвет с нее кожу, оцциплет, но Кёрт был так взбешен, гнев его так чадил в замкнутом воздухе салона, что Ифемелу напряженно уселась в кресло, и женщина обработала ей брови.

На пути назад Кёрт спросил:

— С каких вообще пор волосы у тебя в бровях кудрявые? И что такого, бля, трудного — подровнять их воском?

— Может, им не доводилось делать брови черным женщинам и они решили, что с этим как-то иначе, потому что волосы у нас и *впрямь* другие, это правда, но, думаю, теперь она знает, что брови как раз не очень различаются.

Кёрт фыркнул, потянулся к ней, взял за руку теплой ладонью. На коктейльном приеме он не расцеплялся с ней пальцами. Молоденькие самки в крошечных платьицах, сплошной вдох и живот в себя, протискивались через весь зал, чтобы с ним поздороваться и пофлиртовать, спрашивали, помнит ли он их — подружку Эшли по школе, соседку Эшли по колледжу. Когда Кёрт говорил: «Это Ифемелу, моя девушка», они смотрели на нее удивленно, и удивление это некоторые скрывали, а некоторые — нет, и на лицах у них был один и тот же вопрос: «Почему она?» Ифемелу это забавляло. Она замечала этот взгляд и прежде — на лицах белых женщинах, прохожих на улице, что видели, как они с Кёртом идут рука в руке, и лицо их тут же затуманивалось этим взглядом. Взглядом людей, столкнувшихся с великой племенной утратой. И дело не только в том, что Кёрт — белый, а в том, какой он белый — неукротимые золотые волосы и пригожее лицо, атлетичное тело, солнечное обаяние и облако запаха вокруг него — запаха денег. Будь он толстым, старым, нищим, невзрачным, с придурью или в дредах, получалось бы менее примечательно, и стражи племени умилоствивились бы. Не облегчало положения и то, что она, пусть и миловидная черная девушка, была не из тех черных, какую с некоторым усилием можно было б рядом с ним представить, — не светлокочая, не смешанных кровей. На той вечеринке Кёрт держал ее за руку, часто целовал и представлял всем подряд, однако

потеха для нее прокисла до измождения. Взгляды теперь протыкали ей кожу. Она устала даже от Кёртовой защиты, устала от необходимости быть под защитой.

Кёрт склонился к ней и прошептал:

— Вон та, с паршивым загаром из баллончика. Она в упор не замечает, что ее хренов бойфренд глазки тебе строит с тех пор, как мы сюда вошли.

Он, значит, засек и понял эти вот взгляды — «Почему она?». Ифемелу это поразило. Иногда, плавая в своем игристом жизнелюбии, он ухватывал вспышку прозрения, неожиданной восприимчивости, и она задумывалась, нет ли в нем еще каких-нибудь врожденных черт, которые она не замечала до сих пор. Он, например, сказал своей матери, глянувшей в воскресную газету и пролепетавшей, что некоторые все еще ищут причины жаловаться, хотя Америка нынче не различает цветов:

— Да ладно, матушка. А вот если сейчас сюда вдруг зайдет поесть десять человек, выглядящих, как Ифемелу? Ты отдаешь себе отчет, что наши обедающие соседи будут более чем недовольны?

— Возможно, — отозвалась она уклончиво и осуждающе стрельнула в Ифемелу бровями, словно говоря, что она отлично понимает, кто превратил ее сына в жалкого борца с расизмом. Ифемелу ответила победной улыбочкой.

И все же. Однажды они побывали в Вермонте, в гостях у его тети Клэр, женщины, владевшей экологической фермой, ходившей босиком и рассуждавшей о том, какая крепкая у ее ступней связь с почвой. Был ли у Ифемелу такой опыт в Нигерии? — спросила она, и вид у нее сделался разочарованным, когда Ифемелу сказала, что мама ее шлепнула бы, если бы Ифемелу вышла на улицу необутой. Все время, пока они были у нее на ферме, Клэр говорила о своем кенийском сафари, о величии Манделы, о том, как она обожает Хэрри Белафонте,^[160] и Ифемелу опасалась, что Клэр того и гляди перейдет на эбоникс^[161] или суахили. Покидая ее болтливый дом, Ифемелу сказала:

— Как пить дать, она интересная женщина — будь она собой. Мне не нужно, чтобы она меня уговаривала, что любит черных.

И Кёрт возразил, что дело не в расе, а просто в том, что тетя слишком чувствительна к различиям — любым различиям.

— Она все то же самое проделала бы, явись я с русской блондинкой, — пояснил он.

Ну конечно же, тетя не стала бы делать того же самого с русской блондинкой. Русская блондинка — белая, и тетя не чувствовала бы

потребности доказывать, что ей нравятся люди с внешним видом, как у русской блондинки. Но Ифемелу не стала говорить этого Кёрту: жалела, что это для него неочевидно.

Когда они вошли в ресторан со столами, застеленными льняными скатертями, и администратор, посмотрев на них, спросил: «Столик на одного?» — Кёрт поспешно сказал ей, что администратор «не это» имел в виду. И Ифемелу хотелось спросить: «А что еще он мог иметь в виду?» Белокурая хозяйка пансиона в Монреале в упор не видела ее, когда они получали ключи, — совершенно и в упор, улыбочиво, глядя только на Кёрта, и Ифемелу захотелось заявить Кёрту, до чего сильно ее это оскорбляет; хуже еще и оттого, что Ифемелу не понимала: это потому, что хозяйке не нравятся черные или нравится Кёрт. Но Ифемелу промолчала: он бы возразил, что она накручивает, или устала, или и то и другое. Она понимала, что все это надо ему выложить, что утайка подобных мыслей бросает тень на них обоих. И все же выбирала молчание. Вплоть до того дня, когда они повздорили из-за ее журнала. Он вытащил экземпляр «Сути»^[162] из кучи у нее на журнальном столике — в то редкое утро, какие они проводили у нее в квартире, воздух все еще полнился ароматом омлета, который она приготовила.

— Этот журнал несколько однокбок в расовом отношении, — заметил он.

— Что?

— Да ладно тебе. Сплошь черные женщины?

— Ты серьезно, — сказала она.

Он растерялся.

— Ага.

— Пошли в книжный.

— Что?

— Мне надо тебе кое-что показать. Не спрашивай.

— Ладно, — согласился он, не уверенный в этом новом приключении, но готовый — с этим его детским восторгом — участвовать.

Она довезла их обоих до книжного магазина во Внутренней гавани, сняла со стойки разнообразные женские журналы и двинулась в кафе.

— Хочешь латте? — спросил он.

— Да, спасибо.

Они устроились в креслах, бумажные стаканчики — на столе перед ними, и она сказала:

— Начнем с обложек. — Разложила журналы, кое-где — один поверх другого. — Смотри, все — белые женщины. Эта должна быть

латиноамериканкой, и мы это понимаем исходя из того, что здесь вот два испанских слова, но выглядит она точь-в-точь как эта белая женщина, никакой разницы в цвете кожи, в причёске, в чертах. Теперь я их все перелистаю, страница за страницей, а ты мне посчитаешь, скольких черных женщин заметил.

— Детка, ну брось, — проговорил Кёрт позабавленно, откинувшись на спинку, бумажный стаканчик у губ.

— Ну уж сделай мне одолжение, — сказала она.

И он взялся считать.

— Три черные женщины, — подытожил он. — Ну или, может, четыре. Вот *эта*, вероятно, черная.

— Итого три черные женщины на, допустим, две тысячи страниц женских журналов, и все они смешанных кровей или непонятного расового происхождения, то есть могут оказаться индианками, пуэрториканками или кем-то в этом духе. Ни одна из них не темная. Ни одна из них не выглядит, как я, и поэтому я из этих журналов не могу ничего узнать для себя о макияже. Смотри, эта статья предлагает щипать себе щеки ради румянца, потому что их читательницы — предположительно с такими щеками, которые имеет смысл щипать ради румянца. А вот здесь говорится о различных продуктах по уходу за волосами *для всех* — и под «всеми» подразумеваются блондинки, брюнетки и рыжие. Я — ни одна из них. А здесь нам толкуют про всякие кондиционеры — для прямых, волнистых и кудрявых волос. Не курчавых. Ты понимаешь, что они имеют в виду под «кудрявыми»? Мои волосы так никогда себя не ведут. Тут пишут про соответствие цвета глаз и цвета теней — голубых, зеленых или светло-карих глаз. Но у меня глаза черные, и мне никак не понять, какие тени мне подходят. Тут написано, что эта розовая помада — на любой вкус, но это на «любой вкус» белой женщины, потому что я буду смотреться как голливуд, [\[163\]](#) если этот оттенок розового намажу. О, а вот и кое-какой прогресс. Реклама тонального крема. Семь разных оттенков для белой кожи и один общий шоколадного оттенка, но уже кое-что. А теперь давай обсудим, что такое «расово однобокий». Ты понимаешь, почему вообще существует журнал, подобный «Сути»?

— Ладно, детка, ладно, я и не думал, что тут целое дело, оказывается, — сказал он.

В тот вечер Ифемелу настрочила длинное электронное письмо Вамбуи — о книжном магазине, о журналах, о том, что она не сообщила Кёрту, обо всем несказанном и незавершенном. Письмо получилось пространное, оно копало, задавало вопросы, вытаскивало из-под земли. Вамбуи ответила:

«Это все очень живо и подлинно. Надо, чтоб прочло больше народу. Тебе бы вести блог».

Блоги были для Ифемелу в новинку, в диковину. Но Ифемелу, рассказав Вамбуи о происшедшем, не удовлетворилась: она томилась по другим слушателям — и желала услышать чужие истории. Сколько других людей выбирали молчать? Сколько других людей стали черными в Америке? Сколько других людей чувствовали, что их мир обернут марлей? Она порвала с Кёртом через несколько недель после того случая и завела себе профиль на «ВордПрессе» — так родился ее блог. Она позднее сменил название, но поначалу он именовался «Расемнадцатое, или Занимательные наблюдения черной неамериканки на тему чернокожести в Америке». Ее первый пост — пунктуационно-улучшенная версия письма, отправленного Вамбуи. Кёрта она там именовала «Горячим Белым Бывшим». Через несколько часов проверила статистику блога. Прочло девятеро. Ифемелу в панике убрала пост. На следующий день повесила обратно, измененный и отредактированный, и завершался он словами, которые она прекрасно помнила до сих пор. Она процитировала эти слова и сейчас, за столом франко-американской пары, а гаитянская поэтесса вперялась в нее, скрестив на груди руки.

Простейшее решение расового вопроса в Америке? Романтическая любовь. не дружба. не безопасная, поверхностная любовь, у которой цель — сберечь удобство обоих участников. настоящая глубокая романтическая любовь, которая тебя выворачивает и выкручивает — и заставляет дышать через ноздри возлюбленного. А поскольку настоящая глубокая романтическая любовь такая большая редкость, а также потому, что американское общество устроено так, чтобы сделать ее между черными и белыми американцами еще реже, расовый вопрос в Америке не разрешится никогда.

— О! Какая чудесная история! — сказала хозяйка-француженка, ладони театрально прижала к груди, оглядела стол, словно ожидая отклика. Но все продолжали молчать, отводя взгляды, неуверенно.

***РЕСПЕКТ МИШЕЛЬ ОБАМЕ ПЛЮС ВОЛОСЫ КАК
МЕТАФОРА РАСЫ***

Мы с Белой Подругой — фанатки Мишель Обамы. И я тут на днях говорю Подруге: интересно, у Мишель Обамы накладные пряди сегодня, что ли, волосы вроде больше, а жарить их каждый день наверняка вредно. И Подруга мне: в смысле, у нее волосы разве не прям так растут? Дело во мне? Или вот она, отличная метафора расы в Америке? Волосы. Не обращали внимания, как в телепрограммах про смену имиджа у черных женщин естественные волосы (жесткие, в завитках, курчавые или волнистые) — на уродливых фотографиях «до», а на красивеньких «после» кто-то берет в руки кусок горячего металла и жарит эти волосы до прямых? (Комментаторы, прошу вас, не надо мне рассказывать — это не то же самое, что белые женщины, которые не красят волосы.) Когда у тебя естественные негритянские волосы, людям кажется, будто ты «сделала» что-то со своими волосами. Вообще-то народ с афро и дредами как раз ничего со своими волосами не «делает». Лучше у Бейонсе спросите, что она сделала. (Мы все любим Бей, но пусть уж она хоть разок покажет, как ее волосы смотрятся, когда просто выросли у нее на голове.) У меня естественные курчавые волосы. Ношу «кукурузой», в виде афро или косичек. Нет, это не политическое. Нет, я не художник, не поэтесса и не певица. И не из культа богини-матери. Я просто не хочу выпрямители у себя на волосах — в моей жизни и так хватает канцерогенов. (Кстати, можно запретить парики-афро на День всех святых? Афро — не карнавальный наряд, господи ты боже мой.) Вообразите: Мишель Обама устала от вечной жарки, решила перейти на естественную прическу и заявила на телевидение с копной шерстистых волос или в тугих спиральных кудрях. (Никому не ведомо, какая у ее волос будет текстура. Случается, у какой-нибудь черной женщины три разные текстуры на голове.) Мишель-то зажжет, а вот бедняга Барак наверняка потеряет независимых избирателей и даже колеблющихся демократов.

АПДЕЙТ: ЗораНил22,^[164] которая сейчас в переходном периоде, попросила обнародовать режим

ухода за волосами. Многим естественникам как маска для волос годится чистое масло ши. Но не для меня. От всего, в чем много масла ши, волосы у меня делаются сероватыми и суховатыми. А сухость — главная напасть моих волос. Раз в неделю я мою голову увлажняющим бессиликоновым шампунем. Применяю увлажняющий кондиционер. Не сушу волосы полотенцем. Оставляю мокрыми, делю на пряди и применяю маски (сейчас любимая марка — Qhemet Biologics, кто-то предпочитает Oyin Handmade, Shea Moisture, Bask Beauty и Darcy's Botanicals). Затем заплетаю волосы в три-четыре крупные «кукурузы» — и вуаля: славная пушистая 'фро! Главное — наносить косметическое средство на мокрые волосы. И я никогда, ни в коем случае не расчесываю сухие волосы. Только мокрые или сырые — или полностью пропитанные увлажнителем. Режим плетения по мокрому может подойти даже нашим Всерьез Кудрявым Белым Подругам, уставшим от утюжков и кератиновой обработки. Естественники ЧА и ЧНА, [\[165\]](#) не желаете ли поделиться своими режимами ухода?

Глава 32

Недели напролет Ифемелу пыталась вспомнить человека, которым она была до Кёрта. С ней случилась их совместная жизнь, она бы не смогла ее вообразить, даже если бы попыталась, а значит, конечно же, она способна вернуться к тому, как все было прежде. Но «прежде» было серовато-расплывчатым, и Ифемелу больше не знала, кем она тогда была, что ей нравилось или не нравилось, чего хотелось. На работе ей было скучно: она выполняла одни и те же унылые задачи, писала пресс-релизы, редактировала пресс-релизы, переделывала пресс-релизы, движения вызубренные, отупляющие. Возможно, так было все время, а она не замечала, ослепленная яркостью Кёрта. Ее квартира стала ей домом чужого человека. По выходным она отправлялась в Уиллоу. Многоквартирник тети Уджу располагался в скоплении оштукатуренных зданий, ландшафт района тщательно продуман, на углах — валуны, а по вечерам дружелюбная публика выгуливала красивых собак. В тете Уджу появилась новая беззаботность: она стала носить летом тоненький браслет на лодыжке — полный надежд проблеск золота на ноге. Она вступила в «Африканские врачи для Африки», работала добровольцем в двухнедельных врачебных десантах и в поездке в Судан встретила Квеку, разведенного врача из Ганы.

— Он со мной обращается как с принцессой. Как Кёрт — с тобой, — сказала она Ифемелу.

— Я пытаюсь его забыть, тетя. Перестань о нем говорить!

— Извини, — сказала тетя Уджу, совершенно не выглядя виноватой. Она поучала Ифемелу сделать все, чтобы спасти эти отношения, потому что второго такого мужчину, который будет любить ее, как Кёрт, она не найдет.

Когда Ифемелу доложила Дике, что рассталась с Кёртом, он сказал:

— Он вообще-то клевый, куз. Ты справишься?

— Да, конечно.

Вероятно, он заподозрил противоположное и видел даже малейшие колебания ее настроения: по ночам она в основном лежала и плакала, кляня себя за то, что все поломала, а затем убеждала себя, что реветь нет причин, однако ревела все равно. Дике притащил ей поднос в комнату, на подносе — банан и банка арахиса.

— Закуси! — сказал он с лукавой улыбкой: он все еще не понимал, как можно есть бананы с арахисом. Пока Ифемелу ела, он сидел у нее на

кровати и рассказывал о школе. Он теперь играл в баскетбол, оценки стали лучше, и ему нравилась девочка по имени Отэм.

— Вы тут и впрямь обживаетесь.

— Ага, — сказал он, и его улыбка напомнила ей о былом Бруклине — там он улыбался открыто, беспечно.

— Помнишь персонажа Гоку^[166] из моего японского аниме? — спросил он.

— Да.

— Ты немножко похожа на Гоку — с афро, — сказал Дике и рассмеялся.

Постучал Квеку, подождал, пока она скажет «Войдите», а затем сунул голову в комнату.

— Дике, ты готов? — спросил он.

— Да, дядя. — Дике встал. — Погнали!

— Мы собираемся в общинный клуб, хочешь с нами? — спросил Квеку у Ифемелу, робко, едва ли не формально: он тоже знал, что она страдает после разрыва. Маленький, очкастый, благородный — благой и родной; Ифемелу он нравился, потому что ему нравился Дике.

— Нет, спасибо, — ответила Ифемелу.

Квеку жил в доме неподалеку, но кое-какие его рубашки обосновались в шкафу у тети Уджу, и Ифемелу видела мужской ополаскиватель для лица в ванной у тети Уджу, упаковки живого йогурта в холодильнике — Ифемелу знала, что тетя Уджу такие не ест. Квеку смотрел на тетю Уджу прозрачными глазами — как мужчина, который желал бы, чтобы весь мир знал, как сильно он влюблен. Это напоминало Ифемелу о Кёрте и будило в ней — вновь — томительную печаль.

Мама уловила что-то в ее голосе по телефону.

— Ты болеешь? Что-то случилось?

— Все в порядке. Просто работа, — сказала она.

Отец тоже спросил, почему у нее изменился голос, все ли в порядке. Ифемелу ответила, что все хорошо, что она бо́льшую часть времени после работы посвящает своему блогу; уже собралась объяснить поподробнее, но отец сказал:

— Я вполне осведомлен об этом понятии. Нас в конторе подвергли тщательному обучению компьютерной грамотности.

— Они утвердили отцову заявку. Он может уйти в отпуск, когда у меня учебный год закончится, — сказала мама. — На визу надо подаваться быстро.

Ифемелу давно мечтала и рассуждала о том, когда они смогут ее

навестить. Теперь ей такое было по карману, и мама загорелась, но Ифемелу жалела, что визит никак не сдвинуть. Она хотела повидаться с родителями, но чувствовала, что их приезд ее утомит. Ифемелу сомневалась, что сможет быть им дочерью — человеком, которого они помнили.

— Мамочка, у меня на работе сейчас хлопотно.

— А, а. Мы тебя отвлечем от работы?

И Ифемелу отправила им приглашения, выписку из банка, копию своей грин-карты. Американское посольство стало получше: персонал по-прежнему хамил, по словам отца, но уже не нужно было толкаться и пихаться на улице, чтобы занять очередь. Им дали полугодовые визы. Приехали они на три недели. Показались ей чужими людьми. Выглядели так же, но памятное ей достоинство исчезло, вместо него осталось нечто мелкое — провинциальный пыл. Отец восхищался типовым ковровым покрытием в вестибюле ее многоквартирника; мама хапала в «Кей-Марте» сумочки из кожзаменителя, бумажные салфетки в ресторанном дворике торгового центра, даже пластиковые магазинные пакеты. Родители позировали для фотоснимков перед «Джей-Си Пенни» и просили Ифемелу, чтобы вся вывеска магазина попала в кадр целиком. Ифемелу наблюдала за ними со снисходительной улыбочкой, и ей за это было стыдно: она так трепетно берегла свои воспоминания, но все равно, увидев родителей, глядела на них с ухмылкой.

— Я не понимаю американцев. Они говорят «работа», а кажется — «рыбата», — объявил отец, проговаривая оба слова по буквам. — Британская манера говорить представляется гораздо более предпочтительной.

Перед отъездом мама спросила тихонько:

— У тебя есть друг?

Слово «друг» она произнесла по-английски — это смирное определение родители применяли, потому что не могли осквернять язык словом «бойфренд», хотя именно о нем и шла речь: о романтической связи, о перспективе женитьбы.

— Нет, — сказала Ифемелу. — Я очень занята на работе.

— Работа — это хорошо, Ифем. Но глаза-то держи разутыми. Помни: женщина — она как цветок. Наше время быстро проходит.

Раньше она, может, и посмеялась бы пренебрежительно и сказала маме, что совсем не чувствует себя цветком, но теперь слишком устала, слишком это много усилий. В день, когда они улетели в Нигерию, она рухнула на кровать, неудержимо рыдая и думая: «Что со мной не так?» Ей

стало легче от того, что родители уехали, и за это облегчение ей было стыдно. После работы она бродила по центру Балтимора, без всякой цели, ничем не интересуясь. Вот это романисты именуют «томленьем»? Заявление об увольнении она подала в неспешный вечер среды. Увольняться она не собиралась, но внезапно показалось, что именно это и нужно сделать, и она напечатала письмо на компьютере и отнесла его в кабинет начальства.

— Вы так хорошо развивались. Можем ли мы что-то предложить вам, чтобы вы передумали? — спросила начальница, очень удивившись.

— Это личное, семейные обстоятельства, — расплывчато отозвалась Ифемелу. — Я очень благодарна вам за все предоставленные возможности.

КАКОВ РАСКЛАД?

Они говорят нам, что раса — вымысел, что между двумя черными людьми генетических различий больше, чем между черным и белым человеком. Следом нам говорят, что у черных рак груди хуже и фиброзных опухолей больше. А у белых муковисцидоз и остеопороз. И каков же расклад, а, врачи? Раса — вымысел или нет?

Глава 33

Блог торжественно стартовал и уже сбросил молочные зубы; это попеременно удивляло ее, радовало и вынуждало наверстывать. Читателей прирастало — тысячами, со всего мира, так быстро, что Ифемелу старалась не подсматривать за статистикой, не желая знать, сколько еще новеньких пришло в тот или иной день читать ее, — Ифемелу это пугало. И будоражило. Заметив, что ее посты перетаскивают на другой сайт, она сомлела от гордости, но вместе с тем не могла всего этого себе вообразить, никогда не лелеяла никаких отчетливых планов. От читателей приходили письма — читатели желали поддержать ее блог. Поддержать. Это слово сделало блог еще более отдельным от нее самой, чем-то самостоятельным, способным благоденствовать или прозябать, иногда вместе с ней, иногда — без. И Ифемелу выложила ссылку на свой счет в ПейПэл. Там появились деньги, много маленьких сумм и одна такая большая, что, когда Ифемелу ее увидела, издала неожиданный для себя звук — охнула и вскрикнула одновременно. Эта сумма далее появлялась ежемесячно, анонимно, постоянно, как зарплата, и всякий раз Ифемелу смущалась, словно нашла на улице что-то ценное и присвоила себе. Подумывала, не от Кёрта ли это, и не читает ли он ее блог, и что думает об обозначении себя как «Горячего Белого Бывшего». Мысли эти были вполсилы: Ифемелу скучала по тому, как все могло сложиться, но больше не скучала по Кёрту.

Почту блога Ифемелу проверяла слишком часто, как ребенок, алчно обдирающий обертку подарка, который не наверняка желанен, и читала сообщения людей, приглашавших с ними выпить, сообщавших ей, что она — расистка, подбрасывавших идеи дальнейших постов. Блогерша, готовившая для Ифемелу масла для волос, предложила свою рекламу, за символическую плату, и Ифемелу поместила в правом верхнем углу странички блога фотографию пышноволодой женщины; если щелкнуть по фотографии, попадаешь на сайт масел для волос. Один читатель предложил денег за размещение мигающей картинки: сначала длинношеяя модель в облегающем платье, а следом — та же модель в широкополой шляпе. Щелчок по картинке вел на сайт онлайн-бутика. Вскоре посыпались письма с предложениями рекламировать шампуни «Пантин» и косметику «Кавергёрл». А затем письмо от куратора мультикультурных мероприятий из школы в Коннектикуте, такое формальное, что Ифемелу подумалось, будто его отпечатали на вырубленной вручную бумаге с серебряным

обрезом: ее приглашали провести с учениками беседу о культурном многообразии. Еще одно письмо, чуть менее формально изложенное, прилетело от некоей компании в Пенсильвании: в нем сообщалось, что местный преподаватель счел ее «противоречивым интернет-оратором на расовые темы» и спрашивал, не хочет ли она вести их ежегодный семинар по этническому многообразию. Редактор «Балтимор ливинг» сообщила, что они хотели бы включить ее в статью «Десять примечательных людей»; ее сфотографировали рядом с ноутбуком, лицо укрыто тенью, подпись: «Блогер». Ее читательская аудитория утроилась. Посыпалось еще больше приглашений. Телефонные звонки она принимала, облачившись в самые серьезные свои брюки, в помаде самого глухого оттенка, и говорила, сидя выпрямившись за столом, нога на ногу, тон размеренный, уверенный. И все же что-то в ней всегда деревенело от напряжения, от ожидания, что человек на другом конце провода осознает: Ифемелу лишь выставляет себя профессионалом, опытным переговорщиком, а по сути — безработная, которая весь день проводит в жеваной ночнушке, и, обозвав ее самозванкой, повесит трубку. Но приглашения продолжали прибывать. Гостиницу и дорогу ей оплачивали, гонорары случались разные. Однажды она, повинувшись порыву, сказала, что хочет вдвое больше, чем ей предложили на прошлой неделе, и обалдела, когда человек, звонивший из Делавэра, согласился: «Ага, можно».

Большинство людей, посетивших ее первую лекцию об этническом и расовом многообразии в маленькой компании в Огайо, пришли в кроссовках. Все белые. Ее презентация называлась «Как обсуждать расовые вопросы с коллегами других рас», но с кем, интересно, они собираются разговаривать, если они тут все белые? Возможно, уборщик у них черный.

— Я не эксперт, поэтому ссылаться на меня не стоит, — начала она, и все засмеялись, смех был добродушным, поддерживающим, и она сказала себе, что все сложится хорошо, не надо волноваться, обращаясь к целому залу посторонних людей посреди Огайо. (Она с легкой тревогой вычитала, что в этих местах до сих пор существуют закатные города.^[167]) — Первый шаг к откровенному общению на расовые темы — осознание, что не весь расизм одинаковый, — сказала она и начала свою тщательно подготовленную речь. Когда наконец добралась до «Спасибо», довольная гладкостью собственного выступления, лица вокруг заледенели. От тяжелых хлопков земля ушла из-под ног. Чуть погодя она осталась один на один с директором по кадрам, пила чересчур сладкий холодный чай в конференц-зале и говорила о футболе: директор знал, что Нигерия играет хорошо, и

словно бы рвался обсуждать что угодно, кроме речи, которую она только что произнесла. В тот вечер она получила электронное письмо: ВАША РЕЧЬ — ФУФЛО. ВЫ РАСИСТКА. БЛАГОДАРНОЙ НАДО БЫТЬ, ЧТО МЫ ВАС В ЭТУ СТРАНУ ПУСТИЛИ.

Это письмо, набранное прописными буквами, стало для нее озарением. Цель семинаров по этническому многообразию, бесед о множественности культур — не подталкивать настоящие изменения, а подкреплять в людях самодовольство. Никому не нужны ее мысли — им нужен жест, ее присутствие. Они не читали ее блог, а просто слышали, что она «ведущий блогер» на расовые темы. И потому в последующие недели она на своих лекциях в компаниях и школах говорила то, что они желали услышать, ничего из того, что она изложила бы у себя в блоге: она понимала, что люди, читающие ее блог, — не те же самые, кто ходит на ее семинары по расовому многообразию. В своих речах она говорила:

— Америка далеко продвинулась, и нам всем есть чем гордиться.

У себя в блоге она писала: «Расизма не должно было случиться вообще, а потому не будет вам никаких печенюшек за его укрощение». Приглашения всё прибывали и прибывали. Она наняла студентку-практикантку, американку с Гаити, прическа — изящные жгуты, в интернете она оказалась шустра, отыскивала все сведения, какие были нужны Ифемелу, и вытирала неуместные комментарии почти с той же скоростью, с какой они появлялись.

Ифемелу купила маленькую квартирку. Ее потрясло, когда она увидела объявление в разделе недвижимости в газете и осознала, что первый взнос ей по карману. Написав свое имя над словом «владелец», она с испугом ощутила себя взрослой, а также немножко ошалела, потому что это стало возможным благодаря ее блогу. В одной из двух комнат она оборудовала себе кабинет и писала там, частенько стоя у окна и глядя на свой новый район — Роланд-Парк, восстановленную ленточную застройку, затененную старыми деревьями. Ее удивляло, почему некоторые посты привлекали к себе внимание, а некоторые его почти не достаивались. Пост о попытке онлайн-знакомства — «При чем тут любовь?» — продолжал набирать комментарии, словно там намазано, многие месяцы после публикации.

Короче, все еще грущу из-за разрыва с Горячим Белым Бывшим, в бары не тянет, вот и зарегистрировалась на сайте знакомств. отсмотрела гору профилей. штука в следующем. Фильтр интересующей вас этнической принадлежности. Белые мужчины

отмечают галочкой белых женщин, те, кто посмелее, — азиаток и латиноамериканок. Латиноамериканцы отмечают белых и латиноамериканок. черные — единственные, кто отмечает «всех», но некоторые черных женщин не отмечают. Берут белых, азиаток, латиноамериканок. Любви я не почувствовала. но при чем тут любовь, со всеми этими галочками-то? Можно зайти в продуктовую лавку, наткнуться на кого-то, влюбиться, а этот кто-то окажется не той расы, какую вы отмечаете галочкой в интернете. И вот, покопавшись, я решила отменить регистрацию на сайте — к счастью, я там была в пробном периоде, — вернула свой взнос и далее лучше буду вслепую забредать в продуктовые лавки.

Комментарии сыпались от людей с похожими байками и от людей, говоривших, что она не права, от мужчин, просивших ее выложить свою фотографию, от черных женщин, делившихся счастливыми историями интернет-знакомств, от людей сердитых и восторженных. Некоторые комментарии ее веселили, потому что вовсе никак не были связаны с темой поста. «Ой да пошла ты нахер, — писал один. — Черным все достается полегкому. Ничего в этой стране не добыть, если ты не черный. Черным женщинам даже позволительно весить больше». Ее постоянный пост «Пятничная всячина», мешанина мыслей, еженедельно притягивал больше всего читателей и комментариев. Иногда она сочиняла посты и ждала мерзких откликов, живот скручивало от ужаса и волнения, но возникали сплошь вялые комментарии. Теперь, когда ее зазывали вещать на круглых столах и лекциях, на государственные и местные радиостанции, где ее всегда именовали Блогером, она ощущала, что блог поглотил ее. Она стала своим блогом. По временам, когда Ифемелу лежала без сна по ночам, ее крепнувший непокой выбирался из укромных расщелин и многочисленные читатели ее блога превращались в ее мыслях в гневную осуждающую толпу, что поджидает, коротая время, когда можно будет напасть на Ифемелу, содрать с нее маску.

ОТКРЫТЫЙ ТРЕД: НЕГРАМ-В-ФУТЛЯРЕ

Этот пост посвящен всем Неграм-в-Футляре — преуспевающим черным американцам и неамериканцам, которые не обсуждают вслух Жизненный Опыт, Связанный Исключительно с их Чернокожестью. Потому что им хочется, чтобы всем было уютно. Расскажите о себе здесь. Расстегните пуговицы. Это безопасное пространство.

Глава 34

Блог вернул в ее жизнь Блейна. На конвенте «Блогерство бурых» в Вашингтоне, О. К., во время ознакомительной сессии в первый день, когда в фойе гостиницы набилась куча людей, здоровавшихся друг с дружкой нервными, чрезмерно восторженными голосами, Ифемелу, разговаривая с хозяйкой блога, посвященного макияжу, тощей американской мексиканкой с неоновыми тенями на веках, вскинула взгляд — и замерла, содрогнувшись, потому что всего в нескольких робких шагах от нее в тесном кружке людей стоял Блейн. Он не изменился, если не считать очков в черной оправе. В точности такой, каким она его запомнила в поезде: высокий, подвижный. Блогерша толковала о косметических компаниях, вечно присылающих бесплатно всякое «Беллачикане»,^[168] об этике этих посылок, и Ифемелу кивала, но по-настоящему осознавала лишь присутствие Блейна, то, как он выбрался из своего кружка и двинулся к ней.

— Привет! — сказал он, глянув на ее бейдж. — Так вы, значит, черная неамериканка? Обожаю ваш блог.

— Спасибо, — сказала она.

Он ее не помнил. Но с чего б ему? С тех пор как они встретились в поезде, прошло столько времени, и тогда ни он ни она не знали, что такое «блог». Его бы повеселило, как сильно она его идеализировала, как он стал человеком, сотворенным не из плоти, а из кристалликов совершенства, — мужчина-американец, какого ей никогда не заполучить. Он повернулся поздороваться с блогершей-косметичкой, и Ифемелу увидела у него на бейдже, что он вел блог о «пересечении науки и поп-культуры».

Он вновь повернулся к ней:

— Как ваши визиты в торговые центры Коннектикута? Я-то по-прежнему ращу себе хлопок.

На миг у нее перехватило дух, а затем она расхохоталась — головокружительно, восторженно, потому что жизнь ее превратилась в зачарованное кино, где люди вновь обретали друг друга.

— Вы вспомнили!

— Я наблюдал за вами из другого угла. Глазам своим не верил, что вижу вас.

— О боже, сколько ж времени прошло — лет десять?

— Примерно. Восемь?

— Вы мне так и не перезвонили, — сказала она.

— Я был в отношениях. Они и тогда не казались простыми, но затянулись гораздо дольше, чем следовало бы. — Он примолк, и вид у него сделался тот самый, какой она позднее так хорошо запомнит, — добродетельный прищур, свидетельствующий о высоких помыслах этого ума.

Последовали электронная переписка и телефонные звонки между Балтимором и Нью-Хейвенем, игривые комментарии друг у друга в блогах, безудержный флирт ночных разговоров, пока однажды зимой он не прибыл к ее двери, руки в карманах бушлата оловянного оттенка, воротник присыпан снегом, словно волшебной пылью. Она готовила кокосовый рис, квартира пропахла специями, на разделочном столе — бутылка дешевого мерло, в проигрывателе — диск с Ниной Симоун, громко. Песня «Не дай мне быть неверно понятой»^[169] повела их — всего несколько минут прошло, как он прибыл, — через мост: от флиртующих друзей к любовникам у нее в постели. После он подпер голову рукой и всмотрелся в нее. Было в его худощавом теле нечто текучее, едва ли не бесполое, и это напомнило ей, что он занимается йогой. Возможно, он способен стоять на голове, скручиваться в невозможные фигуры. Перемешивая рис, уже остывший, с кокосовым соусом, она сказала ему, что готовить ей скучно и что она купила все специи накануне, а готовила потому, что он приехал в гости. Она вообразила их обоих с имбирем на губах, желтое карри слизывают с ее тела, лавровые листки крошатся под ними, но они такие ответственные — целовались в гостиной, а затем она повела его в спальню.

— Надо было это все вытворить невероятнее, — сказала она.

Он расхохотался.

— Мне нравится готовить, так что возможностей для невероятного еще будет много.

Но Ифемелу знала, что он не из тех, кто творит невероятное. Не с этим его натягиванием презерватива — медленным, сосредоточенным. Позднее она узнала о письмах, которые он писал в конгресс о Дарфуре,^[170] о подростках, которых он учил в школе в Диксуэлле,^[171] о приюте, где он работал добровольцем, и стала считать его человеком, у которого не обычный позвоночник, а крепкая тростина добродетельности.

* * *

Словно благодаря их встрече в поезде много лет назад им удалось проскочить несколько этапов, отмахнуться от нескольких неизвестных и впасть в мгновенную близость. После его первого приезда она отправилась в Нью-Хейвен вместе с ним. Были той зимой недели, холодные и солнечные, когда Нью-Хейвен словно бы светился изнутри, замерзший снег цеплялся за кусты, и было нечто праздничное в мире, населенном лишь ею и Блейном. Они заходили в фалафельную на Хауи-стрит, покупали там хумус, устраивались в углу и болтали часы напролет, а когда выбирались наружу, языки им щипало от чеснока. Или она ждала его в библиотеке, после его занятий, там они сидели в кафе, попивали шоколад — слишком густой, ели круассаны — слишком цельнозерновые, его вязанка книг — на столе перед ними. Он готовил экологичные овощи и крупы, названия которых ей не удавалось произнести, — булгур, киноа, — и он мгновенно прибирался после готовки, клякса томатного соуса исчезала, не успев появиться, пролитую воду он промокал немедленно. Он пугал ее, рассказывая о химикатах, какими опрыскивают посеы, скармливают курам, чтобы росли быстрее, и применяют к фруктам, чтобы у тех была безупречная кожура. С чего, как она считает, люди мрут от рака? И теперь, прежде чем съесть яблоко, она терла его под краном, хотя Блейн покупал исключительно экологически чистые фрукты. Он рассказал ей, в каких зерновых есть белок, в каких овощах — каротин, а какие фрукты слишком сахаристые. Он знал все обо всем; она робела перед ним — и им гордилась, и ее это чуточку отталкивало. Мелкие домашние хлопоты с ним, в его квартире на двадцатом этаже небоскреба рядом со студгородком, набрякли смыслом: его наблюдения за ней, когда она после вечернего душа увлажняет кожу кокосовым маслом, вжик посудомоечной машины после запуска — и Ифемелу представляла колыбель в спальне, в ней — младенец, а Блейн прилежно смешивает для него экологически чистые фрукты. Он будет безукоризненным отцом, этот человек тщания и дисциплины.

— Я не могу есть темпе, не понимаю, как это может нравиться, — сказала она ему.

— Мне не нравится.

— А зачем тогда это есть?

— Это полезно.

Он каждое утро бегал, а каждый вечер чистил зубы нитью. Вот это — чистка нитью — казалось ей таким американским, механическое движение нити между зубами, неизящное и функциональное.

— Чистить нитью нужно каждый день, — наставлял ее Блейн.

И она послушалась — а также взялась выполнять и прочее из того, чем

он занимался: ходить в спортзал, есть больше белков вместо углеводов — и выполняла все это с неким благодарным удовлетворением, потому что все это ее улучшало. Блейн был как напиток здоровья: с ним она тянулась исключительно к высокому уровню добродетельности.

* * *

Араминта, его лучшая подруга, зашла в гости и тепло обняла Ифемелу, словно они уже были знакомы.

— После расставания с Полой Блейн толком и не встречался ни с кем. А теперь он с сестрой, с шоколадной сестрой даже. Прогресс! — сказала Араминта.

— Минт, прекрати, — сказал Блейн, но с улыбкой. То, что его лучший друг — женщина, архитектор, с длинным прямым шиньоном, носившая высокие каблуки, джинсы в обтяжку и цветные линзы, говорило о Блейне нечто симпатичное для Ифемелу.

— Мы с Блейном росли вместе. В старшей школе были единственными черными детьми на весь класс. Все наши друзья хотели, чтобы мы встречались, сама знаешь, как они все считают: двое черных ребят должны быть вместе, но он — не мой тип, — сказала Араминта.

— Уж конечно, — сказал Блейн.

— Ифемелу, можно я скажу, до чего я счастлива, что ты — не ученая? Слышала, как его друзья разговаривают? Что ни возьми — оно не то, что есть. Все обязано что-то означать. Какая чушь. Марша тут на днях рассуждала о том, что черные женщины жирные, потому что их тела — пространства противостояния рабству. Да, это правда — если противостоять рабству бургерами и газировкой.

— Да кто угодно видит эту всю антиинтеллектуальную позу насквозь, мисс Выпить-при-Гарвардском-Клубе, — сказал Блейн.

— Ладно тебе. Хорошее образование — не то же самое, что превращать весь этот клятый мир в нечто, нуждающееся в толковании! Даже Шэн над вами смеется, ребятки. Она отлично вас с Грейс изображает: «Складывание канона и топография пространственного и исторического сознания». — Араминта повернулась к Ифемелу: — Ты с его сестрой Шэн не знакома?

— Нет.

Позднее, когда Блейн был в спальне, Араминта сказала:

— Шэн — интересный персонаж. Не воспринимай ее слишком всерьез, когда познакомитесь.

— В смысле?

— Она прекрасная, очень соблазнительная, но если покажется, что она тебя оскорбляет или что-то в этом духе, дело не в тебе — она просто такая. — А затем добавила, потише: — Блейн взаправду хороший мужик, по-настоящему хороший.

— Я знаю. — Ифемелу уловила в словах Араминты то ли предупреждение, то ли мольбу.

Блейн предложил ей переехать уже через месяц, но прошел в итоге целый год, хотя она проводила большую часть времени в Нью-Хейвене, обзавелась карточкой йелевского спортзала как спутница преподавателя и писала к себе в блог из его квартиры, за столом, который он поставил ей у окна в спальне. Поначалу, в восторге от его увлеченности собой, облагодетельствованная его умом, она позволяла ему читать свои посты до обнародования. Она не просила его редактировать, но постепенно начала менять то-сё, добавлять, стирать — из-за того, что он ей говорил. Затем ее это начало отвращать. Посты звучали слишком научно, слишком как он. Она написала пост о гетто — «Почему самые промозглые, самые унылые части американских городов кишат черными американцами?», — и он предложил ей включить подробности о государственной политике и изменении границ избирательных округов. Она так и сделала, но, перечитав, снесла пост.

— Я не хочу толковать — я хочу наблюдать, — сказала она.

— Помни: люди читают тебя не ради развлечения, они тебя читают как культурный комментарий. Это настоящая ответственность. По твоему блогу дети в колледжах сочинения пишут, — сказал он. — Я не говорю, что тебе нужно быть научнообразной или скучной. Блюда свой стиль, но добавь глубины.

— Глубины там достаточно, — возразила она раздраженно, однако с докучливой мыслью, что он прав.

— Ты ленишься, Ифем.

Он часто употреблял слово «ленишься» по отношению к своим студентам, которые не сдавали работы вовремя, к политически бездеятельным черным знаменитостям, к представлениям, недотягивавшим до его собственных. Иногда она чувствовала себя его подмастерьем, когда они бродили по музеям и он задерживался возле абстрактных полотен, от которых ей делалось скучно, и она брела к смелой скульптуре или натуралистичным картинам и углядывала в его натянутой улыбке

разочарование, что она все еще многому у него не научилась. Когда ставил подборки из полного собрания сочинений Джона Колтрейна, он наблюдал, как она слушает, ждал от нее зачарованности, какой она непременно обязана была облечься, а затем, в конце, когда она так и оставалась не захваченной, быстро отводил взгляд. Она писала в блоге о двух романах, которые ей понравились, — Энн Петри и Гейл Джоунз,^[172] а Блейн сказал:

— Они не раздвигают границы.

Говорил он мягко, словно не хотел ее огорчать, однако это должно было прозвучать. Его представления были до того тверды, тщательно продуманы и осознанны его умом, что он иногда, казалось, изумлялся, почему она не дошла до этого тоже. Она ощущала себя на шаг в стороне от всего, во что он верил, от всего, что он знал, и рвалась играть в догонялки, замороженная его чувством правоты. Однажды они шли по Элм-стрит за сэндвичами и увидели пухлую черную женщину — достопримечательность студгородка: она вечно стояла рядом с кафе, шерстяная шапка натянута на голову, предлагала прохожим одинокие пластиковые красные розы и спрашивала: «Мелочи не найдется?» Двое студентов разговаривали с ней, а затем один дал ей капучино в высоком бумажном стакане. Женщина впала в восторг; закинула голову и принялась пить из стакана.

— Какая гадость, — сказал Блейн, когда они прошли мимо.

— Не то слово, — сказала Ифемелу, хотя не очень поняла, почему эта бездомная и подаренный ей капучино вызывали у него такой сильный отклик.

За несколько недель до этого пожилая белая женщина, стоявшая в очереди позади них в продуктовой лавке, сказала:

— У вас такие красивые волосы, можно потрогать?

Ифемелу разрешила. Женщина запустила пальцы в ее афро. Ифемелу почувствовала, что Блейн напрягся, увидела, как вздулись вены у него на висках.

— Как ты могла позволить ей подобное? — спросил он потом.

— А что такого? Откуда еще ей узнать, какие на ощупь бывают волосы, как у меня? Она, может, ни одного черного не знает.

— И ты, получается, должна быть ей морской свинкой? — спросил Блейн.

Он ожидал, что Ифемелу прочувствует то, что она не понимала как. Было многое, что существовало для него, а ей было недоступно. С его близкими друзьями она часто безотчетно терялась. Они были моложавы, хорошо одеты и праведны, их речи полнились оборотами типа «своего

рода» и «то, каким образом»; они собирались в баре по четвергам, а иногда кто-нибудь из них устраивал званые ужины, где Ифемелу в основном слушала, говорила мало, смотрела на них изумленно: эти люди, что ли, серьезно так взбешены импортом овощей, созревающих в грузовиках? Они рвались прекратить детский труд в Африке. Они отказывались покупать одежду, пошитую низкооплачиваемыми работниками в Азии. Они смотрели на мир с непрактичной, сияющей рьяностью, которая трогала Ифемелу, но не убеждала. Окруженный этими людьми, Блейн сыпал отсылками, неведомыми ей, и казался далеким-далеким, словно принадлежал им, а когда наконец обращал на нее внимание, взгляд — теплый и любящий, ей вроде бы становилось легче.

* * *

Она рассказала родителям о Блейне — что она уезжает из Балтимора в Нью-Хейвен, жить с ним. Могла и соврать, изобрести новую работу или просто сказать, что хочет переехать.

— Его зовут Блейн, — сообщила она. — Он американец.

Ей послышался символизм в собственных словах, пролетевших тысячи миль до Нигерии, и она знала, что ее родители поймут. Они с Блейном не обсуждали женитьбу, но почву под ногами она ощущала твердо. Хотела, чтобы родители знали о нем — и о том, какой он хороший. Она употребила именно это слово — «хороший».

— Американский негр? — спросил отец оторопело.

Ифемелу прыснула.

— Папуля, никто больше не говорит так — «негр».

— А почему негр? У вас там ощущается значительная нехватка нигерийцев?

Она пренебрегла этим вопросом, все еще смеясь, и попросила передать трубку маме. Отмахиваться от отца и даже говорить ему, что она съезжается с мужчиной, за которым не замужем, она могла лишь потому, что жила в Америке. Правила сместились, провалились в трещины расстояний, чуждальности.

Мама спросила:

— Он христианин?

— Нет. Он дьяволопоклонник.

— Кровь Христова! — возопила мама.

— Мамочка, да, он христианин, — сказала Ифемелу.

— Тогда ладно, — сказала мама. — Когда он приедет представиться? Можешь спланировать все так, чтобы успеть за один раз — и в дверь постучать, и за невесту поторговаться, и вино принести, — сократит расходы, чтоб ему не кататься туда-сюда. Америка далеко...

— Мамочка, прошу тебя, мы пока все делаем постепенно.

Завершив разговор, Ифемелу, все еще веселясь, решила изменить название своего блога: «Расемнадцатое, или Различные наблюдения черной неамериканки за черными американцами (прежде известными как негры)».

ВАКАНСИЯ В АМЕРИКЕ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУДИЯ ТОГО, «КТО ТУТ РАСИСТ»

В Америке расизм существует, а расистов больше нет. Расисты — они все в прошлом. Расисты — злые белые люди с поджатыми губами, из фильмов об эпохе Гражданской войны. Дело в следующем: проявления расизма изменились, а вот язык — нет. В смысле, если вы никого не линчевали, вас нельзя именовать расистом. Если вы не изверг-кровосос, вас нельзя именовать расистом. Кто-то должен собраться с духом и сказать, что расисты — не чудовища. Они люди с любящими семьями, обычная публика, платящая налоги. Кому-то надо взяться за эту работу — решать, кто расист, а кто нет. Или, может, пришло время вычеркнуть слово «расист». Подобрать что-то новенькое. Типа «синдром расового расстройства». Можно тогда поделить его на категории: слабовыраженный, средней тяжести, острый.

Глава 35

Однажды ночью Ифемелу проснулась сходить в туалет и услышала Блейна из соседней комнаты, он говорил по телефону, голос мягкий, утешающий.

— Прости, я тебя разбудил? Это моя сестра, Шэн, — сказал он, когда вернулся в постель. — Приехала обратно в Нью-Йорк, и сейчас у нее небольшой срыв по этому поводу. — Умолк. — Очередной маленький срыв. У Шэн много срывов. Поедешь в город со мной в эти выходные, повидать ее?

— Конечно. Чем она, повтори, пожалуйста, занимается?

— Чем только Шэн не занимается! Когда-то работала в хеджевом фонде. Потом бросила и объехала весь мир, немножко поработала в журналистике. Встретила одного гаитянина и перебралась с ним в Париж. Потом он заболел и умер. Это случилось очень быстро. Она еще немного пожила в Париже, решила вернуться в Штаты, но квартиру там оставила за собой. Уже примерно год она вместе с этим парнем, Овидио. Он — ее первые настоящие отношения после смерти Джерри. Довольно приличный кошак. Его на этой неделе нет, у него задачи в Калифорнии, и Шэн одна. Ей нравятся эти ее сборища, она их называет салонами. У нее поразительные друзья, в основном художники и писатели, они все приходят к ней домой и очень славно беседуют. — Умолк. — Она по-настоящему особенный человек.

* * *

Когда Шэн вошла в комнату, воздух вдруг исчез. Нет, это не Шэн дышала глубоко — ей не требовалось: воздух попросту плыл к ней, притянутый ее естественной властностью, и другим не оставалось ничего. Ифемелу вообразила безвоздушное детство Блейна, как он носился за ней, чтобы произвести впечатление, напомнить ей о своем существовании. Даже теперь, уже взрослым, он по-прежнему оставался младшим братом, исполненным отчаянной любви, все еще пытался завоевать расположение — которое, боялся он, никогда не получит. Блейн с Ифемелу прибыли к Шэн после обеда, и Блейн остановился поболтать с привратником, как болтал с их таксистом, везшим их с Пенсильванского вокзала, — в этой

своей ненавязчивой манере, какую выказывал, братаясь с вахтерами, уборщиками, водителями автобусов. Он знал, сколько они зарабатывают и сколько часов трудятся, знал, что у них нет страховки.

— Привет, Хорхе, как дела? — Блейн произнес его имя на испанский манер: не Джордж, а Хорхе.

— Неплохо. Как ваши студенты в Йеле? — спросил привратник, обрадованный встречей — и тем, что Блейн преподавал в Йеле.

— С ума меня сводят, как обычно, — сказал Блейн. Затем указал на женщину, стоявшую у лифта спиной к ним, в обнимку с розовым ковриком для йоги: — О, а вот и Шэн. — Шэн была крошечной и красивой, с овальным лицом и высокими скулами, имперское лицо.

— Эй! — воскликнула она и обняла Блейна. На Ифемелу даже не посмотрела. — Я так рада, что прогулялась на пилатес. Оно уходит из тебя, если сам из него уходишь. Ты утром бегал?

— Ага.

— Только что переговорила еще раз с Дэвидом. Обещает прислать мне сегодня другие варианты обложки. Наконец-то они меня, кажется, услышали. — Она закатила глаза. Двери лифта распахнулись, она повела их внутрь, продолжая беседовать с Блейном, которому уже, похоже, стало не по себе, словно он ждал мига представить Ифемелу, мига, который Шэн не желала ему выделить. — С утра звонила директор по маркетингу. У нее эта прям невыносимая вежливость, какая хуже любого оскорбления, знаешь? И она такая говорит мне, как книготорговцам уже нравится обложка, то-сё, пятое-десятое. Чушь какая, — сказала Шэн.

— Это стадный инстинкт корпоративного книгоиздания. Они повторяют за всеми остальными, — заметил Блейн.

Лифт остановился на ее этаже, и она обернулась к Ифемелу:

— Ой, простите, я такая замотанная. Рада знакомству. Блейн говорил о вас без умолку. — Она глядела на Ифемелу — откровенно оценивая и не стесняясь откровенного оценивания. — Вы очень хорошенькая.

— Это *вы* очень хорошенькая, — сказала Ифемелу, удивляясь себе самой, поскольку она такими словами обычно не бросалась, однако почувствовала, что Шэн ее уже взяла в оборот: комплимент от Шэн сделал Ифемелу до странного счастливой. «Шэн особенная», — сказал Блейн, и Ифемелу поняла, что он имел в виду. У сестры Блейна был вид человека, неким манером *избранного*. Боги ткнули в нее волшебной палочкой. Если она и делала что-то обыденное, оно превращалось в таинство.

— Вам нравится комната? — спросила Шэн у Ифемелу, взмахом руки обводя броскую меблировку: красный ковер, синий диван, оранжевый

диван, зеленое кресло.

— Уверена, это должно что-то значить, но я не врубаюсь.

Шэн рассмеялась — краткими смешками, словно бы оборванными до срока, будто ожидалось еще, но не возникло, а поскольку она лишь смеялась, но ничего не говорила, Ифемелу добавила:

— Интересно.

— Да, интересно. — Шэн встала у обеденного стола, забросила на него ногу, склонилась взяться за ступню. Тело ее — сплошь изящные мелкие изогнутые линии, ягодицы, груди, икры, — и была в ее движениях уверенность избранной: ей можно упражнять растяжку, закинув ногу на стол, когда ей заблагорассудится, даже если в доме гости. — Блейн показал мне «Расемнадцатое». Отличный блог, — сказала она.

— Спасибо, — отозвалась Ифемелу.

— У меня есть друг-нигериец, писатель. Знаете такого — Келечи Гарубу?

— Читала его работы.

— Мы обсудили ваш блог тут давеча, он уверен, что эта неамериканка — с Карибов, потому что африканцам плевать на расу. То-то он обалдеет, когда с вами познакомится! — Шэн умолкла, чтобы забросить на стол другую ногу, склонилась к ступне. — Он вечно беспокоится, что его книги плохо продаются. Я ему говорила, что раз хочет продаваться, то нужно писать всякие ужасы про своих же. Надо говорить, что за беды африканцев следует винить исключительно африканцев и что европейцы помогли Африке больше, чем навредили, и тогда он прославится и люди будут говорить, какой он *откровенный!*

Ифемелу рассмеялась.

— Интересный снимок, — сказала она, показывая на фотографию у бокового столика: Шэн держит над головой две бутылки шампанского, а вокруг нее — улыбающиеся бурые дети в обносках, где-то в латиноамериканских трущобах, судя по всему, позади них — лачуги с латаными оцинкованными стенами. — В смысле, буквально интересный.

— Овидио не хотел ее показывать, но я настояла. Предполагается ирония, очевидно.

Ифемелу вообразила настояние Шэн — простую фразу, которую не пришлось повторять дважды, чтобы Овидио засуетился.

— Так вы часто навещаете Нигерию? — спросила Шэн.

— Нет. Я вообще не была дома с тех пор, как приехала в Штаты.

— Почему?

— Поначалу было не по карману. А потом я работала и попросту

времени не находила.

Шэн теперь смотрела прямо на нее, руки вытянуты в стороны и назад, словно крылья.

— Нигерийцы называют нас *аката*, ^[173] да? И это означает «дикий зверь»?

— Не уверена, что это означает «дикий зверь», — я на самом деле не знаю, что это означает, и не употребляю это слово. — Ифемелу вдруг начала чуть ли не запинаться. Шэн говорила правду, но все же от прямооты ее взгляда Ифемелу ощутила себя виноватой. Шэн источала властность — тонкого и опустошительного свойства.

Блейн появился из кухни с двумя высокими стаканами красноватой жидкости.

— Безалкогольные коктейли! — сказала Шэн с детским восторгом, принимая у Блейна стакан.

— Гранат, газированная минералка и немножко клюквы. — Блейн выдал Ифемелу второй стакан. — Так когда у тебя следующий салон, Шэн? Я рассказывал о них Ифемелу.

Когда Блейн рассказал Ифемелу о том, что Шэн называет свои сходки «салонами», он выделил это слово насмешкой, а сейчас произнес его всерьез, по-французски: са-лён.

— А, думаю, скоро. — Шэн пожала плечами, мило и небрежно, попила из стакана, а затем склонилась вбок в растяжке, словно дерево на ветру.

Зазвонил ее телефон.

— Куда я его положила? Вероятно, Дэвид.

Телефон был на столе.

— О, это Люк. Позже перезвоню.

— Что за Люк? — спросил Блейн.

— Да этот француз, богатый. Смешно: я с ним столкнулась в аэропорту, нахер. Говорю ему: у меня есть парень, а он такой: «Тогда я буду восхищаться издали и пережидать». Он вот прямо так и сказал — «пережидать». — Шэн отхлебнула из стакана. — Мило это, как белые в Европе смотрят на тебя как на женщину, а не как на черную. Встречаться я с ним не хочу, ну к черту, просто хочу знать, что есть такая возможность.

Блейн кивал, соглашался. Если б кто-нибудь произнес то, что произнесла Шэн, он бы тут же взялся перебирать сказанное, отыскивать оттенки смысла и не согласился бы с подобным размахом, с упрощением. Как-то раз они смотрели по телевизору сюжет о разводе каких-то знаменитостей и Ифемелу сказала, что не понимает эту негибемую, недвусмысленную откровенность, какую американцы требуют от

отношений.

— В каком смысле? — переспросил он, и она уловила тень несогласия в его голосе: он тоже верил в несгибаемую, недвусмысленную откровенность.

— Я к этому отношусь иначе — думаю, оттого, что я из третьего мира, — сказала она. — Быть ребенком третьего мира означает осознавать множество различных составляющих в себе самом и то, что откровенность и правда должны зависеть от контекста. — Ифемелу показалась умной самой себе — придумала такое вот объяснение, но Блейн покачал головой еще до того, как она договорила, и сказал:

— Это лень — так употреблять понятие «третий мир».

А сейчас он кивал вслед словам Шэн:

— Европейцы — не такие консервативные и зажатые в смысле отношений, как американцы. В Европе белые мужчины мыслят так: «Хочу горячую женщину». В Америке белые мыслят: «К черной не притронусь, а вот Хэлли Берри, может, и сойдет».

— Забавно, — сказал Блейн.

— Конечно, есть в этой стране ниша белых мужчин, встречающихся только с черными женщинами, но это фетиш такой и гадко, — продолжила Шэн и обратила сияющий взгляд на Ифемелу.

Ифемелу чуть не передумала возражать: странно, до чего сильно ей хотелось нравиться Шэн.

— Вообще-то у меня противоположный опыт. Я к себе испытываю гораздо больше интереса со стороны белых мужчин, чем афроамериканцев.

— Правда? — Шэн помолчала. — Видимо, это все ваша экзотичность — Подлинная Африканскость.

Ифемелу задела эта шероховатость пренебрежения Шэн, а следом это чувство обернулось колючей обидой на Блейна: Ифемелу пожалела, что он так пылко соглашается со своей сестрой.

У Шэн вновь зазвонил телефон.

— О, пусть бы уже Дэвид! — Она ушла с телефоном в спальню.

— Дэвид — ее редактор. Хотят взять на ее обложку некий сексуализованный образ — черный торс, и Шэн против этого сражается, — сказал Блейн.

— Да неужели. — Ифемелу потягивала напиток, листала какой-то журнал по искусству, все еще раздраженная на Блейна.

— Ты в порядке? — спросил он.

— В порядке.

Вернулась Шэн. Блейн глянул на нее:

— Все хорошо?

Она кивнула:

— Не возьмут. Все вроде бы наконец договорились.

— Отлично, — сказал Блейн.

— Вам бы пару дней побыть у меня гостевым блогером, когда книга выйдет, — сказала Ифемелу. — Потрясающе будет. Я бы с радостью вас позвала.

Шэн вскинула брови — это выражение лица Ифемелу прочесть не смогла и побоялась, что повела себя слишком слюнвяво.

— Да, думаю, можно, — сказала Шэн.

ОБАМА ПОБЕДИТ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОСТАНЕТСЯ ВОЛШЕБНЫМ НЕГРОМ

Его пастор — жупел, поскольку это означает, что Обама на самом деле — не Волшебный Негр. Кстати, пастор довольно мелодраматичен, но вы вообще бывали в старых добрых церквях черных американцев? Чистый театр. Но о главном этот парень говорит взаправду: черные американцы (и уж точно его сверстники) знают Америку, отличную от Америки белых, — они знают Америку жестче, уродливее. Но такое говорить не полагается, потому что в Америке все хорошо и все одинаковые. А раз теперь пастор это сказал, может, и Обама думает так же, а если Обама думает так же, он, стало быть, не Волшебный Негр, а победить на американских выборах может только Волшебный Негр. «И что же такое Волшебный Негр?» — спросите вы. Черный мужчина, который беспредельно мудр и добр. Он никогда не действует под нажимом великих страданий, никогда не сердится, никогда не угрожает. Он всегда прощает всякое расистское фуфло. Он наставляет белого человека, как сокрушить в своем сердце печальное, но объяснимое предубеждение. Таких людей вы видели во многих фильмах. А Обама — прямехонько из центрального актерского костяка.

Глава 36

Для Марши, подруги Блейна, устроили в Хэмдене сюрприз — вечеринку на день рождения.

— С днем рождения, Марша! — сказала Ифемелу хором с остальными друзьями, стоя рядом с Блейном. Язык у нее во рту несколько отяжелел, а восторг получился чуточку деланным. С Блейном она прожила больше года, а в его дружеский круг не очень вписалась. — Ах ты гад! — сказала Марша своему мужу Бенни, смеясь, со слезами на глазах.

Марша с Бенни преподавали историю, родились на Юге и даже походили друг на друга: мелковатые, с медового оттенка кожей, в длинных локонах до шеи. Свою любовь они носили, как пряные духи, — источали очевидную взаимную приверженность, трогали друг друга, ссылались друг на друга. Наблюдая за ними, Ифемелу воображала такую жизнь для них с Блейном, в маленьком доме на тихой улице, по стенам — батик, африканские скульптуры косятся из углов, а сами они с Блейном пребывают в стойком напеве счастья.

Бенни разливал напитки. Все еще ошалевшая Марша бродила по комнате, смотрела на подносы заказанной еды, расставленные на обеденном столе, — и на гроздь воздушных шариков, болтавшихся под потолком.

— Когда ты все это успел, детка? Я же всего на час отлучилась!

Она обняла каждого, вытирая слезы с глаз. Перед Ифемелу по лицу у Марши пробежала рябь тревоги, и Ифемелу поняла, что Марша не помнит ее имя.

— Как я рада тебе, спасибо, что пришла, — сказала Марша с двойной дозой искренности, подчеркнула «как», будто пытаясь извиниться за то, что забыла имя Ифемелу. — Малёк! — обратилась она к Блейну, тот обнял ее и слегка приподнял, оба хохотали.

— Ты легче, чем была на прошлом дне рождения! — объявил Блейн.

— И выглядит моложе с каждым днем! — добавила Пола, бывшая девушка Блейна.

— Марша, ты свой секрет не сдашь? — спросила не знакомая Ифемелу женщина, высветленные волосы — пышной прической, слово платиновый шлем.

— Ее секрет — хороший секс, — серьезно сказала Грейс, корейская американка, преподававшая афроамериканскую культуру, крошечная,

худенькая, вечно в фасонистых просторных облачениях — казалось, она парит в вихре шелка. «Я — диковинка, христианская чеканушка левого толка», — сказала она Ифемелу, когда они познакомились.

— Слышал, Бенни? — спросила Марша. — Наш секрет — хороший секс.

— Так и есть! — отозвался Бенни и подмигнул ей. — Эй, кто-нибудь видел обращение Барака Обамы сегодня утром?

— Да оно весь день в новостях, — сказала Пола. Низкорослая блондинка с чистой розовой кожей, походница, пышущая здоровьем, и Ифемелу подумывала, не ездит ли она верхом.

— У меня нет телевизора, — сказала Грейс, вздохнув с самоиронией. — Я совсем недавно продалась и купила себе мобильный.

— Еще покажут, — сказал Бенни.

— Давайте есть! — Это Стёрлинг сказал, который богатый, чьи деньги происходили, по словам Блейна, из старого бостонского капитала: и Стёрлинг, и его отец — наследственные гарвардские студенты. Стёрлинг исповедовал легкую левизну и общую доброту, изувеченный пониманием собственных многочисленных привилегий. Он никогда не позволял себе иметь мнение. «Да, понимаю, о чем вы», — частенько говаривал он.

Еду употребили со множеством похвал и вина — жареную курицу, зелень, пироги. Ифемелу брала себе по чуть-чуть, довольная, что нахваталась орехов перед выездом: негритянскую кухню она недолюбливала.

— Я такого вкусного кукурузного хлеба не ел много лет, — сказал Нэйтен, усевшись рядом с ней. Он преподавал литературу, невротично смаргивал за очками; Блейн говорил, что это единственный человек на весь Йель, которому он полностью доверяет. Нэйтен объявил ей несколькими месяцами ранее — голосом, исполненным высокомерия, — что не читал ни единой художественной книги, изданной после 1930 года. «После тридцатых все покатило по наклонной», — пояснил он.

Она доложила об этом Блейну, тоном раздраженным, едва ли не обвиняющим, и добавила, что академики — не интеллектуалы: им не любопытно, они городят себе скучные шатры узкопрофильного знания и надежно в них прячутся.

Блейн сказал в ответ:

— О, это просто у Нэйтена заморочки. Дело не в академичности.

Когда речь заходила о его друзьях, в тоне Блейна появлялась эта новая оправдательность — возможно, он чувствовал, что Ифемелу при них не в своей тарелке. Когда они приходили на какую-нибудь лекцию, он

обязательно говорил потом, что могло получиться и лучше или что первые десять минут были скучные, будто старался предвосхитить ее критику. Последнюю лекцию, которую оба посетили, читала Пола, его бывшая, в колледже в Миллтауне: Пола стояла у доски, в темно-зеленом платье с запахом и в сапогах, говорила гладко и убежденно, одновременно подначивая и чаруя ауди торию, — молодая пригожая дама-политолог, которой явно светит постоянная профессорская ставка. Она часто поглядывала на Блейна, как студентка — на профессора, оценивая свое выступление по выражению его лица. Она говорила, а Блейн все кивал и кивал, а один раз даже вздохнул вслух, будто ее слова подарили ему родное и утонченное озарение. Они остались хорошими друзьями — Пола и Блейн, — вращались в тех же кругах, после того как она ему изменила с женщиной, которую тоже звали Полой, а теперь именовавшуюся Пи, чтобы их различали. «Наши отношения были уже какое-то время непростыми. Она сказала, что с Пи у них просто эксперимент, но я видел, что там гораздо больше, — и оказался прав, поскольку они по-прежнему вместе», — сказал Блейн Ифемелу, а ей это все показалось слишком благопристойным, слишком цивилизованным. Даже дружелюбие Пола по отношению к самой Ифемелу выглядело чересчур выскобленным.

— А давай бросим его и пойдем выпьем? — сказала Пола Ифемелу в тот вечер после лекции, щеки у нее горели от возбуждения — и от облегчения, что все обошлось.

— Я устала, — ответила Ифемелу.

Блейн встрял:

— А мне надо готовиться к завтрашним занятиям. Давайте в эти выходные что-нибудь придумаем, ладно? — И он обнял Полу на прощанье, а на обратном пути в Нью-Хейвен спросил у Ифемелу: — Неплохо, скажи?

— Я не сомневалась, что у тебя с минуты на минуту оргазм случится, — сказала она, и Блейн засмеялся. Она подумала, наблюдая за Полой, что с ее повадками Блейновы совпадают так, как не совпадают с ее, Ифемелу, — подумала она об этом и теперь, глядя, как Пола ест третью добавку капусты, сидя рядом со своей девушкой Пи и смеясь над чем-то, что сказала Марша.

Женщина со шлемообразной прической ела капусту руками.

— Нам, людям, не полагается питаться с помощью приборов, — сказала она.

Майкл, сидевший рядом с Ифемелу, громко фыркнул.

— А чего тогда не поселиться в пещере? — спросил он, и все посмеялись, а Ифемелу не была уверена, что он шутит. Ему не хватало

терпения на разговоры с причудью. Ифемелу он нравился, косички «кукуруза» сбегали по его черепу до шеи, а лицо у него вечно было язвительным, насмешливым к сентиментальности.

— Майкл — приличный кошак, но очень уж корчит из себя приземленного, и потому кажется, будто он — сплошной нигилизм, — сказал Блейн, когда она познакомилась с Майклом. Майкл отсидел в тюрьме за угон автомобиля, когда ему было девятнадцать, и обожал приговаривать: «Некоторые черные не ценят образования, пока в тюрьме не окажутся». Он был фотографом на стипендии, и когда Ифемелу впервые увидела его снимки, черно-белые, в пляшущих тенях, ее изумила их утонченность и уязвимость. Она ожидала более суровых образов. Сейчас одна из тех фотографий висела на стене у Блейна в квартире, напротив ее письменного стола.

Пола сказала через стол:

— Я тебе говорила, что задаю студентам читать твой блог, Ифемелу? Интересно, до чего безопасно они мыслят, а я хочу выпихнуть их из зоны комфорта. Последний пост мне очень понравился — «Дружелюбные советы нечерным американцам: как реагировать, когда черный американец рассуждает о чернокожести».

— Забавно! — воскликнула Марша. — Я хочу почитать.

Пола вытащила мобильник, повозилась с ним и начала читать вслух.

Дорогой нечерный американец, если черный американец рассказывает тебе о своем жизненном опыте черного, прошу тебя, не бросайся приводить примеры из собственной жизни. Не говори: «Вот прям как у меня...» Ты страдал. Все в мире страдают. Но именно из-за того, что ты — черный американец, тебе страдать не приходилось. Не спеши подыскать иные объяснения случившемуся. Не говори: «Ой, дело не в расе, а в классе. Ой, дело не в расе, а в тендере. Ой, дело не в расе, это все Печенюшник».^[174] Видишь ли, черные американцы вообще-то не ХОТЯТ, чтоб дело было в расе. Они бы рады были, если б расистской хрени не происходило. А потому, когда они утверждают, что дело в расе, вероятно, дело именно в ней? Не говори: «Я не различаю цветов», потому что, если ты цветов не различаешь, тебе стоит показаться врачу, а когда по телевизору показывают подозреваемого преступника и

он черный, ты видишь лишь размытую лилово-серо-беловатую фигуру. Не говори: «Устал я уже от разговоров о расах» или «Единственная раса — человечество». Черные американцы тоже устали от разговоров о расе. Им бы в радость их не вести. Но всякая херня продолжает случаться. Не предваряй свой ответ словами: «У меня в лучших друзьях черный», потому что какая разница и кому какое дело, у тебя может быть лучший друг черный, а ты при этом все равно творишь расистскую херню, да и вообще, может, это вранье — то, что он «лучший», а не то, что «друг». Не говори, что твой дед был мексиканцем и ты поэтому не можешь быть расистом (приглашаю почитать про это побольше в посте «Объединенной лиги угнетенных не существует»). Не вспоминай страдания своих ирландских прапредков. Разумеется, они огребли будь здоров от традиционной Америки. Как и итальянцы. Как и выходцы из Восточной Европы. Но существовала иерархия. Сто лет назад белые этносы терпеть не могли, когда их терпеть не могут, но это еще куда ни шло: черные были ниже их в пирамиде. Не говори, что твой дед был крепостным в России, когда тут было рабство, потому что значение имеет лишь одно: ты — американец, а быть американцем означает огрести все кучно, и американские активы, и американские долги, а Джим Кроу^[175] — охренеть какой должок. Не говори, что это как антисемитизм. Нет, не как. В ненависти к евреям есть намек на зависть — экие они ушлые, евреи эти, все-то к рукам прибрали, евреи эти, — и признаем все же, что зависть сопровождает какое-никакое уважение, пусть и брюзгливое. В ненависти к черным американцам нет намека на зависть — экие они ленивые, эти черные, экие они неумные, эти черные.

Не говори: «Ой, с расизмом покончено, рабство отменено давным-давно». Мы говорим о бедах с 1960-х и далее, а не с 1860-х. Если встретишь пожилого черного из Алабамы, он, может, и вспомнит, как ему приходилось сходить с тротуара, когда мимо шагал белый. Я тут на днях купила винтажное платье на «еБэе», сделанное в

1960-е, в отличном состоянии, и часто ношу его. Когда его носила первая обладательница, черные американцы не могли голосовать из-за того, что они — черные. (А возможно, первая обладательница была из тех женщин на сепийных фотоснимках, стоявших у школ рядом с ордами, вопившими «Обезьяна!» на черных детишек, потому что они не желали, чтобы эти дети учились вместе с их белыми детьми. Где теперь те женщины? Крепко ли им спится? Не подумывают ли пойти покричать «Обезьяна»?) И наконец, не говори тоном «будемте справедливы»: «Но черные тоже расисты». Потому что, ну конечно, у всех у нас есть предубеждения (я не выношу некоторых своих кровных родственников — жадную, самовлюбленную публику), но расизм — это власть отдельной группы, и в Америке эта группа — белые. Как так? Ну, с белыми не обращаются как с фуфлом в верхних классах афроамериканского общества, и белым не отказывают в банковских займах и ипотеках именно потому, что они белые, а черные судьи не раздают белым преступникам худшие приговоры, чем черным, за одинаковые преступления, черные полицейские не останавливают белых за нахождение за рулем белыми, черные компании не отказывают в найме людям, у которых имя похоже на белое, черные учителя не говорят белым детям, что им не хватает ума, чтобы стать врачом, черные политики не выдумывают уловок, чтобы уменьшить избирательную силу белых посредством махинаций, рекламные агентства не говорят, что не могут использовать белых моделей для рекламы гламурных товаров, потому что те не считаются «вдохновляющими» для «мейнстрима».

После такого списка «не» что же все-таки говорить? Не знаю. Попробуй, может, послушать. Услышать, что говорят. И помни: это не про тебя. Черные американцы рассказывают это тебе, не обвиняя. Они просто рассказывают как есть. Если непонятно — переспроси. Если неловко задавать вопросы — скажи, что тебе неловко задавать вопросы, и задавай их все равно. Когда вопрос из чистого истока, это легко учать. Слушай

дальше. Людям иногда хочется, чтобы их просто услышали. Так выпьем же за возможности дружбы, связи и понимания.

Марша проговорила:

— Мне очень понравилось про платье!

— Гадко-потешно это, — сказал Нэйтен.

— Ты небось купаешься в гонорах за выступления, при таком-то блоге, — сказал Майкл.

— Большая их часть отправляется моим голодным родственникам в Нигерию, — сказала Ифемелу.

— Хорошо, должно быть.

— Хорошо — что?

— Знать, откуда приходишь. Предков, что уходят корнями, вот это все.

— Ну, — сказала она. — Да.

Майкл посмотрел на нее, лицо у него сделалось такое, что ей стало не по себе: неясно было, что в этих глазах, но тут он отвел взгляд.

Блейн говорил подруге Марши — той, в платиновом шлеме:

— Пора нам покончить с этим мифом. Нет ничего иудеохристианского в американской истории. Католики и евреи никому не нравились. Тут англо-протестантские ценности, а не иудео-христианские. Даже Мэриленд очень быстро перестал быть таким уж дружелюбным к католикам. — Он резко прервал себя, вытащил из кармана телефон и встал. — Простите, ребята, — сказал он и обратился вполголоса к Ифемелу: — Это Шэн. Я сейчас, — и ушел в кухню разговаривать.

Бенни включил телевизор, и все увидели Барака Обаму, худого человека в черном пальто, которое выглядело на размер больше нужного, а вел он себя неуверенно. Заговорил, и в холодном воздухе изо рта у него полетели облачка пара, словно дым:

— И потому, в тени Старого Капитолия штата, где Линкольн когда-то призвал разобщенный парламент объединиться, где всё еще живы общие надежды и общие мечты, я стою перед вами сегодня и объявляю свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов Америки.^[176]

— Ума не приложу, как им удалось его уломать. У этого парня есть потенциал, но ему надо сначала подрасти. Веса набрать. Все испортит для черных — близко даже не подойдет, и черному кандидату еще пятьдесят лет в этой стране ничего светить не будет, — сказала Грейс.

— Мне от него хорошо прям! — сказала Марша, смеясь. — Нравится

мне это — затея строить Америку большей надежды.

— По-моему, этому может выгореть, — сказал Бенни.

— Ой, да не победит он. Они ему задницу отстреляют сперва, — сказал Майкл.

— Как это свежо — видеть политика, который улавливает тонкости, — сказала Пола.

— Да, — сказала Пи. У нее были чрезмерно накачанные руки, тощие и бугристые от мышц, эльфийская стрижка, сильная взвинченность: она была из тех, чья любовь удушает. — Он такой умный, такой внятный.

— Ты прямо как моя мама, — сказала Пола колючим тоном тайной ссоры в полном разгаре: у слов имелись вторые значения. — Что такого замечательного в том, что он внятный?

— У нас гормоны, Поли? — спросила Марша.

— Еще какие! — сказала Пи. — Ты заметила, что она съела всю курицу?

Пола не обратила на Пи внимания и, словно назло, потянулась за очередным куском тыквенного пирога.

— А ты что думаешь об Обаме, Ифемелу? — спросила Марша, и Ифемелу решила, что, должно быть, Бенни или Грейс шепнули ей на ухо ее имя и Марша теперь рвалась явить ей свое знание.

— Мне нравится Хиллари Клинтон, — сказала Ифемелу. — А про этого Обаму я мало что знаю.

Блейн вернулся в комнату.

— Что я пропустил?

— Шэн в порядке? — спросила Ифемелу. Блейн кивнул.

— А неважно, кто что думает об Обаме. Настоящий вопрос в том, готовы ли белые к черному президенту, — сказал Нэйтен.

— Я готова к черному президенту. А вот нация — не знаю, — сказала Пи.

— Ну серьезно, ты с моей мамой потолковала? — спросила у нее Пола. — Она говорит один в один то же самое. Если ты готова к черному президенту, тогда кто именно в этой смутной стране не готов? Люди так говорят, когда не уверены, что *сами* готовы. Да и вообще мысль о готовности несуразна.

Ифемелу позаимствовала эти слова много месяцев спустя, в посте, написанном на последнем лихорадочном этапе президентской предвыборной кампании: «Сама мысль о готовности — несуразна». «Кто-нибудь замечает, до чего абсурдно спрашивать людей, готовы ли они к черному президенту? Вы готовы к Микки-Маусу в президентах? А к

лягушонку Кермиту? А к оленю Рудольфу, Красный нос?»

— У моей семьи безукоризненная репутация либералов, мы отметили галочкой все правильные ответы, — сказала Пола, иронически скривив губы книзу, крутя за ножку пустой бокал. — Но мои родители вечно торопились доложить друзьям, что Блейн учился в Йеле. словно это значит, будто он один из немногих приличных.

— Ты слишком к ним сурова, Поли, — сказал Блейн.

— Нет, ну правда, тебе так не казалось? — спросила она. — Помнишь тот ужасный День благодарения в доме у родителей?

— В смысле, как я попросил «мак» с сыром?

Пола рассмеялась:

— Нет, я не об этом. — Но о чем — не сказала, и воспоминание так и не обнародовали, оно осталось в их общей на двоих личной жизни.

Вернувшись домой к Блейну, Ифемелу сказала ему:

— Я ревновала.

То и *была* ревность — приступ тягостности, непокой в желудке. Имелась у Полы эта черта настоящего идеолога: она могла, воображала Ифемелу, легко соскользнуть в анархию, стоять во главе протестующих, вопреки дубинкам полицейских и насмешкам неверующих. Сознать такое о Поле означало чувствовать себя уцербной по сравнению с ней.

— Никакого тут повода для ревности, Ифем, — сказал Блейн.

— Жареная курица, которую ешь ты, — не та жареная курица, которую ем я, это жареная курица, которую ест Пола.

— Что?

— Для вас с Полой жареная курица — в кляре. Для меня — нет. Я просто подумала, сколько у вас с ней общего.

— Жареная курица у нас общая? Ты понимаешь, насколько перегружена тут метафора жареной курицы? — Блейн смеялся, мягко, любовно. — Твоя ревность, в общем, милая, но совершенно точно ничего здесь не происходит.

Она знала, что ничего не происходит. Блейн не стал бы ей изменять. Он же одна сплошная жила праведности. Верность давалась ему легко: он не оглядывался посмотреть на красоток на улице, потому что ему это и в голову не приходило. Но она ревновала к эмоциональным следам, существовавшим между ним и Полой, и к мыслям, что Пола была как он сам — хорошая, как он сам.

СТРАНСТВИЯ В ШКУРЕ ЧЕРНОГО

Друг одного друга, крутой ЧА с кучей денег, сочиняет книгу «Поездки в шкуре черного». Не просто черного, пишет он, а опознаваемого черного, потому что черные бывают всякие, и, без обид, он не имеет в виду черных ребят, выглядящих как пуэрториканцы, или бразильцы, или еще кто-то, он имеет в виду опознаваемо черных. Потому что мир обращается с тобой особо. И вот что он рассказывает: «Замысел этой книги возник у меня в Египте. Оказываюсь я в Каире, и некий араб-египтянин зовет меня черным варваром. Я такой — эй, тут вообще-то Африка! Ну и задумался о других частях света, каково будет путешествовать там, если ты черный. Я черный дальше ехать некуда. Белые на Юге в наши дни глянут на меня и подумают, вот, дескать, идет здоровенный черный хряк. В путеводителях вам доложат, чего ожидать, если вы гей или женщина. Черт, да то же самое нужно писать и для тех, кто отчетливо черный. Объяснить путешествующим черным, каков расклад. Никто палить по вам не будет, но отлично было б знать заранее, что на вас будут пялиться. В Шварцвальде в Германии пялятся довольно злобно. В Токио и Стамбуле все спокойные и безразличные. В Шанхае пялились мощно, в Дели — гнусно. Я думал: "Ха, мы разве не на одной доске в этом деле? Ну, цветные то есть?" Я читал, что Бразилия — расовая Мекка, еду я в Рио, и ни в приличных ресторанах, ни в приличных гостиницах никто на меня не похож. Я встаю в аэропорту в очередь на посадку в первом классе, и люди ведут себя странно. Вроде как по-хорошему странно — типа ты ошибся, ты не похож на тех, кто летает первым классом. Еду в Мексику — и на меня пялятся. Не враждебно совсем, но понимаешь, что ты как-то выделяешься, типа ты им нравишься, но все равно Кинг-Конг». И тут вступает мой профессор Крепыш: «Латинская Америка в целом в очень сложных отношениях с чернокожестью, которую затеняет вот эта байка "мы тут все метисы", которую они себе рассказывают. Мексика еще ладно — по сравнению с Гватемалой и Перу, где превосходство белых куда

откровеннее, но в тех странах и гораздо более заметное черное население». Другой мой друг говорит так: «С местными черными всегда обращаются хуже, чем с не местными, повсюду. Моя подруга, родившаяся во Франции в тоголезской семье, когда отправляется по магазинам, делает вид, что она англофон, потому что продавцы любезнее к черным, которые не говорят по-французски. Так же и с черными американцами — в африканских странах их очень уважают». Соображения? Приглашаю излагать и ваши байки странствий.

Глава 37

Ифемелу казалось, что она отвернулась лишь на миг, а когда глянула вновь, Дике преобразился: ее малыш-кузен испарился, а на его месте возник мальчик, совсем не похожий на мальчика, — шесть футов гладких мышц, играет в баскетбол за старшую школу Уиллоу, встречается с гибкой блондинкой по имени Пейдж, облаченной в крошечные юбочки и кеды-«конверсы». Как-то раз Ифемелу спросила:

— Как дела с Пейдж?

Дике ответил:

— Секса пока не было, если ты об этом.

Вечерами к нему в комнату сбредалось шестеро-семеро его друзей, все белые, за исключением Мина, высокого парня-китайца, чьи родители преподавали в университете. Компания играла в компьютерные игры и смотрела ролики на Ю-Тьюбе, они подкалывали друг дружку и хорохорились, опоясанные сверкающим кольцом беспечной юности, а в середине был Дике. Они все смеялись над его шутками, искали его согласия и тонко, бессловесно позволяли ему принимать решения за всех: заказывать пиццу, идти в общинный клуб играть в пинг-понг. С ними Дике изменился: в голосе и походке появилась удаль, он раздался в плечах, будто перешел на верхнюю передачу, а речь пересыпал «эт не» и «да чё».

— Ты почему с друзьями так разговариваешь, Дике? — спросила Ифемелу.

— Йо, куз, ты чё ваще? — отозвался он с нарочитой гримасой, от которой она расхохоталась.

Ифемелу вообразила его в колледже: прекрасный из него выйдет наставник первокурсникам — будет водить стайку абитуриентов и их родителей по студгородку, рассказывать всякое замечательное, но непременно станет добавлять что-нибудь несимпатичное ему лично, и все время будет смешным, умным и ярким, и девчонки повлюбляются в него с первого взгляда, пацаны обзавидуются его куражу, а родители захотят, чтобы их дети были как он.

* * *

На Шэн была блестящая золотая маечка, груди буйны — колыхались

при каждом движении. Она флиртовала со всеми — то к руке прикоснется, то обнимет слишком крепко, то замрет под поцелуем в щеку. Ее распирающие от чрезмерности комплименты казались неискренними, но все друзья улыбались и расцветали. Неважно, что она сказала, — важно, что сказала это Шэн. Впервые оказавшись на салоне у Шэн, Ифемелу нервничала. А не стоило, это лишь сборище друзей, но она нервничала все равно. Сломала себе всю голову, что бы надеть, перемерила и отмела девять ансамблей одежды и в конце концов остановилась на сине-зеленом платье, в котором талия казалась тонюсенькой.

— Эй! — воскликнула Шэн, когда прибыли Блейн с Ифемелу, обняла обоих по очереди. — Грейс приедет? — спросила она у Блейна.

— Да. На поезде, попозже.

— Отлично. Я ее сто лет не видела. — Шэн заговорила тише и обратилась к Ифемелу: — Я слыхала, Грейс ворует у своих студентов исследования.

— Что?

— Грейс. Я слыхала, она ворует у своих студентов исследования. Ты знала?

— Нет, — ответила Ифемелу. Ей показалось странным, что Шэн говорит такое о подруге Блейна, однако почувствовала себя особенной — Шэн впустила ее в сокровенный грот сплетен. А затем, внезапно устыдившись, что не осмелилась вступить за Грейс, которая ей нравилась, Ифемелу добавила: — Совсем не думаю, что это правда.

Но внимание Шэн уже ускользнуло прочь.

— Хочу познакомить тебя с самым сексуальным мужчиной в Нью-Йорке — с Омаром, — сказала Шэн, представляя Ифемелу человеку ростом с баскетболиста, линия волос слишком безупречна: отчетливая кривая вдоль лба, острые углы у ушей. Когда Ифемелу подалась вперед, чтобы пожать руку, он слегка поклонился, прижав ладонь к груди, и улыбнулся. — Омар не прикасается к женщинам, которые ему не родственницы, — сказала Шэн. — Что очень сексуально, а? — Тут она склонила голову набок и томно глянула на Омара. — А это красавица и совершенная оригиналка Мэрибелл и ее подруга Джоан, такая же красавица. Я из-за них прямо расстраиваюсь!

Мэрибелл и Джоан хихикали — мелковатые белые женщины в громадных очках с темной оправой. На обеих были короткие платьица, одно — красное в горошек, другое — отделанное кружевами, оба — слегка потускневшие, слегка не очень сидящие находки из винтажных магазинов. В некотором смысле карнавальные костюмы. Они поставили галочки в

эдакой просвещенной образованной среднеклассовости: любовь к платьям скорее интересным, чем красивым, любовь к эклектике, любовь к тому, что полагается любить. Ифемелу представила их в путешествии: они собирают все необычное и наполняют этим дом — непритязательными доказательствами собственной притязательности.

— А вот и Билл! — воскликнула Шэн, обнимая мускулистого темного человека в федоре. — Билл — писатель, но, в отличие от всех нас, у него прорва денег. — Шэн едва не ворковала. — У Билла есть великолепный замысел путеводителя под названием «Странствия в шкуре черного».

— Я бы с удовольствием об этом послушала, — сказала Ашанти.

— Кстати, Ашанти, девочка моя, восхищаюсь твоей прической, — сказала Шэн.

— Спасибо! — отозвалась Ашанти.

Она являла собой грезу, облаченную в каури: ракушки гремели у нее на запястьях, унизывали ее волнистые дреды, обхватывали шею. Она часто повторяла слова «родина» и «религия йоруба», поглядывала на Ифемелу словно бы в поисках подтверждения, и Ифемелу неуютно было от этой пародии на Африку, а следом — стыдно за то, что неуютно.

— Ты в итоге добилась желанной обложки? — спросила Ашанти у Шэн.

— «Желанной» — сильно сказано, — ответила Шэн. — Так, слушайте все, эта книга — мемуары, ага? Она про уйму всякого, про детство в полностью белом городе, про то, как я была единственным черным ребенком в садике, про смерть мамы, про всякое такое. Мой редактор читает рукопись и говорит: «Я понимаю, раса — это у нас тут важно, но необходимо, чтобы книга оказалась выше расы, чтобы она была не только про это». И я такая думаю, а чего это мне делаться выше расы? Понимаете, будто раса — напиток, который надо подавать умеренно, смешанным с другими жидкостями, иначе белая публика не проглотит.

— Забавно, — сказал Блейн.

— Он все помечал мне диалоги в рукописи и черкал на полях: «Люди правда такое говорят?» И я такая: эй, скольких черных ты знаешь? В смысле, знаешь на равных, как друзей. Я не про секретаршу в конторе и не про одну черную пару, чей ребенок ходит с твоим ребенком в школу, и ты с ними здороваешься. Я про знаешь-знаешь прямо. Ни одного. И ты мне еще будешь рассказывать, как разговаривают черные?

— Он не виноват. Вокруг не так-то много черных из среднего класса, — сказал Билл. — Многие белые либералы ищут черных друзей. Почти так же трудно, как найти доноршу яйцеклетки — высокоую

белокурую восемнадцатилетку из Гарварда.

Все рассмеялись.

— Я написала сцену о том, что случилось в магистратуре, — об одной знакомой гамбийке. Она обожала есть кондитерский шоколад. Всегда носила в сумке упаковку. Короче, она жила в Лондоне и влюбилась в белого англичанина, и тот собирался бросить ради нее жену. Сидели мы в баре, и она рассказала нам нескольким обо всем этом — мне и еще одной девчонке и одному парню, Питеру. Коротышке из Висконсина. И знаете, что ей сказал Питер? Он сказал: «Его жене должно быть еще хуже — оттого что ты черная». Произнес так, будто это очевидно. Не то, что жене будет обидно из-за другой женщины, а потому что другая женщина — черная. Я это вписываю в книгу, а мой редактор хочет поменять эту сцену, потому что она не *изящная*. Можно подумать, жизнь всегда, бля, изящная. Дальше пишу о том, как моя мама обижалась на работе, поскольку чувствовала, что достигла потолка и выше ее не пустят, раз она черная, и мой редактор говорит: «Можно тут больше оттенков? Были ли у вашей мамы плохие отношения с кем-то на работе? Или, может, ей уже диагностировали рак?» Он считает, что все это нужно усложнить, что дело не только в расе. А я ему говорю — но дело *как раз* в расе. Она обижалась, потому что считала: если б все остальное было такое же, как у нее, — кроме расы — ее бы вице-президентом сделали. И она много об этом рассуждала — пока не померла. Но почему-то в жизни моей мамы вдруг нет оттенков, оказывается. «Оттенок» означает «пусть всем будет уютно, чтобы всяк волен был считать себя *личностью*, а все оказались там, где оказались, благодаря личным *достижениям*».

— Может, стоит сделать из этого роман, — сказала Мэрибелл.

— Ты смеешься? — переспросила Шэн, слегка пьяно, слегка театрально, йогически усаживаясь на пол. — В этой стране нельзя написать честный роман о расе. Если пишешь о людях, по-настоящему задетых расовыми трудностями, сочтут слишком *очевидным*. У черных писателей, занятых художкой в этой стране, у всех троих — а не у десятка тысяч, которые пишут чепуховые книжки про гетто, в ярких обложках, — выбор такой: творить либо насыщенное, либо напыщенное. Если получается ни то ни другое, никто не понимает, что с тобой делать. Так что если собираешься писать на расовые темы, нужно лепить такую лирику и утонченность, что читатель, который не видит между строк, даже не поймет, что тут расовая тема. Такую, знаете, прустовскую медитацию, водянистую и расплывчатую, и ты под конец сам делаешься водянистым и расплывчатым.

— Или найти белого писателя. Белые писатели могут сочинять на расовые темы без обиняков и делать из себя активистов, потому что их гнев никому не угрожает, — сказала Грейс.

— А вот эта недавняя книга — «Мемуары монаха»? — спросила Мэрибелл.

— Трусливая, бесчестная книга. Ты читала ее? — спросила Шэн.

— Рецензию на нее читала, — сказала Мэрибелл.

— В этом-то и беда. Ты больше читаешь о книгах, чем сами книги.

Мэрибелл вспыхнула. Ифемелу подумалось, что Мэрибелл молча готова была принять такое только от Шэн.

— К художке в этой стране мы все настроены очень идеологически. Если персонаж не узнается, значит, персонаж неубедителен, — сказала Шэн. — Невозможно читать американскую художку, даже чтоб понять, как вообще нынче живут. Читаешь американскую прозу и узнаешь о неблагополучных белых, занятых всяким таким, что для нормальных белых странно.

Все рассмеялись. Вид у Шэн сделался счастливый, как у маленькой девочки, показательно спевшей для влиятельных друзей родителей.

— Мир просто не похож на эту комнату, — сказала Грейс.

— Но может, — сказал Блейн. — Мы доказываем, что мир может быть как эта комната. Он может быть безопасным пространством, равным для всех. Нужно просто разобрать стены привилегий и угнетения.

— А вот и мой братец, дитя цветов, — сказала Шэн.

Еще смех.

— Написала б ты об этом, Ифемелу, — сказала Грейс.

— Вы знаете, кстати, почему Ифемелу ведет блог? — спросила Шэн. — Потому что она африканка. Она пишет извне. Она не чувствует по-настоящему то, о чем пишет. Ей это все тонко и занятно. Ну и вот она пишет, принимает похвалы и приглашения читать лекции. А будь она афроамериканкой, на нее бы наклеили ярлык злой и бойкотировали.

Комната на миг набрякла тишиной.

— Думаю, это справедливо, — сказала Ифемелу, недолюбливая Шэн — и себя, за то, что поддалась чарам Шэн. Что правда, то правда: раса не была вшита в ткань ее личной истории, не выгравирована у нее в душе. И все же она пожалела, что Шэн не выдала ей этого один на один, а сказала сейчас, торжествующе, перед друзьями, и оставила Ифемелу с озлобленным узлом — с горечью — в груди.

— Многое из этого сравнительно свежо. Черное и панафриканское самоопределения в начале девятнадцатого века были, вообще-то,

достаточно сильны. Холодная война вынудила людей выбирать, и ты либо становился интернационалистом, что для американцев, конечно, означало «коммунистом», или же делался частью американского капитализма, и афроамериканская элита совершила этот выбор, — сказал Блейн, словно бы в защиту Ифемелу, но она сочла это слишком абстрактным, слишком вялым, слишком запоздалым.

Шэн глянула на Ифемелу и улыбнулась, и в той улыбке был намек на великую жестокость. Когда через несколько месяцев Ифемелу поссорилась с Елейном, она задумалась, не подогрела ли его гнев Шэн, — гнев, который Ифемелу так до конца и не поняла.

КТО ЖЕ ОБАМА, ЕСЛИ НЕ ЧЕРНЫЙ?

Тут многие — в основном нечерные — говорят, что Обама — не черный, что он мулат, дитя многих рас, черно-белый, какой угодно, но не черный. Потому что у него мать белая. Но раса — это не биология, это социология. Раса — не генотип, это фенотип. Раса имеет значение из-за расизма. А расизм абсурден, потому что он существует из-за того, как ты выглядишь. Речь не о твоей крови. Речь об оттенке твоей кожи, о форме твоего носа и о курчавости волос. У Букера Т. Уошингтона и Фредерика Даглэсса^[177] были белые отцы. Вообразите, как они говорят, что они — не черные.

Вообразите Обаму, цвет кожи — жареный миндаль, волосы курчавые, сообщает переписчице: я своего рода белый. Уж конечно, скажет она. У многих черных американцев есть среди предков белый человек, потому что белым рабовладельцам нравилось куролесить в рабских бараках по ночам. Но если ты получился темным — всё. (Если вы — белокурая голубоглазая женщина и говорите: «Мой дедушка был из коренных американцев и меня тоже притесняют», когда черные толкуют о всякой своей дряни, прошу вас, ну хватит уже.) В Америке вам не приходится решать, какой вы расы. Это решено за вас. Полвека назад Барак Обама с его внешним видом пришлось бы сидеть на задах

автобуса. Если какой-нибудь черный совершает сегодня убийство, Барака Обаму могли бы остановить и допросить на предмет совпадения с описанием подозреваемого. И каково же это описание? «Черный мужчина».

Глава 38

Блейну Бубакар не понравился, и, вероятно, это в их ссоре сыграло роль — а может, и нет, — но Блейн Бубакара невзлюбил, а у Ифемелу день начался с посещения занятий у Бубакара. Ифемелу и Блейн познакомились с Бубакаром на университетском званом ужине в его честь: сенегальский профессор с кожей оттенка песчаника, только что переехал в Штаты, преподавать в Йеле. Он обжигал умом — и самоуверенностью. Восседал во главе стола, попивал красное вино и ехидно рассуждал о французских президентах, с которыми был знаком, и о французских университетах, которые предлагали ему работу.

— Я выбрал Америку, потому что сам хочу выбирать себе хозяина, — сказал он. — А раз уж мне полагается хозяин, тогда лучше Америка, чем Франция. Но печеньки я есть не буду и в «Макдоналдс» не пойду. Варварство какое!

Ифемелу он очаровал и позабавил. Ей нравился его акцент, его английский, пропитанный волофом и французским.

— По-моему, он классный, — сказала она потом Блейну.

— Любопытно: он говорит расхожее, однако считает, что это довольно глубоко, — отметил Блейн.

— Немножко эго у него имеется — как и у всех за тем столом, — сказала Ифемелу. — Вам, йельцам, разве не положено его иметь, чтоб вас сюда на работу брали?

Блейн не посмеялся, как это обычно бывало. Ифемелу почувала по его отклику территориальную неприязнь, чуждую его натуре, и удивилась. Изображая скверный французский акцент, он пародировал Бубакара.

— Франкёфонье африканцы, перерифф на кофе, анлёфонье африканцы, перерифф на чай. В этой стране добыть настоящего кафе-о-ле нивазьможня!

Вероятно, Блейну не нравилось, как легко ее отнесло к Бубакару в тот день, после десерта, словно к человеку, который говорил на одном с ней безмолвном языке. Она подначивала Бубакара на тему африканцев-франкофонов, до чего забиты их головы французским и какими тонкокожими они стали — слишком глубоко осознают французское презрение и при этом слишком влюблены в европейскость. Бубакар смеялся — по-родственному: с американцем он бы так смеяться не стал, он бы пресек подобный разговор, осмелся на него американец. Вероятно, Блейну

не нравилась эта взаимность, нечто первородно африканское, из чего его самого исключили. Но чувство Ифемелу к Бубакару было братским, без всякого влечения. Они частенько встречались за чаем в книжной лавке «Аттикус» и болтали — вернее сказать, она слушала, поскольку говорил в основном он — о западноафриканской политике, о семье и доме, и с этих встреч она всегда уходила обнадеженной.

* * *

К тому времени, когда Бубакар рассказал ей про новую стипендиальную программу по гуманитарным наукам в Принстоне, она уже начала вглядываться в прошлое. В ней поселился непокой. Проросли сомнения о блоге.

— Вам надо подать заявку. Это совершенно ваше, — говорил он.

— Я не ученый. Я даже аспирантуру не оканчивала.

— Нынешний стипендиат — джазовый музыкант, очень талантливый, но только с дипломом о школьном образовании. Им требуются люди, которые делают что-то новое, раздвигают границы. Вам необходимо участвовать, и прошу вас использовать меня как рекомендателя. Нам нужно проникать в такие места, понимаете? Только так можно изменить течение разговора.

Ее это все тронуло; она сидела напротив него в кафе и ощущала между собой и им теплое притяжение чего-то общего.

Бубакар часто приглашал ее к себе на занятия — на семинары по современным африканским вопросам.

— Может, обнаружите что-нибудь интересное, о чем писать в блог, — приговаривал он.

И вот так, в день, когда она пришла к Бубакару на занятие, началась история их размолвки с Елейном. Она сидела на задних рядах, у окна. Снаружи с величественных старых деревьев облетали листья; спешили по тротуару, замотав шеи шарфами, люди с картонными стаканчиками, женщины — в особенности азиатки — хорошенькие, в узких юбках и сапогах на каблуке. У всех студентов Бубакара были открыты ноутбуки, экраны сияли страницами почтовых браузеров, Гугл-поиска, фотографиями знаменитостей. Время от времени они открывали файл «Ворда» и записывали слово-другое Бубакара. Куртки висели на спинках стульев, а язык тел их, ссутуленных, слегка нетерпеливых, говорил: мы уже знаем

ответы. После занятий они отправлялись в библиотечное кафе и покупали североафриканский сэндвич с жу^[178] или индийский с карри, по дороге на следующее занятие группа из студактива вручала им презервативы и леденцы на палочке, а по вечерам они посещали чаепития в доме у декана, где какой-нибудь латиноамериканский президент или нобелевский лауреат отвечал на их вопросы, словно в этом был какой-то смысл.

— Ваши студенты все копались в интернете, — сказала она Бубакару, пока они шли к нему в кабинет.

— Они не сомневаются в своем здесь присутствии, студенты эти. Они считают, что должны здесь быть, что они заслужили это и они за это платят. О фон,^[179] они нас всех купили. В этом суть американского величия, такая вот спесь, — сказал Бубакар, на голове черный фетровый берет, руки — глубоко в карманах куртки. — Вот поэтому они и не понимают, что должны быть благодарны за то, что я перед ними стою.

Не успели они войти к нему в кабинет, как раздался стук в полуоткрытую дверь.

— Заходите, — сказал Бубакар.

Появился Кавана. Ифемелу несколько раз сталкивалась с ним — доцент кафедры истории, живший ребенком в Конго. Он был кудряв, злореден, и, казалось, ему больше подошло бы работать военным репортером в далеких горячих точках, чем преподавать историю аспирантам. Он встал в дверях и сказал Бубакару, что отправляется в творческий отпуск, и факультет заказал на завтра прощальный обед в его честь, и ему донесли, что будут причудливые сэндвичи со всяким вроде ростков люцерны.

— Станет скучно — загляну, — отозвался Бубакар.

— Вам надо прийти, — сказал Кавана Ифемелу. — Правда.

— Я приду, — сказала она. — Бесплатный обед — всегда хорошая затея.

Она выходила из кабинета Бубакара, и тут прилетело сообщение от Блейна: «Ты слышала про мистера Уайта из библиотеки?»

Первая мысль — мистер Уайт умер; никакой великой печали она не ощутила, и за это ей стало стыдно. Мистер Уайт был охранником в библиотеке, он сидел у выхода и проверял задний клапан каждой книжки, красноглазый мужчина с такой темной кожей, что проступал черничный оттенок. Ифемелу так привыкла к нему сидящему, к лицу и торсу, что, впервые увидев, как он ходит, огорчилась: плечи ссутулены, будто нагружены бременем потерь. Блейн подружился с ним много лет назад и

иногда в свой перерыв приходил поговорить.

— Он — учебник истории, — говорил Блейн Ифемелу. Она несколько раз общалась с мистером Уайтом.

— У нее есть сестра? — то и дело уточнял мистер Уайт у Блейна. Или же говорил: — Уставший вы на вид, дружище. Кто-то спать не давал допоздна?

Ифемелу это казалось непристойным. Когда бы мистер Уайт ни жал ей руку, он стискивал ей пальцы, и в этом жесте был один сплошной намек; Ифемелу высвобождала руку и избегала потом взгляда мистера Уайта, пока они с Елейном оттуда не уходили. Было в этом рукопожатии некое присвоение, ухмылка, и за это в Ифемелу всегда гнездились маленькое неприятие, однако Блейну она никогда об этом не сообщала, поскольку неприязни этой очень стеснялась. Мистер Уайт все же старый черный, битый жизнью, и Ифемелу жалела, что не может не обращать внимания на его вольности.

— Забавно: я никогда не слышала, как ты говоришь на эбониксе, — сказала она Блейну, когда впервые стала свидетелем их разговора с мистером Уайтом. Синтаксис поменялся, интонации стали ритмичнее.

— Видимо, я слишком привык к своему голосу «на нас смотрят белые люди», — отозвался он. — И, знаешь, черные помладше уже не переключают регистры. Дети среднего класса не владеют эбониксом, а дети из гетто говорят только на нем, и у них нет той беглости, какая есть у моего поколения.

— Напишу об этом в блог.

— Я знал, что ты так скажешь.

Она отправила ему ответную эсэмэску: «Нет, что случилось? Мистер Уайт окей? Ты закончил? Хочешь сэндвич?»

Блейн позвонил и попросил ее подождать его на углу Уитни, и вскоре она увидела, как он приближается — стремительная сухопарая фигура в сером свитере.

— Привет, — сказал он и поцеловал ее.

— Приятно пахнешь, — сказала она, и он поцеловал ее еще раз.

— Пережила занятие у Бубакара? Даже без приличных круассанов и пан-о-шоколя?^[180]

— Прекрати. Что случилось с мистером Уайтом?

Они шли рука об руку к лавке бейглов, и он рассказал ей, что друг мистера Уайта, черный, пришел вчера вечером и они вдвоем стояли у библиотеки. Мистер Уайт дал этому человеку ключи от своей машины, потому что друг пришел ее одолжить, — и друг отдал мистеру Уайту

какие-то деньги, одолженные ранее. Некий белый сотрудник библиотеки, наблюдавший их, решил, что эти двое черных торгуют наркотиками, и вызвал администратора. Администратор вызвал полицию. Полиция приехала и забрала мистера Уайта на допрос.

— О господи, — сказала Ифемелу. — Он в порядке?

— Да. Он вернулся на свое место. — Блейн помолчал. — Думаю, он к такому был готов.

— Это прямо трагедия, — сказала Ифемелу и осознала, что использует слова Блейна: иногда она слышала у него в тоне такие отголоски. Настоящая трагедия Эмметта Тилла,^[181] сказал он ей как-то раз, не в убийстве черного ребенка за свист в сторону белой женщины, а в том, что некоторые черные подумали: а чего он свистел?

— Я с ним немного потолковал. Он просто отмахнулся от всей этой истории, сказал, чего тут такого, и предложил поговорить о его дочери, за которую он действительно волнуется. Она собирается бросить школу. Ну и я займусь ею, поучу. В понедельник встречаемся.

— Блейн, это уже седьмой ребенок у тебя на поруках, — сказала она. — Ты собираешься лично обучать все гетто Нью-Хейвена?

Было ветрено, Блейн щурился, машины катились мимо по Уитни-авеню, он повернулся к ней, глянул сузившимися глазами.

— Хотелось бы, — сказал он тихо.

— Мне просто хочется чаще тебя видеть, — проговорила она и обхватила его за талию.

— Ответ университета — чушь собачья. Простая ошибка, ничего расового? Да ладно? Думаю организовать завтра митинг, собрать людей, сказать, что так не пойдет. Не в нашем огороде.

Он уже все решил, она видела это, а не просто думал. Уселся за столик у двери, а она пошла к стойке — без запинки заказала на его долю, потому что очень привыкла к нему, к тому, что он любит. Когда вернулась с пластиковым подносом — ее сэндвич с индейкой и его вегетарианский рап, а рядом два пакетика несоленой картошки, — голову он склонял к телефонной трубке. К вечеру он уже позвонил, разослал письма и эсэмэски, новости стали расползаться, и телефон у него звякал, звонил и пищал — ответами от людей, сообщавших, что они в деле. Один студент звонил уточнить, что можно написать на транспарантах, другой выходил на связь с местными телестудиями.

Наутро, прежде чем отправиться на занятия, Блейн сказал:

— Преподаю встык, встречаемся в библиотеке, да? Пришли эсэмэску, когда выйдешь.

Они это не обсуждали, он попросту счел по умолчанию, что она явится, и она сказала: «Ладно».

Но не явилась. И не забыла. Блейн мог оказаться более снисходительным, если б она просто забыла, если б так увлеченно читала или писала в блог, что митинг выскочил у нее из головы. Но она не забыла. Она лишь предпочла пойти на прощальный обед к Каване, а не стоять перед университетской библиотекой с транспарантом. Блейн вряд ли обидится, сказала она себе. Если и было ей неудобно, она этого не осознавала, пока не уселась в классе с Каваной, Бубакарром и другими преподавателями, попивая клюквенный сок из бутылки, слушая, как какая-то молодая женщина рассказывает о грядущем рассмотрении ее постоянной профессорской ставки, и тут эсэмэски от Блейна захлестнули ее телефон: «Ты где?», «Все в порядке?», «Отличная явка, ищу тебя», «Шэн меня поразила — приехала!», «Ты в порядке?» Ифемелу ушла рано, вернулась домой и, улегшись в постель, отправила Блейну сообщение — очень извинялась, дескать, прилегла и незаметно отключилась. «Окей. Еду домой».

Он вошел и сжал ее в объятиях — с силой и воодушевлением, ворвавшимся в дом вместе с ним.

— Тебя не хватало. Я так хотел, чтобы ты там была. Я очень обрадовался, что Шэн приехала, — сказал он с некоторым пылом, будто это его личная победа. — Получилась такая мини-Америка. Черные ребята, белые, азиаты, латиноамериканцы. Дочь мистера Уайта тоже пришла, фотографировала транспаранты с его лицом, и у меня было такое чувство, что мы наконец вернули ему настоящее достоинство.

— Как прекрасно, — сказала она.

— Шэн передавала приветы. Садится сейчас в поезд домой.

Блейн мог легко все узнать — может, случайно упомянул кто-то из тех, кто был на обеде, — но Ифемелу так и не поняла, откуда все же он узнал. Он вернулся на следующий день, глянул на нее — в глазах пылало серебро — и сказал:

— Ты соврала.

Сказано это было с таким ужасом, от которого она оторопела, будто он никогда не допускал и мысли, что она может соврать. Захотелось сказать: «Блейн, люди врут». Но она выговорила: «Извини».

— Зачем? — Он смотрел на нее, словно она украла его невинность, и на миг она его возненавидела — этого человека, доедавшего за ней огрызки яблок и превращавшего даже это в некий нравственный поступок.

— Не знаю зачем, Блейн. Просто не захотелось. Я не думала, что ты

так обидишься.

— Тебе просто не захотелось?

— Прости меня. Надо было сказать тебе об обеде.

— С чего вдруг этот обед такой важный? Ты с этим коллегой Бубакара едва знакома! — произнес он ошарашенно. — К блогу все не сводится, знаешь ли, нужно жить тем же, во что веришь. Этот блог — игра, которую ты на самом деле всерьез не воспринимаешь, все равно что выбирать *занятный* факультатив, чтобы добрать баллов. — В его тоне она услышала тонкое обвинение — не просто в своей лени, недостатке рвения и приверженности, но и в африканскости своей: в Ифемелу недостаточно ярости, потому что она африканка, а не афроамериканка.

— Это несправедливо — так рассуждать, — сказала она. Но он уже отвернулся от нее, ледяной, безмолвный. — Почему ты не поговоришь со мной? — спросила она. — Я не понимаю, почему это так важно.

— Как можно этого не понимать? Это же принцип, — сказал он и в тот миг стал ей чужим.

— Мне правда жаль, — сказала она.

Он ушел в ванную и запер дверь.

Его бессловесная ярость испепелила ее. Как мог принцип, абстракция, плавающая в воздухе, так накрепко вклиниться между ними и превратить Блейна в кого-то другого? Лучше б какой-нибудь неприличный порыв — ревность или обида брошенного.

Она позвонила Араминте.

— Я себя ощущаю растяпой-женой, которая звонит невестке и просит растолковать своего мужа, — сказала она.

— В старших классах, помню, было какое-то благотворительное мероприятие, выставили столы с печеньем и всяким таким, и полагалось класть в банку денежку и брать печенье, ну и понимаешь, я такая протестная вся из себя — беру печенье, а денег не кладу, и Блейн тогда на меня взбесился. Помню, думала: «Да ладно, это ж печенье». Но для него дело в принципе, наверное. Он иногда бывает до нелепого высококонравствен. Денек-другой погоди, остынет.

Но прошел день, другой, а Блейн оставался в узилище стылого молчания. На третий день без единого слова между ними Ифемелу собрала сумку и уехала. В Балтимор она вернуться не могла — квартиру там она сдала, а мебель упрятала на склад — и потому двинулась в Уиллоу.

ЧТО УЧЕНЫЕ ПОНИМАЮТ ПОД ПРИВИЛЕГИЕЙ

БЕЛЫХ,

ИЛИ

**ДА, ПЛОХО БЫТЬ БЕДНЫМ И БЕЛЫМ, НО ВЫ
ПОПРОБУЙТЕ БЫТЬ БЕДНЫМ И НЕБЕЛЫМ**

Ну и вот, этот парень говорит профессору Крепышу: «Привилегия белых? Чепуха. Какие такие у меня привилегии? Я вырос, бля, нищим в Западной Вирджинии. Я вахлак с Аппалачей. У меня семья на пособия по безработице». Все так. Но привилегия — она всегда относительно чего-то. Вообразите теперь кого-нибудь наподобие этого парня, такого же нищего и в такой же жопе, и перекрасьте его в черный. Если и того и другого, скажем, поймут с наркотиками, белого парня с большей вероятностью отправят лечиться, а черного — в тюрьму. Всё один к одному — кроме расы. Проверьте статистику. Вахлак с Аппалачей — в жопе, и это не круто, но будь он черным — жопа оказалась бы поглубже. А еще он сказал профессору Крепышу: «Чего мы вообще разговариваем о расе? Нельзя разве быть просто людьми?» И профессор Крепыш ответил: «Именно в этом и состоит привилегия белых — вы можете так говорить. Для вас расовый вопрос, вообще-то, не существует, потому что он для вас никогда не был преградой. У черных все иначе. Черному на улице Нью-Йорка не хочется думать о расовых вопросах, когда он едет на своем «мерседесе» без превышения скорости, — пока полицейский не прижмет его к обочине. У вахлака с Аппалачей нет классовых льгот, зато расовые есть будь здоров какие». Что скажете? Взвесьте это, читатели, и поделитесь собственным опытом, особенно если вы нечерный.

Р. С. Профессор Крепыш только что предложил обнародовать это — тест на Привилегию белых, права

принадлежат крутой тетке по имени Пегги Макинтош. [182] Если отвечаете в основном «нет» — поздравляем, у вас есть привилегия белого. В чем смысл, спросите вы? Серьезно? Понятия не имею. Думаю, просто здорово это знать. Сможете время от времени радоваться втихаря, это поддержит вас в минуту кручины — типа такого. Итак:

Когда вам хочется вступить в престижный общественный клуб, вы раздумываете, не затруднит ли вам вступление ваша раса?

Когда совершаете покупки один в приличном магазине, вас тревожит, что вас будут пасти или станут обижать?

Когда включаете массовое телевидение или открываете массовую газету, ожидаете ли увидеть там в основном людей другой расы?

Тревожитесь ли, что у ваших детей не будет учебников и методических материалов о людях их расы?

Обращаясь за банковским займом, тревожитесь ли, что из-за вашей расы вас могут счесть финансово ненадежным?

Если выражаетесь непристойно или одеваетесь неопрятно, как думаете, люди вокруг скажут, что это из-за скверных нравов, или нищеты, или необразованности вашей расы?

Если ведете себя достойно, ожидаете ли, что окружающие начислят за это очки вашей же расе? Или же что вас воспримут «отличным» от большинства представителей вашей расы?

Если вы критикуете правительство, тревожитесь ли вы, что вас сочтут культурным аутсайдером? Или что вас попросят «убраться в X», где «X» — где-то за пределами Америки?

Если вас плохо обслуживают в приличном магазине и вы просите пригласить «начальство», ожидаете ли вы, что этот человек окажется представителем расы, отличной от вашей?

Если постовой велит вам остановиться, вы задумаетесь, не из-за вашей ли расы?

Если вас берет на работу наниматель, практикующий позитивную дискриминацию, тревожитесь ли вы, что ваши коллеги сочтут вас неквалифицированным и нанятым исключительно из-за вашей расы?

Если желаете переехать в приличный район, тревожитесь ли вы, что вам там будут не рады из-за вашей расы?

Если вам нужна юридическая или медицинская помощь, тревожитесь ли вы, что ваша раса сработает против вас?

Когда одеваетесь в «телесное» белье или клеите себе пластырь,^[183] знаете ли вы заранее, что по цвету они не совпадут с вашей кожей?

Глава 39

Тетя Уджу записалась на йогу. Она стояла на четвереньках, круто выгнув спину, на синем коврикe в цоколе, а Ифемелу лежала на диване, ела шоколадный батончик и наблюдала за тетей.

— Сколько этих штук ты уже съела? И с каких пор ты ешь обычный шоколад? Я думала, вы с Елейном питаетесь только экологическим, по Справедливой торговле.^[184]

— Накупила на вокзале.

— Накупила? Сколько?

— Десять.

— А, а! Десять!

Ифемелу пожала плечами. Она уже съела их все, но тете Уджу этого не сказала. Это доставляло ей удовольствие — покупать шоколадные батончики в газетном киоске, дешевые, с сахаром, всякой химией и прочими генетически модифицированными ужасами.

— О, так, значит, потому что вы с Елейном ругаетесь, ты теперь ешь шоколад, который ему не нравится? — Тетя Уджу рассмеялась.

Дике спустился и поглядел на мать — руки вверх, «поза воина».

— Мам, ну ты и нелепая.

— Тебе твой друг давеча не говорил разве, что твоя мать смачная? Тот.

Дике покачал головой.

— Куз, мне надо тебе кое-что показать на Ю-Тьюбе, смешной ролик.

Ифемелу встала.

— Тебе Дике рассказывал, какое у них компьютерное ЧП случилось в школе? — спросила тетя Уджу.

— Нет, какое? — заинтересовалась Ифемелу.

— Директор позвонила мне в понедельник и сказала, что Дике в субботу взломал школьную компьютерную сеть. Мальчик, который был всю субботу при мне. Мы ездили в Хартфорд к Озависе. Весь день там пробыли, мальчик и близко к компьютеру не подходил. Когда я спросила, с чего они взяли, что это он, они сказали, что у них есть сведения. Вообрази — не успел проснуться, как сразу давай винить моего сына. Мальчик и в компьютерах-то не очень. Я думала, это все осталось позади, в том захолустном городке. Квеку считает, что нужно подать официальную жалобу, но, по-моему, это зряшная трата времени. Теперь вот говорят, что

больше его не подозревают.

— Я даже *не умею* взламывать, — сказал Дике язвительно.

— Зачем они разводят подобную дрянь? — спросила Ифемелу.

— Сначала надо обвинить черных детей, — сказал Дике и рассмеялся.

Потом он рассказал, что его друзья теперь говорят, дескать, эй, Дике, травки не найдется? — и как это смешно. Рассказал ей о пасторе в церкви, белой женщине, которая здоровалась со всеми детьми, а когда очередь доходила до него, она такая: «Чё как, братан?»

— У меня такое ощущение, что у меня вместо ушей ботва, типа брокколи такие из головы торчат, — сказал он со смехом. — Так понятно же, что это я взломал школьную сеть.

— Эти люди у тебя в школе — дураки, — сказала Ифемелу.

— Смешно ты это сказала, куз, — «дураки». — Он примолк, а затем повторил за ней: «Эти люди у тебя в школе — дураки». Нигерийский акцент ему дался хорошо. Она рассказала ему историю о нигерийском пасторе, который, читая проповедь в одной церкви в Штатах, сказал что-то о сучках, но из-за акцента прихожане решили, что он сказал «сучки», и подали жалобу епископу. Дике валялся от хохота. Так родилась одна из их постоянных шуточек. «Эй, куз, пусть у меня каникулы пройдут без сучки и задоринки», — говорил он.

* * *

Блейн не принимал от нее звонков девять дней подряд. Наконец ответил, голос приглушенный.

— Можно я приеду в эти выходные, приготовим вместе кокосовый рис? Готовить буду я, — сказала она. Прежде чем он произнес «ладно», она уловила, как он вдыхает, и подумала, не поразило ли его, что она осмелилась предложить кокосовый рис.

Ифемелу наблюдала, как Блейн режет лук, наблюдала за его длинными пальцами и вспоминала его тело поверх своего, как водила пальцами по его ключицам, по еще более темной коже у него под пупком. Он вскинул взгляд и спросил, правильные ли кусочки лука у него выходят, она сказала: «С луком все в порядке» — и подумала, откуда он всегда знает, какого размера лук должен получаться, всегда режет так точно, он сам всегда пропаривал рис, хотя сегодня делать это собиралась она. Блейн расколол кокос на мойке и слил жидкость, после чего начал ножом отколупывать от кожуры белую

мякоть. Когда Ифемелу вытряхивала рис в кипящую воду, руки у нее дрожали, и она, глядя, как набухают тонкие зернышки басмати, задумалась, удастся ли она им, эта их примирительная трапеzia. Проверила курицу в духовке. Открыла горшок — дух пряностей повалил наружу: имбирь, карри, лаврушка; она сообщила ему без всякой надобности, что получается хорошо.

— Я не перегибал со специями — в отличие от тебя, — сказал он.

Ифемелу на миг рассердилась и захотела сказать, что это несправедливо с его стороны — вот так выдавать прощение, но вместо этого переспросила, не надо ли, на его взгляд, подлить воды. Он продолжал точить кокос, молча. Она понаблюдала, как кокос превращается в белую пыль; ее печалило, что целым этот кокос уже никогда не будет, она потянулась к Блейну, обняла его сзади, обвила руками грудь, ощутила сквозь толстовку его тепло, но он выпростался и сказал, что нужно доделать, пока рис не размягчился совсем. Она прошла гостиную и поглядела в окно, на колокольню, высокую, царственную, возвышавшуюся над студгородком Йеля, и заметила первые снежные вихри, крутившиеся в поздневечернем воздухе, словно их метали сверху, и вспомнила свою первую зиму с Елейном, когда все казалось полированным и бесконечно новым.

КАК ЧЕРНОМУ НЕАМЕРИКАНЦУ ПОНЯТЬ АМЕРИКУ: КОЕ-КАКИЕ ПОЯСНЕНИЯ, ЧТО ВСЕ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЧИТ

1. Среди всех племенных категорий самая неудобная для американцев — расовая. Если вы разговариваете с американцем и хотите обсудить какой-нибудь интересный вам расовый вопрос, а американец говорит: «Ой, это упрощенчество — считать, что дело в расе, расизм такая сложная штука», это означает, что от вас хотят, чтобы вы уже заткнулись наконец. Потому что, само собой, расизм — сложная штука. Многие аболиционисты хотели освободить рабов — но не жить рядом с черными. Куча народу в наши дни нормально относится к черной няне или черному шоферу лимузина. Но они будь здоров как ненормально отнесутся к

черному начальнику. Упрощенчество — это говорить, что расизм — «сложная штука». Но вы все равно заткнитесь, особенно если вам от вашего собеседника нужна работа/одолжение.

2. «Разнообразие» для разной публики значит разное. Если белый говорит, что тот или иной район разнообразен, это значит, что в нем 9 % черных. (В миг, когда черных становится 10 %, белые съезжают.) Если черный говорит «разнообразный район», он имеет в виду 40 % черных.

3. Иногда тут говорят «культура», а имеют в виду расу. Говорят, что фильм «массовый», — это значит, что «фильм нравится белым или белые его сняли». Когда говорят «урбанизированный», — это черный, нищий, вероятно, опасный и потенциально увлекательный. «Расово заряженный» означает «нам неловко сказать "расистский"».

Глава 40

По окончании их отношений они больше не ссорились, но за время Блейновой окаменелости к Ифемелу, пока она окукливалась в себе и поглощала шоколадные батончики, ее чувства к нему изменились. Она все еще восхищалась им, его нравственной сутью, но теперь это было восхищение человеком, отдельным от нее, кем-то, кто далеко-далеко. И тело ее изменилось. В постели она больше не открывалась ему, полная живого желания, как прежде, а когда он сам тянулся к ней, первый порыв — откатиться. Они часто целовались, но губы она сжимала крепко — не хотела его язык у себя во рту. Их союз лишился страсти, но возникла новая, вне их самих, и она объединила их в близости, какой у них доселе не было, в близости зыбкой, невысказанной, интуитивной: Барак Обама. На Бараке Обаме они договорились — без всякого понукания, без тени обязательства или уступки.

Поначалу, хоть и желала, чтобы Америка выбрала черного человека в президенты, Ифемелу считала, что это невозможно, и не могла представить президентом Соединенных Штатов Обаму: он казался слишком хрупким, слишком костлявым, вот-вот ветром сдует. Хиллари Клинтон была покрепче. Ифемелу смотрела с удовольствием на Клинтон по телевизору: квадратные брючные костюмы, лицо — маска решимости, миловидность скрыта, иначе не убедишь мир, что знаешь свое дело. Ифемелу она нравилась. Ифемелу желала ей победы, от души желала ей удачи, пока утром не подобрала книгу Барака Обамы «Мечты, доставшиеся мне от отца», ^[185] которую Блейн дочитал и оставил лежать на книжной полке, некоторые страницы сложены пополам. Ифемелу разглядела фотографии на обложке — юную кенийку, растерянно смотревшую в объектив, руки обнимают сына, и юного американца бравого вида, прижимающего к груди дочь. Позднее Ифемелу вспомнит тот миг, когда решила прочесть эту книгу. Просто из любопытства. Может, и не прочла бы, если бы Блейн ее порекомендовал, потому что она все больше сторонилась книг, которые ему нравились. Но он ее не посоветовал, просто оставил на полке рядом со стопкой других книг, которые дочитал, но собирался к ним вернуться. Она прочитала «Мечты моего отца» за полтора дня, сидя на диване, в аудиоколонке от Блейнова айпода — Нина Симоун. Ифемелу заворожил и тронул человек, с которым она познакомилась на тех страницах, человек пытливый и умный, добрый, человек совершенно, беспомощно, по

собственной воле человеческий. Он напомнил ей выражение Обинзе, каким тот описывал людей, которые ему нравились. *Оби оча*. Чистое сердце. Она верила Бараку Обаме. Когда Блейн вернулся домой, Ифемелу сидела за обеденным столом, смотрела, как он режет свежий базилик в кухне, а потом произнесла:

— Вот бы человек, который написал эту книгу, стал президентом Америки.

Нож замер, глаза у Блейна озарились, словно он не дерзал надеяться, что она поверит в то же, во что верил он сам, и Ифемелу ощутила между ними первое биение разделенной страсти. Они вцеплялись друг в друга, когда Барак Обама выиграл внутрипартийные выборы в Айове. Первая битва — он победил. Их надежды лучились, вспыхивали возможностью: Обама и впрямь мог выиграть. А следом, словно отрететировав, начинали тревожиться. Они волновались, что собьет его что-нибудь с пути, сокрушит его летящий поезд. Ифемелу каждое утро просыпалась и проверяла, жив ли Обама до сих пор. Не всплыло ли какого скандала, не откопалось ли какой-нибудь истории из прошлого. Она включала компьютер, затаив дыхание, сердце бесилось в груди, а затем, убедившись, что он жив, читала свежие новости о нем, быстро, жадно, искала данных и успокоения, по низу экрана — много-много свернутых окошек. Когда в чатах возникали посты об Обаме, она сникала и уходила от компьютера, будто он был ей враг, вставала у окна, пряча слезы даже от себя самой. «Как обезьяна может быть президентом?», «Кто-нибудь, окажите услугу, пустите пулю в этого парня», «Отправьте его обратно в африканские джунгли», «Черный человек не может быть в Белом доме, паря, он не просто так белым называется». Она пыталась вообразить людей, которые писали эти посты, под никами типа ПригороднаяМама231 и НорменРокуэллРулит,^[186] сидя за столом, с чашкой кофе под рукой, а их дети того и гляди явятся домой на школьном автобусе, лучась невинностью. Чаты делали ее блог незначительным, комедией нравов, мягкой сатирой в мире, не мягком нисколько. Она не писала у себя о мерзостях, что приумножались ежеутренне, стоило ей выйти в Сеть, чаты плодились, яд разливался, потому что писать об этом означало множить слова людей, которые поносили не только человека Барака Обаму, но и мысль о его президентстве. Она писала о пунктах его программы — в постоянной рубрике под названием «Вот почему у Обамы это получится лучше», часто добавляла ссылки на его сайт; писала и о Мишель Обаме. Воспевала неожиданную ироничность юмора Мишель, уверенность ее длиннорукого длинноногого костяка, а следом скорбела, когда Мишель Обаму в интервью выхолащивали, уплощали, делали тепловато-гладкой. И

все же был в избыточно выгнутых бровях Мишель Обамы, в ее поясе, который она носила несколько выше на талии, чем предписывала традиция, проблеск ее прежней. Вот к чему тянуло Ифемелу: Мишель не оправдывалась, она дарила надежду на искренность.

— Если она вышла замуж за Обаму, не может он быть барахлом, — шутливо говорила она Блейну, а Блейн отвечал:

— Без балды, без балды.

* * *

Она получила письмо с адреса с доменным именем «принстон. эдью», и, прежде чем успела прочесть его, руки задрожали от волнения. Первое слово — «рады». Она получила стипендию исследователя. Платили хорошо, требовали мало: ей полагалось жить в Принстоне, пользоваться библиотекой и прочитать в конце года публичную лекцию. Все это казалось неправдоподобно прекрасным — входом в достославное американское королевство. Они с Блейном приехали в Принстон на поезде поискать квартиру, и ее поразил сам город, его зелень, покой и изящество.

— Я в Принстоне учился в магистратуре, — сказал ей Блейн. — В ту пору прямо буколически тут все было. Приезжал в гости и думал, как красиво, но вообще-то себя здесь не видел.

Ифемелу поняла, что он имеет в виду, — даже теперь Принстон изменился и стал, по словам Блейна, пока они шагали вдоль многочисленных нарядных магазинов, «агрессивно потребительски-капиталистическим». Ифемелу восторгалась и терялась. Ей понравилась ее квартира, в стороне от Нассо-стрит; окно спальни смотрело на рощу, и Ифемелу прошлась по пустой комнате, размышляя о новом начале своей жизни, без Блейна, и все же не уверенная, то ли это новое начало, которого ей хотелось.

— До выборов переезжать не буду, — сказала она.

Блейн кивнул, не успела она договорить: разумеется, она не переедет, пока они не доведут Барака Обаму до победы. Он стал добровольцем кампании Обамы, а она впитывала истории Блейна о дверях, в которые он стучал, и о людях за этими дверями. Однажды он пришел домой и рассказал ей о старухе-черной, лицо сморщенное, как чернослив, она стояла, держась за дверь, словно иначе рухнула бы, и сказала ему: «Не думала, что такое случится даже при жизни моей внучки».

Ифемелу сочинила пост с этой историей, описала серебро в седых волосах той женщины, пальцы, трепетавшие от Паркинсона, словно сама побывала там с Блейном. Все его друзья поддерживали Обаму — за вычетом Майкла, который всегда носил на груди значок с Хиллари Клинтон, — и на их сборищах Ифемелу более не чувствовала себя исключенной. Даже туманная тягость, какую она ощущала рядом с Полой, — частью грубость, частью неуверенность в себе — растаяла. Они собирались в барах и на квартирах, обсуждали подробности кампании, насмехались над чушью в новостных байках. Станут ли латиноамериканцы голосовать за черного человека? Играет ли он в боулинг? А он патриот?

— Ну не смешно ли — они говорят «черные хотят Обаму» и «женщины хотят Хиллари», а черные женщины что тогда? — говорила Пола.

— Когда они говорят «женщины», они автоматически имеют в виду белых женщин, само собой, — отзывалась Грейс.

— Я вот чего не понимаю: как вообще можно утверждать, что Обаме выгодно быть черным? — говорила Пола.

— Тут все сложно, но так и есть — в той же мере Клинтон выгодно быть белой женщиной, — сказал Нэйтен, подаваясь вперед и моргая быстрее обычного. — Если бы Клинтон была черной женщиной, ее звезда бы так не воссияла. Если бы Обама был белым мужчиной, его звезда, может, сияла бы ярко, а может, и нет, потому что некоторые белые мужчины стали президентами, а делать им там было нечего, но это никак не меняет того, что у Обамы не очень-то много опыта, а людей прет от мысли о черном кандидате, у которого есть настоящий шанс.

— Хотя, если победит, он перестанет быть черным — как Опра больше не черная, она — Опра, — сказала Грейс. — Она может появляться там, где черных ненавидят, и ей нормально. Он больше не будет черным, он будет просто Обамой.

— В той мере, в какой Обаме это выгодно, — а сама мысль о выгоде очень спорная, кстати, — но в той мере, в какой ему это выгодно, оно не оттого, что он черный, а оттого, что он черный другого рода, — сказал Блейн. — Не будь у Обамы белой матери и не расти его белые дедушка с бабушкой, не будь у него Кении, Индонезии, Гавайев и всех прочих историй, которые делают его по чуть-чуть таким, как все, будь он простым черным парнем из Джорджии, все складывалось бы иначе. Настоящий прорыв в Америке случится, когда президентом станет простой черный парень из Джорджии, черный парень, который в колледже учился на тройки.

— Согласен, — сказал Нэйтен. И вновь Ифемелу поразило, до чего все друг с другом согласны. Их друзья, как и они с Блейном, — верующие. Истинные верующие.

* * *

В день, когда Барак Обама стал кандидатом от Демократической партии, Ифемелу с Блейном занялись любовью — впервые за много недель, и Обама был с ними как непроизнесенная молитва, как третье эмоциональное присутствие. Они с Блейном гнали машину много часов — послушать Обаму, подержаться за руки в густой толпе, поддержать транспаранты «ПЕРЕМЕНЫ», написанные крупными белыми буквами. Какой-то черный рядом с ними усадил сына на плечи, и сын смеялся полным ртом молочных зубов, без одного уже выпавшего. Отец смотрел вверх, и Ифемелу знала, что он ошарашен от собственной веры, ошарашен, что вот верит в то, во что, казалось ему, не поверит никогда. Когда толпа взорвалась аплодисментами, захопала, засвистала, тот человек не хлопал, потому что придерживал сына за ноги, но улыбался, улыбался, лицо внезапно юное от радости. Ифемелу наблюдала за ним — и за другими вокруг, все светились странно, фосфорически, вплетали свое чувство в единую прядь неразрывного общего. Они верили. Они по-настоящему верили. Ифемелу это часто настигало сладостным потрясением — знание, что столько людей на свете относится к Бараку Обаме в точности так же, как они с Блейном.

Бывали дни, когда их вера воспаряла. А бывали и такие, когда они отчаивались.

— Нехорошо это, — бормотал Блейн, когда они метались между разными телеканалами, каждый крутил съемки пастора Барака Обамы и его проповедь, а его слова «Боже, кляни Америку»^[187] прорвались к Ифемелу во сны.

* * *

Впервые она узнала горячую новость, что Барак Обама произнесет речь о расовых вопросах — в ответ на проповеди своего пастора, — в интернете и тут же написала Блейну, у которого шли занятия. Ответ его

был прост: «Да!» Позднее, когда Ифемелу смотрела по телевизору это выступление, сидя между Блейном и Грейс у них в гостиной на диване, она задумалась, что Обама думает на самом деле и что почувствует, лежа сегодня ночью в постели, когда все тихо и пусто. Она представляла его себе — мальчика, который знал, что его бабушка боится черных, а ныне мужчину, рассказывающего миру историю, чтобы восстановить свою честь. От этой мысли ей стало немножко грустно. Обама говорил пылко, накаленно, американские флаги плескали у него за спиной. Блейн завозился, вздохнул, откинулся на спинку. Наконец произнес:

— Это безнравственно — вот так приравнять беды черных и страхи белых. Это просто *безнравственно*.

— Эта речь не ради начала дискуссии по вопросам расы, но близко вообще-то. Победить он может, только если будет обходить расовые вопросы. Мы все это понимаем, — сказала Грейс. — Но важно сначала добыть пост. Парню приходится выкручиваться. По крайней мере, теперь вся эта история с пастором закрыта.

Ифемелу тоже отнеслась к этой речи прагматически, но Блейн принял ее на свой счет. Его вера треснула, и он на несколько дней растерял пружинистость, возвращался с утренней пробежки не в своем обычном потном улете, двигался на тяжких ногах. Из этого уныния его нечаянно выдернула Шэн.

— Нужно съездить в город на несколько дней, побыть с Шэн, — сказал он Ифемелу. — Только что звонил Овидио. Она вышла из строя.

— Она вышла из строя?

— Нервный срыв. Не люблю это выражение, есть в нем душок очень старой бабкиной сказки. Но так это именует Овидио. Она не вылезает из постели, много дней. Не ест. Плачет не переставая.

В Ифемелу вспыхнуло раздражение: даже так, ей казалось, Шэн требует к себе внимания.

— У нее правда было тяжелое время, — сказал Блейн. — Книга не привлекла к себе никакого интереса и все прочее.

— Понятно, — сказала Ифемелу, но все же не смогла ощутить никакого подлинного сочувствия, и это ее напугало. Может, все потому, что она считала Шэн ответственной — в какой-то мере — за их с Блейном ссору, за то, что Шэн не применила свою власть и не убедила Блейна, что тот перегнул палку. — У нее все наладится. Она сильный человек.

Блейн посмотрел на нее удивленно:

— Шэн — одна из самых хрупких людей на свете. Она не сильная — и никогда сильной не была. Но она особенная.

Когда Ифемелу виделась с Шэн в последний раз, примерно месяц назад, Шэн сказала:

— Я так и знала, что вы с Блейном будете вместе. — Тон у нее был как у человека, рассуждающего о любимом брате, вернувшемся к психоделикам.

— Правда, Обама — это здорово? — спросила Ифемелу, надеясь, что хоть это станет для них с Шэн темой для разговора без скрытых колючек.

— Ой, я не слезу за этими выборами, — сказала Шэн небрежно.

— А его книгу ты читала? — спросила Ифемелу.

— Нет. — Шэн пожала плечами. — Хорошо бы кое-кто почитал мою книгу.

Ифемелу проглотила эти слова. *Это не о тебе. В кои-то веки это не о тебе.*

— Тебе стоит почитать «Мечты моего отца». Все остальное — документы кампании, — сказала Ифемелу. — Обама — что надо.

Но Шэн не заинтересовалась. Рассказывала о презентации, которая состоялась у нее на прошлой неделе, на литературном фестивале.

— Ну и они у меня спрашивают, кто мои любимые писатели. Само собой, понятно, они ожидают в основном черных авторов, и уж я-то им ни за что не скажу, что Роберт Хейден^[188] — любовь всей моей жизни, что на самом деле так. Короче, я ни одного черного — или даже отдаленно цветного, или политического, или живого — не упомянула. Вот я и называю, с эдаким беззаботным апломбом, Тургенева, Троллопа и Гёте, но чтобы не показаться слишком уж обязанной мертвым белым самцам, поскольку это немножко неоригинально, добавила Сельму Лагерлёф. И они такие вдруг не понимают, что еще у меня спросить, — я весь их сценарий пустила псу под хвост.

— Смех, да и только, — сказал Блейн.

* * *

Накануне дня выборов Ифемелу лежала в постели без сна.

— Не спишь? — спросил Блейн.

— Нет.

Они обнялись во тьме, ничего не говоря, дыхание спокойно, пока наконец не уплыли в полудрему-полубоддрствование. Утром отправились в школу: Блейн хотел проголосовать одним из первых. Ифемелу наблюдала

за уже пришедшими людьми, очередь ждала открытия дверей, и Ифемелу желала, чтобы все они проголосовали за Обаму. Она скорбела, что не может голосовать. Ее заявление на гражданство одобрили, но принятие присяги ожидалось лишь через несколько недель. Утро получилось беспокойным, Ифемелу побывала на всех новостных сайтах, а когда Блейн вернулся с занятий, он попросил ее выключить компьютер и телевизор, чтобы отдохнуть, подышать глубоко, поужинать приготовленным им ризотто. Они едва успели доест, как Ифемелу вновь включила компьютер. Просто убедиться, что Барак Обама цел и невредим. Блейн сделал безалкогольные коктейли для друзей. Араминта приехала первой, прямо с вокзала, в руках две телефонные трубки — проверяла обновления с обеих. Затем появилась Грейс в своих струящихся шелках, золотой шарф на шее, со словами:

— О господи, дышать не могу от нервов!

Майкл пришел с бутылкой просекко.

— Жалко, мама не дожила до сегодняшнего дня, как бы оно ни сложилось, — проговорил он.

Пола, Пи и Нэйтен прибыли вместе, и вскоре все уже расселись — на диване, на стульях, — вперились в телевизор, попивая чай и Блейновы коктейли, повторяя то же, что уже сказали. «Если выиграет в Индиане и Пенсильвании — дело в шляпе. Во Флориде вроде неплохо. Новости из Айовы противоречивые».

— В Вирджинии громадная явка черных избирателей, все, похоже, хорошо, — сказала Ифемелу.

— В Вирджинии вряд ли, — заметил Нэйтен.

— Не нужна ему Вирджиния, — отозвалась Грейс и тут же завопила: — О боже, Пенсильвания!

На экране вспыхнула картинка — фото Барака Обамы. Он победил в Пенсильвании и Огайо.

— Не понимаю, как теперь Маккейну вытянуть, — сказал Нэйтен.

Пола уселась рядом с Ифемелу сразу после того, как на экране вновь возникла картинка: Барак Обама победил в штате Вирджиния.

— О боже, — сказала Пола. Ладонь дрожала у ее рта.

Блейн сидел прямо и неподвижно, глядел в телевизор, и тут зазвучал низкий голос Кита Олберменна, ^[189] которого Ифемелу одержимо смотрела по Эм-эс-эн-би-си последние месяцы, голос пронзительной, сверкающей либеральной ярости; сейчас этот голос произнес:

— Барак Обама — ожидаемый президент Соединенных Штатов Америки.

Блейн рыдал, вцепившись в Араминту, та тоже рыдала, а затем Блейн

обнял Ифемелу, стиснул ее крепко-крепко, Пи обнимала Майкла, Грейс обнимала Нэйтена, Пола обнимала Араминту, а Ифемелу обнимала Грейс, и вся комната превратилась в алтарь недоверчивого счастья.

Запищал телефон — Дике писал Ифемелу.

«В голове не уместается. Мой президент черный, как я». Ифемелу прочитала сообщение несколько раз, глаза затопляло слезами.

По телевизору Барак Обама, Мишель Обама и две их дочери восходили на сцену. Их несло ветром, омывало пылающим светом, они торжествовали и улыбались.

— Юные и старые, богатые и бедные, демократы и республиканцы, черные, белые, латиноамериканцы, азиаты, коренные американцы, геи, натуралы, инвалиды и не инвалиды! Американцы шлют миру послание, что мы никогда не были просто набором красных и синих штатов. Мы были и навсегда останемся Соединенными Штатами Америки!

Голос Барака Обамы взлетал и опадал, лицо — торжественное, а вокруг него — громадная лучезарная толпа обнадеженных. Ифемелу смотрела заворуженно. И в тот миг ничто не было для нее прекраснее Америки.

КАК ЧЕРНОМУ НЕАМЕРИКАНЦУ ПОНЯТЬ АМЕРИКУ: СООБРАЖЕНИЯ ОБ ОСОБОМ БЕЛОМ ДРУГЕ

Величайший подарок Негру-в-Футляре — Понятливый Белый Друг. Как ни печально, это явление распространено вовсе не так широко, как хотелось бы, но некоторым везет: у них есть друг, которому не надо объяснять про фуфлю. Уж пожалуйста, впрягайте такого друга. Такие друзья не только врубаются — в них еще и встроены отличные детекторы фуфла, и потому они целиком и полностью понимают: им можно говорить то, что вам нельзя. Ну вот почти по всей Америке бытует в сердцах многих потаенное соображеньице, что белые люди заслужили свои места на работе и в школе, а черные попали туда, потому что они черные. Но по сути, еще на заре Америки, белые люди получали рабочие места, потому что они белые. Многие белые с теми же

навыками, но с негритянской кожей этих мест не получили бы. Но на людях вы этого ни в коем случае не говорите. Пусть это скажет ваш белый друг. Если вы по ошибке ляпнули это сами, вас обвинят в любопытном проступке — «разыгрывании расовой карты». Никто, вообще-то, не понимает, что это значит.

Когда мой отец учился в школе в моей черной неамериканской стране, многие американские черные не имели избирательного права и не могли посещать приличные школы. Из-за чего? Из-за цвета кожи. Только цвет кожи и был неувязкой. Ныне многие американцы говорят, что цвет кожи — никак не решение вопроса. Еще это называют занятным оборотом «обратный расизм». Попросите белого друга подчеркнуть, что история с черными американцами похожа на то, как вас много лет несправедливо держали в тюрьме, а потом вдруг освободили, но на автобусах кататься не разрешили. И кстати, вы сами и парень, который заточил вас в тюрьму, теперь автоматически равны. Если всплывает тезис «рабство давным-давно закончилось», попросите белого друга сказать, что многие белые все еще наследуют денежки, которые их семьи сколотили сто лет назад. Если то наследие живо до сих пор, отчего ж не наследие рабства? А еще попросите белого друга сказать, до чего забавно это — американские опросчики спрашивают у белых и черных, покончено ли с расизмом. Белые обычно говорят, что да, а черные — что нет. И впрямь забавно. Какие еще есть предложения, о чем попросить сказать своего белого друга? Пишите, пожалуйста. Так выпьем же за всех наших белых друзей.

Глава 41

Аиша вытащила из кармана телефон, а затем сунула его обратно с раздраженным вздохом.

— Не знаю, чего Чиджоке не заходи, — сказала она.

Ифемелу промолчала. Они с Аишей остались в салоне одни: Халима только что ушла. Ифемелу устала, спина гудела, от салона ее уже поташнивало — от душного воздуха и плесневелого потолка. Почему эти африканки не держат салон чистым и проветренным? Волосы ей почти доплели, осталась лишь маленькая часть, как кроличий хвостик, спереди. Ифемелу не терпелось уйти.

— Как вы получи документы? — спросила Аиша.

— Что?

— Как вы получи документы?

Ифемелу оторопело молчала. Святотатство: иммигранты не спрашивают у иммигрантов, как те добыли бумаги, не влезают в такие погребенные сокровенные места — довольно попросту восхищаться, что бумаги добыты, официальный статус достигнут.

— Я пытаюсь, когда приезжаю, жени американца. Но он много проблем, нет работы, каждый день говорит, давай деньги, деньги, деньги, — пояснила Аиша, качая головой. — А у вас как?

Раздражение Ифемелу внезапно растворилось, а на его месте возникло чувство-паутинка — родство: Аиша не задала бы этого вопроса, если б Ифемелу не была африканкой, и в этой новой связи она усмотрела еще одно предзнаменование своему отбытию домой.

— Я свое получила по работе, — сказала она. — Компания, где я служила, стала моим гарантом при заявлении на грин-карту.

— О, — произнесла Аиша, словно только что осознала, что Ифемелу — из тех, чьи грин-карты попросту падают с неба. Такие, как Аиша, свою от работодателя получить, конечно, не могут. — Чиджоке получи бумаги по лотерее. — Аиша медленно, едва ли не любовно расчесывала прядь, которую собиралась заплести.

— Что у вас с рукой? — спросила Ифемелу.

Аиша пожала плечами:

— Не знаю. Просто есть, а потом уходи.

— У меня тетя — врач. Я сфотографирую вашу руку и спрошу ее мнения, — сказала Ифемелу.

— Спасибо.

Аиша доплетала молча. Потом сказала:

— У меня отец умри, я не еду.

— Что?

— В прошлом году. У меня отец умри, а я не еду. Из-за бумаг. Но, может, Чиджоке жени со мной, когда моя мать умри, я смогу ехать. Она сейчас болею. Но я ей шлю деньги.

На миг Ифемелу не нашлась со словами. Вялый тон Аиши, ее бесстрастное лицо многократно усиливали ее трагедию.

— Как жаль, Аиша.

— Я не знаю, чего Чиджоке не иди. Вы поговори с ним.

— Не волнуйтесь, Аиша. Все будет хорошо.

И тут, сразу после слов Ифемелу, Аиша заплакала. Глаза намокли, рот скривился, и с ее лицом стряслось ужасное: оно поникло в отчаянии. Она продолжала доплетать волосы Ифемелу, движения рук не изменились, а лицо, словно не принадлежа ее телу, сминалось все больше, слезы бежали из глаз, грудь ходила ходуном.

— Где Чиджоке работает? — спросила Ифемелу. — Я схожу к нему, поговорю.

Аиша уставилась на нее, слезы по-прежнему скользили по щекам.

— Я схожу и поговорю с Чиджоке, завтра, — повторила Ифемелу. — Вы мне только скажите, где он работает и во сколько у него перерыв.

Что она творит? Надо вставать и уходить, не втягиваться еще глубже в Аишины трясины, но не могла она встать и уйти. Она того и гляди уедет в Нигерию, увидит родителей, в Америку сможет вернуться, если пожелает, а тут Аиша, надеется, но не очень верит, что когда-нибудь повидается с матерью. Ифемелу поговорит с Чиджоке. Ну хоть что-то.

Она отряхнула одежду от возможных оставшихся волос и выдала Аише тонкую скатку долларов. Аиша разгладила их на ладони, шустро пересчитала, и Ифемелу задумалась, какая часть отойдет Мариаме, а какая — Аише. Она ждала, пока Аиша не сунет деньги в карман, а затем дала ей чаевые. Аиша приняла двадцатидолларовую купюру, глаза у нее просохли, лицо вновь сделалось бесстрастным.

— Спасибо.

В салоне сделалось густо от неловкости, и Ифемелу, словно чтобы разбавить ее, вновь оглядела прическу в зеркале, слегка оглаживая ее, вертя головой — убедиться, что все заплели.

— Спасибо.

Аиша двинулась к Ифемелу, будто хотела обнять, затем замерла в

нерешительности. Ифемелу мягко подержала ее за плечи, а затем повернулась к двери.

Уже в поезде она размышляла, как именно будет уговаривать человека, который не рвется жениться, все же сделать это. Голова у нее болела, а волосы у висков, хоть Аиша и не заплетала их чересчур туго, все равно неудобно тянули — раздражали ей шею и действовали на нервы. Ифемелу мечтала вернуться домой, долго простоять под холодным душем, спрятать волосы под атласный капор и улечься на диване с ноутбуком. Поезд как раз затормозил у Принстонского вокзала, и тут у Ифемелу зазвонил телефон. Она остановилась на платформе — порыться в сумке, и поначалу, поскольку тетя Уджу несла что-то бессвязное, говорила и рыдала одновременно, Ифемелу померещилось, что тетя Уджу сказала, будто Дике умер. Но тетя Уджу говорила другое — *«о нвучагоква, Дике анвучагоква»*. Дике при смерти.

— Он принял много таблеток, спустился в цоколь и лег там на диван! — восклицала тетя Уджу, голос дрожал от недоумения. — Я никогда не хожу в цоколь после работы. Йогу делаю только утром. Сегодня сам Господь велел мне спуститься, разморозить мясо в морозилке. Сам Господь! Я увидела, что Дике лежит, с виду весь потный, пот по всему телу, и я тут же запаниковала. Сказала, что эти люди дали моему сыну наркотики.

Ифемелу трясло. Поезд грохотал мимо, Ифемелу заткнула пальцем другое ухо — слышать тетю Уджу получше. Тетя говорила «признаки печеночного отравления», и Ифемелу подавилась этими словами, «печеночное отравление», своим замешательством, внезапной темнотой воздуха.

— Ифем? — переспросила тетя Уджу. — Ты здесь?

— Да. — Слова летели по долгому туннелю. — Что стряслось? Что именно стряслось, тетя? Что ты говоришь?

— Он заглотил целую склянку тайленола. Он сейчас в реанимации, все будет хорошо. Господь не готов был к его смерти, вот и все. — Тетя Уджу высморкалась — в трубке зашумело. — Ты знаешь, он принял и противорвотное, чтобы те таблетки остались у него внутри. Господь не готов был к его смерти.

— Завтра приеду, — сказала Ифемелу. А потом долго стояла на платформе и раздумывала, чем занималась, пока Дике глотал таблетки.

Часть пятая

Глава 42

Обинзе часто поглядывал на свой «блэкберри» — слишком часто, даже когда вставал ночью в туалет, и хоть и посмеивался над собой, прекратить не мог. Четыре дня, четыре полных дня прошло, прежде чем она ответила. Его это обескуражило. Она никогда не играла в игры — обычно отвечала гораздо быстрее. Может, занята, говорил он себе, хотя отлично понимал, до чего удобная и неубедительная это причина — «занята». А может, она изменилась и стала женщиной, которая выжидает целых четыре дня, чтобы не показаться слишком рьяной, и эта мысль обескуражила его еще сильнее. Электронное письмо от нее было сердечным, но очень уж кратким, в нем она сообщала, что воодушевлена и нервничает — вот так бросить свою ту жизнь и вернуться домой, — но без подробностей. Когда именно она возвращается? И что ей так трудно оставить позади? Он погуглил черного американца еще разок, надеясь, кто знает, отыскать в блоге какой-нибудь пост об их расставании, но в блоге у черного американца были одни лишь ссылки на всякие академические труды. Один — о раннем хип-хопе как политическом активизме, и Обинзе прочел его в надежде, что он окажется глупым, но работа оказалась настолько любопытной, что Обинзе изучил ее целиком, и ему от этого стало тошно. Черный американец, как ни нелепо, стал ему соперником. Обинзе влез в «Фейсбук». Коси писала много, выкладывала фотоснимки и оставалась на связи с людьми, но он свой профиль некоторое время назад удалил. Поначалу «Фейсбук» его увлекал, призраки старых друзей внезапно обретали жизнь — с женами, мужьями, детьми и фотографиями, за которыми тянулись хвосты комментариев. Но Обинзе постепенно стало противно от налета ненастоящего, от прилежной возни с образами ради создания параллельной жизни, от снимков, которые люди делали с мыслью о «Фейсбуке», ловили в кадр то, чем гордились. Однако теперь он восстановился в «Фейсбуке», чтобы искать Ифемелу, но у нее ФБ-страницы не было. Возможно, эта соцсеть ее не обворожила — как и его. Обинзе это смутно порадовало: еще один пример их похожести. У ее черного американца «Фейсбук» был, но профиль открыт только для друзей, и на один безумный миг Обинзе подумывал послать ему запрос на дружбу — просто посмотреть, не найдется ли фотоснимков с Ифемелу. Он решил подождать несколько дней и лишь потом ответить, но оказался у себя в кабинете в тот вечер и сочинил ей длинное письмо о смерти своей матери. «Я никогда не думал, что она умрет, — пока она не умерла. Я понятно

говорю?» Он обнаружил, что горе со временем не тускнеет — это такое летучее состояние бытия. Иногда боль возникала резко, как в тот день, когда ее домработница позвонила ему, рыдая, и сказала, что мать лежит на кровати бездыханная; бывало и так, что он забывал о ее смерти и походя строил планы слетать к ней на восток повидаться. Мама косо смотрела на его новообретенное богатство, словно не понимала мира, в котором человек может столько заработать так запросто. После того как он устроил ей сюрприз, купив новую машину, она сказала, что ее старая машина ее полностью устраивает, — «пежо-505», на которой она ездила с его средней школы. Он обеспечил доставку новой машины к ее дому — маленькая «хонда», которую мама не сочла бы слишком вычурной, — но, когда бы ни приезжал к ней в гости, видел, что автомобиль стоит в гараже, укрытый прозрачной вуалью пыли. Он отчетливо запомнил их последний разговор по телефону, за три дня до ее смерти, ее растущее недовольство работой и жизнью в студгородке.

— Никто не публикуется в международных журналах, — говорила она. — Никто не ездит на конференции. Как в мелком илистом пруду мы тут все барахтаемся.

Он написал об этом в письме к Ифемелу — как мамино огорчение от работы огорчило и его. Он старательно пытался не быть тяжеловесным, рассказывал о том, как перед похоронами матери церковь в их родном городе вынудила его оставить много пожертвований, и как буфетчики воровали мясо на поминках — заворачивали куски говядины в свежие банановые листья и перебрасывали через стену имения своим подельникам, и как его родственники из-за этого всполошились. Все загалдели, полетели обвинения, а одна тетушка сказала: «Эти буфетчики обязаны вернуть все украденное добро до последнего кусочка!» Украденное добро. Маму повеселило бы, что мясо — это украденное добро и что даже ее похороны заканчиваются сварой из-за украденного добра. Почему, писал он Ифемелу, наши похороны так быстро превращаются во что-то, не связанное с умершим человеком? Почему эти селяне ждут смерти, чтобы расквитаться за былые проступки, и настоящие, и вымышленные, и зачем они вгрызаются в кость, чтобы оторвать себе фунт плоти?

Ответ Ифемелу прилетел через час — поток сокрушенных слов. «Пишу тебе сейчас и рыдаю. Ты знаешь, как часто я жалела, что она не моя мама? Она была единственным взрослым — за вычетом тети Уджу, — кто обращался со мной как с человеком, чье мнение значимо. Как тебе повезло, что это она тебя растила. Она была всем, чем я хотела стать. Как же мне

жалко, Потолок. Воображаю, какой это для тебя надлом — и до сих пор иногда. Я сейчас в Массачусетсе с тетей Уджу и Дике, у меня сейчас происходит такое, от чего я ощущаю похожую боль, но лишь самую малость похожую. Пожалуйста, дай мне свой номер телефона, чтоб я тебе позвонила, — если можно».

Ее письмо подарило ему счастье. Видеть маму ее глазами — счастье. И это письмо взбодрило его. Он задумался, о какой своей боли она говорит, и понадеялся, что речь о размолвке с ее черным американцем, хотя и не желал этим отношениям такой значимости, чтобы разрыв погрузил ее в скорбь. Пытался представить, как Ифемелу изменилась, насколько американизировалась — особенно после отношений с американцем. Во многих людях, вернувшихся из Америки в последние годы, он отмечал маниакальный оптимизм легкой головы, вечных улыбок, чрезмерного рвения, и этот маниакальный оптимизм был ему скучен, потому что слишком уж он мультяшный, никакой плоти в нем, никакой глубины. Обинзе надеялся, что Ифемелу такой не стала. Не мог себе этого вообразить. Она попросила его номер телефона. Она бы ничего такого о его матери не ощутила, если б все еще не питала чувств к нему самому. И он написал ей вновь, дал все свои мобильные номера — все три, а еще рабочий и домашний стационарный. Завершил письмо словами: «Странное дело: я чувствовал — в каждом значительном событии моей жизни, — что ты единственная сможешь понять». Голова у него кружилась, но, нажав «отправить», он пережил пытку сожаления. Слишком много, слишком скоро. Не надо было писать ничего такого тяжеловесного. Он проверял свой «блэкберри» как одержимый, день за днем, и к десятому осознал, что она ему не ответит.

Он составил несколько писем с извинениями, но не отослал: ему было неловко извиняться за то, что он не мог обозначить. Он никогда сознательно не принимал решения писать ей длинные подробные письма, следовавшие далее. Его заявление, что он скучал по ней на каждом значимом повороте своей жизни, было масштабным, он это понимал, но не совсем уж ложным. Разумеется, случались промежутки времени, когда он не думал о ней прицельно, когда погружался в первые восторги с Коси, с их новорожденным ребенком, в новые договоры, но Ифемелу никогда не исчезала. Он всегда сжимал ее в ладони своих мыслей. Даже в ее молчании и в его собственной растерянной обиде.

Он начал писать ей об Англии, надеясь, что она ответит, а затем просто предвкушая следующее свое письмо. Он никогда не рассказывал свою историю даже себе, никогда не позволял себе осмыслить ее: его слишком

ошарашила депортация, а затем — внезапность его новой жизни в Лагосе. Письма для Ифемелу стали письмами себе самому. Терять ему было нечего. Даже если она читала эти его послания вместе с тем черным американцем и смеялась над его бестолковостью, — пусть.

* * *

Наконец она ответила.

Потолок, прости за тишину. Дике пытался покончить с собой. Я не хотела тебе говорить (не знаю почему). Ему уже гораздо лучше, но все вышло болезненно и задело меня сильнее, чем я ожидала (ты понимаешь, что «пытался» не означает «совершил», но я дни напролет рыдала, думая, что это могло произойти). Прости, что я не позвонила и не выразила тебе свои соболезнования по поводу мамы. Я собиралась — и дорожу тем, что ты дал мне свой номер, но в тот день я возила Дике к психиатру, а потом никак не могла себя заставить заняться чем бы то ни было. Такое чувство было, что меня срубило. Тетя Уджу говорит, у меня депрессия. Сам знаешь, как Америка умеет все превратить в болезнь, от которой нужно лекарство. Я не принимаю лекарств, просто провожу много времени с Дике, смотрю кучу ужасных фильмов про вампиров и космические корабли. Я обожаю твои письма про Англию, они мне были очень полезны, в стольких разных смыслах, не знаю даже, как тебя благодарить за них. Надеюсь, у меня будет возможность посвятить тебя в свою жизнь — когда б ни сложилось. Я закончила стипендиальную работу в Принстоне и уже много лет пишу блог о расовых вопросах, так зарабатывала себе на хлеб тогда, архивы можно почитать. Отъезд домой я отложила. Будем на связи. Всего тебе хорошего, надеюсь, с тобой и твоей семьей все в порядке.

Дике попытался убить себя. Не уместалось в голове. Дике он помнил

ребенком, белое облако памперса вокруг талии, носится по дому в имении «Дельфин». А теперь он уже подросток, который пытается покончить с собой. Первая мысль Обинзе — тут же полететь к Ифемелу. Он хотел купить билет на самолет до Америки и быть с ней, утешать ее, помогать Дике, все исправлять. Но затем рассмеялся от собственной несуразности.

— Милый, ты меня не слушаешь, — сказала ему Коси.

— Прости, *омалича*^[190], — отозвался он.

— Никаких мыслей о работе.

— Хорошо, прости. О чем ты говорила?

Они ехали на машине в садик в Икойи, на день открытых дверей, как гости Джонатана и Исиомы, друзей Коси по церкви, у них в этот садик ходил сын. Коси все устроила, это их второй визит в детский сад — они решали, куда отдать Бучи.

Обинзе виделся с этой парой всего единожды, когда Коси пригласила их на ужин. Обинзе счел Исиому интересной: то небольшое, что она позволила себе сказать, оказалось вдумчивым, но в основном она помалкивала, принижала себя, делая вид, что она глупее, чем на самом деле, чтобы спасти эго Джонатана, а Джонатан, большая банковская шишка, чьими фотографиями пестрели газеты, в тот вечер царил — со своими многословными историями о сделках с агентами по недвижимости в Швейцарии, о нигерийских правителях, которых он наставлял, и о всяких компаниях, которые спас от разрухи.

Джонатан представил Обинзе и Коси заведующей садиком, маленькой кругленькой англичанке:

— Обинзе и Коси — наши очень близкие друзья. Думаю, их дочка присоединится к нам на будущий год.

— Многие высокопоставленные иностранцы сдают сюда своих детей, — сказала заведующая, в голосе — отзвук гордости, и Обинзе подумал, не произносит ли она это дежурно. Возможно, она это говорила так часто, что уже поняла, какая это выигрышная фраза и как сильно она впечатляет нигерийцев.

Исиома спрашивала, почему их сын все еще мало занимается математикой и английским.

— У нас более концептуальный подход. В первый год обучения мы предпочитаем давать детям исследовать окружающую их среду, — сказала заведующая.

— Но одно не исключает другого. Они могут уже начать изучать кое-что из математики и английского, — сказала Исиома. А затем с задором, за которым серьезность ее вопроса даже не пыталась прятаться, добавила: —

Моя племянница ходит в садик на материке, и в шесть она уже могла произнести слово «звукоподражательность»!

Заведующая натянуто улыбнулась; эта улыбка говорила, что заведующая не считает нужным рассматривать образовательные процессы учебных заведений низшего ранга. Позднее они все сидели в просторном зале и наблюдали детский рождественский спектакль о нигерийской семье, нашедшей сиротку у себя на крыльце в Рождество. Посреди спектакля воспитательница включила вентилятор, и по сцене закружились комочки ваты. Снег. В спектакле шел снег.

— Почему у них идет снег? Они рассказывают детям, что Рождество — не Рождество, если, как за рубежом, не валит снег? — проговорила Исиома.

Джонатан отозвался:

— А, а, что тут такого? Это ж просто постановка!

— Это просто постановка, но я тоже согласна с Исиомой, — сказала Коси и обернулась к Обинзе: — Милый?

Обинзе сказал:

— У девочки, игравшей ангела, очень хорошо получилось.

В машине Коси промолвила:

— Ты где-то витаешь.

* * *

Он прочитал все архивы блога «Расемнадцатое, или Разнообразные наблюдения черной неамериканки за черными американцами (прежде известными как негры)». Посты поразили его, они казались такими американскими и такими чужими — этот непочтительный голос, эти жаргонизмы, эта смесь высокого и низкого языка, и он не мог вообразить себе, что это все писала Ифемелу. Он морщился, натываясь на обозначения ее бойфрендов — Горячего Белого Бывшего, профессора Крепыша. «Прям нынче вечером» он прочел несколько раз, потому что это был самый личный пост из всех написанных ею о черном американце, Обинзе искал в нем намеки и нюансы — что это за человек, какие у него с ней отношения.

Ну и вот, профессора Крепыша в Нью-Йорке тормознула полиция. Они решили, что при нем есть наркотики. Черные и белые американцы употребляют

наркотики в равной мере (проверьте в Сети), но вы скажите слово «наркотики» — и увидите, какой образ всплывет первым. Профессор Крепыш удручен. Говорит, что он профессор Лиги плюща, осведомлен, как и что, и раздумывает, каково было б, окажись он каким-нибудь нищим пацаном из гетто. Мне жаль мою детку. Когда мы только познакомились, он рассказал мне, как хотел себе сплошных «А» в старших классах, потому что белая преподавательница сказала ему, дескать, «нацеливаться на баскетбольную стипендию, поскольку черные тяготеют к физическому, а белые — к интеллектуальному, это не хорошо и не плохо, просто по-разному» (та учительница оканчивала Коламбию, на всякий случай). И он четыре года потратил на то, чтобы доказать, как сильно она заблуждалась. Я с этим отождествиться не могу: преуспевать, чтобы доказать. Но тогда я тоже огорчилась. Пойду-ка заваривать чай. И выказывать НЛЗ. [\[191\]](#)

Поскольку он запомнил ее, когда она почти ничего не ведала о том, о чем писала в блоге, он ощутил утрату, словно она стала тем, кого он более не узнавал.

Часть шестая

Глава 43

Первые несколько дней Ифемелу спала на полу в комнате у Дике. *Этого не случилось. Этого не случилось.* Она часто повторяла это про себя, и все же бесконечные, туманные мысли о том, что могло бы произойти, бурлили у нее в голове. Его постель, его комната могли опустеть навсегда. Где-то внутри нее возникла бы брешь, какая не затянулась бы никогда. Она воображала, как он принимает таблетки. Тайленол, всего лишь тайленол: он вычитал в Сети, что избыточная доза может убить. О чем он думал? Думал ли он о ней? Когда Дике вернулся из больницы — ему промыли желудок, за печенью понаблюдали, — она вглядывалась ему в лицо, в его жесты, слова, искала знак, доказательство, что это едва не случилось. Он ничем не отличался от себя прежнего: никаких теней под глазами, никакой замогильности в настроении. Она сделала ему джоллоф, как ему нравится, в пятнышках красного и зеленого перца, он ел, вилка двигалась от тарелки ко рту, и он проговорил: «Вообще-то вкусно», — как всегда бывало раньше, и она почувствовала, что у нее назревают слезы — и вопросы. Почему? Зачем он это сделал? О чем он думал? Она не спрашивала: психотерапевт сказала, что пока лучше не спрашивать ни о чем. Шли дни. Она висла на нем, боясь отпустить — и боясь удушить. Поначалу не спала, отказывалась от маленькой синей пилюли, предложенной тетей Уджу, лежала без сна всю ночь, думала, вертелась, пока наконец изможденно не отключалась. Бывало, она просыпалась истерзанная обвинениями против тети Уджу.

— Ты помнишь, когда Дике рассказывал тебе что-то и ввернул «мы, черные», а ты ему — «ты не черный»? — спросила она тетю Уджу вполголоса, поскольку Дике все еще спал наверху. Они сидели на кухне, в мягком зареве утреннего света, и тетя Уджу, одетая на работу, стояла у мойки и ела йогурт, черпая из пластикового стаканчика.

— Да, помню.

— Не надо было такого говорить.

— Ты понимаешь, что я имела в виду. Я не хотела, чтобы он начал вести себя, как эти люди, и считать, что все, что с ним происходит, — это из-за того, что он черный.

— Ты сказала ему, кто он не есть, а кто есть — не сказала.

— Ты о чем вообще? — Тетя Уджу нажала ногой на педаль, выехало мусорное ведро, она кинула в него пустой стаканчик из-под йогурта. Она перешла на полставки, чтобы побольше бывать с Дике и самой возить его к

психотерапевту.

— Ты никогда не давала ему уверенности.

— Ифемелу, его попытка самоубийства — от депрессии, — сказала тетя Уджу мягко, тихо. — Это клиническое заболевание. Многие подростки им страдают.

— Люди что, просыпаются — и на тебе, депрессия?

— Да, так.

— Не в случае с Дике.

— Три моих пациента порывались покончить с собой, все трое — белые подростки. Одному удалось, — сказала тетя Уджу тоном умиротворяющим и печальным, как говорила с тех пор, как Дике вернулся из больницы.

— Его депрессия — от его переживаний, тетя! — сказала Ифемелу, возвысив голос, а затем разрыдалась, извиняясь перед тетей Уджу, ее собственные угрызения совести захватили ее, замарали.

Дике не стал бы глотать таблетки, если б она сама была прилежней, пристальней. Она слишком легко пряталась за смехом, ей не удалось вскопать эмоциональную почву шуточек Дике. Все так, он смеялся, его смех убедителен и по звуку, и по легкости, но, возможно, то был заслон, а под ним, кто знает, — гороховый росток травмы. И теперь, в пронзительном безмолвном шлейфе его попытки самоубийства, она размышляла, сколько всякого они прячут под всем этим смехом. Надо было больше тревожиться. Теперь она пристально следила за ним. Оберегала его. Она не хотела, чтобы его навещали друзья, хотя психотерапевт сказал, пусть, если он сам этого хочет. Даже Пейдж, заревевшая несколько дней назад, когда осталась один на один с Ифемелу, приговаривала:

— В голове не уместается, что он не положился на меня.

Она была еще ребенком, добродушным и простым, но все же Ифемелу ощутила волну обиды — что Дике должен был положиться на нее. Квеку вернулся из миссии в Нигерию и сидел с Дике, смотрел с ним телевизор, возвращал в дом покой и нормальность.

Прошли недели. Ифемелу перестала паниковать, когда Дике чуть дольше задерживался в ванной. До его дня рождения оставалось несколько суток, и она спросила, чего он хочет в подарок; у нее опять набежали слезы: она вообразила, как мог бы пройти этот день рождения — не как день, когда ему исполнилось семнадцать, а как день, когда семнадцать ему исполнилось бы.

— А давай поедим в Майами? — сказал он полушутя, но она повезла его в Майами, и они прожили два дня в гостинице, заказывали бургеры в

крытом камышом баре у бассейна и трепались обо всем на свете, кроме его попытки самоубийства. — Вот это жизнь, — сказал он, лежа лицом к солнцу. — Этот твой блог — отличная штука, ты из-за него в бабле купаешься и все такое. А теперь ты его закрыла, и мы вот такое больше не сможем себе позволить!

— Я не купалась — скорее, плескалась чуть-чуть, — сказала она, глядя на него, своего красавца-братца, и завитки мокрых волос у него на груди опечалили ее: они знаменовали его свежую нежную взрослость, а она хотела, чтобы он оставался ребенком; если б он оставался ребенком, ему бы не пришлось глотать таблетки и валяться в цоколе на диване с уверенностью, что он больше никогда не проснется.

— Я люблю тебя, Дике. Мы тебя любим, ты понимаешь?

— Я знаю, — сказал он. — Куз, тебе надо ехать.

— Куда?

— Обратно в Нигерию, как ты и собиралась. Со мной все будет хорошо, даю слово.

— Может, ты приедешь ко мне в гости, — сказала она.

Помолчав, он отозвался:

— Ага.

Часть седьмая

Глава 44

Поначалу Лагос оглоушил ее: ошалелая от солнца суета, желтые автобусы, набитые сплюсненными конечностями, потные лоточники, гоняющиеся за автомобилями, реклама на здоровенных щитах (и нацарапанная на стенах: СЛЕСАРЬ ЗВОНИТЬ 080177777) и горы хлама, издевкой возвышавшиеся на обочинах. Торговля гремела чересчур вызывающе. Воздух полнился чрезмерностью, в разговорах — сплошные вопящие возражения. Одно утро — чье-то тело на Аволово-роуд. Другое — Остров затопило, автомобили превратились в задыхающиеся лодки. Она ощущала, что здесь все может случиться, из каменного валуна может прорасти спелый помидор. И ее охватило это головокружительное чувство — чувство человека, падающего в новую личность, которой она стала, падающего во все чужое знакомое. Так тут было всегда или оно так сильно изменилось в ее отсутствие? Когда она уехала из дома, мобильные телефоны водились только у богатых, все номера начинались с 090, а девушки хотели свиданий с мужчинами-090. Теперь же у ее парикмахерши был мобильный телефон, у торговца бананами при почерневшем мангале был мобильный телефон. Ифемелу росла, зная все автобусные остановки и переулки, понимая таинственный шифр кондукторов и язык тела уличных лоточников. А теперь она мучительно пыталась постичь непроизносимое. С каких пор лавочники стали такими хамами? Всегда ли здания в Лагосе были в этой патине упадка? И когда Лагос превратился в город людей, скорых на попрошайничество и слишком влюбленных в дармовое?

— Американха! — дразнила ее Раньинудо. — Ты смотришь на все американскими глазами. Но штука в том, что ты даже не настоящая американха. Будь у тебя американский акцент, мы бы потерпели твое нытье!

Раньинудо забрала ее из аэропорта — стояла у выхода в зале прилетов в струящемся платье подружки невесты, румяна на щеках слишком яркие, словно ушибы, зеленые атласные цветы в волосах — набекрень. Ифемелу поразило, насколько Раньинудо ослепительна, до чего привлекательна. Не жилистая груда шишковатых ног и рук, а крупная, крепкая, изгибистая женщина, восхитительная и статью своей, и ростом, — она подавляла собою, притягивала взгляд.

— Раньи! — воскликнула Ифемелу. — Я понимаю, мое возвращение — дело важное, но я не догадывалась, что оно достойно бального платья.

— Во дура. Я прямиком со свадьбы. Не хотела рисковать пробками и не поехала домой переодеваться.

Они обнялись, крепко. Раньинудо пахла цветочными духами, бензиновым выхлопом и потом — она пахла Нигерией.

— Выглядишь обалденно, Раньи, — сказала Ифемелу. — В смысле, под всей этой боевой раскраской. Твои фотографии ничего о тебе толком не говорили.

— Ифемско, ты на себя глянь, шикарная детка, даже после долгого перелета, — сказала она, смеясь, отмахнувшись от комплимента, играя старую свою роль девчонки, которая тут не красотка. Красота ее изменилась, а вот задор и некоторая бесшабашность никуда не девались. Неизменным осталось и вечное бульканье у нее в голосе, смех под самой поверхностью, готовый прорваться на волю, извергнуться. Вела она быстро, по тормозам давала резко и частенько поглядывала на «блэкберри» у себя на коленях: когда б ни замирало движение, она хваталась за телефон и стремительно в него тыкала.

— Раньи, писать эсэмэски и вести машину нужно только в одиночестве, тогда угробишь себя одну, — сказала Ифемелу.

— Хаба!^[192] Я не пишу, когда веду-о. Я пишу, когда не веду, — сказала она. — Эта свадьба — кое-что, лучшая из всех. Интересно, помнишь ли ты невесту. Она была близкой подружкой Функе в средней школе. Иджеома, очень желтая девушка. Ходила в Святое чадо, но появлялась у нас вместе с Функе на занятиях ЗАЭС.^[193] Мы в университете подружились. Сейчас увидишь ее, э, — серьезная деваха. У мужа толстые деньги. У нее обручальное кольцо крупнее Зума-Рока.^[194]

Ифемелу глазела в окно, слушая вполуха, размышляя, до чего некрасив Лагос: дороги в рытвинах, дома прут, как сорняки, без всякого порядка. В путанице чувств она распознавала только растерянность.

— Лайм и персик, — сказала Раньинудо.

— Что?

— Цвета этой свадьбы. Лайм и персик. Зал украсили так здорово, а торт вообще прелесть. Смотри, я пофотографировала. Собираюсь выложить в «Фейсбук». — Раньинудо протянула Ифемелу свой «блэкберри». Ифемелу вцепилась в него, чтобы Раньинудо сосредоточилась на дороге. — И я познакомилась кое с кем-о. Он увидел меня у церкви, я ждала снаружи, когда служба закончится. Такая жарница, у меня база потекла, я знаю, что выгляжу как зомби, а он все равно подходит поговорить! Хороший знак. Кажется, этот — крепкий материал для брака.

Я тебе говорила, что моя мама на полном серьезе читала новены, чтобы я порвала с Ибрахимом? Тут-то у нее инфаркта хоть не будет. Его зовут Ндуди. Клевое имя, *аби*?^[195] Такое игбо, что дальше ехать некуда. И видала б ты его часы! Он в нефтянке. На визитке написано: «Офисы в Нигерии и за рубежом».

— А почему ты ждала снаружи?

— Всем подружкам невесты полагалось ждать снаружи, потому что у нас платья непристойные. — Раньинудо покатила это «непристойные» на языке и хихикнула. — Все время так, особенно в католических церквях. У нас даже покровы были с собой, но священник сказал, что они слишком кружевные, вот мы и ждали, пока служба кончится. Но слава богу, что так, иначе б я с тем парнем не познакомилась!

Ифемелу оглядела платье Раньинудо: тонкие бретельки, плиссированную горловину, никакого выреза. Что, подружек невесты выгоняли из церкви за бретельки-спагетти и до ее отъезда из страны? Вряд ли, подумалось ей, но она уже не была уверена. Она уже не была уверена, что в Лагосе новое, а что — новое в ней самой. Раньинудо поставила машину в Лекки — когда Ифемелу уезжала, тут простиралась голая осушенная почва, а теперь высился ансамбль здоровенных домов, окольцованных высокими стенами.

— Моя квартира — самая маленькая, и у меня поэтому нет парковочного места во дворе, — сказала Раньинудо. — Остальные жильцы ставят машины внутри, но ты бы видала, какие свары происходят по утрам, когда кто-нибудь не уберет свою машину, а кому-то надо срочно на работу!

Ифемелу выбралась наружу, в громкий нестройный гул генераторов — слишком многих генераторов: звук вонзался в уши и пульсировал в голове.

— Вся прошлая неделя — без света, — проорала Раньинудо, перекиривая генераторы.

Привратник поспешил помочь с чемоданами.

— Добро пожаловать домой, тетенька, — сказал он Ифемелу.

Он сказал не просто «добро пожаловать», а «добро пожаловать *домой*», словно откуда-то знал, что она и впрямь вернулась. Ифемелу поблагодарила, и в седине вечерних сумерек, в этом воздухе, отягощенном запахами, в ней заныло что-то почти невыносимое, и она не смогла подобрать ему имя. Что-то ностальгическое и печальное, прекрасная грусть обо всем, по чему она скучала, по вещам, которых никогда не узнает. Позднее, уже сидя на диване в маленькой модной гостиной у Раньинудо, ступни — в слишком мягком ворсе ковра, перед плоским телеэкраном, висевшим на противоположной стене, Ифемелу ошарашенно взглянула на

себя саму. Ей удалось. Она вернулась. Включила телевизор, искала нигерийские каналы. По НТВ первая дама государства, в синем шарфе вокруг лица, обращалась к женскому митингу, а по экрану ползли слова: «Первая дама поддерживает женщин противомоскитными сетками». ^[196]

— Не помню, когда последний раз смотрела этот идиотский канал, — сказала Раньинудо. — Они врут за правительство, но и врать-то не умеют как следует.

— И какой же нигерийский канал ты смотришь?

— Да вообще-то никакой-о. Смотрю «Стиль» и «Е!». Иногда Си-эн-эн и Би-би-си. — Раньинудо переоделась в шорты и футболку. — У меня тут девушка приходит готовить и прибираться, но это рагу я сама состряпала — к твоему приезду, так что ешь давай-о. Что пить будешь? У меня есть солод ^[197] и апельсиновый сок.

— Солод! Я собираюсь выпить весь солод Нигерии. Покупала в латиноамериканских супермаркетах в Балтиморе, но всё не то.

— Я на свадьбе наелась вкусного офады, ^[198] не голодная, — сказала Раньинудо. Но, подав Ифемелу еду на обеденной тарелке, все же поела немного риса и куриного рагу из пластиковой тарелки, угнездившись на подлокотнике дивана, и они с Ифемелу посплетничали о старых подругах: Прийе работала организатором мероприятий и недавно очень поднялась — ее познакомили с женой губернатора. Из-за последнего банковского кризиса Точи потеряла работу в банке, но вышла замуж за богатого юриста и родила. — Точи рассказывала, сколько денег люди держат на счетах, — сказала Раньинудо. — Помнишь того парня, Меккуса Парару, который сох по Гинике? Помнишь эти его вонючие желтые пятна под мышками? У него теперь будь здоров денег, но сплошь грязные. Знаешь, все эти ребята левачат в Лондоне и Америке, а потом бегут в Нигерию с деньгами и строят домища в Виктория-Гарден-Сити. ^[199] Точи говорила, что он в банк лично не являлся никогда. Слал своих пацанов с сумками «Пусть Гана уходит», ^[200] они таскали то по десять миллионов в день, то по двадцать. Я-то вообще в банке работать не хотела. Беда с такой работой в том, что если не оторвать себе отдел по работе с крупными клиентами, тебе крышка. Все время будешь возиться с бесполезными торгашами. Точи повезло, она работала в хорошем отделении, там-то мужа и встретила. Еще солода хочешь?

Раньинудо встала. Была в ее повадках роскошная женственная медлительность, подъем, пережат, игра ягодиц в каждом шаге. Нигерийская походка. Походка тоже намекала на избыточность, словно подсказывала,

что кое-чему нужно бы вести себя потише. Ифемелу приняла у Раньинудо холодную бутылку солода и задумалась: такой была б ее жизнь, останься она тут, стала бы она как Раньинудо — работала бы в рекламной конторе, жила в однокомнатной квартире, аренду которой с зарплаты не потянуть, ходила в пятидесятническую церковь, где Раньинудо помогала, и встречалась с женатым президентом какой-нибудь компании, который покупал бы ей авиабилеты бизнес-класса до Лондона. Раньинудо показала Ифемелу его фотографии в телефоне. На одной он полулежал у Раньинудо на кровати, голый по пояс, с легким вздутием пуза, средних лет, улыбался застенчиво — как человек, только что насытившийся сексом. На другой, снятой в упор, он смотрел вниз, лицо смазано до загадочного очерка. Было в этом посеребренном сединой лице что-то привлекательное, что-то благородное.

— Дело во мне или он правда смахивает на черепаху? — спросила Ифемелу.

— В тебе. Но, Ифем, серьезно, Дон — хороший человек-о. Не как эти бестолковые лагосские мужчины, какие носятся по городу.

— Раньи, ты мне говорила, что это все мимоходом. Но два года — это уже не мимоходом. Я за тебя волнуюсь.

— У меня есть к нему чувства, отрицать не буду, но я хочу замуж, и он про это знает. Я когда-то думала, что, может, надо завести от него ребенка, но ты глянь на Уче Окафор, помнишь ее по Нсукке? Она родила от управляющего банка «Хале», и тот послал ее к чертям, что, мол, он не отец, и она теперь одна ребенка растит. *На ва.* ^[201]

Раньинудо смотрела на снимки у себя в телефоне и тихонько, нежно улыбалась. По дороге из аэропорта она сказала, притормаживая перед громадной рытвиной, погружаясь в нее и выбираясь наверх: «Я вот прямо хочу, чтобы Дон сменил эту машину. Три месяца уже обещает. Мне нужен джип. Ты глянь, какие кошмарные дороги!» — И Ифемелу заморозила жизнь Раньинудо, до томления. Жизнь, где по мановению руки с неба сыплются нужные вещи, падения которых с неба Раньинудо попросту ожидала.

В полночь она выключила генератор и открыла окна.

— Гоняла генератор целую неделю напролет, представляешь? Со светом такой паршивой ситуации давно не было.

Прохлада быстро улетучивалась. Теплый, сырой воздух удушал комнату, и вскоре Ифемелу уже стряхивала влагу собственного пота. Позади глаз зарядил болезненный пульс, вокруг звенели комары, и Ифемелу внезапно и с виноватой благодарностью вспомнила, что у нее в

сумке — синий американский паспорт. Он заслонял ее от отсутствия выбора. Она всегда могла уехать — ей необязательно оставаться.

— Вот это влажность, а? — сказала она. Ее уложили на кровать Раньинудо, а хозяйка устроилась на полу на матрасе. — Дышать нечем.

— «Дышать нечем», — передразнила ее Раньинудо, в голосе — битком смеха. — *Хаба!* Американха!

Глава 45

Ифемелу отыскала объявление в «Нигерийские вакансии онлайн»: «Редактор отдела в ведущем женском ежемесячном журнале». Она переработала свое резюме, сочинила былой опыт постоянного редактора в женском журнале («свернут по банкротству», в скобках), и через несколько дней, после того как она отправила его с курьером, ей позвонила из Лагоса издатель журнала «Зоэ». Было в зрелом, дружелюбном голосе на том конце провода нечто смутно непристойное.

— Ой, зовите меня тетей Онену, — сказала она жизнерадостно, когда Ифемелу спросила, кто звонит. Прежде чем предложить Ифемелу работу, она проговорила конфиденциальным полупшепотом: — Мой муж меня не поддержал, когда я за все это взялась, потому что считал, что мужчины станут за мной гоняться, если я начну привлекать рекламу. — Ифемелу поняла, что этот журнал — хобби тети Онену. Не страсть. Не что-то поглощающее с головой. При встрече же это ощущение усилилось: перед Ифемелу была женщина, которая легко нравится, но относиться к ней всерьез трудно.

Они с Раньинудо поехали домой к тете Онену в Икойи. Сели на кожаный диван, холодный на ощупь, и разговаривали вполголоса, пока не появилась хозяйка. Тощая, улыбчивая, хорошо сохранившаяся женщина в рейтузах, громадной футболке и с молодежной прической — волнистые волосы струились вдоль всей спины.

— Мой новый редактор отдела — прямиком из Америки! — воскликнула она, обнимая Ифемелу. Трудно было определить ее возраст — что угодно от пятидесяти до шестидесяти пяти, — но с ходу видно, что такая светлая кожа у нее не с рождения, блеск ее слишком восковой, костяшки на руках темные, словно складки кожи доблестно устояли перед отбеливающими кремами. — Хотела, чтобы вы заехали, прежде чем начнете работу в понедельник, чтобы я вас могла лично поприветствовать, — сказала тетя Онену.

— Спасибо. — Ифемелу сочла визит домой непрофессиональным и странным, но это маленький журнал, тут Нигерия, где границы размыты, где работа и жизнь перемешаны, а начальство зовут «маменькой». Кроме того, она уже представляла, как берет «Зоэ» в свои руки, превращает его в живого, полезного спутника нигерийских женщин и — кто знает, — может, выкупит его у тети Онену. И уж у себя дома новых сотрудников привечать

не станет.

— Вы пригожая девушка, — сказала тетя Онену, кивая, словно пригожесть требовалась для работы, а она беспокоилась, что Ифемелу это требование не выдержит. — Мне понравилось, как вы общаетесь по телефону. Уверена: с вами в команде наши тиражи скоро превзойдут «Стекло». ^[202] Мы, между прочим, хоть и издание помладше, но уже догоняем их!

Дворецкий в белом, суровый пожилой мужчина, появился поинтересоваться, кто что желает пить.

— Тетя Онену, я почитала предыдущие выпуски и «Стекла», и «Зоэ», и у меня появились соображения, что можно было бы делать иначе, — сказала Ифемелу, после того как дворецкий ушел за апельсиновым соком.

— Вы настоящая американка! Уже готовы к работе, человек без глупостей! Очень хорошо. Перво-наперво расскажите мне, как мы посмотримся по сравнению со «Стеклом»?

Ифемелу сочла оба журнала вялыми, но «Стекло» лучше редактировали, цвета не так ужасно размазывало, как в «Зоэ», и «Стекло» больше бросалось в глаза на лотках у торговцев: когда бы Раньинудо ни притормаживала, лоточник прижимал к окну машины экземпляр «Стекла». Но поскольку одержимость тети Онену конкуренцией — столь неприкрыто личную — Ифемелу уже заметила, она сказала:

— Примерно одно и то же, но, думаю, мы можем вырваться вперед. Нам нужно больше персональных колонок, следует ввести гостевую колонку с переменными ведущими, больше сосредоточиваться на здоровье и финансах, ярче присутствовать онлайн и прекратить таскать материалы из зарубежных журналов. Большинство ваших читателей не может пойти на рынок и купить брокколи, потому что в Нигерии брокколи не растет, зачем тогда в этом месяце журнал «Зоэ» публикует рецепт крем-супа из брокколи?

— Да, да, — проговорила тетя Онену. Вид у нее был потрясенный. А затем, словно оправившись, она сказала: — Очень хорошо. Обсудим все это в понедельник.

В машине Раньинудо сказала:

— Разговаривать так с начальством, ха! Если б ты не из Америки приехала, она бы тебя уволила не сходя с места.

— Интересно, что там такое у нее с издателем «Стекла».

— Я читала где-то в таблоидах, что они друг друга ненавидят. Уверена, это между мужиками, как иначе-то? Женщины, э! Думаю, тетя Онену начала «Зоэ», только чтобы потягаться со «Стеклом». По-моему, она не

издатель, а просто богатая женщина, решившая выпускать журнал, а завтра она может его закрыть и взяться за спа.

— А дом-то какой уродливый, — сказала Ифемелу. Здание было чудовищным, с двумя алебастровыми ангелками, стерегшими ворота, и фонтаном-куполом, лопотавшим во дворе.

— Уродливый, *ква*? Ты что вообще? Великолепный дом!

— На мой глаз — нет, — сказала Ифемелу, однако было время, когда подобные дома казались ей красивыми. Но теперь вот так: этот дом она невзлюбила со спесивой уверенностью человека, распознающего китч.

— У нее генератор как моя квартира — и совершенно бесшумный! — сказала Раньинудо. — Ты заметила генераторную будку сбоку от ворот?

Ифемелу не заметила. И это ее уело. Вот что положено замечать настоящему лагосцу: генераторную будку, размер генератора.

На Кингзуэй-роуд ей показалось, что в черном «мерседесе» с низкой посадкой она заметила Обинзе: Ифемелу выпрямилась, вгляделась, вытянув шею, но мужчина, неторопливый в городской пробке, совсем не походил на Обинзе. В последующие недели возникали и другие проблески Обинзе — люди, о которых она точно знала, что это не он, но мог бы им быть: осанистая фигура в костюме, входящая в контору к тете Онену; человек на заднем сиденье машины с тонированными стеклами, лицо склонено к телефону; человек позади нее в очереди в супермаркете. Она даже воображала, когда впервые отправилась на встречу с хозяином съемной квартиры, что войдет и обнаружит там Обинзе. Агент сказал ей, что хозяин предпочитает иностранцев.

— Но он расслабился, когда я сказал, что вы вернулись из Америки, — добавил агент.

Хозяином оказался пожилой мужчина в буром кафтане и брюках в тон; у него была обветренная кожа и страдальческий вид человека, вытерпевшего многое от чужих рук.

— Я не сдаю людям игбо, — сказал он тихо, ошарашив Ифемелу. Такое вот теперь говорится запросто? Или и раньше говорили запросто, а она позабыла? — Такая у меня линия — с тех пор как игбо разрушили мой дом в Ябе. Но у вас вид ответственный.

— Да, я ответственная, — сказала она и изобразила подхалимскую улыбку. Другие квартиры, которые ей понравились, оказались слишком дорогими. И пусть под кухонной мойкой торчали трубы, унитаз покосился, а плитка в ванной положена как попало, лучшего она себе позволить не могла. Ей нравился простор гостиной с большими окнами, а узкая лестница к крошечной веранде очаровала Ифемелу, но главное — квартира была в

Икойи. В Икойи хотелось жить. В детстве Икойи источал благородство, недостижимое, недоступное ей благородство: у людей, обитавших в Икойи, не было прыщей на лицах, а их шоферы значились как «детские». В первый же день, когда смотрела квартиру, она встала на веранде и глянула на имение по соседству: величественный колониальный дом, пожелтевший от разрухи; участок поглотила листва; трава и заросли карабкались друг по другу. На крыше дома, частью обвалившейся внутрь, она уловила движение, лазоревый всплеск перьев. Павлин. Агент по недвижимости сказал ей, что в том доме при режиме генерала Абачи жил какой-то офицер; ныне дом погряз в судебных тяжбах. И Ифемелу представила людей, живших здесь пятнадцать лет назад, а она в те времена — в крошечной квартире в тесной материковой части — томилась по этой просторной безмятежной жизни.

Ифемелу выписала чек на оплату двух лет аренды. Вот почему люди брали взятки и просили их: как еще можно по-честному оплатить вперед два года аренды? Она собиралась засадить веранду белыми лилиями и переделать гостиную в пастельные тона, но сначала следовало найти электрика, чтобы установил кондиционеры, маляра, чтобы перекрасил маслянистые стены, и того, кто переложит ей кафель в кухне и ванной. Агент привел человека, умевшего класть плитку. Провозился тот неделю, а когда агент позвонил сказать, что все готово, она резво примчалась в квартиру. В ванной она уставилась на плитку, не веря глазам своим. Края шершавые, зазоры по периметру. Одна плитка уродливо треснула посередине. Смотрелось так, будто работал нетерпеливый ребенок.

— Это что за ерунда? Вы гляньте, какое тут все шершавое! Одна плитка треснула! Это даже хуже предыдущего! Как вам может нравиться такая паршивая работа? — спросила она.

Он пожал плечами: ему явно казалось, что она поднимает шум на ровном месте.

— Мне нравится, как сделано, тетенька.

— Вы хотите, чтобы я за это заплатила?

Улыбочка.

— Ай, тетенька, но я же доделал.

Вмешался агент.

— Не волнуйтесь, ма, он заменит треснувшую.

Плиточник готовности не выразил.

— Но я же доделал. Беда, что плитка очень легко ломается. Качество плитки такое.

— Вы доделали? Вы скверно выполняете работу и говорите, что

доделали? — Гнев в ней нарастал, голос возвышался, ожесточался. — Я не заплачу вам обещанного, ни за что, потому что вы не сделали того, о чем был уговор.

Плиточник уставился на нее, сузив глаза.

— А если хотите неприятностей, уж поверьте мне, они у вас будут, — сказала Ифемелу. — Первым делом я позвоню комиссару полиции, и вас упекут в Алагбон-Клоуз!^[203] — Она уже кричала. — Вы знаете, кто я такая? Нет, не знаете, поэтому и делаете вот так паршиво свою работу!

Плиточник струсил. Она сама себя удивила. Откуда это поперло — эта фальшивая буря, этот непринужденный заход на угрозы? К ней вернулось воспоминание, не потускневшее за все эти годы, того дня, когда умер Генерал тети Уджу, как тетя угрожала его родственникам. «Нет, не уходите, — сказала она тогда. — Стойте где стоите. Стойте, а я пойду позову своих ребят из казарм».

Агент проговорил:

— Тетенька, вы не волнуйтесь, он все сделает заново.

Раньинудо говорила ей потом:

— Ты больше не ведешь себя как американха! — И Ифемелу, вопреки себе самой, порадовалась этим словам. — Беда в том, что в стране не осталось мастеров, — объяснила Раньинудо. — Ганцы лучше. Мой начальник строит дом и к отделке привлекает только ганцев. Нигерийцы тебе барахло сделают. Они не морочатся довести все до конца как надо. Ужас. Но, Ифем, надо было позвонить Обинзе. Он бы все для тебя устроил. Он, в конце концов, ровно этим и занимается. У него небось все мыслимые связи есть. Надо было позвонить ему еще до того, как ты взялась квартиру искать. Он бы дал тебе сниженную цену в какой-нибудь своей собственности, а то и вообще квартиру бесплатно, *сеф*.^[204] Не понимаю, чего ты ждешь, позвонила б уже.

Ифемелу покачала головой. Для Раньинудо мужчины существовали исключительно как источник вещей. Ифемелу не представляла, как может позвонить Обинзе и попросить его снизить аренду на какую-нибудь его собственность. Но почему не звонит ему вообще, она не знала. Много раз об этом думала, часто вытаскивала телефон и листала адресную книжку в поисках его номера — и не звонила. Он по-прежнему слал ей письма, надеялся, что у нее все хорошо, или же надеялся, что у Дике все получше, а она отвечала лишь на некоторые, всегда кратко, и предполагалось, что эти ответы он сочтет отправленными из Америки.

Глава 46

Выходные она проводила с родителями, в старой квартире, и счастлива была просто сидеть и смотреть на стены, выдавшие ее детство, однако, лишь принявшись за мамину похлебку со слоем масла поверх перетертых помидоров, она осознала, как сильно скучала по всему. Соседи заглядывали поздороваться с вернувшейся из Америки дочерью. Многие оказались новыми и незнакомыми, но и к ним она проникалась сентиментальной нежностью: они напоминали ей тех, кого она знала, — Маму Бомбой сверху, которая однажды, еще в начальной школе, оттаскала ее за уши, приговаривая: «Не здороваешься со старшими», Огу Тони, тоже сверху, курившего на веранде, торговца из соседней квартиры, который звал ее, по навеки неведомым причинам, «чемпионкой».

— Они просто заходят проверить, не дашь ли ты им чего, — сказала мама шепотом, словно уже разошедшиеся по домам соседи могли услышать. — Они все считали, что я им что-нибудь привезу, когда мы ездили в Америку, и я пошла на рынок, накупила им маленькие-малюсенькие бутылочки духов и сказала, что это из Америки!

Родителям нравилось вспоминать ту поездку в Балтимор: маме — распродажи, папе — как он не мог разобраться в новостях, потому что американцы употребляли выражения вроде «дербанить» и «бомбануть» в серьезных сообщениях.

— Это окончательная инфантилизация и деформализация Америки! Это возвещает конец американской империи, они убивают себя изнутри! — объявлял папа.

Ифемелу подыгрывала им, слушала их оценки и воспоминания, надеялась, что никто не заикнется о Блейне, — сказала им, что ее приезд задержался из-за рабочих дел.

О Блейне старым друзьям врать не требовалось, но она соврала все равно: сказала, что у нее серьезные отношения и что Блейн скоро приедет к ней в Лагос. Ее поражало, как при встречах со старыми друзьями стремительно возникала тема брака, поражал ядовитый тон неженатых, насмешливость женатых. Ифемелу хотелось разговаривать о прошлом, об учителях, которых они изводили, о мальчишках, которые им нравились, но брак всегда оставался любимой темой: чей муж — собака, кто — отчаянная побирушка, выкладывающая в «Фейсбуке» слишком много своих фотографий во всяких нарядах, чей мужчина кого разочаровал после

четырёх лет и бросил ради малолетки, которой можно помыкать. (Когда Ифемелу рассказала Раньинудо, что наткнулась в банке на бывшую одноклассницу, Вивиен, Раньинудо первым делом спросила: «Она замужем?») И потому Ифемелу соорудила себе доспех из Блейна. Знают ее замужние подруги о Блейне — значит, не станут лезть к ней с причитаниями: «Не волнуйся, твой скоро возникнет, ты молись только», а незамужние не сочтут ее членом кружка жалеющих себя одиночек. Была и трудная ностальгия в этих сходках — иногда дома у Раньинудо, иногда у нее, а иногда в ресторанах, — потому что Ифемелу пыталась отыскать в этих взрослых женщинах следы своего прошлого, а их там часто не находилось.

Точи было не узнать, такой она стала жирной, даже форма носа изменилась, двойной подбородок рогаликом свисал под лицом. Она пришла к Ифемелу домой с ребенком в одной руке и с «блэкберри» в другой, а за нею тащилась домработница с тканой сумкой, набитой бутылочками и сосками. «Мадам Америка» — так поприветствовала ее Точи, а затем проболтала до самого конца своего визита — воинственными наскоками, словно пришла решительно побеждать в Ифемелу американскость.

— Я ребенку покупаю только британскую одежду, потому что американская линяет после первой же стирки, — сказала она. — Муж хотел переехать в Америку, но я отказалась, потому что система образования там ужасная. Одно международное агентство поставило его в рейтинге среди развитых стран в самом низу, между прочим.

Точи всегда была восприимчивой и обходительной: это она вмешивалась спокойно и рассудительно, когда Ифемелу с Раньинудо вздорили, еще в школе. В изменившейся Точи, в ее нужде обороняться от воображаемых нападок Ифемелу усмотрела громадное личное недовольство. И потому умиротворяла Точи — полоскала Америку вместе с ней, говорила только о том, что и ей не нравилось в Штатах, преувеличивала свой неамериканский акцент, пока беседа не превратилась в раздражающую головоломку. Наконец дитя Точи стошнило — желтоватой жидкостью, которую домработница поспешно вытерла, а Точи сказала:

— Нам пора, ребенок хочет спать. — Ифемелу с облегчением проводила их. Люди меняются, иногда — чересчур.

Прие не столько поменялась, сколько сделалась жестче, покрылась хромом. Она явилась на квартиру Раньинудо с пачкой газет, опубликовавших фотографии громадной свадьбы, которую она недавно организовала. Ифемелу представила, что люди теперь говорят о Прие. Дела у нее идут хорошо, очень даже хорошо, говорят они.

— Телефон с прошлой недели надрывается! — торжествующе заявила Прийе, отбрасывая рыжеватую прямую накладную прядь, падавшую ей на глаза; всякий раз, когда Прийе вскидывала руку отбросить с лица прядь, которая неизбежно падала обратно, потому что ее приделали именно с этой целью, Ифемелу отвлекалась на нервный розовый лак у Прийе на ногтях. У той вообще появились уверенные, слегка зловещие повадки человека, который умел подчинять людей своей воле. И Прийе блестела — серьги желтого золота, металлическая клепка дизайнерской сумочки, искристая бронзовая помада.

— Очень удачная свадьба получилась: у нас семь губернаторов присутствовало, семь! — сообщила она.

— И наверняка никто из них не был знаком с новобрачными, — ехидно заметила Ифемелу. Прийе пожала плечами, дернула кистью — показать, насколько это не имеет значения. — С каких пор удачность свадьбы измеряется количеством правительственных чинов? — спросила Ифемелу.

— Это показывает, что у тебя есть связи. Престиж показывает. Ты знаешь, до чего в этой стране могущественны губернаторы? Исполнительная власть — не баран чихнул, — сказала Прийе.

— Я вот хочу как можно больше чинов у себя на свадьбе-о. Уровень это показывает, серьезный уровень, — добавила Раньинудо. Она рассматривала снимки, медленно листая газеты. — Прийе, ты слыхала, что Мосопе женится через две недели?

— Да. Она ко мне обратилась, но у нее по моим меркам бюджет слишком маленький. Эта девушка так и не поняла первого правила жизни в Лагосе. Замуж выходят не за мужчину, которого любят, а за мужчину, который тебя лучше всех содержит.

— Аминь! — сказала Раньинудо, хохоча. — Но иногда в одном мужчине сходится и то и другое-о. Сейчас волна свадеб. Когда придет моя очередь, Отче наш? — Она глянула вверх, вскинула руки, как в молитве.

— Я говорила Раньинудо, что ее свадьбу устрою без всякой комиссии, — сказала Прийе. — Твою тоже, Ифем.

— Спасибо, но, думаю, Блейн предпочтет праздник без чинов, — сказала Ифемелу, и они все рассмеялись. — Устроим, наверное, что-нибудь скромное, на пляже.

Иногда она верила собственным врачам. Она почти видела их с Блейном, в белом, на карибском пляже, в окружении немногих друзей, бегут к импровизированному алтарю из песка и цветов, а Шэн смотрит и надеется, что кто-нибудь споткнется и упадет.

Глава 47

Оникан — старый Лагос, кусочек прошлого, храм угасшего величия колониальных лет: Ифемелу помнила, что дома здесь сутулые, некрашенные, неухоженные, по стенам плесень, петли ворот ржавые, обессиленные. Но девелоперы теперь ремонтировали и сносили, и на первом этаже свежееотделанного трехэтажного здания тяжелые стеклянные двери открывались в вестибюль, выкрашенный в терракотовый оранжевый, где секретарша Эстер с приятным лицом сидела перед маячившими на стене исполинскими серебряными буквами ЖУРНАЛ ЗОЭ. Эстер переполняли некрупные амбиции. Ифемелу представляла, как она роется в ношеной обуви и одежде на боковых стеллажах «Теджуошо-маркета», отыскивает лучшее, а затем без усталости торгуется с хозяином. Она носила опрятно выглаженные наряды и потертые, но тщательно начищенные туфли на каблуке, читала книги из разряда «Как молиться, чтобы преуспеть», с шоферами общалась высокомерно, а с редакторами — подобострастно.

— Эта сережка у вас, ма, очень изящная, — сказала она Ифемелу. — Если соберетесь ее выбросить, отдайте, пожалуйста, мне, я вам помогу ее выбросить.

И она беспрестанно звала Ифемелу к себе в церковь.

— В это воскресенье придете, ма? Мой пастор — очень могущественный божий человек. Столько людей свидетельствует о чудесах, которые у них в жизни случились благодаря ему.

— Почему вы считаете, что мне нужно к вам в церковь, Эстер?

— Вам понравится, ма. Это одухотворенная церковь.

Поначалу от этого «ма» Ифемелу было не по себе — Эстер на пять лет ее старше, но положение, конечно, превосходило возраст: Ифемелу — редактор отдела очерков, у нее визитки, шофер, а над головой витает дух Америки, и потому даже Эстер ожидала, что Ифемелу будет изображать мадам. Она и изображала — говорила Эстер комплименты, шутила с ней, но всегда и игриво, и снисходительно, а иногда дарила Эстер вещи — старую сумочку, старые часы. Так же вела себя и с шофером Айо. Жаловалась на его лихачество, угрожала уволить, если он еще раз опоздает, просила повторять свои указания — убедиться, что он все понял. И все же постоянно слышала противоестественную писклявость у себя в голосе, когда все это произносила, и никак не могла убедить в мадамности даже себя саму.

Тетя Онену любила повторять:

— Мой персонал — в основном выпускники иностранных вузов, а эта женщина из «Стекла» нанимает какую-то шушеру, не способную знаки препинания во фразе расставить!

Ифемелу представляла, как тетя Онену произносит это на каком-нибудь званом ужине, «мой персонал в основном», и журнал от этого кажется крупным кипучим предприятием, хотя в редакции работало трое, административкой занималось четверо, и только у Ифемелу и Дорис имелись заграничные степени. Дорис, тощая, с запавшими глазами вегетарианка, заявляла, что стала вегетарианкой, как только смогла, говорила с подростковым американским акцентом, из-за чего ее повествовательные фразы звучали как вопросы, — за исключением бесед с матерью по телефону: тут в ее английском появлялась плоская невозмутимая нигерийскость. Ее длинные систерлоки^[205] выгорели на солнце до меди, одевалась она тоже причудливо — белые носки и броги, мужские рубашки, заправленные в велобриджи, — сама Дорис считала свой стиль оригинальным, а все в конторе прощали ей его, потому что она вернулась из-за границы. Макияж не носила, если не считать ярко-красной помады, придававшей ее лицу некую эпатажность, этакая алая рана, в чем, возможно, и состоял замысел, но кожа без прикрас тяготела к пепельно-серому оттенку, и первый порыв Ифемелу, когда они познакомились, — предложить хороший увлажнитель.

— Ты в Филли в Уэллсоне? А я в Темпле?^[206] — сказала Дорис, чтобы сразу постановить, что они члены одного и того же высшего клуба. — Ты в этом кабинете будешь работать, со мной и Земайе. Она помощник редактора, до обеда на задании, а может, и дольше? Вечно торчит сколько захочет.

Ифемелу уловила зловредность. Зловредность была не изощренной: Дорис хотела, чтобы ее уловили.

— Я подумала, что ты типа на этой неделе попривыкнешь тут ко всему? Поглядишь, чем мы занимаемся? А на следующей уже примешься за дела? — сказала Дорис.

— Ладно, — согласилась Ифемелу.

Кабинет — обширная комната с четырьмя столами, на каждом по компьютеру — казался голым и необжитым, будто сегодня все явились на работу впервые. Ифемелу не очень представляла, что нужно сделать, чтобы кабинет смотрелся иначе: может, семейные фотографии на столах поставить или просто чтобы вещей было побольше, побольше папок, бумаг

и степлеров — доказательств, что кабинет обитаем.

— У меня в Нью-Йорке была отличная работа, но я решила вернуться и осесть здесь? — сказала Дорис. — Типа семья надавила, что надо остепениться и все такое, ну? Типа я единственная дочь? Когда только вернулась, одна моя тетка посмотрела на меня и сказала: «Я тебе найду работу в хорошем банке, но тебе придется срезать эти свои дада^[207]». — Она насмешливо качала головой из стороны в сторону и изображала нигерийский акцент. — Богом клянусь, в этом городе битком банков, которые хотят, чтоб ты была умеренно привлекательной, но эдак предсказуемо, — и получишь место менеджера по работе с клиентами? Короче, я вышла сюда, потому что здесь удобно знакомиться с людьми — из-за всяких событий, на которые мы попадаем, ну?

Дорис говорила так, будто у них с Ифемелу был один сюжет жизни на двоих, одинаковый взгляд на мир. Ифемелу это немножко не понравилось — высокомерие уверенности Дорис, что и она, Ифемелу, само собой, придерживается того же мнения.

Прямо перед обедом в кабинет вошла женщина в тугий юбке-карандаше и лакированных туфлях с каблуками-ходулями, спрямленные волосы гладко стянуты назад. Некрасивая, черты лица никакой гармонии не создавали, но несла она себя так, будто все у нее как надо. Зрелая. Это слово пришло Ифемелу на ум — из-за фигуристой стройности, крошечной талии и неожиданно высоких изгибов груди.

— Привет. Вы Ифемелу, так? Добро пожаловать в «Зоэ». Я — Земайе. — Она пожала Ифемелу руку, лицо прилежно сохраняла бесстрастным.

— Привет, Земайе. Рада знакомству. У вас красивое имя, — сказала Ифемелу.

— Спасибо. — Она привыкла это слышать. — Надеюсь, холод в помещении вам не нравится.

— Холод в комнатах?

— Да. Дорис любит выкручивать кондиционер слишком сильно, а я вынуждена сидеть в кабинете в свитере, но поскольку теперь вы с нами в одном кабинете, вероятно, мы сможем голосовать, — сказала Земайе, усаживаясь за свой стол.

— О чем ты вообще? С каких это пор тебе приходится сидеть в свитере? — спросила Дорис.

Земайе вскинула брови и вытащила из ящика стола толстую шаль.

— Да влажность просто чумовая? — сказала Дорис, обращаясь к Ифемелу и ожидая согласия. — Такое чувство, что я дышать не могла,

когда вернулась?

Земайе тоже обратилась к Ифемелу:

— Я девушка из Дельты, ^[208] на домашних дрожжах, урожденная и выращенная. Без кондиционеров росла и дышать могу без мороза в комнате. — Она говорила бесстрастно, произносила все ровно, без взлетов и падений тона.

— Ну, насчет холода не знаю? — сказала Дорис. — В большинстве контор в Лагосе есть кондиционеры?

— Не выкрученные до самого низа, — возразила Земайе.

— Ты ничего про это не говорила?

— Все время об этом говорю, Дорис.

— В смысле, что это прямо-таки мешает тебе работать?

— Холодно — вот и все, — сказала Земайе.

Их взаимная неприязнь — притаившийся, крадущийся леопард.

— Я не люблю холод, — сказала Ифемелу. — Думаю, я бы заледенела, если выкрутить кондиционер до упора.

Дорис сморгнула. Вид у нее был не просто как у человека, которого предали, а изумленный от того, что ее предали.

— Что ж, ладно, можем включать и выключать в течение дня? Мне без кондиционера тяжело дышать, а окошки такие, блин, малюсенькие?

— Ладно, — сказала Ифемелу.

Земайе промолчала: повернулась к компьютеру, словно безразличная к этой маленькой победе, и Ифемелу безотчетно огорчилась. Она, между прочим, выбрала сторону, встала за Земайе, а та осталась безучастной, непроницаемой. Ифемелу задумалась, что она за штука. Земайе ее интриговала.

Позднее Дорис с Земайе рассматривали фотографии, разложенные у Дорис на столе, — снимки крупной женщины в тесных растрепанных одеяниях, и тут Земайе сказала:

— Простите, меня прижало, — и ринулась к двери, а из-за пластики ее движений Ифемелу захотелось сбросить вес. Дорис тоже провожала ее взглядом.

— Тебя не бесит, когда говорят «меня прижало» или «мне надо облегчиться», а им нужно просто в уборную? — спросила Дорис.

Ифемелу рассмеялась.

— Ну!

— По-моему, «уборная» — это очень американское. Но есть же «туалет», «одно место», «дамская комната».

— «Дамская комната» мне никогда не нравилась. Мне нравится

«туалет».

— И мне! — сказала Дорис. — А еще бесит же, когда люди употребляют «дай» в широком смысле! «Дай свет»!

— Знаешь, чего я не выношу? Когда люди говорят «приму» вместо «выпью». «Я приму вина. Я не принимаю пива».

— О господи, ну!

Когда Земайе вернулась, они смеялись, она глянула на Ифемелу все с той же зловещей бесстрастностью и сказала:

— Вы, народ, видимо, обсуждаете следующую сходку «бывалых».

— А это что? — спросила Ифемелу.

— Дорис постоянно о них говорит, но меня пригласить не может, потому что это исключительно для людей, приехавших из-за границы. — Если и была в тоне Земайе издевка — а должна была, — она скрыла ее под плоским тоном.

— Ой, да ладно. «Бывалые» — это типа такое старье? Не 1960-е же, — отозвалась Дорис. А затем обернулась к Ифемелу: — Я вообще-то собиралась тебе рассказать. Называется клуб «Нигерполитен», это просто компания, где все недавно вернулись, кто-то из Англии, но в основном из Штатов? Совсем междусобойчик, типа поделиться опытом и наладить связи? Ты верняк знаешь оттуда кого-то. Прямо стопроцентно приходи?

— Да я с радостью.

Дорис встала и взялась за сумочку.

— Мне пора к тете Онену.

После ее ухода в кабинете стало тихо, Земайе набирала что-то на компьютере, Ифемелу копалась в интернете и размышляла, о чем думает Земайе.

Наконец Земайе сказала:

— Так вы, значит, та самая знаменитая американская блогерша по расовым вопросам. Когда тетя Онену нам рассказала, я не поняла.

— В смысле?

— Почему расовые вопросы?

— Я в Америке открыла для себя эту тему, и она меня увлекла.

— Хм-м, — пробормотала Земайе, словно сочла, что открыть для себя тему рас означает экзотически потакать своим причудам. — Тетя Онену говорила, что у вас бойфренд — черный американец и он скоро приедет?

Ифемелу удивилась. Тетя Онену спрашивала о ее личной жизни — с непринужденностью, но настойчиво, и Ифемелу скормила ей подложную историю с Блейном, решив, что в любом случае не дело начальства — совать нос в ее личную жизнь, а теперь, похоже, выяснилось, что ее личной

жизнью поделились и с другими сотрудниками. Может, она слишком по-американски к этому относится — цепляется за неприкосновенность своего пространства просто из принципа. Какая разница, знает Земайе о Блейне или нет?

— Да. До следующего месяца должен приехать, — сказала она.

— Почему там все уголовники — одни только черные?

Ифемелу открыла рот — и закрыла его. Вот вам и пожалуйста: знаменитая блогерша по расовым вопросам — а слов-то и нету.

— Мне нравятся «Копы». ^[209] Я ради этого сериала себе цифровое спутниковое ТВ завела, — сказала Земайе. — И все уголовники — черные.

— Это все равно что сказать, будто каждый нигериец — 419-й, — выдала наконец Ифемелу. Прозвучало это слишком вяло, совсем не убедительно.

— Но это же правда, у всех у нас есть немножко 419 в крови! — Земайе улыбнулась, и в ее глазах впервые, кажется, мелькнуло настоящее веселье. А затем она добавила: — Простите-о. Я не хотела сказать, что ваш бойфренд — уголовник. Просто спросила.

Глава 48

На встречу «Нигерполитена» Ифемелу позвала с собой Раньинудо.

— У меня нет сил на твоих возвращенцев, я тебя умоляю, — сказала Раньинудо. — Кроме того, Ндуди наконец вернулся из своих поездок туда-сюда, и у нас вечером светская жизнь.

— Ну удачи тебе, ведьма, выбрала между мужиком и подругой.

— Да-о. Ты, что ли, на мне женишься? Меж тем я сказала Дону, что иду с тобой, так что, уж пожалуйста, не ходи никуда, где он может оказаться. — Раньинудо расхохоталась. Она все еще встречалась с Доном — ждала полного подтверждения, что с Ндуди «серьезно», а к тому же надеялась, что Дон сначала успеет купить ей новую машину.

Встреча клуба «Нигерполитен»: группка людей, пьет шампанское из бумажных стаканчиков у бассейна дома в «Осборн-Эстейт», модная публика, вся сочится *savoir fair*,^[210] у каждого — вынянченная псевдопричудливость: выкрашенное в рыжий афро, футболка с изображением Тома Санкары,^[211] чрезмерные самодельные серьги — висячие произведения современного искусства. Голоса щетинились иностранными акцентами. «Приличного смузи в этом городе не найдешь!», «О боже, ты был на той конференции?», «Вот что нужно этой стране: активное гражданское общество». Ифемелу знала здесь кое-кого. Поболтала с Бисолой и Ягазие, у обеих естественные волосы, обе носили их в жгутах, нимб спиралей обрамлял лица. Поговорили о местных парикмахерских, где умелицы корпели и пыхтели, пытаясь расчесать естественные волосы, словно это некое чужеродное извержение, будто их собственные волосы не выглядели так же, прежде чем их оборота химия.

— Салонные девочки такие: «Тетенька, а вы не хотите выпрямить волосы?» Какой бред, что африканки в Африке не ценят свои естественные волосы, — сказала Ягазие.

— Ну, — согласилась Ифемелу и уловила праведность у себя в голосе — и во всех голосах. Они-то, возвращенцы, непорочны, они вернулись домой с дополнительным слоем блеска. К ним присоединилась Икенна, юристка, жившая под Филадельфией, с ней они познакомились на конвенте «Блогерство бурых». Подошел к ним и Фред, пухленький ухоженный мужчина. Он уже представился Ифемелу.

— Я до прошлого года жил в Бостоне, — сказал он поддельным свойским тоном, потому что «Бостон» — это зашифрованный «Гарвард»

(иначе он бы сказал МТИ, или Тафтс,^[212] или еще что-нибудь), а другая женщина, в один голос с ним: «А я — в Нью-Хейвене», — лукавым тоном, который изображал безыскусность, а это означало, что дама — из Йеля. Люди подходили и подходили к их кружку, объединенные осведомленностью — они так легко ссылались на одно и то же. Вскоре все уже смеялись и перебирали всякое американское, по чему скучали.

— Обезжиренное соевое молоко, Эн-пи-эр,^[213] быстрый интернет, — сказала Ифемелу.

— Хорошее клиентское обслуживание, хорошее клиентское обслуживание, хорошее клиентское обслуживание, — сказала Бисола. — Местные ведут себя так, будто одолжение тебе делают, обслуживая. Пафосные места еще ладно, хоть и не отлично, а вот обычные рестораны? Ни за что. На днях тут спросила у официанта, можно ли мне вареный ямс с другим соусом, чем в меню, он на меня поглядел и сказал просто «нет». Оборжаться.

— Но американское обслуживание бывает таким приставучим. Кто-нибудь висит над тобой и постоянно достает. «Вы все еще трудитесь над этим?» С каких пор еда стала трудом? — сказала Ягазие.

— А я скучаю по приличному вегетарианскому месту? — сказала Дорис и пустилась рассуждать о новой домработнице, которая не в силах сделать простой сэндвич, о том, что Дорис заказала на острове Виктория вегетарианский спринг-ролл, откусила от него, а там — курица, а официант, когда его подозвали, улыбнулся и сказал: «Может, сегодня курицу положили». Все рассмеялись. Фред сказал, что приличное вегетарианское место, вероятно, скоро откроется — столько инвестиций в страну, кто-то же должен додуматься, что есть и рынок вегетарианства, на котором можно работать.

— Вегетарианский ресторан? Невозможно. В этой стране в общей сложности четверо вегетарианцев, включая Дорис, — сказала Бисола.

— А вы не вегетарианка? — спросил Фред у Ифемелу. Ему просто хотелось с ней разговаривать. Она время от времени ловила на себе его взгляд.

— Нет, — ответила она.

— О, есть одно место, новое, на Акин-Адесоле,^[214] — сказала Бисола. — Бранчи очень хорошие. У них есть такое, чем мы можем питаться. Пошли туда в следующее воскресенье.

У них есть такое, чем мы можем питаться. Ифемелу почувствовала себя не в своей тарелке. Ей здесь было хорошо — и она жалела об этом.

Жалела она, что так заинтересовалась этим новым рестораном, так оживилась, представив свежие зеленые салаты и паровые, все еще упругие овощи. Ей нравилось есть то, чего ей не хватало в отъезде, — джоллоф, приготовленный с избытком масла, жареные бананы, вареный ямс, — но она тосковала и по тому, к чему привыкла в Америке, даже по киноа, коронному блюду Блейна, с фетой и помидорами. Вот кем она надеялась не стать, но опасалась, что стала, — человеком категории «у них есть такое, чем мы можем питаться».

Фред рассуждал о Нолливуде — чуть громковато:

— Нолливуд — это общественный театр, вот правда, и, если так к нему относиться, его можно терпеть. Это для массового потребления — или даже для массового участия, это не личное переживание кино. — Он смотрел на нее, просил взглядом ее согласия: им, таким вот людям, не полагалось смотреть нолливудские фильмы, а если они их смотрели, то лишь из соображений увеселительной антропологии.

— Мне нравится Нолливуд, — сказала Ифемелу, хотя тоже считала, что такие фильмы — скорее театр, нежели кино. Позыв противоречить оказался сильнее. Если она размежуется, может, окажется чуть менее тем, кем опасалась стать. — Нолливуд, может, и мелодраматичен, так и жизнь в Нигерии мелодраматична.

— Правда? — сказала женщина из Нью-Хейвена, стискивая стаканчик в кулаке, словно сочла это настоящей диковиной — что человеку в этой компании может нравиться нолливудское кино. — Это такое оскорбление моему интеллекту. В смысле, продукт же плох. Что это говорит о нас?

— Но Голливуд делает столь же плохое кино. Просто освещение лучше, — сказала Ифемелу.

Фред рассмеялся — слишком от души, — чтобы она знала: он — на ее стороне.

— Дело не только в технике, — продолжила женщина из Нью-Хейвена. — Сама индустрия ретроградна. Образ женщины, допустим? Это кино более женоненавистническое, чем само общество.

Ифемелу увидела на другой стороне бассейна мужчину, чьи широкие плечи напомнили ей об Обинзе. Но для Обинзе он был слишком высок. Ифемелу задумалась, как бы Обинзе отнесся к такому сборищу. Пришел бы вообще? Его выслали из Англии, как ни крути, может, он бы и не счел себя возвращенцем.

— Эй, вернитесь, — окликнул ее Фред, придвинувшись ближе, вторгаясь в ее личное пространство. — Вы где-то витаєте.

Она натянуто улыбнулась.

— Уже нет.

Фред разобрался, что к чему. В нем была уверенность человека с практической сметкой. Вероятно, у него гарвардская степень в деловом администрировании, он умеет вставлять в разговор слова «емкость» и «ценность». И снятся ему не картинки, а факты и цифры.

— В МУЗОНе^[215] завтра концерт. Вам нравится классическая музыка? — спросил он.

— Нет. — Ей казалось, что она не нравится и ему.

— Желаете полюбить классическую музыку?

— Желать что-то полюбить видится мне странным, — сказала она, и Фред стал ей любопытен, смутно интересен. Они поговорили. Фред упомянул Стравинского и Штрауса, Вермеера и Ван Дейка, сыпал избыточными отсылками, слишком много цитировал, устремленья — все за Атлантикой, и слишком он был прозрачен в этом своем отыгрыше, слишком рвался показать, сколько всего он знал в мире Запада. Ифемелу слушала, внутренне широко зевая. Она в нем заблуждалась. Не тот он тип, что считал весь мир бизнесом. Он был импресарио, хорошо смазанным и умелым, из тех, кто мастерски лепит и американский акцент, и британский, кто знает, что сказать иностранцам, как сделать иностранцу уютно, и кто легко добывает заграничные гранты под сомнительные проекты. Она задумалась, каков он под этой ловкой оболочкой.

— Так пойдете на эту тусовку с напитками? — спросил он.

— Я устала, — сказала она. — Думаю, поеду домой. Но вы мне позвоните.

Глава 49

Моторка скользила по пенистой воде, мимо пляжей с песком цвета слоновой кости, мимо деревьев с бушевавшей сытой зеленью. Ифемелу смеялась. Поймала себя на полусмехе и всмотрелась в свое настоящее: на ней — оранжевый спасжилет, в сереющей дали — корабль, вокруг друзья в солнечных очках, они едут к подруге Прийе в пляжный домик, где станут жарить мясо и носиться босиком. Она подумала: я и правда дома. Дома. Ифемелу больше не слала Раньинудо эсэмэсок с вопросами, как быть: «Мясо покупать в “Шопрайте” или послать Иябо на базар?», «Где купить вешалки?» Теперь она просыпалась под вопли павлинов, выбиралась из постели и жила свой день со знанием дела, все привычки — без раздумий. Записалась в спортзал, но сходила туда лишь дважды, поскольку после работы предпочитала встречаться с друзьями, и, хотя каждый раз собиралась не есть, все равно уминала многоэтажный сэндвич и выпивала один-два «чэпмена»^[216] — и решала отложить спортзал. Одежда на ней стала сидеть туже. Где-то на задворках ума она хотела сбросить вес, прежде чем увидеться с Обинзе. Не позвонила ему: лучше подождать, пока не вернется былая стройность.

На работе ею овладевала ползучая бесприютность. «Зоэ» удушал ее. Все равно что ходить в кусачем свитере в холод: не терпится стащить его с себя, но Ифемелу опасалась того, что может произойти следом. Она часто подумывала завести блог, писать обо всяком интересном для нее самой, постепенно развивать его и наконец начать издавать свой журнал. Но это все было туманно, слишком многое неизвестно. Теперь, когда она вернулась домой, эта работа стала для нее якорем. Поначалу ей нравилось сочинять материалы, беседовать со светскими львицами у них дома, наблюдать за их жизнью, заново усваивать тонкости. Но вскоре стало скучно, и интервью она отсиживала, слушая вполуха и участвуя вполсилы. Всякий раз, заходя на зацементированные дворовые участки этих дам, Ифемелу мечтала о пляжном песке под пальцами ног. Слуга или ребенок впускал ее внутрь, усаживал в гостиной, отделанной кожей и мрамором, напоминавшей чистый аэропорт в богатой стране. А затем появлялась мадам, добродушная и приветливая, предлагала питье, иногда — еду, а затем устраивалась на диване: разговаривать. Все эти мадам, которых Ифемелу интервьюировала, похвалялись своими владениями, тем, где побывали сами и куда съездили и что там насвершали их дети, а

подытоживали всё Богом. «Благодарим Господа». «Это все дела Господни». «Бог крепок». Уходя, Ифемелу думала, что могла бы клепать такие материалы без всяких интервью.

Могла она писать и репортажи с событий, не посещая их. До чего расхожим в Лагосе было это слово, до чего любимым — событие. Смена торговой марки, модный показ, презентация музыкального альбома. Тетя Онену всегда настаивала, чтобы редактор был на событиях с фотографом.

— Умоляю, обязательно общайся, — приговаривала тетя Онену. — Если они еще не купили у нас рекламу, пусть начнут, если уже покупают — пусть берут больше!

Слово «общайся», наставляя Ифемелу, тетя Онену произносила очень подчеркнуто, словно, по ее мнению, этого-то Ифемелу толком делать не умела. Возможно, тетя Онену не ошибалась. На событиях, в залах, бурливших воздушными шариками, задрапированных по углам свитками шелковистой ткани, со стульями, укрытыми тюлем, и с толпой обслуги — лица, кричаще яркие от макияжа, — Ифемелу разговаривать с чужими людьми о «Зоэ» не любила. Она убивала время, перебрасываясь эсэмэсками с Раньинудо, или с Прийе, или с Земайе, скучала и ждала мига, когда не будет невежливым смыться. Всегда звучали две-три витиеватые речи, и все их, казалось, писал один и тот же многословный неискренний человек. Богатых и знаменитых благодарили за присутствие: «Хочется отдельно поблагодарить за присутствие среди нас бывшего губернатора...» Откупоривались бутылки, распечатывались пакеты с соком, возникали самосы и сате из курицы. Однажды на событии, куда она пришла с Земайе, — запуск новой торговой марки какого-то напитка — ей показалось, что мимо прошел Обинзе. Она обернулась. Это был не он, но запросто мог им оказаться. Она представила, как он посещает подобные мероприятия, в таких вот залах, с супругой. Раньинудо говорила, что его жену в студенческие поры выбрали самой красивой девушкой университета Лагоса, и в фантазии Ифемелу она выглядела, как Бианка Оно,^[217] образец красоты ее подростковых лет, с высокими скулами и миндалевидными очами. А когда Раньинудо назвала ее имя — Косисочукву, необычное, — Ифемелу представила, как мама Обинзе просит ее перевести его. Мысль о маме Обинзе и о том, как его жена выбирает, какой перевод лучше, «Воля Божья» или «Так Богу Угодно», отдавала предательством. Это воспоминание — о том, как мама Обинзе говорит Ифемелу «переведи», столько лет назад, — казалось теперь, после смерти этого человека, еще ценнее.

Уходя, Ифемелу заметила Дона.

— Ифемелу! — позвал он.

Она узнала его через мгновение. Раньинудо как-то раз вечером представила их друг другу, не один месяц назад, когда Дон заезжал домой к Раньинудо по дороге в клуб, облаченный во все теннисное белое, и Ифемелу почти сразу удалилась — предоставила их друг другу. В темно-синем костюме он смотрелся щеголевато, пронизанные сединой волосы глянцево блестели.

— Добрый вечер, — сказала она.

— Хорошо выглядите, очень хорошо, — сказал он, оглядывая ее коктейльное платье с глубоким вырезом.

— Спасибо.

— Обо мне не спрашиваете. — Будто у нее были на то причины. Он протянул ей свою визитку: — Позвоните мне, обязательно позвоните. Поговорим. Всего доброго.

Он ею не увлекся — может, самую малость; он просто был в Лагосе Большим Человеком, она — привлекательна и одинока, и по законам их вселенной он вынужден был попробовать, пусть и без огонька, пусть он уже встречается с ее подружкой, и он считал по умолчанию, само собой, что она подружке не скажет. Ифемелу сунула визитку в сумочку, а дома порвала ее в клочки, понаблюдала сколько-то, как они плавают в унитазе, а затем смысла. Как ни странно, она на него рассердилась. Его действия говорили кое-что о дружбе между нею и Раньинудо, и это кое-что Ифемелу не нравилось. Она позвонила Раньинудо и уже собралась доложить о происшедшем, как Раньинудо выпалила:

— Ифем, мне так уныло. — И Ифемелу дальше просто слушала. Речь шла о Ндуди. — Он такой *ребенок*, — выкладывала Раньинудо. — Скажешь что-нибудь, что ему не по вкусу, он прекращает разговаривать и начинает напевать себе под нос. Серьезно, громко. С чего взрослый мужчина вел бы себя так незрело?

* * *

Утро понедельника. Ифемелу читала «Постбуржи»,^[218] свой любимый американский блог. Земайе просматривала пачку гляцевых фотографий. Дорис тарацилась в экран, вцепившись в кружку с надписью «Я ♥ Флорида». У нее на столе рядом с компьютером стояла жестянка с листовым чаем.

— Ифемелу, по-моему, эта статья слишком с подвыподвертом?
— Твой редакторский взгляд бесценен, — отозвалась Ифемелу.
— Что такое «с подвыподвертом»? Уж объясните некоторым из нас, кто не учился в Америке, — сказала Земайе.

Дорис пренебрегла ею совершенно:

— Мне просто не кажется, что тетя Онену разрешит нам такое?

— Убеди ее, ты же редактор, — сказала Ифемелу. — Нам надо раскатать этот журнал.

Дорис пожала плечами и встала.

— Обсудим это на планерке?

— Мне так сонно, — проговорила Земайе. — Пошлю-ка я Эстер сделать мне «нескафе», а не то на планерке засну.

— Растворимый кофе — это ужасно же? — сказала Дорис. — Как я рада, что не очень-то пью кофе, иначе померла б.

— Чем тебе «нескафе» не угодил? — спросила Земайе.

— Его и кофе не стоило называть? — ответила Дорис. — Он по ту сторону добра и зла.

Земайе зевнула и потянулась.

— А по мне — хорошо. Кофе есть кофе.

Погодя, когда они входили в кабинет к тете Онену, Дорис впереди, в синем сарафане-размахайке и в черных «мэри-джейнах» с квадратными каблуками, Земайе спросила у Ифемелу:

— Почему Дорис ходит на работу черт-те в чем? Она своими нарядами будто анекдоты травит.

Они уселись за овальный стол переговоров в просторном кабинете у тети Онену. Шиньон у той был длиннее и несообразнее предыдущего, высокий и уложенный спереди, с волнами волос, струящимися по спине. Она попивала из бутылки диетический спрайт и сообщила Дорис, что статья «Замуж за лучшего друга» ей удалась.

— Очень хорошо и вдохновляюще, — сказала тетя Онену.

— Ах, но, тетя Онену, женщины не должны выходить замуж за близких друзей, там же никакой химии секса, — возразила Земайе.

Тетя Онену бросила на Земайе взгляд, каким одевают чокнутого студента, которого никто всерьез не воспринимает, а затем покопалась в своих бумажках и сказала, что статья Ифемелу о миссис Фунми Кинг ей не понравилась.

— Зачем ты написала «она никогда не смотрит на дворецкого, когда с ним разговаривает»? — спросила тетя Онену.

— Потому что она не смотрит, — ответила Ифемелу.

— Но получается, что она гадина, — сказала тетя Онену.

— Мне эта деталь показалась любопытной, — сказала Ифемелу.

— Согласна с тетей Онену, — вклинилась Дорис. — Любопытная она или нет, это же оценочно?

— Сама затея брать у кого-то интервью и писать подводку к нему — оценочна, — сказала Ифемелу. — Дело не в собеседуемом. Дело в том, что собеседующий о нем понял.

Тетя Онену покачала головой. Дорис покачала головой.

— Зачем нам так осторожничать? — спросила Ифемелу. Дорис ответила, фальшиво шутя:

— Это тебе не твой американский расовый блог, где ты всех провоцировала, Ифемелу. Это типа порядочный женский журнал?

— Именно! — поддержала ее тетя Онену.

— Но, тетя Онену, мы никогда не обставим «Стекло», если продолжим в том же духе, — сказала Ифемелу.

Тетя Онену вытаращила глаза.

— «Стекло» делает в точности то же, что и мы, — быстро проговорила Дорис.

Вошла Эстер и доложила, что приехала дочь тети Онену.

Эстер в своих черных туфлях на шпильках несколько покачивалась на ходу, и Ифемелу встревожилась, что секретарша сейчас рухнет и вывихнет лодыжку. Тем утром Эстер сообщила Ифемелу: «Тетенька, у вас прическа — джага-джага^[219]» — с эдакой печальной искренностью, — о твистах, которые Ифемелу считала обаятельными.

— Э, она уже здесь? — переспросила тетя Онену. — Девочки, завершайте без меня. Я еду с дочерью по магазинам, за платьем, а вечером у меня встреча с нашими распространителями.

Ифемелу устала, ей было скучно. Она вновь задумалась о собственном блоге. Телефон завибрировал, звонила Раньинудо, и хотя обычно Ифемелу ждала окончания планерки и перезванивала потом сама, но сегодня она сказала:

— Простите, этот звонок придется принять, международный, — и поспешила вон.

Раньинудо жаловалась на Дона:

— Он сказал, что я больше не та сладкая девочка, какой была когда-то. Что я изменилась. А я знаю, между прочим, что джип он купил и уже растаможил в порту, но теперь не хочет мне его отдавать.

«Сладкая девочка». Сладкая девочка означает, что Дон уже давно запикивает Раньинудо в удобную ему формочку — или что она позволяла

ему так думать.

— А что Ндуди?

Раньинудо громко вздохнула.

— Мы с воскресенья не разговариваем. Сегодня он забывает мне позвонить. Завтра слишком занят. Ну, я ему и сказала, что это неприемлемо. Чего я одна должна напрягаться? Теперь вот дуется. Вообще не умеет первым разговор начать, как взрослый человек, — или согласиться, что в чем-то был не прав.

Позже, уже у них в кабинете, Эстер заглянула сказать, что к Земайе пришел какой-то мистер Толу.

— Это фотограф, с которым ты делала статью о портных? — спросила Дорис.

— Да. Он опоздал. Не первый день от моих звонков бегают, — сообщила Земайе.

Дорис сказала:

— Разберись с этим и обязательно добудь мне фотографии к завтрашнему утру? Мне нужно все подготовить к печати завтра до трех? Не хватало еще повторить задержку на печати, особенно теперь, раз «Стекло» печатается в Южной Африке?

— Ладно. — Земайе тряхнула мышкой. — Сервер сегодня такой медленный. Мне надо отправить эту штуку. Эстер, скажи ему, пусть подождет.

— Да, ма.

— Тебе лучше, Эстер? — спросила Дорис.

— Да, ма, спасибо, ма. — Эстер изобразила книксен на йорубский манер. Она стояла у дверей, словно ожидая, пока ее отпустят, слушала разговоры. — Я принимаю лекарство от тифа.

— У тебя тиф? — спросила Ифемелу.

— А ты не заметила, как она выглядела в понедельник? Я ей дала денег и велела идти в больницу, а не в аптеку? — сказала Дорис.

Ифемелу пожалела, что не сама заметила, как Эстер худо.

— Прости, Эстер, — сказала Ифемелу.

— Спасибо, ма.

— Эстер, извини-о, — сказала Земайе. — Я видела ее тусклое лицо, но решила, что она просто постится. Сами знаете, она постится постоянно. Постится и постится, пока Бог не пошлет ей мужа.

Эстер хихикнула.

— Помню, случился у меня этот ужасный припадок тифа, в средних классах еще, — сказала Ифемелу. — Кошмар был, а выяснилось, что я

принимала недостаточно сильный антибиотик. Что ты принимаешь, Эстер?

— Снадобье, ма.

— Какой они тебе дали антибиотик?

— Не знаю.

— Не знаешь название?

— Давайте я принесу, ма.

Эстер вернулась с прозрачными пакетиками пиллюль, на которых инструкции были нацарапаны от руки синими чернилами, без всяких названий. «По две принимать утром и вечером». «По одной три раза в день».

— Нужно написать об этом, Дорис. Нам нужна колонка о здоровье с полезными практическими сведениями. Кто-то должен уведомить министра здравоохранения о том, что рядовые нигерийцы идут к врачу, а врач прописывает им безымянные лекарства. Они убить могут. Как понять, что ты уже приняла внутрь, а что не следует принимать, если ты уже пьешь какое-то лекарство?

— А, а, но это мелко: они так делают, чтобы ты больше ни у кого другого лекарства не покупал, — сказала Земайе. — А поддельные лекарства? Ты сходи на базар и глянь, чем они там торгуют.

— Ладно, давайте успокоимся? Чего сразу активизм включать? Мы тут не журналистскими расследованиями занимаемся? — сказала Дорис.

Ифемелу начала представлять себе свой новый блог: сине-белый дизайн, «шапка» — снимок Лагоса с воздуха. Ничего привычного — ни толпы желтых ржавых автобусов и ни затопленных трущоб оцинкованных хибар. Может, стодитя заброшенный дом напротив. Она сама сделает снимок — в призрачном свете раннего вечера, с надеждой поймать в кадр летящего самца павлина. Посты в блоге будут набраны простым читаемым шрифтом. Статья о здоровье — с историей Эстер, с фотографиями пакетиков безымянного снадобья. Посты о «Нигерполитене». Статья о моде — об одежде, которая женщинам по карману. Посты о людях, помогающих друг другу, но ничего общего с байками в «Зоэ», где вечно в героях какой-нибудь богачей, обнимающий детишек в доме малютки, а на заднем плане — мешки риса и жестянки порошкового молока.

— Но, Эстер, прекращай поститься-о, — говорила Земайе. — Вы же в курсе, что в некоторые месяцы Эстер всю свою зарплату отдает своей церкви, у них это называется «посеять зерно», а потом она приходит и просит у меня триста найр на общественный транспорт.

— Но, ма, это же малая помощь. Вам такое тоже по силам, — сказала Эстер с улыбкой.

— На прошлой неделе постилась с носовым платком, — продолжила Земайе. — Держала на столе весь день. Сказала, что у нее в церкви кого-то после поста с платочком повесили.

— Так вот чего у нее платок на столе лежит? — переспросила Ифемелу.

— Но, по-моему, чудеса стопроц бывают? Я знаю, что моя тетя вылечилась от рака в церкви? — сказала Дорис.

— Волшебным платочком, *аби*? — фыркнула Земайе.

— Вы не верите, ма? Но это же правда. — Эстер упивалась этим братаньем и возвращаться к себе за стол не спешила.

— Ты, значит, повышения хочешь, Эстер? Мое место, значит, желаешь занять? — спросила Земайе.

— Нет, ма! Нас всех повысят, во имя Иисуса! — воскликнула Эстер.

Все рассмеялись.

— Эстер говорила, какой в тебе дух, Ифемелу? — спросила Земайе, направляясь к двери. — Когда я тут начала работать, она все звала меня к себе в церковь, а потом однажды сказала, что грядет особая служба — для людей с духом соблазнительности. Таких, как я.

— А это типа совсем не притянуто за уши? — сказала Дорис и ухмыльнулась.

— А у меня какой дух, Эстер? — спросила Ифемелу.

Эстер покачала головой, улыбаясь, и ушла из кабинета.

Ифемелу повернулась к компьютеру. Ей только что пришло в голову название блога. «Маленькие воздаяния Лагоса».

— Интересно, с кем встречается Земайе? — сказала Дорис.

— Мне она говорила, что у нее нет бойфренда.

— А ты машину ее видела? У нее зарплаты не хватит, чтобы фару от такой машины купить? И семья у нее типа не богатая, ничего такого. Я с ней работаю почти год уже и не знаю, чем она типа на самом деле занимается?

— Может, приходит домой, переодевается и по ночам становится вооруженным грабителем, — предположила Ифемелу.

— Ну типа, — сказала Дорис.

— Надо сделать статью о церквях, — сказала Ифемелу. — О таких вот, как у Эстер.

— Это для «Зоэ» неформат?

— Какой смысл в том, что тетя Онену хочет делать по три материала об этих скучных тетках, которые ничего не добились, и сказать им тоже нечего. Или о девушках с нулем таланта, которые решили, что они

модельеры.

— Ты же знаешь, что они платят тете Онену, да? — спросила Дорис.

— Они ей платят? — Ифемелу уставилась на нее. — Нет, я не знала. И тебе известно, что я этого не знала.

— Ну и вот. В основном. Много чего такого надо понимать о том, как и что в этой стране делается?

Ифемелу встала и собрала вещи.

— В упор не понимаю, какова твоя позиция — и есть ли она у тебя вообще.

— А ты вся такая категоричная сучка? — рявкнула Дорис, выпучив глаза. Ифемелу, встревоженная внезапностью этой перемены, подумала, что Дорис под этой своей тягой к ретро — из тех женщин, которые способны преобразаться, если их подначить, готовы срывать с себя одежды и драться на улице.

— Сидит тут вся из себя и всех судит, — продолжила Дорис. — Ты кто такая вообще? Почему ты решила, что этот журнал должен быть как ты? Он не твой. Тетя Онену говорила тебе, каким она видит свой журнал, и ты либо делаешь, либо не надо тебе тут работать?

— Тебе не помешал бы увлажнитель — и хватит уже пугать людей этой своей мерзкой красной помадой, — проговорила Ифемелу. — Начни жить уже, брось думать, что если подмазываться к тете Онену и помогать ей издавать этот кошмарный журнал, тебе откроются все двери, — не откроются они.

Она ушла из кабинета, чувствуя себя хабалкой, за случившееся ей было стыдно. Возможно, это знак, что пора увольняться и заводить свой блог.

Когда Ифемелу уже выходила из редакции, Эстер сказала — серьезно и тихо:

— Ма? Кажется, у вас дух отпугивания мужей. Вы слишком жесткая, ма, мужа вы не найдете. Но мой пастор в силах сокрушить этот дух.

Глава 50

Дике посещал психотерапевта трижды в неделю. Ифемелу звонила ему через день, и иногда он рассказывал об этих встречах, а иногда нет, но всегда хотел послушать про ее новую жизнь. Она рассказала ему о своей квартире, о том, что у нее есть шофер, который возит ее на работу, как она общается со старыми друзьями, а по воскресеньям водит машину сама, потому что на дорогах пусто: Лагос в эти дни делался более мягкой версией себя самого, и люди, облаченные в яркие наряды — для церкви, — смотрелись издали как цветы на ветру.

— Тебе бы Лагос понравился, по-моему, — сказала она, и он на удивление пылко спросил:

— Можно мне в гости, куз?

Тетя Уджу поначалу противилась:

— Лагос? Там безопасно? Ты же знаешь, через что он прошел. Вряд ли он выдержит.

— Но он сам попросился, тетя.

— Он попросился приехать? С каких пор ему виднее, что для него хорошо? Не он ли сам желал сделать меня бездетной?

Но тетя Уджу купила Дике билет — и вот они уже в машине, ползут в кошмарной пробке на Ошоди,^[220] Дике ошарашенно пялится в окно.

— О боже, куз, я никогда не видел столько черных в одном месте!

Они остановились у какой-то забегаловки, Дике заказал себе гамбургер.

— Это конина? Потому что это не гамбургер. — Дальше он ел только джоллоф и жареные бананы.

Его прибытие оказалось вовремя: он прилетел на следующий день после того, как она запустила свой блог, и через неделю после ее увольнения. Тетя Онену вроде и не удивилась ее отставке — и не попыталась Ифемелу удержать.

— Иди сюда, давай обнимемся, дорогая моя, — вот и все, что она сказала, бессмысленно улыбаясь, и гордость Ифемелу сникла. Однако жизнерадостные надежды на «Маленькие воздаяния Лагоса» с «шапкой» из мечтательной фотографии заброшенного колониального дома переполняли Ифемелу. Первый пост она посвятила краткому интервью с Прийе, украсила его фотографиями со свадеб, которые Прийе устраивала. Ифемелу считала, что декор по большей части суетлив и избыточен, однако пост

осыпали воодушевленными комментариями — особенно за декор. «Фантастические убранства». «Мадам Прийе, надеюсь, вы и мою свадьбу обслужите». «Отличная работа, только в путь». Земайе написала — под псевдонимом — материал о языке тела и о сексе: «Как определить, занимаются ли двое кое-чем, по тому, как они ведут себя, когда вместе?» У этой статьи тоже было много комментариев. Но больше всего откликов вызвал пока пост Ифемелу о клубе «Нигерполитен».

Лагос никогда не был, никогда не будет и никогда не стремился быть похожим на Нью-Йорк — или на что угодно еще. Лагос всегда был бесспорно самим собой, но на встречах клуба «Интерполитен» вы бы так не подумали: это компания молодых вернувшихся, собирается еженедельно — понять о том, до чего во многом Лагос не похож на Нью-Йорк, будто он хоть когда-нибудь был к этому близок. Полное разоблачение: я — одна из них. Большинство из нас вернулось в Нигерию зарабатывать деньги, начинать свое дело, добывать государственные контракты и связи. Кто-то приехал с грезами по карманам и с жаждой сменить страну, но мы все время тратим на то, чтобы жаловаться на Нигерию, и пусть наши жалобы небеспочвенны, я представляю себя сторонним человеком, какой мог бы сказать: катитесь туда, откуда приехали! Если ваш повар не умеет готовить безупречный панини, это не потому, что повар — дурак. Это потому, что Нигерия — не нация, питающаяся сэндвичами, а его последний ога не ел по вечерам хлеб. Вашего повара нужно научить, ему нужно попрактиковаться. И Нигерия — не страна, где у людей пищевые аллергии, не страна разборчивых едоков, для которых пицца — это различие и раздельность. Это народ, который ест говядину, курицу, коровью шкуру и потроха, а также сушеную рыбу в одном супе, это называется мешанина, и потому угомонитесь уже и осознайте, что и жизнь здесь ровно такая — мешанина.

Первый комментатор написал: «Во чушь. Кому какое дело?» Второй: «Слава богу, хоть кто-то пишет об этом. *На ва*^[221] от высокомерия

нигерийских возвращенцев. Моя двоюродная вернулась после шести лет в Америке и давеча утром поехала со мной в садик при Унилаге,^[222] где я свою племянницу оставляю, и у ворот увидела студентов, которые стояли в очереди на автобус, и говорит: “Ух ты, люди тут и впрямь в очередях стоят!”» Еще один комментарий из первых: «Почему у нигерийцев, обучающихся за рубежом, есть выбор, куда распределиться на гражданскую службу?»^[223] Нигерийцев, обучающихся в Нигерии, распределяют случайным образом — почему тогда с нигерийцами, обучавшимися за рубежом, не обходятся так же?» Этот комментарий привлек больше откликов, чем сам пост. На шестой день блог посетила тысяча уникальных пользователей.

Ифемелу модерировала комментарии, удаляла любые непристойности, млела от задора происходящего, от ощущения, что она сама — на переднем крае чего-то животрепещущего. Сочинила длинный пост о дорогих стилях жизни некоторых лагосских девушек, и через день после того, как пост появился, ей позвонила взбешенная Раньинудо, тяжело пыхтя в трубку:

— Ифем, как ты можешь такое себе позволять? Всякий, кто со мной знаком, поймет, что это обо мне!

— Это неправда, Раньи. Твоя история — общее место.

— Ты что говоришь? Это же совершенно очевидно обо мне! Ты глянть! — Раньинудо примолкла, а затем принялась читать вслух.

В Лагосе много молодых женщин с неведомыми Источниками Дохода. они живут не по собственным средствам. В Европу они летают только бизнес-классом, но их работа позволила бы им лишь обычный авиабилет. одна такая женщина — моя подруга, красивая, талантливая, работает в рекламе. она живет на острове и встречается с Большим человеком-банкиром. я беспокоюсь, что рано или поздно она кончит, как многие лагосские женщины, определяющие свою жизнь мужчинами, с которыми им никогда по-настоящему не быть, изувеченные этой культурой зависимости, с отчаянием в глазах и с дизайнерскими сумочками на запястьях.

— Раньи, честно, никто не узнает, что это ты. Все комментарии пока — от тех, кто пишет, что видит в этом себя. Столько женщин растворяется в подобных отношениях. Когда писала, я в первую очередь имела в виду

тетю Уджу и Генерала. Те отношения ее раздавили. Из-за Генерала она стала другим человеком, разучилась делать что бы то ни было сама, а когда его не стало, она потеряла себя.

— А ты кто такая, чтобы судить? Чем это отличается от тебя и твоего богатого белого в Америке? Получила бы ты штатовское гражданство, если б не он? Как ты работу в Америке нашла? Давай прекращай эту ерунду. Перестань заноситься!

Раньинудо бросила трубку. Ифемелу, потрясенная, долго смотрела на безмолвный аппарат. А затем удалила пост и поехала к Раньинудо.

— Раньи, прости меня. Пожалуйста, не сердись, — сказала она. Раньинудо уставилась на нее. — Ты права, — продолжила Ифемелу. — Судить — легко. Но я не имела в виду ничего личного — и писала не из плохих побуждений. Пожалуйста, бико. Я больше никогда вот так не нарушу твоих границ.

Раньинудо покачала головой.

— Ифемелунамма, твоя беда — эмоциональная фрустрация. Найди уже Обинзе, умоляю.

Ифемелу рассмеялась. Это последнее, что она ожидала услышать.

— Мне сначала похудеть надо, — сказала она.

— Ты просто трусишь.

До отъезда Ифемелу они просидели на диване, попивая солод, и посмотрели последние новости о знаменитостях по «Е!».

* * *

Дике вызвался модерировать комментарии в блоге, и Ифемелу смогла отдохнуть.

— О боже, куз, люди принимают это все близко к сердцу! — говорил он. Иногда, читая комментарии, смеялся вслух. Бывало, спрашивал, что означает то или иное незнакомое выражение. «Что такое “свети глазом”?» [\[224\]](#)» Когда первый раз после его приезда отрубилось электричество, жужжание, тархтение и писк ее ИБП [\[225\]](#) напугали Дике.

— О господи, это типа пожарная сигнализация? — спросил он.

— Нет, это такая штука, которая предохраняет мой телевизор, чтобы он от этих шизанутых отключений электричества не испортился.

— Вот *это* ошизеть, — сказал Дике, но всего через несколько дней уже сам ходил включать генератор, когда отрубали свет. Раньинудо привела

своих двоюродных познакомиться — девчонки были примерно возраста Дике, джинсы в обтяжку висели на тощих бедрах, нарождающиеся груди прорисовывались сквозь тугие футболки.

— Дике, женись давай на одной из них-о, — сказала Раньинудо. — Нам нужны красивые дети в семье.

— Раньи! — оборвала ее одна из кузин, застеснявшись и пряча робость. Дике им понравился. С ним это было просто — при его-то обаянии, юморе и уязвимости, так явно видневшейся в глубине. Он выложил в «Фейсбук» снимок, который сделала Ифемелу, — у нее на веранде, с двоюродными сестрами Раньинудо, — и подписал: «Никакие львы меня пока не съели, чуваки».

— Жалко, что я не говорю на игбо, — сказал он ей, после того как провел вечер с ее родителями.

— Зато ты прекрасно понимаешь, — сказала она.

— Ну вот жалко, что не разговариваю.

— Можешь выучиться, — сказала она и внезапно сочла себя навязчивой, не понимая, насколько это действительно важно для него, вспоминая его на диване в цоколе, всего в поту. Задумалась, стоит ли продолжать.

— Да, наверное, — сказал он и пожал плечами, словно говоря, что теперь уж поздно.

За несколько дней до отъезда он спросил у нее:

— Каким на самом деле был мой отец?

— Он тебя любил.

— Он тебе нравился?

Врать ему она не хотела.

— Не знаю. Он был Большим Человеком в военном правительстве, а такое действует на людей и на то, как они обращаются с другими. Я беспокоилась за твою маму — считала, что она заслуживает лучшего. Но она его любила, по-настоящему, а он любил ее. Он тебя на руках носил с такой нежностью.

— У меня в голове не помещается, как мама могла так долго от меня скрывать, что была его любовницей.

— Она тебя оберегала, — сказала Ифемелу.

— А можно посмотреть тот дом в «Дельфине»?

— Да.

Она отвезла его к дому в «Дельфине» и оторопела от того, в каком он ужасном упадке. Краска на зданиях облупилась, улицы все в рытвинах, целый квартал сдался запустению.

— Тут было гораздо приятнее, — сказала она Дике. Он стоял и смотрел на дом, пока привратник не спросил: «Да? Что такое?» — и они сели в машину.

— Можно я поведу, куз? — попросил он.

— Точно?

Дике кивнул. Ифемелу выбралась с водительского сиденья, обошла машину и села на пассажирское. Он довез их до дома, лишь слегка помедлив, когда выезжал на Осборн-роуд, а затем влился в поток с большей уверенностью. Она понимала: это что-то значит для него, но что — не могла сказать. В тот вечер, когда опять отключили свет, генератор не пожелал работать, Ифемелу заподозрила, что ее шоферу Айо продали дизель, разбавленный керосином. Дике жаловался на жару, на кусачих комаров. Она открыла окна, заставила его снять рубашку, они легли на кровати рядом и стали болтать, бессвязно, она протянула руку, потрогала ему лоб — и оставила ладонь там, пока не услышала тихое ровное дыхание его сна.

Утром небо затянуло грифельно-серыми тучами, воздух загустел от надвигавшегося дождя. Где-то рядом заверещала стайка птиц и улетела прочь. Пойдет дождь — море, плещущее с неба, картинка спутникового телевидения станет зернистой, мобильная связь захлебнется, дороги затопит, потоки машин завяжутся в узел. Они с Дике стояли на веранде, и первые капли посыпались на землю.

— Мне тут вроде бы нравится, — сказал он ей.

Ей хотелось отозваться: «Можешь жить здесь со мной. Здесь есть хорошие частные вузы, сможешь учиться», но промолчала.

Ифемелу отвезла его в аэропорт и смотрела, пока он не прошел паспортный контроль, не помахал ей и не исчез за углом. Вернувшись домой, расхаживая между спальней, гостиной, верандой и обратно, она слушала свои гулкие шаги. Раньинудо скажет ей потом:

— Не понимаю, как такой славный мальчик мог захотеть с собой покончить. Мальчик, живущий в Америке, у которого все есть. Как мог? Это очень иностранное поведение.

— Иностранное поведение? Что ты за херню несешь? Иностранное поведение! Ты читала «И пришло разрушение»? — спросила Ифемелу, жалея, что рассказала Раньинудо про Дике. Сердилась она на Раньинудо сильнее, чем когда бы то ни было, и все же понимала, что Раньинудо желает добра и говорит то, что сказали бы многие другие нигерийцы, и именно поэтому она тут никому ничего о попытке самоубийства Дике и не рассказывала.

Глава 51

Впервые явившись в банк, она прошла мимо вооруженной охраны в ужасе, приблизилась к пиццавшей двери, за нею оказалась в закутке, закрытом со всех сторон, душном, как стоячий гроб, но тут огонек сменился на зеленый. У банков всегда была такая чрезмерная охрана? До отъезда из Америки она переслала сколько-то денег в Нигерию, и Банк Америки заставил ее пообщаться с тремя разными людьми, и каждый сообщал ей, что Нигерия — страна высоких рисков: если что-то случится с ее деньгами, они не понесут никакой ответственности. Поняла ли она? Последняя женщина, с которой Ифемелу поговорила, повторила сказанное дважды: «Мэм, простите, я вас не расслышала. Мне нужно убедиться, что вы понимаете, что Нигерия — страна высоких рисков». «Я понимаю!» — прокричала в ответ Ифемелу. Они зачитывали ей пункт за пунктом, и она уже начала бояться за свои деньги, за то, как они просочатся по воздуху в Нигерию, но еще больше испугалась, когда пришла в банк и увидела лютые гроздя охранников на входе. Впрочем, деньги оказались у нее на счете в целости и сохранности. Но когда входила в банк, она увидела Обинзе — в отделе обслуживания клиентов. Он стоял спиной к ней, и она знала — по росту и очертаниям его головы, — что это он. Она замерла, страдая от напряжения, и понадеялась, что он не обернется сразу, успеть бы уgomонить нервы. И тут он обернулся — и оказался не Обинзе. Горло ей сдавило. Голова набита призраками. Вернувшись в машину, она включила кондиционер и решила позвонить, освободиться от привидений. Гудки все шли и шли. Он теперь Большой Человек, не будет же он, само собой, принимать звонки с неизвестных номеров. Она отправила СМС: «Потолок, это я». Телефон у нее ожил почти тут же.

— Алло? Ифем? — Как же долго не слышала она этот голос, и звучал он и иначе, и как прежде.

— Потолок! Ты как?

— Ты вернулась.

— Да. — Руки у нее тряслись. Надо было сначала послать письмо. Ей следует трепаться, спрашивать о жене и ребенке, сказать ему, что вернулась она вообще-то не насовсем.

— Ну, — сказал Обинзе, растягивая это слово. — Как ты? Где ты? Когда тебя можно увидеть?

— Может, сейчас? — Бесшабашность, частенько вылезавшая, когда

она нервничала, выпихнула наружу эти слова, но, может, лучше увидеться с ним немедленно — и дело с концом. Она спохватилась, что не принарядилась — в свое платье с запахом, например, оно стройнит, — но юбка до колен тоже неплохо, высокие каблуки всегда придавали уверенности, а афро, к счастью, еще не успело съежиться от влажности.

На том конце возникла пауза — он медлил? — из-за которой Ифемелу пожалела о своей поспешности.

— Я вообще-то немножко опаздываю на встречу, — добавила она быстро. — Но хотела поздороваться, можем встретиться на днях...

— Ифем, где ты?

Она сказала ему, что собирается в «Джаз-Берлогу»^[226] за книгой и окажется там через несколько минут. Через полчаса она стояла у книжного магазина, к обочине подкатил черный «рейндж-ровер», задняя дверца открылась, и вышел Обинзе.

* * *

Был этот миг, купол синего неба, промедление неподвижности, когда ни один из них не знал, что делать, он шел к ней, она стояла, щурясь, и вот уж он рядом, они обнялись. Она хлопнула его по спине, раз, другой, чтобы вышло братское объятие, платоническое, безопасное братское объятие, но он прижал ее к себе чуть заметно теснее и удержал на мгновение дольше, словно говоря, что сам он обнимает ее не по-братски.

— Обинзе Мадувеси! Сколько лет! Вы гляньте, совсем не изменился! — Она робела, а незнакомая визгливость в голосе раздражала ее. Он смотрел на нее открыто, беззастенчиво, а она не выдерживала его взгляда. Пальцы у нее тряслись сами собою, что и так уже было скверно, а тут еще и смотреть ему в глаза, и вот оба они стояли на горячем солнце, в клубах выхлопа с Аволово-роуд.

— Рад тебя видеть, Ифем, — сказал он. Был спокоен. Она забыла, до чего спокойный он человек. И все же был в нем след подростковой истории — человека, не лезшего из кожи вон, с которым желали быть девчонки, а мальчишки желали быть как он.

— Ты лысый, — сказала она.

Он рассмеялся и потрогал свою голову.

— Да. Преимущественно по собственному выбору.

Он раздался — из тощего мальчика их университетских дней в

мужчину плотнее, мускулистее и — может, оттого, что раздался, — показался ей ниже ростом, чем она запомнила. На каблуках она была вроде бы выше его. Она не забыла, а лишь вспомнила заново, до чего сдержанны его манеры — простые темные джинсы, кожаные туфли без шнурков, то, как он вошел в книжный магазин без нужды в нем царить.

— Давай присядем, — сказал он.

В магазине было сумрачно и прохладно, пространство угрюмо и пестро, книги, диски, журналы на низких стеллажах. У входа стоял какой-то мужчина, кивнул им, приглашая внутрь, а сам поправил на голове большие наушники. Они сели друг напротив друга в крошечном кафе на задах и заказали фруктовый сок. Обинзе выложил две телефонные трубки на стол; они то и дело светились, звоня в беззвучном режиме, он посматривал на них и отводил взгляд. В спортзал он ходил, это было видно по упругости груди, которую облегал рубашка с карманами.

— Ты уже сколько-то здесь, — сказал он. Вновь разглядывал ее, и она вспомнила, как часто ощущала, будто он читает ее мысли, понимает о ней то, что она, возможно, не осознает.

— Да, — отозвалась она.

— Что же ты собиралась купить?

— Что?

— Ты хотела купить книгу.

— Вообще-то я просто решила тут с тобой увидеться. Подумала, что если эту встречу мне бы захотелось запомнить, то я бы желала запомнить ее в «Джаз-Берлоге».

— «Я бы желала запомнить ее в “Джаз-Берлоге”», — повторил он, улыбаясь, словно лишь Ифемелу могла предложить такое объяснение. — Ты не перестала быть честной, Ифем. Слава богу.

— Мне уже кажется, что я захочу это запомнить. — Нервозность таяла: они проскочили неизбежные мгновения неловкости.

— Тебе сейчас надо куда-нибудь? — спросил он. — Можешь побыть недолго?

— Могу.

Он выключил оба телефона. Значимый жест — в городе вроде Лагоса, для такого, как он, человека: ей посвящали все внимание.

— Как Дике? Как тетя Уджу?

— Хорошо. С Дике уже все в порядке. Он тут приезжал ко мне. Совсем недавно улетел.

Официантка подала высокие стаканы с мангово-апельсиновым соком.

— Что тебя удивило сильнее всего, когда ты вернулась? — спросил он.

— Все, честно говоря. Я уж задумалась, не со мной ли что-то не так.

— О, это нормально, — сказал он, и она вспомнила, как он всегда спешил успокоить ее, воодушевить. — Я уезжал на гораздо меньший срок, ясное дело, но очень удивился, когда вернулся. Думал, что все должно было дожидаться меня, — но нет.

— Я и забыла, что Лагос такой дорогой. С ума сойти, сколько тратят нигерийские богачи.

— Большинство из них — воры или попрошайки.

Она рассмеялась.

— Воры или попрошайки.

— Так и есть. И они не только хотят много тратить — они собираются много тратить и впредь. Познакомился я тут с одним парнем на днях, он мне рассказывал, как начинал свое дело, спутниковые тарелки, двадцать лет назад. Тогда оно в стране было в новинку, он ввозил такое, о чем большинство людей ничего не знало. Составил бизнес-план и вышел на рынок с хорошей ценой, какая дала бы ему хорошую прибыль. Его друг, который уже вел дела и собирался вложиться в эти тарелки, глянул на цены и попросил задрать их вдвое. Иначе, говорит, нигерийские богачи не купят. Подняли они цены вдвое — и сработало.

— Чума, — сказала она. — Может, всегда так было, а мы не знали, потому что неоткуда было узнать. Все равно что смотреть на взрослую Нигерию, о которой нам ничего не было известно.

— Да. — Ему понравилось, что она сказала «нам», она это заметила — и порадовалась, что это «нам» выскользнуло так легко.

— До чего же это город сделок, — сказала она. — Угнетающе. Даже отношения и те все сплошь сделки.

— Некоторые.

— Да, некоторые, — согласилась она. Они говорили друг другу то, что пока не в силах были произнести. Из-за того, как опять просочилась в пальцы нервозность, она взялась шутить. — И есть некоторая напыщенность в наших разговорах, я ее позабыла. По-настоящему ощутила, что вернулась домой, когда начала изъясняться напыщенно!

Обинзе рассмеялся. Ей понравился этот тихий смех.

— Когда я вернулся, меня потрясло, до чего быстро мои друзья все разжирели, отрастили себе пивные брюхи. Думал: что происходит? А потом понял: они же новый средний класс, созданный нашей демократией. У них есть работа, которая позволяет им пить гораздо больше пива и есть в ресторанах, а ты понимаешь, что питаться в ресторанах — это курица с картошкой, вот они и разжирели.

Желудок у Ифемелу светло.

— Ну, если приглядишься — увидишь, что так не только с твоими друзьями.

— Ой, нет, Ифем, ты не жирная. Это все твоя американскость. Те, кого американцы считают жирными, могут быть вполне нормой. Видала б ты моих ребят — поняла бы, о чем я. Помнишь Уче Окойе? Эвена Оквудибу? Они даже рубашки на себе застегнуть не способны. — Обинзе помолчал. — Ты набрала немного, и тебе это идет. *И мака.*

Она засмушалась — приятно, — услышав, как он говорит ей, что она красивая.

— Ты, помнится, подначивал меня, что у меня нет задницы, — сказала она.

— Забираю свои слова обратно. В дверях я тебя вперед пропустил не просто так.

Они посмеялись, а когда смех затих, помолчали, улыбаясь друг другу в странной этой близости. Она вспомнила, как вставала голая с его матраса на полу в Нсукке, как он смотрел на нее снизу вверх и говорил: «Тряхнуть бы, да нечем», — и она игриво пинала его в голень. Ясность этого воспоминания, последовавший за ним внезапный удар томления лишили ее устойчивости.

— Но вернемся к удивлениям, Потолок, — сказала она. — Вы только посмотрите на него. Большой Человек с «рейнджровером». Деньги, похоже, и впрямь все изменили.

— Да, видимо.

— Ой, ладно тебе, — сказала она. — Как?

— Люди обращаются с тобой иначе. И речь не только о посторонних. Друзья тоже. Даже моя двоюродная сестра Ннеома. Внезапно возникает весь этот подхалимаж, потому что люди считают, что ты на него рассчитываешь, — вся эта преувеличенная любезность, преувеличенные восхваления, даже преувеличенное почтение, какого совсем не заслужил, и все это такое подложное и пошлое — как чрезмерно изукрашенная картина, но иногда сам начинаешь немножко верить в это — и, бывает, видишь себя несколько иначе. Однажды ездил на свадьбу в родной город, и тамада ударился в дурацкое воспевание меня, когда я появился, и тут я понял, что двигаюсь иначе. Я не *хотел* — но вот же.

— Типа вразвалочку? — подначила она. — Покажи-ка!

— Сначала воспой меня. — Он отхлебнул из стакана. — Нигерийцы умеют быть очень раболепными. Мы — люди уверенные, но очень раболепные. Нам нетрудно быть неискренними.

— У нас есть уверенность, но нет достоинства.

— Да. — Он глянул на нее, в глазах — узнавание. — А если все время получать этот избыточный подхалимаж, делаешься параноиком. Уж и не знаешь, честно ли хоть что-то, правда ли. И тогда люди вокруг становятся параноиками — но по-другому. Мои родственники постоянно говорят: выбирай места, где ешь. Даже в Лагосе друзья предупреждают меня, дескать, смотри, что ешь. Не ешь в доме у женщины, она тебе что-нибудь подсыплет в пищу.

— А ты?

— Я — что?

— Смотришь, что ешь?

— Не у тебя в доме. — Пауза. Он открыто заигрывал, а она не очень понимала, как отозваться. — Но нет, — продолжил он. — Предпочитаю думать, что, если захочу у кого-то в доме поесть, такому человеку и в голову не придет подбрасывать мне джаз^[227] в пищу.

— Безысходное это все какое-то.

— Я вот что понял, среди прочего: в этой стране менталитет нехватки. Нам мерещится, что даже того, чего в достатке, не хватает. А от этого во всех укореняется безысходность. Даже у богатых.

— У богатых, как ты, — съязвила она.

Он примолк. Он часто делал паузу, перед тем как заговорить. Ей это казалось упоительным: он словно так глубоко чит своего собеседника, что желал выстроить слова в наилучшем порядке.

— Мне нравится думать, что во мне этой безысходности нет. Иногда кажется, что деньги, которые у меня есть, — не мои на самом деле, просто я их стерегу для кого-то, временно. После того как купил недвижимость в Дубае — первую за пределами Нигерии, — чуть не забоялся, рассказал про это Оквудибе, а он мне: ты ненормальный, перестань вести себя, будто жизнь — один из прочитанных тобой романов. Его так впечатлили мои владения, а я при этом почувствовал, что жизнь покрылась слоями притворства, и сделался сентиментален к прошлому. Взялся вспоминать о временах, когда жил с Оквудибой в его первой крошечной квартирке в Сурулере, как мы грели утюг на плите, когда НЭК^[228] вырубала свет. И как его сосед снизу вопил «Слава Господу!», когда электричество включалось, и как даже для меня было в этом что-то прекрасное — когда снова давали свет: это не в твоей власти, поскольку генератора нету. Но романтика эта глупая, потому что, само собой, возвращаться к той жизни я не хочу.

Она отвела взгляд, забеспокоившись, что наплыв чувств, возникший в

ней, пока он говорил, проявится у нее на лице.

— Конечно, нет. Ты свою жизнь любишь, — сказала она.

— Я свою жизнь живу.

— Экие мы загадочные.

— Ну а ты как, знаменитый блогер на расовые темы, стипендиатка Принстона, что в тебе поменялось? — спросил он, улыбаясь, и склонился к ней, упершись локтями в стол.

— Еще студенткой сидела я с детьми и однажды услышала, как говорю ребенку, с которым нянчилась: «Вот же ты молоток!» Бывает вообще что-то более американское, чем это слово?

Обинзе расхохотался.

— Вот тут-то я и подумала: да, кажется, немножко изменилась, — сказала она.

— У тебя нет американского акцента.

— Я приложила усилия, чтоб не было.

— Архивы твоего блога меня изумили. Совсем на тебя не похоже.

— Мне правда не кажется, что я сильно изменилась, впрочем.

— Ой ты изменилась, — сказал он с однозначностью, которая ей инстинктивно не понравилась.

— В чем?

— Не знаю. Осознаешь себя лучше. Может, стала настороженнее.

— Говоришь как разочарованный дядюшка.

— Нет. — Еще одна его пауза, но на этот раз он, похоже, сдерживался. — Но за твой блог мне было еще и гордо. Я подумал: она уехала, она заматерела, она победила.

И вновь Ифемелу смутилась.

— Насчет побед не знаю.

— У тебя и вкусы поменялись, — сказал он.

— В смысле?

— Ты домашнее мясо себе сама в Америке солила?

— Что?

— Я читал статью о новом поветрии у американских высших слоев общества. Люди, мол, желают пить молоко прямо из-под коровы, всякое такое. Думал, может, ты тоже увлеклась — у тебя вон цветок в волосах.

Она прыснула.

— Ну правда, расскажи, в чем ты стала другой? — Тон у него был игривый, и все же она слегка напряглась: вопрос показался слишком близким к ее уязвимой, мягкой сердцевине. И она ответила как ни в чем не бывало:

— Во вкусах, видимо. С ума сойти, сколько всего мне теперь кажется уродливым. На дух не выношу большинство домов в этом городе. Я теперь человек, который научился восхищаться оголенными деревянными балками. — Она закатила глаза, а он улыбнулся ее самоуничижению; эту улыбку она приняла за награду, которую хотела заслуживать еще и еще. — Это на самом деле своего рода снобизм, — добавила она.

— Это снобизм, не своего рода, — сказал он. — Я когда-то так относился к книгам. Втихаря чувствуя, что мой вкус круче.

— Беда в том, что у меня — не всегда втихаря.

Он рассмеялся.

— Знаем-знаем.

— Ты сказал «когда-то». А что случилось?

— Случилось то, что я вырос.

— Ай, — проговорила она.

Он не отозвался; слегка сардонический взлет бровей сообщил, что и ей тоже пора вырасти.

— Что ты теперь читаешь? — спросила она. — Уверена, ты прочел все изданные американские романы до единого.

— Читаю гораздо больше публицистики, истории и биографий. Обо всем, не только об Америке.

— Ты что же, разлюбил ее?

— Я осознал, что могу купить Америку, и она утратила блеск. Когда у меня ничего, кроме страсти к Америке, не было, мне не давали визу, а с моим счетом в банке получить визу оказалось просто. Я несколько раз слетал. Хотел купить недвижимость в Майами.

Ее это ужалило: он был в Америке, а она об этом не знала.

— И как же она тебе пришлось в итоге, страна твоей мечты?

— Помню, когда ты первый раз побывала на Манхэттене и написала мне: «Чудесно, однако не рай». Подумал об этом, когда впервые проехался по Манхэттену на такси.

Она тоже вспомнила, как писала это, незадолго до того как прервала с ним связь, до того как оттолкнула его за много-много стен.

— Лучше всего в Америке то, что она предоставляет тебе пространство. Это мне нравится. Мне нравится, что ты ведешься на мечту, это ложь, но ты на нее ведешься, и это главное.

Он глянул к себе в стакан, ее философствования его не увлекли, и она задумалась, не уловила ли в его глазах обиду, не вспоминал ли и он, как она его полностью оттолкнула. Когда он спросил:

— Ты все еще дружишь со старыми друзьями? — она решила, что это

вопрос о том, кого еще она оттолкнула за все эти годы. Что лучше — заикнуться об этом самой или дождаться его? Она сама должна, это ее долг перед ним, но бессловесный страх захватил ее — страх сломать хрупкое.

— С Раньинудо, да. И с Прие. Остальные — люди, которые когда-то были мне друзьями. Вроде как у тебя с Эменике. Знаешь, я читала твои письма и не удивлялась, что Эменике оказался вот таким. В нем всегда что-то похожее было.

Он покачал головой и допил; соломинку он отложил давно и потягивал сок прямо из стакана.

— Как-то раз, еще в Лондоне, он насмеялся над каким-то парнем, нигерийцем, с которым работал, — тот не знал, как произносится *F-e-a-t-h-e-r-s-t-o-n-e-h-a-u-g-h*.^[229] Эменике произносил по буквам, как тот парень, а это, очевидно, неправильно, — и не говорил, как надо. Я тоже не знал, как оно произносится, и Эменике знал, что я не знаю, и было несколько мерзких минут, когда он делал вид, что мы оба над тем парнем смеемся. А на самом деле, конечно, нет. Он смеялся *и надо мной*. Помню, в тот миг я осознал, что другом он мне никогда не был.

— Говнюк он, — сказала она.

— Говнюк. Очень американское слово.

— Да?

Он приподнял брови: незачем говорить очевидное.

— После того как меня выслали, Эменике вообще на связь не выходил. А тут вот в прошлом году, когда ему кто-то донес, что я теперь в игре, он принялся мне названивать. — Обинзе сказал «в игре» тоном, пропитанным издевкой. — Все спрашивал, нет ли каких дел, которые мы можем вместе проверить, — всякую такую чушь. И однажды я ему сказал, что его высокомерие нравилось мне больше, и он с тех пор не звонит.

— А что Кайоде?

— Мы на связи. У него ребенок от американки. — Обинзе глянул на часы и собрал телефоны: — Ужас как не хочется, но мне пора.

— Да, мне тоже. — Она хотела продлить этот миг — посидеть еще среди аромата книг, еще и еще открыть Обинзе заново. Прежде чем рассестись по своим машинам, они обнялись, бормоча: «Как здорово тебя увидеть», и она вообразила, как за ними с интересом наблюдают его и ее шоферы.

— Я тебе завтра позвоню, — сказал он, но не успела она сесть в машину, как телефон у нее запищал эсэмэской — от него: «У тебя завтра есть время пообедать?»

Время у нее было. Речь шла о субботе, и ей следовало спросить,

почему он не с женой и ребенком, и следовало завести разговор, чем именно они будут завтра заниматься, но у них была общая история, связь, крепкая, как канат, и эта встреча не означала, что они непременно чем бы то ни было займутся или что этот разговор обязателен, и потому она открыла дверь, когда он позвонил, впустила его, и он восхитился цветами у нее на веранде — белыми лилиями, они лебедями вздымались из горшков.

— Я все утро читал «Маленькие воздаяния Лагоса». Прочесывал, вернее, — сказал он.

Она обрадовалась.

— Что думаешь?

— Мне понравился пост про клуб «Нигерполитен». Немножко фарисейский, правда.

— Не очень понимаю, как эту оценку принять.

— Как правду, — сказал он — с тем же полувзлетом бровей, какой стал у него, похоже, новой черточкой: она за ним такого не помнила. — Но блог фантастический. Смелый и умный. И мне нравится дизайн. — И вот уж он вновь ее подбадривал.

Она показала на имение по соседству.

— Узнаешь?

— А! Да.

— Я подумала, самое то что надо для блога. Очень красивый дом, в таких вот великолепных руинах. Плюс павлины на крыше.

— Немножко смахивает на помещичью усадьбу. Меня эти старые дома всегда завораживают — и их истории. — Он покачал тонкую металлическую оградку веранды, словно проверяя, насколько она крепкая, безопасна ли, и она порадовалась этому жесту. — Кто-нибудь сцапает это, снесет и выстроит глянцевоый квартал люксовых квартир.

— Кто-нибудь вроде тебя.

— Когда занялся недвижимостью, я подумывал отремонтировать старые здания, а не сносить их, но смысла никакого. Нигерийцы не покупают дома, потому что они старые. Отремонтированные двухсотлетней давности амбары, ну ты знаешь, какие нравятся европейцам. Тут это вообще не срабатывает. Но оно и понятно: мы же из третьего мира, а третьемирцы, они смотрят вперед, нам нравится, когда все новенькое, потому что все лучшее у нас еще впереди, тогда как на Западе все лучшее уже в прошлом, вот им и приходится делать из него фетиш.

— Дело во мне или ты теперь увлекся чтением маленьких лекций? — спросила она.

— Просто это освежает — поговорить с умным человеком.

Она отвернулась, размышляя, не отсылка ли это к его жене, и надулась на него за это.

— У твоего блога уже столько поклонников, — сказал он.

— У меня на него большие планы. Хотелось бы объехать всю Нигерию и писать из каждого штата отчеты, с фотографиями и историями людей, но пока спешить не приходится, надо закрепиться, заработать каких-то денег на рекламе.

— Тебе инвесторы нужны.

— Твоих денег не хочу, — сказала она немного резковато, не сводя глаз с просевшей кровли заброшенного дома. Ей досадила его комментарий об умном человеке, потому что речь — наверняка — о его жене, и хотелось спросить, зачем он это сказал. Зачем он женился на неумной женщине? Чтобы говорить, что у него неумная жена?

— Посмотри на павлина, Ифем, — произнес он мягко, словно учуял ее раздражение.

Они следили, как павлин выходит из тени дерева, а затем — за его медлительным взлетом на любимый шесток на крыше, где птица встала и обзрела расстилавшееся внизу заброшенное королевство.

— Сколько их тут?

— Один самец и две самки. Надеялась увидеть, как самец исполняет брачный танец, но не удалось. Они будят меня по утрам своими воплями. Слышал? Почти как ребенок, который отказывается что-то делать.

Стройная шея птицы заколыхалась, а затем, словно подслушав, павлин закаркал, распахнув клюв, звуки полились из глотки.

— Ты права — про звук, — сказал он, придвигаясь к ней. — Есть в нем что-то детское. Это имение напоминает мне то, которое я купил в Энугу. Старый дом. Построили его до войны,^[230] и я приобрел его, чтобы снести, но потом решил оставить. Очень изысканный и покойный, просторные веранды, старые красные жасмины на задах. Я полностью переделываю убранство, внутри все будет очень современное, а снаружи — старинное. Не смейся, но, когда я его увидел, он напомнил мне стихи.

Было что-то мальчишеское в том, как он сказал: «Не смейся», и она ему улыбнулась — отчасти насмешливо, отчасти намекая, что ей нравится затея с домом, который напоминает ему стихи.

— Фантазирую, как однажды сбегу от этого всего и уеду туда жить, — сказал он.

— Люди и впрямь делаются чудаками, когда богатеют.

— А может, во всех есть чудачества, просто у нас нет денег, чтобы их показывать? Я бы с удовольствием свозил тебя посмотреть этот дом.

Она пробормотала что-то — смутное согласие.

Телефон у него звонил уже какое-то время — бесконечное глухое жужжание в кармане. Наконец он извлек его, глянул на экран и сказал:

— Извини, нужно поговорить.

Она кивнула и вернулась внутрь, решив, что, наверное, это жена. В гостиную доносились обрывки разговора, его голос возвышался, стихал, вновь возвышался, Обинзе говорил на игбо, а когда вошел в комнату, скулы у него сделались жестче.

— Все в порядке? — спросила она.

— Это пацан из моего города. Я оплачиваю ему учебу, но у него возникла эта чокнутая самонадеянность, и сегодня утром он мне прислал эсэмэску, что ему нужен мобильный телефон и не мог бы я выслать его до пятницы. Пятнадцатилетний пацан. Во наглость-то. И теперь вот названивает. Ну я его и поставил на место — сказал, что не будет ему больше и стипендии, пусть испугается, глядишь, здравого смысла прибавится.

— Он тебе родственник?

— Нет.

Она ждала продолжения.

— Ифем, я поступаю, как полагается богатым людям. Я оплачиваю учебу сотне школьников из моей деревни и из деревни моей матери. — Он произносил это все с неловким безразличием: ему на эту тему говорить не хотелось. Он подошел к ее книжному шкафу. — Какая красивая гостиная.

— Спасибо.

— Ты все книги перевезла?

— Почти.

— А. Дерек Уолкотт. [\[231\]](#)

— Обожаю его. Наконец-то начала понимать кое-какие стихи.

— Вижу Грэма Грина.

— Взялась читать его из-за твоей мамы. Люблю «Суть дела».

— Пытался осилить после ее смерти. Хотел полюбить. Думал, может, если бы я смог... — Он прикоснулся к книге, голос замер.

Его тоска тронула Ифемелу.

— Это настоящая литература, такие жизненные истории люди будут читать и через двести лет, — сказала она.

— Ты прям как моя мама, — сказал он.

Обинзе казался одновременно и знакомым, и нет. Сквозь раздвинутые шторы поперек комнаты падал полумесяц света. Они стояли у книжного шкафа, она рассказывала ему, как впервые прочитала «Суть дела», он

слушал — с этой своей пристальностью, будто глотал ее слова, как напиток. Они стояли у книжного шкафа и смеялись, вспоминая, как часто мама пыталась заставить его прочесть эту книгу. А затем они стояли у книжного шкафа и целовались. Сперва легонько, губы к губам, а потом — касаясь языками, и она ощутила себя бескостной в его руках. Он отстранился первым.

— У меня нет презервативов, — сказала она бесстыже — сознательно бесстыже.

— Я не догадывался, что к обеду нужны презервативы.

Она игриво стукнула его. Все ее тело захватили миллионы неуверенностей. Смотреть Обинзе в лицо не хотелось.

— Ко мне тут девушка ходит убирать и готовить, и потому у меня в морозилке полно супа, а в холодильнике — джоллофа. Можем пообедать здесь. Хочешь что-нибудь выпить? — Она направилась в кухню.

— Что случилось в Америке? — спросил он. — Почему ты прервала связь?

Ифемелу продолжала идти в кухню.

— Почему ты прервала связь? — повторил он тихо. — Прошу тебя, расскажи, что случилось.

Прежде чем сесть напротив него за маленький обеденный стол и рассказать ему о пошлых глазах тренера по теннису в Ардморе, Пенсильвания, она налила им обоим манговый сок из пакета. И выложила Обинзе мелкие подробности о кабинете того человека, какие были все еще свежи в ее памяти — стопки спортивных журналов, запах сырости, — но когда дошла до того, как он повел ее к себе в комнату, сказала попросту:

— Я разделась и сделала, как он просил. Уму непостижимо, отчего я намокла. Презирала себя. Правда — презирала. Чувствовала так, будто, ну, не знаю, предала себя. — Она затихла. — И тебя.

Многие долгие минуты он молчал, опустив глаза, словно впитывая сказанное.

— Я не очень-то, в общем, про это думаю, — добавила она. — Помню, но не заставаю, не позволяю себе там застаиваться. До чего же странно говорить об этом. Кажется, дурацкая причина, чтобы пустить по ветру все, что у нас было, но именно поэтому шло время — и я попросту не понимала, как это все исправить.

Он по-прежнему молчал. Она уставилась на карикатуру Дике в рамке, висевшую на стене, уши комически заострены, и пыталась понять, что Обинзе чувствует.

Наконец он произнес:

— Не могу представить себе, до чего плохо тебе было — и до чего одиноко. Надо было тебе все рассказать мне. Как же я жалею, что ты не рассказала.

Она услышала его слова, как музыку, и почувствовала, что дышит неровно, хватая ртом воздух. Плакать она не могла, это же бред — плакать о такой давности, но глаза налились слезами, в груди возник валун, горло жгло. Слезы — чесучие. Она не издала ни звука. Он взял ее за руку, лежавшую на столе, обеими своими, и между ними проросло безмолвие — древнее безмолвие, знакомое обоим. Ифемелу была внутри этого безмолвия — невредима.

Глава 52

— Поехали играть в настольный теннис. Я состою в маленьком частном клубе на Виктории, — сказал он.

— Я тыщу лет в теннис не играла.

Ифемелу вспомнила, что всегда хо тела его обыграть, пусть он и чемпион школы, а теперь вот Обинзе приговаривал с подначкой:

— Попробуй дать больше стратегии и меньше силы. Страсть ни в какой игре не помощник, что бы там ни говорили. Попробуй стратегию.

За руль он сел сам. Завел мотор, включилась и музыка. «Брэкет», «Йори-Йори». ^[232]

— О, обожаю эту песню, — сказала она.

Он сделал погромче, и они стали подпевать вместе; был в той песне задор, ритмическая радость, такая безыскусная, она придала воздуху легкость.

— А, а! Ты совсем недавно вернулась, а уже поешь ее так здорово?

— Я первым делом разобралась, что к чему в современной музыке. Такая она интересная — вся эта новая музыка.

— Да, верно. В клубах теперь играют нигерийскую.

Она запомнит этот миг — сидеть рядом с Обинзе в его «рейндж-ровере», увязшем в потоке машин, слушать «Йори-Йори»: «Твоя любовь мне сердце заставляет йори-йори. Никто не может так тебя любить, как я». — Рядом с ними блестящая «хонда» последней модели, а впереди — древний «дацун», которому на вид лет сто.

После нескольких партий в теннис — он выиграл все, беспрестанно в шутку над ней насмехаясь, — они пообедали в ресторанчике, где были одни, если не считать дамы, читавшей газету у барной стойки. Управляющий, кругленький человек, на котором едва не лопался плохо сидевший черный пиджак, часто подходил к их столику и приговаривал:

— Надеюсь, все в порядке, са. Очень рад вас снова видеть, са. Как работа, са.

Ифемелу склонилась к Обинзе и спросила:

— В какой момент пора сблегнуть?

— Он бы не подходил так часто, если б не думал, что мною пренебрегают. Ты на этот свой телефон подседа.

— Прости. Слежу за блогом. — Ей было расслабленно и счастливо. — Знаешь что? Тебе надо писать туда.

— Мне?

— Да, я тебе дам задание. Может, про опасности молодости, красоты и богатства?

— Я бы с удовольствием написал на тему, с которой могу лично отождествляться.

— Может, о безопасности? Хочу сделать материал по безопасности. У тебя какой-нибудь личный опыт с Третьим материковым мостом есть? Кто-то мне рассказывал, как уезжал поздно из клуба и возвращался на материк и на мосту у них пробило колесо, но они продолжили ехать, потому что останавливаться на мосту очень опасно.

— Ифем, я живу в Лекки и по клубам не хожу. Уже нет.

— Ладно. — Она снова глянула на телефон. — Мне просто нужны новые, живые материалы, почаще.

— Ты отвлекаешься.

— Ты знаешь Тунде Разака?

— Кто ж не знает? А что?

— Хочу интервью с ним. Хочу начать еженедельную рубрику «Лагос по местным меркам» — и начать с самых интересных людей.

— А что в нем интересного? Что он — лагосский плейбой, живущий на папины деньги, каковые происходят из монополии на импорт дизеля, каковая имеет место благодаря связям семьи с президентом?

— Он еще и музыкальный продюсер — и, похоже, чемпион по шахматам. Моя подруга Земайе знает его, он только что ответил ей, что даст мне интервью только при условии, что я позволю ему угостить меня ужином.

— Наверное, где-то видел твою фотографию. — Обинзе встал и отодвинул стул с силой, удивившей Ифемелу. — Этот парень — дрянь.

— Веди себя прилично, — сказала она, веселясь: его ревность ее порадовала. По пути к ней домой он снова включил «Йори-Йори», и Ифемелу раскачивалась и размахивала руками — к немалой потехе Обинзе.

— Я думал, твой «чэпмен» безалкогольный, — сказал он. — Хочу другую песню поставить. Она мне напоминает о тебе.

Послышалась «Оби му о» Обивона, ^[233] Ифемелу сидела неподвижно и молча, а слова песни звенели в воздухе: «Такого чувства я раньше не знал... И я не дам ему умереть». Когда мужской и женский голоса пели на игбо, Обинзе пел с ними, отвлекался от дороги и смотрел на Ифемелу, будто сообщал ей, что это на самом деле их разговор между собой, это он зовет ее красавицей, это они именуют друг друга настоящими друзьями. «Нваньи ома, нвоке ома, омалича нва, эзигбо ойи м-о».

Высаживая ее, он склонился поцеловать ее в щеку, не решаясь подходить слишком близко или обнимать, словно боясь поддаться притяжению.

— Можно тебя завтра повидать? — спросил он, она сказала «да».

Они отправились в бразильский ресторан у лагуны, где официант таскал шампур за шампуром, униженные мясом и морепродуктами, пока Ифемелу не сказала Обинзе, что ее сейчас стошнит. Назавтра он спросил, не отужинает ли она с ним, и отвез ее в итальянский ресторан, где чрезмерно дорогая еда показалась ей пресной, а официанты при бабочках, унылые и вялые, наполнили ее призрачной печалью.

По пути назад они проехали через Обаленде,^[234] столы и лотки вдоль оживленной дороги, огоньки лоточников мерцали оранжевым.

Ифемелу сказала:

— Давай остановимся и купим жареных бананов!

Обинзе нашел местечко чуть подалее, перед пивным баром, и втиснул машину. Поприветствовал мужчин, выпивавших на скамейках, вел себя легко и душевно, и они салютовали ему в ответ:

— Шеф! Двигай себе! Приглядим за машиной!

Торговка жареными бананами попыталась уговорить Ифемелу купить и жареного сладкого картофеля.

— Нет, только банан.

— Может, акару,^[235] тетенька? Вот только сделала. Очень свежие.

— Ладно, — сдалась Ифемелу. — Положите четыре.

— Зачем ты покупаешь акару, если тебе не хочется? — весело спросил Обинзе.

— Потому что это настоящее предпринимательство. Она продает то, что сама изготовила. Она не продает ни место изготовления, ни производителя своего масла, ни имя человека, толкшего горох. Она просто торгует тем, что сделала сама.

В машине она открыла замасленный пластиковый пакет с бананами, сунула маленький, безупречно пожаренный желтый кусочек в рот.

— Это гораздо лучше той фигни, с которой масло капало, я ее едва смогла доесть в ресторане. И да: отравиться невозможно, потому что жарка убивает микробов, — добавила она.

Он смотрел на нее, улыбаясь, и она спохватилась: слишком много треплется. Это воспоминание она тоже сбережет: Обаленде ночью, озаренный сотней маленьких огоньков, шумные голоса пьяных, раскачка здоровенных бедер бандерши, прошедшей мимо их машины.

* * *

Он спросил, можно ли с ней пообедать, и она предложила новое непритязательное место, о котором была наслышана; там она заказала сэндвич с курицей, а затем пожаловалась на человека, курившего в углу.

— Как это по-американски — жаловаться на дым, — сказал Обинзе, и она не смогла разобрать, упрекает он ее или нет.

— Сэндвич подадите с картошкой? — спросила Ифемелу у официанта.

— Да, мадам.

— У вас настоящая картошка?

— Мадам?

— У вас картошка замороженная импортная или вы режете и жарите местную?

У официанта сделался обиженный вид.

— Импортная замороженная.

Официант удалился, Ифемелу сказала:

— Это замороженное — гадость на вкус.

— У него не уместилось в голове, что ты правда просишь настоящей картошки, — иронично отозвался Обинзе. — Для него настоящая картошка — отсталость. Не забывай: это наш новый мир среднего класса. Мы еще не завершили первый круг благоденствия и не вернулись к началу — к питию молока из коровьего вымени.

Всякий раз, высаживая ее, он целовал Ифемелу в щеку, они тянулись друг к другу, а затем отстранялись, чтобы она могла произнести «пока» и выбраться из машины. На пятый день, когда он подвез ее к родному кварталу, она спросила:

— У тебя презерватив найдется?

Он какое-то время молчал.

— Нет, презерватива у меня не найдется.

— Ну, я купила пачку несколько дней назад.

— Ифем, зачем ты это говоришь?

— Ты женат, у тебя ребенок, а нас припекает друг по другу. Кого мы обманываем всякими целомудренными свиданиями? Надо уже покончить с этим.

— Ты прячешься за сарказмом, — сказал он.

— Ах, как это возвышенно с твоей стороны.

Ифемелу сердилась. Не прошло и недели с их первой встречи, а она уже сердилась — бесилась даже, что он высаживал ее из машины и

отправлялся к своей другой жизни, настоящей жизни, которую она не может себе даже представить в подробностях, не знает, на какой кровати он спит, из какой тарелки ест. С тех пор как начала вглядываться в прошлое, она воображала отношения с ним, но лишь в поблекших картинках и смутных очертаниях. И вот теперь, в этой осязаемости его рядом, при серебряном кольце у него на пальце, она страшилась привыкнуть к нему, утонуть. Или, может, она уже утонула и страх в ней — от этого знания.

— Почему ты не позвонила мне, когда вернулась? — спросил он.

— Не знаю. Хотела сначала обжиться.

— Я надеялся помочь тебе обжиться.

Она промолчала.

— Ты все еще с Блейном?

— Какая тебе-то разница, женатый? — сказала она с иронией, которая получилась слишком ядовитой: Ифемелу хотелось быть хладнокровной, отстраненной, владеть положением.

— Можно я зайду ненадолго? Поговорим?

— Нет, мне надо поизучать кое-что для блога.

— Прошу тебя, Ифем.

Она вздохнула.

— Ладно.

Зайдя к ней, он сел на диван, а она — в кресло, как можно дальше от него. Ее охватил внезапный желчный страх перед тем, что он собрался сказать, каким бы оно ни оказалось, но тем, чего слышать она не хотела, и потому она выпалила:

— Земайе хочет написать шуточные наставления для мужчин, желающих изменять. Сказала, что ее бойфренду на днях было не дозвониться, а когда он наконец проявился, сказал ей, что телефон в воду уронил. Земайе сказала, что это самая бородатая байка — про телефон в воду. Мне это показалось забавным. Я такого раньше не слышала. Короче, первый пункт в ее наставлениях: никогда не говорите, что утопили телефон.

— Я это не ощущаю как измену, — тихо проговорил он.

— Твоя жена знает, что ты здесь? — Она язвила. — Интересно, сколько мужчин так говорит — что они это как измену не ощущают? В смысле, способны ли они вообще сказать, что ощущают измену как измену?

Он встал, движения его были сознательны, и она сперва решила, что он хочет приблизиться или, может, собрался в туалет, но он направился к входной двери и вышел. Она уставилась на дверь. Долго сидела

неподвижно, а затем встала и заметалась по комнате, не в силах сосредоточиться, раздумывала, звонить ему или нет, спорила с собой. Решила не звонить: ее злило его поведение, его молчание, его поза. Когда через несколько минут позвонили в дверь, что-то в ней противилось открывать.

Она его впустила. Они сели рядом на диване.

— Прости, что я ушел вот так, — сказал он. — Я сам не свой с тех пор, как ты вернулась, и мне не понравилось, что ты говорила так, будто у нас с тобой что-то пошлое. Это неправда. И, думаю, ты это понимаешь. Думаю, ты так говорила, чтобы меня ранить, но в основном потому, что *ты сама* растерялась. Я отдаю себе отчет, что тебе трудно — как мы встречаемся, сколько всего обсудили, но и столько всего избегаем.

— Ты говоришь загадками, — сказала она.

Вид у него был подавленный, челюсти стиснуты, и она рвалась поцеловать его. Все правда: он умный, он уверен в себе, но была в нем и невинность, уверенность без эго, отзвук другого времени и пространства, которые были ей дороги.

— Я ничего не говорил, потому что иногда я просто очень счастлив быть с тобой и не хочу это испортить, — сказал он. — А еще потому, что хочу сначала собрать слова, а потом говорить их.

— Я себя трогаю, думая о тебе, — сказала она.

Он уставился на нее, слегка утратив равновесие.

— Мы не одинокие люди, заигрывающие друг с другом, Потолок, — сказала она. — Нельзя отрицать притяжение между нами, и нам, вероятно, следует об этом поговорить.

— Ты же знаешь, что дело не в сексе, — сказал он. — И никогда не было в нем.

— Знаю, — сказала она и взяла его за руку.

Было между ними невесомое непререкаемое желание. Она подалась вперед и поцеловала его, и поначалу он не спешил отозваться, но вот уж вздергивал на ней блузку, тянул вниз чашечки лифчика, освобождая ей грудь. Она отчетливо помнила крепость его объятия, но было в их соитии и новое: тела и помнили, и нет. Она тронула шрам у него на груди, вспоминая его заново. Она всегда считала выражение «заниматься любовью» немножко слюнявым, «заниматься сексом» — правдивее, а «ебаться» сильнее возбуждало, но, лежа рядом с ним после всего, улыбаясь вместе с ним, посмеиваясь, когда ее тело пропиталось покоем, она подумала, до чего оно точное, это «заниматься любовью». Она ощущала себя пробужденной даже в кончиках ногтей, в тех уголках тела, что вечно немы. Хотелось

сказать ему: «Не проходило недели, чтобы я о тебе не думала». Но правда ли это? Конечно же, были недели, когда он был запрятан в складках ее жизни, — но это *ощущалось* правдой.

Она приподнялась и сказала:

— С другими мужчинами я всегда видела потолок.

Он улыбнулся — долгой, неторопливой улыбкой.

— Знаешь, как я себя уже очень давно чувствую? Словно жду быть счастливым.

Он встал и ушел в ванную. Ей его коренастость казалась такой притягательной, его уверенная, крепкая коренастость. В том, что он коренаст, она видела заземление: он выдержит любую бурю, его не так-то легко раскачать. Он вернулся, она сказала, что проголодалась, он добыл у нее в холодильнике апельсины, почистил, и они поели апельсинов, сидя рядом, а потом лежали, переплетясь, нагие, в замкнутом круге полноты, и она уснула и не знала, когда он ушел. Проснулась сумрачным, облачным дождливым утром. Телефон звонил. Обинзе.

— Ты как? — спросил он.

— Мутно. Непонятно, что вчера произошло. Ты меня соблазнил?

— Я рад, что у тебя дверь захлопывается. Ужасно не хотелось тебя будить, чтобы ты за мной закрыла.

— Значит, ты меня соблазнил.

Он рассмеялся.

— Можно мне к тебе?

Это «можно мне к тебе» ей понравилось.

— Да. Дождь тут чумовой.

— Правда? А тут нет. Я в Лекки.

Ей это показалось по-глупому волнующим: там, где она, — дождь, а там, где он, — нет, всего в нескольких минутах от ее дома, и она ждала с нетерпением, с наэлектризованным восторгом, когда они увидят дождь вместе.

Глава 53

И вот так начались ее головокружительные дни, набитые всякими клише: она ощущала себя полностью живой, когда он появлялся у нее на пороге, сердце билось чаще, и каждое утро виделось ей завернутым подарком. Она смеялась, закидывала ногу на ногу или слегка покачивала бедрами с обостренным осознанием самой себя. Ее ночная сорочка пахла его одеколоном — приглушенный цитрус и дерево, — потому что она не стирала ее как можно дольше, не сразу вытерла каплю крема для рук, которую он оставил у нее на раковине, а после того, как они занимались любовью, не прикасалась к вмятине на подушке, к этому мягкому углублению, где лежала его голова, словно сберегая его суть до следующего раза. Они часто смотрели на павлинов на крыше заброшенного дома, стоя у нее на веранде, время от времени держались за руки, и она думала о следующем разе — и следующем после, как они опять будут вместе. Это и была любовь — устремление в завтра. Чувствовала ли она так же, когда была подростком? Ее порывы казались ей нелепыми. Она места себе не находила, когда он не отвечал на ее эсэмэски немедленно. Мысли ее мрачнели от ревности к прошлому. «Ты величайшая любовь моей жизни», — говорил он ей, и она ему верила, но все равно ревновала к женщинам, которых он любил, пусть и мимолетно, к тем, кто отхватил себе место у него в сознании. Она ревновала даже к женщинам, которым он нравился, воображала, сколько внимания он к себе привлекал — здесь, в Лагосе, такой пригожий, а теперь еще и богатый. Когда Ифемелу познакомила его с Земайе, гибкой Земайе в тугой юбке и в туфлях на платформе, то еле подавила в себе непокой: в цепких разборчивых глазах Земайе она усмотрела взгляд всех оголодавших женщин Лагоса. Это была ревность к воображаемому, он никак ее не подпитывал: Обинзе был явен и прозрачен в своей приверженности. Она восхищалась, до чего пылкий и пристальный он слушатель. Он помнил все, что она ему говорила. Такого с ней никогда раньше не случилось — чтобы ее слушали, по-настоящему слышали, и он стал ей по-новому драгоценен: всякий раз, когда он прощался в конце телефонного разговора, она ощущала панику утопленницы. И впрямь нелепо. Их подростковая любовь была менее мелодраматической. Или, вероятно, все дело в том, что обстоятельства были иные, и сейчас над ними нависал его брак, о котором он никогда не заикался. Иногда говорил: «В воскресенье приехать смогу только после

обеда» или «Мне сегодня нужно уехать пораньше», и она понимала, что это всякий раз из-за жены, но разговор они не продолжали. Он не пытался, а она не хотела — или же сказала себе, что не хочет. Ее удивило, что он открыто появлялся с ней на людях, обедал и ужинал, возил в частный клуб, где официант обращался к ней «мадам», вероятно сделав вывод, что она ему супруга, что оставался с ней и после полуночи и никогда не принимал душ после их занятий любовью, что отправлялся домой с ее прикосновениями и запахом на коже. Он решил придать их связи все мыслимое достоинство, сделать вид, что он ничего не прячет, хотя, конечно, это было не так. Однажды он загадочно сообщил, пока они лежали, сплетенные, у нее на кровати в неясном свете позднего вечера:

— Я могу остаться на ночь — я бы хотел.

Она сказала свое решительное «нет» — и больше ничего. Она не хотела привыкать к пробуждениям рядом с ним, не позволяла себе думать о том, почему ему можно остаться на ночь. И вот так его брак висел над ними, неизъяснимый, не обсужденный — до одного вечера, когда ей не захотелось ужинать в городе. Он пылко предложил:

— У тебя есть спагетти и лук. Давай я для тебя приготовлю.

— Ну, если у меня потом желудок не разболится.

Он рассмеялся.

— Я скучаю по стряпне, дома готовить не могу.

И в тот же миг его жена обрела темное призрачное присутствие в комнате. Оно было осязаемо и угрожающе, как никогда прежде, когда он говорил: «В воскресенье приехать смогу только после обеда» или «Мне сегодня нужно уехать пораньше». Она отвернулась и раскрыла ноутбук — глянуть, как там ее блог. Внутри у нее запылало горнило. Обинзе тоже это учуял — внезапное действие сказанного, подошел к ней, встал рядом.

— Коси никогда не нравилось, что я могу готовить сам. У нее очень простенькие, обывательские представления о том, какой должна быть жена, и она восприняла мое желание готовить обвинением в ее адрес, что я счел глупым. Но перестал — так спокойнее. Жарю омлеты, но на этом все, и мы оба делаем вид, что мой онугбу^[236] не лучше, чем у нее. В моем браке вообще часто делают вид. — Он примолк. — Я женился на ней, когда был уязвим; у меня в жизни в то время все шло кувырком.

Она проговорила, сидя спиной к нему:

— Обинзе, прошу тебя, вари уже спагетти.

— У меня за Коси громадная ответственность — но это все, что я чувствую. И я хочу, чтобы ты это знала. — Он мягко развернул ее к себе, держа за плечи, и вид у него был такой, будто он ищет, чего бы еще сказать,

но ждет, что она ему поможет, и из-за этого в ней вспыхнуло новое раздражение. Она отвернулась к ноутбуку, давясь порывом крушить, рубить и жечь.

— У меня завтра ужин с Тунде Разаком, — сказала она.

— Зачем?

— Затем, что я так хочу.

— Ты на днях говорила, что не пойдешь.

— Что происходит, когда ты возвращаешься домой и забираешься в постель к жене? Что происходит? — спросила она и почувствовала, что хочет плакать. Между ними что-то треснуло и испортилось. — Кажется, тебе лучше уйти, — сказала она.

— Нет.

— Обинзе, пожалуйста, уходи.

Он отказался уйти, и она потом была ему за это благодарна. Он приготовил спагетти, но она гоняла их по тарелке, горло пересохло, аппетита никакого.

— Я никогда ничего у тебя не попрошу. Я взрослая женщина, и я знала твое положение, когда во все это полезла, — сказала она.

— Прошу тебя, не надо так, — сказал он. — Меня это пугает. Я от этого чувствую себя бросовым.

— Дело не в тебе.

— Я знаю. Я знаю, что лишь так ты можешь сохранять хоть какое-то достоинство.

Она глянула на него, и даже его благоразумие начало ее бесить.

— Я люблю тебя, Ифем. Мы любим друг друга, — сказал он.

На глазах у него появились слезы. Она тоже заплакала — беспомощно, и они обнялись. Потом они лежали в постели рядом, в воздухе таком неподвижном и безмолвном, что даже урчанье у него в животе казалось громким.

— Это мой желудок или твой? — спросил он шутливо.

— Конечно, твой.

— Помнишь, как мы впервые занимались любовью? Ты прямо стоял на мне. Мне нравилось, когда ты на мне стоишь.

— Сейчас уже не смогу. Слишком жирный. Ты помрешь.

— Да ну тебя.

Наконец он поднялся и натянул брюки, двигался медленно, неохотно.

— Завтра не смогу приехать, Ифем. Нужно дочку...

Она оборвала его:

— Все в порядке.

— Еду в пятницу в Абуджу, — сказал он.

— Да, ты говорил. — Она пыталась отпихнуть призрак грядущего отвержения: оно захватит ее, как только он уйдет, как только она услышит щелчок закрываемой двери.

— Поехали со мной, — сказал он.

— Что?

— Поехали со мной в Абуджу. У меня две встречи там, сможем остаться на выходные. Нам здорово будет — в другом месте, поговорить. И ты никогда не была в Абудже. Могу забронировать отдельные комнаты в гостинице, если хочешь. Соглашайся. Пожалуйста.

— Да, — сказала она.

Она не позволяла себе этого прежде, но после его ухода посмотрела на фотографии Коси в «Фейсбуке». Красота Коси поражала воображение — эти скулы, эта безупречная кожа, эти совершенные женственные изгибы. Заметив один снимок, сделанный под невыигрышным углом, Ифемелу поразглядывала ее — и получила от этого мелкое злое удовольствие.

* * *

Она была в парикмахерской, когда от Обинзе прилетела эсэмэска: «Прости, Ифем, но, думаю, лучше мне ехать в Абуджу одному. Мне нужно время все обдумать. Я люблю тебя». Она уставилась на это сообщение, пальцы затряслись, и она ответила ему двумя словами: «Блядский трус». А затем обернулась к парикмахерше:

— Вы меня этой щеткой сушить собираетесь? Вы серьезно? Мозги есть вообще?

Парикмахерша растерялась.

— Тетенька, простите-о, но я с вашими волосами и раньше так.

Когда Ифемелу вернулась к себе в квартиру, «рейндж-ровер» Обинзе уже стоял напротив ее дома. Он поднялся за ней по лестнице.

— Ифем, прошу тебя, я хочу твоего понимания. Думаю, все чуточку слишком быстро, то, что у нас с тобой, мне надо время, глянуть на все в целом.

— Чуточку слишком быстро, — повторила она. — Как неизобретательно. На тебя совсем не похоже.

— Ты женщина, которую я люблю. Ничто не сможет это изменить. Но у меня есть ответственность за то, что мне нужно сделать.

Она отшатнулась от него, от грубости его голоса, от туманности и легкой бессмыслицы его слов. Что это означает — «ответственность за то, что мне нужно сделать»? Означает ли это, что он хотел и далее встречаться с ней, но должен оставаться в браке? Означало ли это, что он более не будет с ней встречаться? Он говорил ясно, когда желал этого, но сейчас таился за водянистыми словами.

— Что ты хочешь сказать? — спросила она. — Что ты пытаешься мне сказать?

Он промолчал, и она бросила:

— Иди к черту.

Зашла в спальню, заперлась. Смотрела из окна, пока его «рейндж-ровер» не исчез за поворотом дороги.

Глава 54

В Абудже — распахнутые горизонты, широкие дороги, порядок: приехать сюда из Лагоса — ошалеть от последовательности и простора. Воздух пах властью: здесь все оценивали всех, угадывали, до какой степени кто — «кто-то». Здесь пахло деньгами, легкими деньгами, деньгами, легко переходившими из рук в руки. И здесь все сочилось сексом. Чиди, друг Обинзе, говорил, что в Абудже за женщинами не гоняется, поскольку не хочет наступать на пятки какому-нибудь министру или сенатору. Всякая привлекательная женщина здесь становилась загадочной подозреваемой. Абуджа была консервативнее Лагоса, говорил Чиди, потому что здесь больше мусульман, чем в Лагосе, и на вечеринках женщины не облачались в вызывающие наряды, однако купить и продать секс здесь было гораздо проще. Именно в Абудже Обинзе оказался ближе всего к измене Коси — и не с какой-нибудь броской девицей в цветных контактных линзах и с каскадами накладных волос, беспрестанно предлагавших себя, а с дамой средних лет, в кафтане, которая под села к нему в гостиничном баре и сказала: «Я вижу, вам скучно». Она выглядела изголодавшейся по бесшабашности — возможно, подавленная, замороженная жена, вырвавшаяся на волю на одну ночь.

На миг похоть, зыбучая оголенная похоть захватила его, но он подумал, до чего скучно ему будет потом, как будет он желать поскорее выставить ее вон из своего номера, и все это увиделось ему не стоящим усилий.

Она в итоге оказалась бы с одним из многих мужчин в Абудже, кто жил праздной, умасленной жизнью в гостиницах и пансионатах, валяясь в ногах у людей со связями, увиваясь вокруг них, чтобы добыть контракт или получить по контракту деньги. В последней поездке Обинзе в Абуджу один такой человек, которого он едва знал, некоторое время наблюдал за двумя молодыми женщинами в другом углу бара, а затем спросил у Обинзе небрежно: «У вас лишнего презерватива не найдется?» Обинзе этим вопросом пренебрег.

Теперь же, сидя за столом, покрытым белым, в «Протеа Асокоро»,^[237] ожидая Эдуско, предпринимателя, желавшего купить у него землю, Обинзе воображал рядом с собой Ифемелу и размышлял, как бы Ифемелу отнеслась к Абудже. Ей бы не понравилось бездушие этого города — а может, и нет. Ее непросто предсказать. Однажды на ужине в ресторане на

Виктории, со смурными официантами, болтавшимися вокруг, она казалась отрешенной, взгляд вперяла в стену у него за спиной, и он тревожился, не огорчена ли она чем-нибудь.

— О чем думаешь? — спросил он.

— Я думаю о том, что все картины в Лагосе вечно висят вроде как набекрень, вечно неровно, — сказала она. Он рассмеялся и подумал, как с ней ему — как ни с одной другой женщиной: ему весело, бодро, живо. Потом, когда они уже выходили из ресторана, он смотрел, как она стремительно обходит лужи в рытвинах у ворот, и ощутил порыв разгладить для нее в Лагосе все дороги.

Мысли его метались: то казалось, что правильно он решил не брать ее с собой в Абуджу, ему надо все обдумать, то погружался в самоедство. Он, может, даже оттолкнул ее. Звонил много раз, слал эсэмэски, просил поговорить, но она не обращала на него внимания, что, вероятно, к лучшему, поскольку он не знал, что ей сказать, если б разговор начался.

Приехал Эдуско. Громкий голос ревел в фойе ресторана — Эдуско беседовал по телефону. Обинзе не был с ним близко знаком, лишь раз возникло у них общее дело, представил их друг другу общий приятель, но Обинзе такие, как Эдуско, восхищали: они не знали никаких Больших Людей, не имели никаких связей, а деньги зарабатывали так, чтобы не рушить простую логику капитализма. У Эдуско образование было только начальное, а затем он подался в подмастерья к торговцам, начал с одного лотка в Онитше, а теперь владел второй по масштабам транспортной компанией в стране. Он вошел в ресторан, шаг смел, пузо вперед, громко вещая на своем кошмарном английском; ему и в голову не приходило робеть.

Потом уже, когда они обсуждали цену на землю, Эдуско сказал:

— Смотри, брат мой. Ты не продашь по такой цене, никто не купит. *Ифе эсика кита.*^[238] Рецессия кусает всех подряд.

— Братан, подыми чуток, мы про землю в Маитама^[239] толкуем, не в твоей деревне, — сказал Обинзе.

— У тебя брюхо битком, чего ты еще хочешь? Понимаешь, в этом беда с вами, игбо. Вы не по-братски всё. Вот почему мне йоруба нравятся, они друг за друга горой. Я тут на днях поехал в налоговое управление рядом с домом, и там один человек — игбо, я увидел его имя и заговорил с ним на игбо, так он мне даже не ответил! Хауса со своим собратом-хауса будет говорить на хауса. Йоруба завидит йоруба и заговорит на йоруба. Но игбо с игбо — только по-английски. Удивительно, что ты со мной на игбо

толкуешь.

— Так и есть, — сказал Обинзе. — Как ни печально, такое вот наследие побежденного народа. Мы проиграли гражданскую войну и научились стыдиться.

— Да это просто самовлюбленность! — сказал Эдуско, не заинтересовавшись умствованиями Обинзе. — Йоруба своему брату помогает, а вы, игбо? *И га-асиква.*^[240] Ты глянь, какую ты мне цену предлагаешь!

— Ладно, Эдуско, чего б тогда не отдать тебе эту землю за так? Давай я схожу принесу свидетельство о собственности и отдам ее тебе хоть сейчас.

Эдуско расхохотался. Нравился ему Обинзе. Обинзе это видел: представлял себе, как Эдуско обсуждает его с кем-то на сборище других игбо, поднявшихся самостоятельно, людей наглых и настырных, жонглировавших большими предприятиями и поддерживавших громадную родню. «Обинзе *ма ифе,*^[241] — говорил в его фантазии Эдуско. — Обинзе — не как эти бестолковые пацанчики с деньгами. Этот — не дурак».

Обинзе посмотрел на свою почти пустую бутылку «Гулдера».^[242] Странно, как без Ифемелу все теряло блеск, даже вкус любимого пива был иным. Надо было взять ее с собой в Абуджу. Глупое заявление, что ему надо все обдумать, когда он собирался лишь прятаться от истины, которую уже знал. Она назвала его трусом, и в его страхе беспорядка, нарушения того, что ему и нужно-то не было, трусость имелась — его жизнь с Коси, эта вторая кожа, которая никогда толком не сидела на нем уютно.

— Ладно, Эдуско, — сказал Обинзе, внезапно опустошенный. — Не есть же я буду эту землю, если не продам ее.

Эдуско оторопел.

— В смысле, ты согласен на мою цену?

— Да, — ответил Обинзе.

После ухода Эдуско Обинзе звонил и звонил Ифемелу, но та не отвечала. Может, звук выключила, ела в гостиной за столом, в той розовой футболке, которую часто надевала, с дырочкой у ворота и с надписью КАФЕ СЕРДЦЕЕД спереди; соски у нее, когда набрякали, обрамляли эти слова верхними кавычками. Мысль о ее розовой футболке возбудила его. Или, может, читала, лежа в постели, укрывшись шалью из абады,^[243] как одеялом, в простых черных шортиках и больше ни в чем. Все ее трусы были простыми черными шортиками, девчачьи ее веселили. Однажды он подобрал эти шортики с пола, куда забросил их, стащив с ее ног, и увидел

млечную корочку на ластовице, она рассмеялась и сказала: «Хочешь понюхать? Никогда не понимала этого дела — нюхать трусы». А может, сидела с ноутбуком, возилась с блоггом. Или пошла гулять с Раньинудо. Или висит на телефоне с Дике. Или у нее в гостиной, может, какой-нибудь мужчина, и она рассказывает ему о Грэме Грине. От мысли о ней с кем-то еще в нем завозилась тошнота. Конечно же, ни с кем она — не так скоро, во всяком случае. И все же было в ней это непредсказуемое упрямство: она могла так поступить — чтобы насолить ему. Когда в тот первый день она сказала ему: «С другими мужчинами я всегда видела потолок», он задумался, сколько их у нее было. Хотел спросить, но не стал: боялся, что она скажет правду, и эта правда будет вечно его терзать. Ифемелу, разумеется, знает, что он ее любит, но понимает ли она, что поглотила его целиком, что всякий его день заражен ею, заряжен ею, догадывается ли, какую власть имеет над его сном. «Кимберли обожает своего мужа, а ее муж обожает себя. Она бы его бросила, но никогда этого не сделает», — говорила она о женщине, у которой работала в Америке, о женщине с *оби оча*. Слова Ифемелу прозвучали легко, без всякой тени, и все же он уловил в них жжение второго смысла.

Когда она рассказывала ему о своей американской жизни, он слушал с увлеченностью, близкой к отчаянию. Он желал быть частью всего, что она успела сделать, знать каждое чувство, что она пережила. Однажды она сказала ему: «В межкультурных отношениях штука в том, что тратишь прорву времени на объяснения. Со своими бывшими я кучу времени прообъяснялась. Я иногда задумывалась: было бы нам с ними о чем разговаривать, окажись я из их мест», и он обрадовался, услышав это, потому что это придавало их отношениям глубину, свободу от мелочной новизны. Они были из одних и тех же мест, но им все равно было много о чем поговорить.

Как-то раз они беседовали об американской политике, и Ифемелу сказала: «Америка мне нравится. Вот правда, это единственное место, кроме Нигерии, где я могла бы жить. Но однажды мы болтали с компашкой друзей Блейна о детях, и я осознала, что, даже если б они у меня были, я бы не хотела им американского детства. Не хочу, чтоб они говорили “Привет” взрослым, хочу, чтоб говорили “Доброе утро” и “Добрый день”. Не хочу, чтобы они бубнили “Хорошо”, когда у них спрашивают “Как дела?”. Или показывали пять пальцев, когда у них спрашивают, сколько им лет. Я хочу, чтобы они отвечали: “У меня все хорошо, спасибо” и “Мне пять лет”. Не хочу ребенка, который питается похвалами, ждет звездочку за усилия и пререкается со старшими ради самовыражения. Кошмарно консервативно,

да? Друзья Блейна так считают, а для них “консервативный” — самое ужасное обвинение из всех».

Он смеялся, жалея, что его в той «компашке друзей» не было, он хотел, чтобы этот воображаемый ребенок был от него, этот консервативный благовоспитанный ребенок. Сказал ей: «Ребенку стукнет восемнадцать, и он выкрасит волосы в фиолетовый», а она парировала: «Да, но к тому времени я бы уже вытолкала ее из дома».

В аэропорту Абуджи на пути обратно в Лагос он подумал было податься на международный терминал, купить билет в какое-нибудь невероятное место — в Малабо, например. А следом сделался сам себе противен: он так, конечно же, не поступит, а поступит так, как от него ожидают. Коси позвонила, когда он садился в самолет.

— Рейс вовремя? Помнишь, мы идем в ресторан на день рождения Найджела? — спросила она.

— Конечно, помню.

На ее конце — пауза. Это он огрызнулся.

— Извини меня, — сказал он. — У меня дурная головная боль.

— Милый, *ндо*. Я знаю, что ты устал, — сказала она. — До скорого.

Он завершил звонок и подумал о том дне, когда их ребенок, скользкая курчавая Бучи, родилась в больнице Вудлендз в Хьюстоне, как Коси повернулась к нему, пока он все еще возился со своими латексными перчатками, и произнесла, словно бы извиняясь: «Милый, в следующий раз будет мальчик». Он отшатнулся. Понял тогда, что она его не знает. Не знает его вообще. Не знает, что ему все равно, какого пола их ребенок. И ощутил подлинное презрение к ней — за то, что она хочет мальчика, потому что полагалось иметь мальчика, за то, что смогла произнести, едва родив первенца, эти слова: «В следующий раз будет мальчик». Может, надо было больше с ней разговаривать — о ребенке, которого они ждут, и обо всем прочем, потому что хоть они и обменивались приятными звуками, были хорошими друзьями и им было уютно молчать вместе, но толком не разговаривали. Он никогда и не пробовал, поскольку знал: те вопросы, которые задавал жизни он, целиком отличались от ее вопросов.

Он понимал это с самого начала, ощущал в их первых разговорах, после того как один общий знакомый представил их друг другу на чьей-то свадьбе. На ней было атласное платье подружки невесты, ярко-розовое, с глубоким декольте, от которого Обинзе не в силах был отвести взгляд, кто-то произносил тост, описывая невесту как «женщину добродетельную», и Коси пылко кивала и прошептала ему: «Она истинно добродетельная женщина». Его это удивило — что она произнесла слово «добродетельная»

без малейшей иронии, как это бывало в скверно написанных статьях в женских разделах воскресных газет. «Супруга министра — непритязательная добродетельная женщина». И все же он желал ее, бегал за ней с расточительной целеустремленностью. Он никогда не встречал женщин с таким безупречным углом скул, из-за которого все ее лицо казалось таким живым, таким архитектурным, оно приподнималось вместе с ее улыбкой. Он к тому же недавно разбогател — и недавно растерялся: всего неделю назад он был нищим, мыкавшимся по углам на квартире у двоюродного брата, и вот уж у него на счету миллионы найр. Коси стала краеугольным камнем всамделишности. Если ему по силам быть с ней, такой необыкновенно красивой и при этом такой обыденной, предсказуемой, смиренной и приверженной, может, его жизнь начнет казаться убедительно его собственной. Она переехала к нему в дом из квартиры, которую снимала с подругой, расставила свои духи у него на ночном столике — лимонные ароматы, которые связывались у него с домом, уселась рядом с ним в его БМВ, словно эта машина принадлежала ему всегда, и походя предлагала ему поездки за рубеж, словно Обинзе всегда было по карману путешествовать, а когда они вместе принимали душ, она терла его жесткой мочалкой, даже между пальцами ног, пока он не начинал ощущать себя новорожденным. До тех пор, пока Обинзе не овладел своей новой жизнью. Его увлечений она не разделяла — была образованным человеком, которому неинтересно читать, мир ее устраивал, но не будил любопытства, — однако Обинзе был ей признателен, облагодетельствован ею рядом с собой. А затем она сказала, что ее родственники интересуются, каковы его намерения. «Они все спрашивают и спрашивают», — сказала она и подчеркнула это «они», исключая себя саму из этого новобрачного шума. Он распознал ее хитрость — и она ему не понравилась. Но все же он женился на Коси. Они все равно жили вместе, он не был несчастен — и вообразил, что она со временем обретет некий человеческий вес. Не обрела — за четыре года, — только если физический, но от этого, как ему думалось, сделалась еще красивее, свежее, бедра и груди полнее — как хорошо политое домашнее растение.

* * *

Обинзе развеселило, что Найджел решил перебраться в Нигерию, а не просто приезжать время от времени, когда Обинзе нужно было представить

своего белого старшего управляющего. Деньги оказались хороши, Найджел мог теперь жить в Эссексе так, как и вообразить себе прежде не мог, но захотел жить в Лагосе — хотя бы сколько-то. Началось злорадное ожидание, когда Найджелу все это надоест — перечный суп, ночные клубы и выпивка в бунгало на пляже Курамо. Но Найджел не уезжал, сидел у себя в Икойи с домработницей, которая жила в его же квартире, и с собакой. Он больше не говорил «В Лагосе столько аромата», настойчивее жаловался на пробки и наконец перестал страдать по своей последней подруге, девице из Бенуэ^[244] с миленьким личиком и лицемерными прихватами, которая бросила его ради состоятельного ливанского дельца.

— Мужик же совершенно лысый, — говорил Найджел Обинзе.

— Беда с тобой в том, друг мой, что ты слишком легко влюбляешься — и слишком сильно. Любому ясно, что девушка — фальшивка, ждет следующего большого корабля, — увещевал его Обинзе.

— Не говори так, кореш! — возмутился Найджел.

И вот он познакомился с Ульрике, тощей женщиной с угловатым лицом и телом юнца, работавшей в посольстве и всем своим видом сообщавшей, что собирается хандрить весь срок своего назначения. За ужином она протерла приборы салфеткой и лишь потом приступила к еде.

— Вы у себя в стране так не делаете же, правда? — холодно спросил Обинзе. Найджел стрельнул в него оторопелым взглядом.

— Вообще-то делаю, — сказала Ульрике, отвечая ему взглядом в глаза.

Коси похлопала его под столом по бедру, словно успокаивая, и это его раздражило. Найджел его тоже раздражал — тот внезапно заговорил о городских частных домах, которые Обинзе собирался строить, какой яркий у нового архитектора план. Робкая попытка пресечь беседу Обинзе с Ульрике.

— Фантастическая планировка, напомнила мне фотокарточки модных мансард в Нью-Йорке, — сказал Найджел.

— Найджел, я тот план задействовать не буду. Планировка с открытой кухней нигерийцам не подойдет никогда, а мы рассчитываем на нигерийцев, потому что продаем, а не сдаем. Открытые кухни — это для иностранцев, а иностранцы здесь недвижимость не покупают. — Он много раз говорил Найджелу, что нигерийская готовка — не косметическая, со всем ее толчением-колочением. Она потная, пряная, и нигерийцы предпочитают предъявлять конечный продукт, а не процесс.

— Никаких больше разговоров о работе! — жизнерадостно встряла Коси. — Ульрике, а вы пробовали нигерийскую еду?

Обинзе резко встал и ушел в туалет. Позвонил Ифемелу и ощутил, как

звереет от того, что она не снимает трубку. Он винил ее. Он винил ее в том, что это она сделала из него человека, который не целиком владеет своими чувствами.

В туалет пришел Найджел.

— Что такое, кореш?

Щеки у Найджела пунцовели — как всегда, когда он выпивал. Обинзе стоял у раковины, вцепившись в телефон, и его вновь охватывало это опустошенное бессилие. Хотелось все рассказать Найджелу, Найджел, возможно, был единственным другом, кому Обинзе доверял полностью, но Найджелу нравилась Коси. «Она вся такая женщина, кореш», — сказал Найджел как-то раз, и Обинзе углядел в его глазах нежное сокрушенное томление мужчины о том, что для него навеки недостижимо. Найджел выслушал бы его, но не понял.

— Прости, я зря нагрубил Ульрике, — сказал Обинзе. — Просто устал. Похоже, слягу с малярией.

В тот вечер Коси присела рядом с ним, предлагая себя. Не было в этом заявления о страсти — в том, как она ласкала ему грудь, как потянулась и взяла в ладонь его член, — а лишь обетованное подношение. Несколько месяцев назад она сказала, что хочет начать всерьез «стараться сына». Она не сказала «стараться второго ребенка», она сказала «стараться сына», таким вещам их учили в церкви. «Есть сила в слове произнесенном. Требуйте своего чуда». Он вспомнил, как после нескольких месяцев попыток забеременеть впервые она принялась бурчать с обиженной праведностью: «Все мои подруги, живущие в очень суровых условиях, уже беременны».

После рождения Бучи он согласился на благодарственный молебен в церкви у Коси, в зале, запруженном обильно разодетыми людьми — людьми, которые были друзьями Коси, ее породы. А он считал их морем невежественных мужланов, хлопавших в ладоши, раскачивавшихся невежественных мужланов, и все они смотрели в рот и угождали пастору, обряженному в дизайнерский костюм.

— Что такое, милый? — спросила Коси, когда он так и остался вялым в ее руках. — Ты хорошо себя чувствуешь?

— Просто устал.

Волосы ей укрывала черная сеточка, лицо — в креме, пахшем мятой, и ему это всегда нравилось. Он отвернулся от нее. Он отворачивался от нее с того дня, когда впервые поцеловался с Ифемелу. Нельзя сравнивать — но он сравнивал. Ифемелу требовала от него: «Нет, не кончай пока, я тебя урюю, если кончишь». Или: «Нет, детка, не двигайся», а затем впивалась

ему в грудь и двигалась в своем ритме, а когда наконец изгибалась назад и выпускала резкий крик, он чувствовал свершение — он ее удовлетворил. Она рассчитывала на это, а Коси — нет. Коси всегда встречала его прикосновения смиренно, а иногда он воображал, как ее пастор говорит ей, что жена должна заниматься сексом с мужем, даже если ей не хочется, иначе муж найдет утешение в объятиях какой-нибудь Иезавели.

— Надеюсь, ты не заболеваешь, — сказала она.

— Я в порядке.

Обычно он обнимал ее, медленно оглаживал по спине, пока она не засыпала. Но сейчас не мог себя заставить. Сколько раз за прошедшие недели он принимался говорить ей об Ифемелу, но бросал. Что он мог сказать? Выйдет, как в дурацком кино. «Я влюблен в другую женщину». «У меня есть другая». «Я от тебя ухожу». Что подобные слова можно произносить всерьез, не в фильме и не на страницах книги, казалось странным. Коси обвила его руками. Он выпростался, пробормотал, что у него как-то не так с желудком, и ушел в туалет. Она составила новые сухие духи — смесь листочков и семян в пурпурной вазе, на крышке бачка. Чрезмерный лавандовый запах удушил его. Он вытряхнул содержимое вазы в унитаз и тут же раскаялся. Она хотела как лучше. Она не знала, что слишком сильный аромат лаванды покажется ему неприятным, в конце-то концов.

После того как впервые увиделся с Ифемелу в «Джаз-Берлоге», он, вернувшись домой, сказал Коси:

— Ифемелу в городе. Нужно было с ней выпить, — и Коси отозвалась:

— О, твоя подружка из университета, — с безразличием настолько безразличным, что Обинзе в него поверил не целиком.

Зачем он ей сказал? Может, потому что улавливал, уже тогда, всю силу своих чувств и хотел подготовить Коси, донести до нее поэтапно. Но как она могла не видеть, что он изменился? Как она могла не видеть этого у него на лице? Того, сколько времени он проводил у себя в кабинете, как часто отлучался, как поздно являлся домой? Он надеялся — эгоистично, — что это ее оттолкнет, побудит действовать. Но она всегда кивала — легко, покладисто, — когда он говорил ей, что был в клубе. Или у Оквудибы. Однажды сказал, что до сих пор дожидает трудную сделку с новыми арабскими хозяевами «Мегателя», и слово «сделка» произнес походя, будто она уже знала, о чем речь, и она ответила смутными звуками поддержки. Но с «Мегателем» он вообще никак не был связан.

* * *

Наутро он проснулся неотдохнувшим, ум — в накипи громадной печали. Коси уже встала и помылась, сидела перед туалетным столиком, заставленным кремами и снадобьями в таком порядке, что он иногда представлял себе, как подсовывает руки под столик и переворачивает его — просто посмотреть, как разлетятся скляночки.

— Ты мне уже давно омлет не делал, Зед, — сказала она и подошла поцеловать его.

Он сделал ей омлет, поиграл в гостиной с Бучи, а после того как та прилегла, почитал газеты, но все это время мысли его заволакивало печалью. Ифемелу по-прежнему не принимала его звонки. Он поднялся в спальню. Коси разбирала вещи в шкафу. Гора туфель, каблуки торчком, лежала на полу. Он встал в дверях и сказал тихо:

— Я несчастен, Коси. Я люблю другую. Хочу развестись. Я сделаю все, чтобы вы с Бучи ни в чем не нуждались.

— Что? — Она отвернулась от зеркала — глянула на него непонимающе.

— Я несчастлив. — Не так он собирался это все сказать, но и не планировал, что говорить. — Я люблю другую. Я сделаю все...

Она вскинула руку, открытой ладонью к нему, чтобы он прекратил говорить. Ни слова больше, предупреждала ее ладонь. Ни слова больше. И его задело, что она не желает знать больше. Ладонь ее была бледна, едва ли не прозрачна, и он видел зеленоватые перекрестья вен. Она опустила руку. А затем медленно рухнула на колени. Это далось ей легко — коленопреклонение, — она делала это часто, когда молилась в телекомнате наверху, со всеми домработницами, няней и кто бы там еще с ними ни жил. «Бучи, ш-ш», — говорила она между словами молитвы, а Бучи все лопотала на своем детском языке, но в конце Бучи всегда взвизгивала высоким писклявым голоском: «Аминь!» Когда Бучи произносила «Аминь!» — с восторгом, смачно, — Обинзе боялся, что из нее вырастет женщина, какая одним этим словом «Аминь!» будет мозжить вопросы, какие захочет задать миру. И вот теперь Коси пала на колени перед ним, и он не желал понимать, что она делает.

— Обинзе, это семья, — сказала Коси. — У нас ребенок. Ты ей нужен. Ты нужен мне. Нам нужно сохранить семью.

Она стояла на коленях и просила его не уходить, а он жалел, что она не беснуется.

— Коси, я люблю другую женщину. Мне ужасно вот так тебя ранить, и...

— Дело не в женщине, Обинзе, — прервала его Коси, поднимаясь с пола, в голосе появилась сталь, взгляд ожесточился. — А в том, чтобы сохранить эту семью! Ты принес клятву Богу. Я принесла клятву Богу. Я хорошая жена. У нас брак. Ты думаешь, можно разрушить эту семью, потому что приехала твоя старая подружка? Ты знаешь, что такое «ответственный отец»? У тебя ответственность перед ребенком, который внизу! Ты сегодня рушишь ее жизнь и делаешь ее ущербной до конца ее дней! И все из-за того, что твоя подружка из Америки приехала? Потому что у вас акробатический секс, который напомнил тебе университетские деньки?

Обинзе попятился. Она все-таки знала. Он ушел к себе в кабинет и заперся там. Он презирал Коси — за то, что она знала все это время, но делала вид, что не знает, за жижу унижения у себя внутри. Он прятал секрет, который и не секрет вовсе. Многослойная виноватость обременила его — виноватость не только за то, что он ждал, как бы бросить Коси, но и за то, что вообще на ней женился. Но не мог сначала жениться на ней, прекрасно зная, что не стоит этого делать, а теперь, уже с ребенком, желать ее бросить. Она решительно настроилась оставаться замужем, и уж это-то он ей должен — быть с ней в браке. При мысли об этом его пронзила паника: без Ифемелу будущее представлялось беспредельной, безрадостной скукой. И тогда он сказал себе, что все это глупо и театрально. Нужно думать о дочери. И все же, сидя в кресле, он крутнулся — поискать на полке книгу — и ощутил, что уже в бегах.

* * *

Поскольку он ушел к себе в кабинет и спал там на диване, поскольку они больше ничего не сказали друг другу, он решил, что назавтра Коси не захочет идти на крестины к ребенку его друга Ахмеда. Но утром Коси выложила на их кровать свою длинную синюю кружевную юбку, его синий сенегальский кафтан, а между ними — синее с оборками бархатное платье Бучи. Раньше она никогда так не делала — не выкладывала согласованные по цвету наряды для всех троих. Внизу он увидел, что она напекла блинов — толстых, как он любит, выставила на стол к завтраку. Бучи пролила «Овалтин»^[245] на свою столовую подложку.

— Езекия названивает мне, — сказала Коси задумчиво; речь шла о ее двоюродном брате из Авки,^[246] который звонил исключительно попросить денег. — Прислал СМС, пишет, что не может до тебя дорваться. Не понимаю, зачем он прикидывается, будто не знает, что ты не обращаешь внимания на его звонки.

Странно это было — слышать от нее такое. Говорит о том, что Езекия прикидывается, сама же по уши в притворстве: выкладывает кубики свежего ананаса ему в тарелку, словно вчерашнего вечера не бывало.

— Но ты должен сделать для него что-нибудь, хоть самую малость, иначе он не отцепится, — добавила она.

«Сделать для него что-нибудь» означало дать ему денег, и Обинзе вдруг возненавидел склонность игбо применять эвфемизмы всякий раз, когда речь заходила о деньгах, иносказания — ужимки, вместо того чтобы ткнуть пальцем. Найди что-нибудь для этого человека. Сделай что-нибудь для него. Его это бесило. Казалось трусливым, особенно среди людей, которые во всем остальном были ошпаривающе прямолинейны. «Блядский трус» — назвала его Ифемелу. Было что-то трусливое даже в его эсэмэсках и звонках ей: он знал, что она не ответит; мог бы поехать к ее дому, постучать к ней в дверь, пусть даже ради того, чтобы она велела ему уйти. И было что-то трусливое в том, что он не сказал повторно о своем желании развестись, в том, как он положился на легкость, с какой Коси все это отвергла.

Коси взяла кусочек ананаса с его тарелки, съела. Вела себя бестрепетно, целеустремленно, спокойно.

— Возьми папу за руку, — сказала она Бучи, когда они вошли на украшенную территорию дома Ахмеда в тот вечер. Коси желала вернуть нормальность на место.

Она желала воплощать крепкий брак. Она несла подарок, завернутый в серебряную бумагу, — ребенку Ахмеда. В машине сказала ему, что там, но он уже забыл. Среди обширных владений пестрели шатры и буфетные столы, все было зелено и ландшафтно продуманно, с намеком на бассейн в глубине. Играла живая музыка. Носились двое клоунов. Дети плясали и орали.

— У них те же музыканты, что были на празднике у Бучи, — прошептала Коси. Она хотела большой праздник — когда родилась Бучи, и он проплыл сквозь тот день, между ним и праздником — пузырь воздуха. Когда тамада произносил «молодой отец», Обинзе до странного ошарашивало, что тамада имеет в виду его, что он, Обинзе, и есть молодой отец. Отец.

Жена Ахмеда Сике обнимала Обинзе, щипала Бучи за щеки, вокруг толпились люди, воздух полнился смехом. Они повосторгались младенцем, спавшим на руках у очкастой бабушки. И тут до Обинзе дошло, что всего несколько лет назад они ходили по свадьбам, теперь вот — по крестинам, а вскоре начнутся похороны. Все умрут. Умрут, бредя по жизни, в которой не будут ни счастливы, ни несчастны. Он попытался стряхнуть мрачную тень, объявшаю его. Коси забрала Бучи в стайку женщин и детей рядом со входом в гостиную, там играли во что-то, стоя в кругу, в центре — красногубый клоун. Обинзе глядел на дочь — на ее неуклюжую походку, на синюю ленту, усыпанную шелковыми цветочками, обхватывавшую ее голову с густой шевелюрой, как она умоляюще смотрела на Коси, и выражение ее лица напомнило ему о матери. Ему невыносима была мысль, что Бучи вырастет, злясь на него, что ей будет не хватать того, чем он для нее был. Но значимо не то, уйдет он от Коси или нет, а то, как часто он будет видеться с Бучи. Он же останется жить в Лагосе — и сделает все, чтобы видеться с дочкой как можно чаще. Многие растут без пап. Он и сам так, хотя при нем всегда был утешающий дух отца, идеализированный, застывший в радостных детских воспоминаниях. С тех пор как вернулась Ифемелу, он вдруг начал искать истории мужчин, оставивших семью, и желал всякий раз, чтобы эти истории завершались хорошо, чтобы дети расставшихся родителей оказывались довольнее, чем при родителях женатых, но несчастных. Но большинство историй были про обиженных детей, озлобленных разводом, про детей, желавших, чтобы родители жили вместе, пусть и несчастными. Однажды у него в клубе он наострил уши, когда некий молодой человек рассказывал друзьям о разводе своих родителей — как ему полегчало, потому что несчастье их было тяжким. «Их брак просто отрезал путь благословениям в нашей жизни, и, что хуже всего, они даже не ругались».

Обинзе, с другого конца бара, произнес: «Хорошо!» — и притянул к себе всеобщие странные взгляды.

Он все еще наблюдал, как Коси и Бучи беседуют с красногубым клоуном, когда прибыл Оквудиба.

— Зед!

Они обнялись, похлопали друг друга по спинам.

— Как Китай? — спросил Обинзе.

— Ох уж эти китайцы, э. Очень хитрый народ. Короче, предыдущие идиоты в моем проекте подписали с китайцами кучу несуразных сделок. Мы хотели пересмотреть некоторые соглашения, но китайцы — пятьдесят человек приходят на переговоры, притаскивают бумаги и попросту говорят

тебе: «Подпиши тут, подпиши тут!» Замордуют торгом, пока не вынут из тебя все деньги — и кошелек в придачу. — Оквудиба хохотнул. — Пошли наверх. Я слышал, Ахмед там все забил бутылками «Дом Периньон».

Наверху, где располагалось что-то вроде гостиной, тяжелые бордовые гардины оказались задернуты, дневной свет оставлен снаружи, а из середины потолка свисала яркая причудливая люстра, словно свадебный торт из хрусталя. Мужчины сидели вокруг обширного дубового стола, заставленного бутылками вина и чего покрепче, тарелками риса, мяса и салатов. Ахмед метался туда-сюда, раздавал указания обслуге, прислушивался к разговорам, вставлял реплику-другую.

— Богатым плевать на племя. Но чем ниже падаешь, тем племя для тебя значимее, — говорил Ахмед, когда появились Обинзе с Оквудибой. Обинзе нравилась Ахмедова сардоническая натура. Ахмед брал в аренду удачно расположенные крыши в Лагосе: мобильных компаний прибывало, и он теперь сдавал крыши для их станций и зарабатывал, как он сам ехидно говаривал, единственные чистые легкие деньги в стране.

Обинзе пожал руки гостям — со многими он был знаком — и попросил прислугу, молодую женщину, поставившую перед ним бокал, можно ли ему колы. Алкоголь погрузит его в трясину еще глубже. Он прислушался к беседам вокруг, к шуткам, подначкам, байкам и пересказам. А затем все начали — Обинзе знал, что так оно в конце концов и будет, — критиковать правительство: воруют, контракты не исполняют, инфраструктуру забросили гнить.

— Слушайте, в этой стране быть чиновником с чистыми руками очень непросто. Все устроено так, чтобы ты воровал. И, что хуже всего, люди хотят, чтобы ты воровал. Твои родственники хотят, твои друзья, — сказал Олу. Тощий, сутулый, скорый на похвальбу, какая прилагалась к его наследственному богатству, к знаменитой фамилии. Однажды ему вроде бы предложили пост министра, и он ответил, согласно городским байкам: «Но я не могу жить в Абудже, там нет воды, я не выдержу без своих яхт». Олу развелся с женой Моренике, университетской подругой Коси. Он часто донимал Моренике, лишь самую малость располневшую, чтобы похудела, чтобы подогревала в нем интерес к себе, оставаясь стройной. Пока шел развод, Моренике обнаружила заначку порнографических картинок на домашнем компьютере — сплошь безразмерные женщины, руки и животы в валиках жира — и пришла к выводу, а Коси согласилась, что у Олу — духовный крах. «Почему все должно быть духовным крахом? У человека фетиш такой, да и все», — сказал Обинзе Коси.

Теперь же Обинзе смотрел на Олу с пытливым весельем: поди знай

людей.

— Беда не в том, что чиновники воруют, а в том, что воруют слишком много, — сказал Оквудиба. — Вы гляньте на губернаторов. Бросают свой штат, приезжают в Лагос скупить все земли подряд и не прикасаются к ним, пока не уйдут с поста. Вот почему нынче никому не под силу купить землю.

— Так и есть! Земельные спекулянты просто портят цены для всех. А спекулянты — ребята из правительства. В этой стране у нас серьезные неполадки, — сказал Ахмед.

— Но не только же в Нигерии. Земельные спекулянты — они всюду в мире, — сказал Езе. Езе был самым богатым человеком в этой гостинной, хозяин нефтяных скважин, и, как и многие нигерийские богатеи, нисколько не тревожился — самозабвенно счастливый человек. Он коллекционировал искусство — и всем докладывал, что его коллекционирует. Что напоминало Обинзе мать его друга, тетю Чинело, преподавателя литературы, которая вернулась из краткой поездки в Гарвард и сказала матери Обинзе за ужином у них в гостинной: «Беда в том, что у нас в стране очень отсталая буржуазия. Деньги у них есть, а утонченности недостает. Им надо начать разбираться в винах». На что мама мягко ответила: «Быть нищим в этом мире можно очень по-разному, но все больше кажется, что быть богатым можно только одним способом». Потом, когда тетя Чинело ушла, мама сказала: «Чушь какая. Зачем им разбираться в винах?» Обинзе это поразило — им нужно разбираться в винах — и в некотором смысле разочаровало: ему тетя Чинело всегда нравилась. Он вообразил, как кто-то говорит Езе нечто подобное — «тебе надо коллекционировать искусство», — и человек ринулся за искусством с пылом выдуманного увлечения. Всякий раз, когда Обинзе сталкивался с Езе и слушал его путанные речи о коллекции, его подмывало посоветовать Езе раздать все накопленное и освободиться.

— Цены на землю для таких, как ты, Езе, — не беда, — сказал Оквудиба.

Езе посмеялся — смех самодовольного согласия. Он снял свой красный клубный пиджак и повесил его на спинку стула. Он держался — во имя моды — на грани пижонства: всегда носил основные цвета, а пряжки у него на ремнях все сплошь были крупные и броские, как торчащие зубы.

На другом краю стола вещал Меккус:

— Представляете, мой шофер говорил, что сдал ЗАЭС, а я тут давеча велел ему составить список, так он писать не умеет вообще! Ни «мальчик» не знает, как пишется, ни «кот»! Красота!

— Кстати, о шоферах. Мой друг рассказывал мне тут, что его шофер — экономический гомосексуал, что он волочитя за мужчинами, которые ему платят, а у самого при этом жена и дети дома, — сказал Ахмед.

— Экономический гомосексуал! — повторил кто-то под всеобщий хохот. Чарли Бомбей, похоже, особенно развеселился. У него было грубое исшрамленное лицо, такие люди чувствуют себя в своей тарелке в компании шумных мужчин, едят перченое мясо, пьют пиво и смотрят «Арсенал».

— Зед! Ты сегодня очень тихий, — сказал Оквудиба, уже на пятом бокале шампанского. — *Ару адиква?*^[247] Обинзе пожал плечами.

— Все в порядке. Просто устал.

— Да Зед вечно тихий, — сказал Меккус. — Он джентльмен. Не потому ли он пришел с нами посидеть? Человек читает стихи и Шекспира. Настоящий англичанин. — Меккус громко рассмеялся над своей же нешуткой. В университете он блестяще разбирался в электронике, чинил дисковые проигрыватели, считавшиеся безнадежными, а домашний компьютер Обинзе впервые в жизни увидел у Меккуса. Тот окончил вуз и уехал в Америку, но вскоре вернулся, очень скрытный и очень богатый — поговаривали, благодаря могучим махинациям с кредитными карточками. Его дом был нашпигован камерами наблюдения, а охрана снабжена автоматами. Ныне, при любом упоминании Америки в разговоре Меккус заявлял: «Знаешь, после того дельца, что я в Америке провернул, мне туда ходу нет», словно желая заглушить преследовавшие его шепотки.

— Да, Зед — серьезный джентльмен, — сказал Ахмед. — Представляете, Сике спрашивала меня, не знаю ли я кого-нибудь вроде Зеда, — познакомить с ее сестрой? Я ответил: а, а, ты не на таком, как я, сестру свою женить хочешь, а ищешь кого-то вроде Зеда, ну как такое-о!

— Нет, Зед помалкивает не потому, что он джентльмен, — сказал Чарли Бомбей, с этой своей оттяжечкой, с густым акцентом игбо, добавляя лишние слоги к словам, уже приняв полбутылки коньяка, которую собственнически установил перед собой. — А потому что хочет, чтобы никто не знал, сколько у него денег!

Все посмеялись. Обинзе всегда думалось, что Чарли Бомбей лупит жену. Оснований так считать не было никаких: Обинзе ничего не знал о личной жизни Чарли Бомбея, никогда не видел его жену. И все же, когда б ни встречал Чарли, представлял себе, как тот бьет жену — толстым кожаным ремнем. Казалось, его переполняет жестокость, этого вальяжного, могущественного человека, этого «крестного отца», оплатившего предвыборную кампанию своему губернатору и теперь державшего

монополию почти во всех сферах дел у себя в штате.

— Не обращайтесь внимания на Зеда, он думает, будто мы не знаем, что он владеет половиной земель в Лекки, — сказал Езе.

Обинзе выдал обязательный смешок. Вытащил телефон и быстро написал Ифемелу: «Пожалуйста, поговори со мной».

— Мы не представлены, я Дапо, — сказал мужчина, сидевший по другую сторону от Оквудибы, и потянулся к Обинзе — рьяно пожать ему руку, словно Обинзе вдруг обрел бытие. Обинзе вяло принял протянутую ладонь. Чарли Бомбей упомянул о богатстве Обинзе, и тот внезапно сделался интересен Дапо.

— Вы и нефтью занимаетесь? — спросил Дапо.

— Нет, — коротко ответил Обинзе. Он слышал обрывки предыдущих разговоров Дапо, о его работе в нефтяном консалтинге, о детях в Лондоне. Дапо, вероятно, из тех, кто засунул жену с детьми в Англию, а сам вернулся в Нигерию — гоняться за деньгами.

— Я вот говорил, что нигерийцы, вечно жалующиеся на нефтяные компании, не понимают, что экономика без этих компаний рухнет, — сказал Дапо.

— У вас полная путаница в голове, если вы считаете, что нефтяные компании делают нам одолжение, — сказал Обинзе. Оквудиба бросил на него оторопелый взгляд: холодность тона — совсем не в характере Обинзе. — Нигерийское правительство, по сути, финансирует нефтяную промышленность наличными вливаниями, а большая нефтянка все равно планирует сворачивать работу на суше. Они хотят оставить ее китайцам и сосредоточиться на шельфовой добыче. Это ж параллельная экономика: шельф оставить себе, вкладываться только в высокотехнологичное оборудование, качать нефть с глубины в тысячи километров. Никаких местных рабочих. Нефтяников привозят из Хьюстона и из Шотландии. Словом, нет, одолжения они нам не делают.

— Да! — воскликнул Меккус. — И они все — быдло, шваль. Все эти подводники-бурильщики, и глубоководные ныряльщики, и люди, которые умеют чинить обслуживающих роботов под водой. Шваль и быдло, все поголовно. Вы бы видели их в зале «Британских авиалиний». Они месяц торчат на вахте без всякого алкоголя, а когда добираются до аэропорта, то уже в сопли пьяные и на рейсе ведут себя как идиоты. У меня двоюродная работала стюардессой, так она рассказывала: дошло аж до того, что авиакомпания вынуждена была заставлять этих людей подписывать бумаги насчет питья, иначе их не брали на борт.

— Но Зед не летает «Британскими авиалиниями», откуда ему знать, —

сказал Ахмед. Он как-то раз посмеялся над отказом Обинзе летать «Британскими авиалиниями», потому что ну все серьезные ребята летают только ими.

— Пока я был обычным для экономики человеком, «Британские авиалинии» обращались со мной как с дерьмом при поносе, — сказал Обинзе.

Мужчины рассмеялись. Обинзе надеялся, что у него задребезжит телефон, и эта надежда ему натирала. Встал.

— Мне бы в туалет.

— Прямо вниз, — сказал Меккус.

Оквудиба проводил его.

— Я домой, — сказал Обинзе. — Вот только найду Коси и Бучи.

— Зед, о гини? Что такое? Просто усталость?

Они стояли на изгибавшейся лестнице, отороченной причудливой балюстрадой.

— Ты же знаешь, Ифемелу вернулась, — сказал Обинзе, и одно лишь имя ее согрело его.

— Знаю. — Оквудиба подразумевал, что знает больше.

— Все серьезно. Я хочу жениться на ней.

— А, а, ты заделался мусульманином, а нам не сообщил?

— Окву, я не шучу. Вообще не надо было жениться на Коси. Я знал это уже тогда.

Оквудиба глубоко вдохнул и выдохнул, словно изгоняя алкоголь.

— Слушай, Зед, многие из нас не женились на женщинах, которых по-настоящему любили. Мы женились на женщинах, которые были под рукой, когда мы изготавились жениться. Выброси-ка из головы. Можешь с ней встречаться, но зачем вот эти прихваты белых? Если у твоей жены ребенок не от тебя или если ты ее бьешь — это повод для развода. Но встать и сказать, что у тебя никаких трудностей с женой, просто ты уходишь к другой? Хаба. Мы так не ведем себя, я тебя умоляю.

Коси и Бучи стояли у подножия лестницы. Бучи плакала.

— Она упала, — сказала Коси. — Сказала, пусть папа понесет.

Обинзе принялся спускаться.

— Буч-Буч! Что стряслось?

Не успел он дойти до нее, дочь уже вытянула руки — ждала его.

Глава 55

В один прекрасный день Ифемелу увидела танец самца павлина, перья распахнуты исполинским нимбом. Самочка стояла рядом, поклевывая что-то на земле, а затем, чуть погодя, ушла, безразличная к великому блеску перьев. Самец, казалось, пошатнулся — возможно, под грузом перьев или же отвержения. Ифемелу сделала снимок для блога. Задумалась, что увидит в этом снимке Обинзе, — помнила, как он однажды спросил, видела ли она танец самца. Воспоминания о нем так легко заполняли ее мысли: посреди переговоров в рекламном агентстве ей вдруг приходило на ум, как Обинзе выщипывал пинцетом вросший волос у нее на подбородке, она лежала, задрав лицо, на подушке, а он был так близок, так внимателен в осмотре. Любое воспоминание ошарашивало ее своей ослепительной лучезарностью. Любое несло с собой ощущение неустрашимой утраты, громадная тяжесть мчалась на Ифемелу, и ей хотелось увернуться, пригнуться так, чтобы миновало ее, чтобы могла она спастись. Любовь была своего рода горем. Вот что романисты имели в виду под страданием. Ей часто казалось, что глупая это мысль — страдания от любви, но теперь усвоила ее сама. Она тщательно избегала улицы на Виктории, где был его клуб, больше не ходила за покупками в «Пальмы» и представляла себе, что он тоже обходит стороной ее часть Икойи, держится подальше от «Джаз-Берлоги». Больше она на него не натыкалась.

Сперва она крутила «Йори-Йори» и «Оби му о» беспрестанно, а потом бросила: эти песни несли ей воспоминания о безвозвратности, словно панихида. Ее ранила вялость его эсэмэсок и звонков, безволие попыток. Он любил ее, она не сомневалась, но не хватало ему некоей силы: хребет размяк от обязательств. Когда она опубликовала пост, написанный после визита в компанию Раньинудо, о том, как государство разрушает сараи лоточников, анонимный комментатор написал: «Как стихи». И она знала, что это он. Знала, и всё.

Утро. Грузовик, государственный грузовик, останавливается рядом с высоким конторским зданием, рядом с сараями лоточников, высыпают люди, они долбят, крушат, ровняют с землей и топчут. Они уничтожают сараи, превращают их в плоские кучи досок. Они выполняют свою работу, несут на себе этот «снос», как деловой костюм с иголки. Они сам и едят

в таких сараях, и если все уличные торговцы исчезнут из Лагоса, то работяги останутся без обеда, им больше ничего не по карману. Но они крушат, топчут, бьют. Один лупит женщину — она не схватила свой котелок и пожитки и не убежала. Она не двигается с места и пытается с ними договориться. А затем лицо у нее горит от оплеухи, она смотрит, как ее печенье хоронят в пыли. Глаза возносятся к линиялому небу. Она не знает, что будет делать, но что-то предпримет, она соберется, поднатужится и отправится куда-нибудь еще — продавать свою фасоль, рис и спагетти, разваренные едва ли не в кашу, свою колу и печенье.

Вечер. Рядом с высоким конторским зданием вянет дневной свет, ждут автобусы для персонала. Женщины идут к автобусам, на них шлепанцы без каблучков, они рассказывают медлительные пустяковые истории. Туфли на высоких каблуках они несут в сумках. У одной женщины из незастегнутой сумочки каблук торчит тупым кинжалом. Мужчины направляются к автобусам поспешнее. Они проходят под купой деревьев, где всего несколько часов назад располагалось место пропитания лоточников. Здесь шоферы и курьеры покупали себе обед. Но теперь сараев нет. Их стерли с лица земли, и ничего не осталось, ни единой потерявшейся обертки от печенья, ни бутылки, в которой когда-то была вода, — ничего, напоминающего о том, что здесь было.

Раньинудо подталкивала ее чаще выходить в свет, встречаться.

— Обинзе всегда был несколько понтоват, как ни крути, — сказала Раньинудо, и хотя Ифемелу понимала, что Раньинудо просто пытается ее утешить, все равно оторопела: не все поголовно, как сама она, считали Обинзе почти безупречным.

Она сочиняла посты для блога и думала, как он их воспримет. Она писала о модном показе, на котором побывала, о том, как модель кружилась в юбке из анкары, ^[248] живым росчерком синего и зеленого, похожая на надменную бабочку. Писала о женщине на углу улицы на Виктории, которая с удовольствием произнесла: «Ладная тетенька!» — когда Ифемелу остановилась купить яблок и апельсинов. Писала о видах из окна своей спальни: о белой цапле, нахохлившейся на стене владений, уставшей от жары; о привратнике, помогавшем лоточнице поднять поднос на голову, — жестом, столь исполненным изящества, что Ифемелу все стояла и смотрела уже после того, как лоточница скрылась из виду. Писала о дикторах на

радио, про их акценты — фальшивые и смешные. Писала о склонности нигерийских женщин давать советы, искренние, пышущие нравоучением. Писала о затопленных районах, забитых оцинкованными лачугами, крыши — сплюснутые шляпы; о молодых женщинах, обитавших там, модных и знающих толк в тугих джинсах, их жизнь упрямо приправлена надеждой: они стремились открыть свои парикмахерские, поступить в университет. Они верили, что их время настанет. «Мы всего в одном шаге от этой жизни в трущобах, все мы, ведущие жизнь среднего класса под кондиционерами», — писала Ифемелу и гадала, согласится ли с ней Обинзе. Боль его отсутствия со временем не умалилась, наоборот: казалось, она проникала все глубже с каждым днем, будила в ней воспоминания все яснее. Но Ифемелу обрела покой: быть дома, писать к себе в блог, открывать Лагос заново. Наконец-то она полностью погрузилась в бытие.

* * *

Она обратилась к прошлому. Позвонила Блейну — поздороваться, рассказать ему, что всегда считала его слишком хорошим, слишком чистым для себя, а он разговаривал неловко, словно недовольный ее звонком, но в конце сказал:

— Рад, что ты позвонила.

Она позвонила Кёрту — голос у него был бодрый, он бурно обрадовался ее звонку, и она представила, как они возвращаются друг к другу, их отношения без всякой глубины и боли.

— Это ты мне слал громадные суммы денег за блог? — спросила она.

— Нет, — сказал Кёрт, однако она колебалась, верить ему или нет. — Ты все еще ведешь блог?

— Да.

— На тему рас?

— Нет, просто о жизни. Раса тут неприменима. У меня такое ощущение, что я вышла из самолета в Лагосе и перестала быть черной.

— Точняк.

Она и забыла, до чего по-американски он общается.

— Со всеми остальными не так было, — сказал он. Услышав это, она порадовалась. Он позвонил ей поздно ночью по нигерийскому времени, и они поболтали о том, чем вместе занимались когда-то. Воспоминания теперь казались отполированными. Он смутно намекал, что приедет к ней в

гости в Лагос, она отвечала смутными звуками согласия.

Однажды вечером, когда она зашла с Раньинудо и Земайе в «Терра Культуру»^[249] посмотреть спектакль, наткнулась там на Фреда. Они уселись все вместе в ресторане, попить смузи.

— Приятный парень, — прошептала Раньинудо Ифемелу.

Поначалу Фред трепался, как и прежде, о музыке и искусстве, весь вызался в улыбки от нужды произвести впечатление.

— Вот бы узнать, какой ты, когда ничего из себя не строишь, — сказала Ифемелу.

Он хохотнул.

— Приходи на свидание — узнаешь.

Повисло молчание, Раньинудо с Земайе смотрели на Ифемелу выжидательно, и ее это развеселило.

— Приду.

Он отвел ее в ночной клуб, а когда она сказала, что ей скучно от слишком громкой музыки, от дыма и от едва одетых чужих людей слишком близко от нее, он растерянно ответил, что ему тоже ночные клубы не нравятся, он просто счел, что они милы ей. Они смотрели вместе кино у нее дома, а потом — у него на квартире в Ониру,^[250] где по стенам висели картины с арками. Ее удивило, что им нравятся одни и те же фильмы. Его повар, утонченный мужчина из Котону, делал любимившуюся ей арахисовую похлебку. Фред играл ей на гитаре и пел хрипловатым голосом, рассказывал, что мечтал быть вокалистом в какой-нибудь фолковой группе. Он был миловиден — такой привлекательностью проникаешься постепенно. Он ей нравился. Он часто поправлял очки маленьким тычком пальца, и она считала это очаровательным. Они лежали у нее на кровати нагие, разморенные, теплые, и она жалела, что все не так, не иначе. Вот бы почувствовать то, что ей хотелось.

* * *

И тут, дремотным воскресным вечером, через семь месяцев после их окончательного разговора, на пороге ее квартиры возник Обинзе. Она воззрилась на него.

— Ифем, — произнес он.

До чего же ошеломительно было видеть его, эту выбритую голову и прекрасную нежность лица. Глаза у Обинзе горели, грудь ходила ходуном

от тяжелого дыхания. В руках был длинный лист бумаги, испещренный мелкими записями.

— Я писал это для тебя. Вот то, что я бы хотел знать на твоём месте. О чем я думал. Я все записал.

Он подал ей листок, все еще дыша надсадно, а она все стояла и руки к бумаге не протянула.

— Я знаю, можно было бы принять все, чем мы не можем друг другу быть, и даже превратить это в поэтическую трагедию наших жизней. А можно действовать. Я хочу действовать. Коси — хорошая женщина, а мой брак — такое вот текучее благолепие, но мне не надо было на ней жениться. Я всегда знал, что чего-то не хватает. Я хочу растить Бучи, хочу видеться с ней каждый день. Но я все эти месяцы притворялся, и однажды она достаточно повзрослеет, чтобы понять, что я притворяюсь. Сегодня я съехал из дома. Поживу пока у себя в квартире в Парквью, надеюсь видеться с Бучи ежедневно, если получится. Знаю, я слишком долго протянул, понимаю, что ты двинулась дальше, и я полностью отдаю себе отчет, что ты сомневаешься и тебе нужно время.

Он примолк, помялся.

— Ифем, я за тобой бегаю. И собираюсь бегать, пока ты не дашь нам попробовать.

Она смотрела на него, долго-долго. Он говорил то, что она хотела услышать, но все равно продолжала смотреть.

— Потолок, — сказала она наконец. — Заходи.

Благодарности

Моя глубочайшая признательность — моей семье, читавшей черновики, рассказывавшей мне истории и приговаривавшей «джиси ике», ^[251] когда мне необходимо было это услышать; семья чтит мою потребность в пространстве и времени и ни разу не поколебалась в этой странной и прекрасной вере, рожденной от любви: Джеймз и Грейс Адичи, Ивара Есеге, Иджеома Мадука, Уче Сонни-Эдупута, Чукс Адичи, Оби Мадука, Сонни Эдупута, Тинуке Адичи, Кене Адичи, Окей Адичи, Ннека Адичи Океке, Оге Икемелу и Уджу Эгону. Три милейших человека подарили этой книге столько времени и мудрости: Ике Анья, *ойи ди канванне*,^[252] Луи Эдозиен и Чинакуэзе Оньемелукве.

За ум и замечательную щедрость при чтении рукописи, местами — не по одному разу, за возможность увидеть моих персонажей их глазами, за то, что говорили мне, где получилось, а где — нет, я благодарна дорогим друзьям: Аслаку Сире Михре, Биньяванге Вайнайне, Чиоме Околи, Дэйву Эггерзу, Мухтару Бакаре, Рейчел Силвер, Ифеачо Нвоколо, Ким Нвосу, Колуму Маккэнну, Фунми Ийянде, Мартину Кеньону (любимому педанту), Аде Эчетебу, Танди Ньютон, Сими Досекун, Джейсону Каули, Чиназо Анье, Саймону Уотсону и Дуэйну Беттсу.

Благодарю редактора Робина Дессера из «Нопфа»; Николаса Пирсона, Минну Фрай и Мишель Кейн из «Форт Эстейт»; персонал агентства Уайли, особенно Чарлза Бьюкэна, Джеки К° и Эмму Пэттерсон; Сару Чэлфэнт, друга и агента — за незыблемое ощущение безопасности; и Гарвардский Рэдклиффский институт углубленных исследований — за кабинетик, залитый светом.

Примечания

1

Отсылка к Июнемнадцатому (Juneteenth), или Дню независимости, или Дню свободы. Отмечается в 45 американских штатах как годовщина объявления отмены рабства в Техасе (19 июня 1865 г.) и в целом освобождения рабов-афроамериканцев.

2

Район Бруклина.

3

Университет Ратгерз (с 1766) — государственный исследовательский университет США, крупнейшее высшее учебное заведение штата Нью-Джерси.

4

Три! Пять! Нет, нет, пять! (*искаж. фр.*) — *Здесь и далее примеч. перев.*

5

Джин Тумер (1894–1967) — афроамериканский поэт и романист, значимая фигура Гарлемского ренессанса (1920–1930-е гг.) и модернизма; «сape» (1923) считается главным романом Тумера.

6

Нигерийская массовая киноиндустрия (*разг.*).

7

О — усилительная частица в конце слова (с оттенком экспрессии) в устной речи нигерийцев.

8

Как поживаешь? (избо)

9

1 доллар США = ок. 150 нигерийских найр (курс 2010–2011). 1 найра = 100 кобо.

10

От «огаранья» (*избо*) — богатый человек, босс.

11

Столица штата Лагос.

12

Maltina (с 1976) — безалкогольный напиток, выпускается нигерийской компанией «Нигерийские пивоварни» (с 1946).

13

Третий материковый мост — самый протяженный из трех мостов, связывающих остров Лагос с континентом.

Улица К. О. Мбадиве — одна из центральных улиц фешенебельного острова Виктория, делового и финансового центра Лагоса. Кингзли Озумба Мбадиве (1915–1990) — нигерийский националист, политик, государственный деятель, министр.

Шоссе Лекки-Эпе — продолжение улицы Мбадиве, магистраль, соединяющая остров Виктория с полуостровом и районом Лагоса Лекке.

Cartoon Network (с 1992) — американский телеканал в составе корпорации «Тайм Уорнер», транслирующий анимационные фильмы, ныне крупнейший в мире детский канал.

Здесь: Красавица! Орлица! (игбо). Орел в традиции игбо символизирует чистоту, силу и благородство.

Фешенебельный район острова Виктория.

19

Что? Что такое? (*избо*)

Здесь: Жесткий, оборотистый (*нигер. пиджин*).

21

Чудесно, восхитительно (*избо, ирон.*).

«No One Knows» (2007) — песня нигерийско-французской певицы Аши, с альбома «Asa» (2007).

Сани Абача (1943–1998) — нигерийский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант, с 1990 г. — министр обороны, с 1992-го — вице-президент Нигерии, с 1993-го, после организованного им переворота, — председатель Временного правящего совета и Федерального исполнительного совета; во время его правления за многочисленные нарушения прав человека против Нигерии были введены санкции, членство в Содружестве наций приостановлено.

Ибрагим Бабангида (р. 1941) — нигерийский государственный деятель, глава государства с 1985 по 1993 г., генерал; отменил результаты формально либеральных и демократических выборов 1993 г., далее проводил политику массовых чисток и стравливания между собой разных этнических групп внутри страны.

Мэтью Олусегун Арему Обасанджо (р. 1937) — президент Нигерии в 1976–1979 и 1999–2007 гг., обвинялся в нескольких масштабных противозаконных внутривполитических распоряжениях на высшем уровне, приведших к гибели сотен мирных жителей страны.

Белый человек, не имеющий отношения к африканской культуре
(нигер. *пиджин*).

Традиционный суп игбо из листьев вероники, мясного и рыбного ассорти, раков, пальмового масла, кукурузы и специй.

Нсукка — город к северу от Лагоса, в штате Энугу.

Школы Сидкот — британские независимые школы-интернаты, первая основана квакерами в Северном Сомерсете в 1699 г.

Котону — финансовый центр и крупнейший город Бенина.

Искусственный остров и район внутри Лагоса.

Острые шашлычки, популярное в Западной Африке блюдо.

Портовый район в материковой части Лагоса.

Искупленная христианская церковь Божья, Дом Давидов (с 1952) — международная христианская пятидесятническая церковь, основанная в Нигерии.

Фела Кути (Олуфела Олусегун Олудотун Рансо́ме-Кути, 1938–1997) — нигерийский мультиинструменталист, музыкант, композитор, один из основателей афробита.

Из песни «Sorrow, Tears, and Blood» (1977) с одноименного альбома.

Кристофер Джордж Латор «Бигги» Уоллес (1972–1997) — американский хип-хоп-музыкант, продюсер, один из «отцов» хип-хопа. Уоррен Гриффин III (р. 1971) — американский рэпер Западного побережья. Андре Ромелл «Доктор Дре» Янг (р. 1965) — рэпер, продюсер, один из «отцов» джи-фанка (вместе с Уорреном Дж; они сводные братья). Снуп Догг (Калвин Кордосар Бродэс-мл., р. 1971) — американский рэпер, продюсер, актер.

Асо-Рок — крупный скальный монолит на периферии города Абуджа, столицы Нигерии; нигерийский Президентский комплекс, Национальная ассамблея и Верховный суд страны размещаются у его подножия.

Нигерийское телевизионное ведомство, главный государственный телевизионный канал Нигерии (с 1977); в начале существования у НТВ была монополия на телевидение в стране.

40

Здесь: быстро (*избо*).

41

Отсылка к Уголовному кодексу Нигерии, часть VI, раздел 419: незаконное (мошенническое) обогащение. В разговорном обиходе так начали именовать высокопоставленных мошенников во времена правления генерала Бабангиды (в 1980-х гг.).

Ибадан — город на юго-западе Нигерии, третий по численности в стране; Ибаданский университет — старейший в стране и лучший в части континента южнее Сахары, основан в 1948 г., организован в традиции британского высшего образования.

«Robb» (бальзам) — препарат для ингаляций, помогает от заложенности носа, простуд, кашля; состав (в виде солей): камфара, ментол, эвкалиптовое масло, масло кедрача, метилсалицилат. Популярен в Нигерии уже более 50 лет, исходный рецепт — китайского происхождения.

Самый богатый район Лагоса, расположен на восточной оконечности о. Лагос.

Из песни «Another Sad Love Song», сингла, а затем трека с альбома американской поп- и соул-певицы Тони Брэкстон (р. 1967) «Tony Braxton» (1993).

Импринт (с 1971) канадского издательства «Арлекин» (осн. 1949), прежде — самостоятельное британское издательство (осн. 1908), специализировавшееся на «дамских» любовных романах.

Джеймс Хедли Чейз (Рене Брабазон Реймонд, 1906–1985) — британский прозаик, автор почти сотни детективов; «Miss Shumway Waves a Wand» (1944), «Want To Stay Alive?..» (1971).

Здесь: да ладно (разг., избо).

49

Устойчивое нигерийское жаргонное наименование богатых
привередливых людей.

«Сказание о старом мореходе» («The rime of the Ancient mariner», 1797–1799) — поэма английского поэта Сэмюэла Коулриджа.

51

Правда? Верно? (*нигер. пиджин*).

«The Cosby Show» (1984–1992) — американский комедийный сериал на телеканале NBC; Лиза Мишель Боне (р. 1967) — афроамериканская актриса. «Angel Heart» (1987) — американский детектив и фильм ужасов, реж. Алан Паркер. «The Fresh Prince of Bel-Air» (рус. прокатное название «Принц из Беверли-Хиллз», 1990–1996) — американский комедийный сериал на телеканале NBC.

Впрочем (*нигер. пиджин*).

Онъека Онвену (р. 1952) — нигерийская певица, автор песен, актриса, журналистка, политический деятель. «In The Morning Light» — альбом 1984 г.

Распространенное в Западной Африке блюдо, готовится из клубней маниоки.

Грэм Грин (1904–1991) — английский прозаик, сотрудник британской разведки (в 1940-х); «The Heart of the Matter» (1948).

«Indomie» (с 1972) — индонезийская марка лапши быстрого приготовления, в широкой продаже в т. ч. и в Нигерии.

Здесь: Погоди (*избо*).

Одна из центральных улиц о. Лагос.

60

Микрорайон на о. Лагос.

«Star» (1949) — одна из старейших марок нигерийского пива.

Ну и ну; вот это да; ух ты (*нигер. пиджин*).

Имеется в виду Ураза-байрам, праздник окончания поста в месяц Рамадан; Салла (Маленькая Салла) — название этого праздника на языке хауса, так его именуют, в частности, в Нигерии.

Джоллоф — рис, приготовленный с томатной пастой, распространенное блюдо в странах Западной Африки, исходно — с территории Сенегала. Суп эгуси — густой суп-пюре на основе сушеных и молотых семян тыквенных растений.

65

Болван, тупица (*нигер. пиджин*).

Район в континентальной части Лагоса.

«Just Juice» — марка дорогого сока новозеландской компании «Фрукор» (осн. 1962).

Прости, извини (*избо*).

Один из вариантов названия просторного африканского одеяния в виде прямого платья до щиколоток с очень большими проймами, без вшитых рукавов.

70

Я беременна (избо).

71

Сравнительно небольшой город в Средней Нигерии (в глубине страны).

Джон Пеппер Кларк (р. 1935) — нигерийский поэт, драматург и публицист.

Единая приемная комиссия (с 1978) — учреждение, отвечающее в Нигерии за прием в высшие учебные заведения страны.

Я тебя умоляю; пожалуйста (*избо*).

75

Один из учебных корпусов Нсуккского университета.

Мототакси, распространенные в Нигерии.

«Mentholatum» (с 1894) — бальзам от кашля, разработанный одноименной американской компанией.

Нигерийская телефонная компания.

79

Слышишь? *(избо)*

Университет Обафемии Аволово — государственный вуз федерального уровня, расположен в древнем городе Иле-Ифе, к северу от Ибадана. Обафемии Аволово (1909–1987) — нигерийский политик, традиционный вождь йоруба, один из создателей Конгресса профсоюзов Нигерии (1943), позже основал политическую партию «Группа действия».

SAT reasoning Test (Scholastic Aptitude Test, Scholastic Assessment Test) — стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения США.

Общество св. Викентия де Поля (с 1833) — международное католическое движение, занято благотворительной деятельностью, основано юристом и преподавателем Сорбонны блаженным Фредериком Озанамом (1813–1853). Св. Викентий де Поль (1581–1660) — католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

Ультрасовременный торговый центр, расположенный в Йабе, небольшом городе в предместьях материковой части Лагоса.

Популярная в Нигерии марка мясных продуктов и полуфабрикатов.

Ты закончил? *(избо)*

«Rugrats» (рус. прокатное название «Ох уж эти детки!», «Неугомонные детки», 1991–2004) — мультсериал на телеканале Nickelodeon. «Franklin» (1997–2004) — квебекский мультипликационный сериал, основанный на книгах Полетт Буржуа, на телеканале nickelodeon.

Энид Мэри Блайтон (1897–1968) — британская писательница, автор множества книг для детей и юношества.

«A Different World» (1987–1993) — американский комедийный телесериал на телеканале NBC, спин-офф «Шоу Козби».

Маленький город значительно севернее Лагоса, но все еще на юге страны.

Алхаджа Кудират Абиола (1951–1996) была убита, когда ее супруг Мошуд Абиола победил на выборах и вскоре после был задержан по приказу правительства Нигерии.

Судя по всему, речь о реально существующем портале «The Nigerian Village Square» (<http://www.nigeriavillagesquare.com/>, с 2003).

Так в Филадельфии называется дёнер-кебаб, от греч. *gyros*.

Под «колледжем Уэллсона» скрывается Университет Дрекслея (с 1891), частный исследовательский университет в Филадельфии.

Не имеющее самостоятельного смысла междометие, характерное для лагосского разговорного английского.

Тобиас Винсент Магуайр (р. 1975) — американский актер и продюсер.

«Филадельфийские Семьдесят шестые» (Philadelphia 76ers) — американский профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации; базируется в Филадельфии, назван в честь 1776 г., когда в Филадельфии была подписана Декларация независимости США.

«Philadelphia City Paper» (1981–2015) — независимый альтернативный городской еженедельник Филадельфии.

«Twinkies» (с 1930) — американское пирожное, придуманное и изначально производимое пекарней hostess Brands; ныне изготавливается в Канаде.

Джеймс Артур Болдуин (1924–1987) — романист, публицист, драматург, активный борец за права человека; «The Fire Next Time» (1963) — публицистический сборник Болдуина.

«Roots» (1977) — американский мини-сериал по мотивам одноименной книги Алекса Хейли, транслировался на канале ABC; получил 36 номинаций «Эмми», «Золотой глобус» и премию Пибоди.

Кунта Кинтей (ок. 1750 — ок. 1822) — преимущественно вымышленный персонаж романа «Корни», гамбийский раб-мандинка, ставший одной из икон культуры африканской диаспоры.

Джулиус Камбараге Ньерере (1922–1999) — африканский политик периода деколонизации, первый президент Танзании (1964–1985). Дар — Дар-эс-Салам, крупнейший город Танзании, административный и деловой центр страны.

Одно из основных традиционных блюд в странах Западной Африки (Ганы, Кот-д'Ивуара, Бенина), а также Гайаны и Ямайки; готовится из дробленой кукурузы или кукурузной муки, тесто подходит несколько суток, после чего медленно томится, обернутое в пальмовые или кукурузные листья или в фольгу.

Группа народностей, живущих в Западной Африке — на юге Гамбии, севере и северо-востоке Гвинейской Республики, западе Мали, в Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Гвинее-Бисау — и говорящих на языке мандинка.

Боже сохрани (*игбо*).

Колледж Брин-Мар (осн. в 1885) — частный женский гуманитарный университет в г. Брин-Мар, Пенсильвания.

Первая строка стихотворения «Ничто золотое не вечно» («Nothing Gold Can Stay») американского поэта Роберта Фроста (1874–1963).

PBS (Public Broadcasting Service) — американская некоммерческая служба телевизионного вещания.

Лоренс Номаньягбон Анини (ок. 1960–1987) — нигерийский бандит, глава преступной группировки, орудовавшей в Бенине.

Шеху Усман Алию Шагари (р. 1925) — нигерийский политик, президент Нигерии в 1979–1983 гг.

Эсиаба Ироби (1960–2010) — нигерийский драматург, поэт, режиссер, актер, литературовед.

Юзеф Комуњакаа (р. 1941) — американский поэт, пулитцеровский лауреат, его дед родом с Тринидада.

Из припева песни 1930-х гг. «Black, Brown and White Blues» Большого Билла Брунзи (Ли Конли Брэдли, 1893–1958), афроамериканского блюзового певца, гитариста, автора песен.

Мэри Кэтлин «Бо Дерек» Коллинз (р. 1956) — американская актриса и фотомоделль. «Десятка» (1979) — американская романтическая эротическая комедия, реж. Блейк Эдвардз.

«Things Fall Apart» (1958) — первый роман нигерийского прозаика, поэта и литературного критика, букеровского лауреата Чинуа Ачебе (Алберта Чинуалумогу Ачебе, 1930–2013).

«A Bend in the River» (1979) — роман Видиадхара Сураджджпрасада Найпола (р. 1932), англоязычного писателя индийского происхождения, лауреата Нобелевской премии по литературе, открытого критика ислама.

«Captain Underpants» (1997–2015) — серия иллюстрированных книг американского писателя и художника Дэвида Мёрри «Дэва» Пилки-мл. (р. 1965).

«Foxy Brown» (1974) — американская драма с элементами эротики, с чернокожим актерским составом, реж. Джек Хилл; главную героиню (Фокси Браун) сыграла Пэм Гриэр, американская актриса с африканскими, латиноамериканскими, китайскими, филиппинскими и индейскими корнями.

«Condom Kingdom» (с 2000) — магазин эротических и сексуальных принадлежностей.

«Свадебный хор» — музыкальная композиция из оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, распространенный на Западе марш, исполняемый в начале свадебной церемонии.

Отсылка к роману американского писателя, лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота (р. 1933) «Случай Портного» («Portnoy's Complaint», 1969).

Бeverли Грейс Джоунз (р. 1948) — чернокожая американская певица ямайского происхождения, киноактриса, модель.

Жители Наветренных Антильских островов.

Распространенная в первой половине XX в. проверка соответствия цвета кожи допустимому общественному стандарту в некоторых американских сообществах со смешанным расовым составом; привилегии полагались людям с цветом кожи светлее, чем у бурого (крафт-бумажного) пакета.

Мохаммаду Бухари (р. 1942) — нигерийский государственный деятель, глава государства с 1983 по 1985 г., повторно избран президентом страны в 2015 г.

Культурный троп почти с 200-летней историей: арбуз в представлении белого колониста связывался с нечистоплотностью (арбуз почти невозможно есть опрятно, и от него много мусора), ленью (его легко выращивать), избыточной общительностью (съесть целый арбуз в одиночку затруднительно, это общинная еда), инфантильностью (питательная ценность арбуза минимальна, это десерт и баловство, с европейской точки зрения) и изначально не имел расовых коннотаций; арбуз был символом «неразвитых» небелых наций. Символом афроамериканцев он стал в период Гражданской войны в США, когда освобожденные афроамериканцы начали выращивать арбузы на продажу и тем кормиться.

Дэвид Бланкетт (р. 1947) — британский политик и ученый, с 1992 г. занимал различные посты при кабинете Тони Блэра, в т. ч. министра образования и занятости, министра внутренней политики, министра труда.

Разновидность ямса.

Политическая реклама на нигерийском телевидении начала 1980-х гг.; в роли Эндрю — знаменитый в Нигерии актер Энебели Элебува (1947–2012).

Столица штата Риверз, к востоку от Лагоса, тоже на побережье.

В Нигерии эти категории определяются средними баллами, полученными в высшей школе; вторая категория — 3,5–4,49 балла.

Формальное приветствие на игбо, когда приветствующий растерян и не может подобрать более личного обращения.

Номер государственной страховки; в Британии действует система национального страхования граждан.

Вот правда; честно (*избо*).

135

Не бери в голову, все обойдется (*избо*).

Саргі Sun (с 1969) — торговая марка напитков, принадлежит немецкой компании WILD.

Брентвудская школа (с 1557) — одна из старейших частных школ-интернатов в Великобритании со строгим отбором учеников, расположена в Брентвуде, Эссекс.

Нет (узбо).

У. Шекспир, «Гамлет, принц датский», акт III, сцена 2, реплика Гертруды (пер. П. Гнедича).

Там же, ответная реплика Гамлета.

Школа лондонского Сити (с 1442) — частная школа для мальчиков на берегу Темзы в Сити, Лондон.

Колледж Мальборо (с 1843) — частное образовательное учреждение-интернат, одно из самых дорогих в Великобритании; Итонский колледж (с 1440) — частная британская школа-интернат для мальчиков.

Онича — город в Нигерии, штат Анамбра; расположен на реке Нигер, в 500 км к востоку от Лагоса.

Объединенная комиссия королевских музыкальных школ Великобритании оценивает музыкальные способности детей по пятибалльной шкале, пятая категория (высшая) присваивается за способность сочинять музыку для одного или нескольких инструментов.

Королевского рода (*игбо*); местный король/князь.

Город в Нигерии, чуть дальше на восток от Онич, в том же штате.

Колледж Бёркбек (с 1907) — подразделение Лондонского университета с вечерней формой образования.

Штат на юго-востоке Нигерии, восточнее Анамбры.

Распространенная в Западной Африке закуска, подобная жареному «хворосту».

150

Слишком много (*избо*).

Нванкво Кристиан Кану (р. 1976) — нигерийский футболист-нападающий в отставке, один из лучших игроков африканского футбола; ныне посол ЮНИСЕФ.

Прошу тебя (*нигер. пиджин*); от английского *i beg*, но в нигерийском английском это гораздо менее настоятельная и пылкая формула.

Обиходное (снисходительно-шутливое) именование Нигерии.

«Aquascutum» (с 1851) — британская торговая марка дорогой верхней одежды, поставщик британского королевского двора.

«Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead Revisited», 1945) — роман английского писателя Артура Ивлина Сент-Джона Во (1903–1966).

«The End of the Affair» (1951).

Здесь: то есть (нигер. пиджин).

Здесь: на которой (*нигер. пиджин*).

Здесь: есть тут (нигер. пиджин); от англ. «you get».

Херолд Джордж «Хэрри» Белафонте (р. 1927) — американский певец, актер, общественный деятель, «король» калипсо.

Негритянский американский английский, черный английский, «блэк-инглиш» — особая разновидность английского языка, объединяющая признаки диалекта и социолекта; это и разговорный, и иногда литературный язык афроамериканцев.

«Essence» (с 1970) — ежемесячный американский журнал для афроамериканок 18–49 лет, единственное постоянно публикуемое периодическое издание для аудитории черных женщин и посвященное их жизненному опыту.

Голливог — тряпичная кукла, карикатурно изображающая негритенка, персонаж детских книжек американско-английской художницы и писательницы Флоренс Кейт Аптон (1873–1922).

Отсылка к Зоре Нил Хёрстон (1891–1960), афроамериканской писательнице, фольклористке и антропологу, участнице Гарлемского ренессанса.

Черные американцы; черные неамериканцы.

Сон Гоку — главный герой вселенной «Жемчуг дракона» (1984–1995), созданной японским художником манга Акирой Ториямой (р. 1955); мальчик с обезьяньим хвостом.

Города в США с целиком белым населением, где до 1917 г. официально действовала форма сегрегации населения на основе цвета кожи: цветному населению (в некоторых местах — и евреям) запрещалось находиться в черте города после заката; в некоторых населенных пунктах в глухой глубинке остаточные проявления такой сегрегации бытуют и поныне.

Красотка-мексиканка (*исп.*); до 1960-х гг. «чикано» был пейоративным термином для обозначения мексиканцев в Америке, но с рождением Движения Чикано, народной инициативы по борьбе за права мексиканского населения в США, это обозначение используется самими мексиканцами в Америке, однако преимущественно иммигрантами далеко не в первом поколении; современные иммигранты этим понятием почти не пользуются.

«Don't Let Me Be Misunderstood» (1964) — песня с альбома «Broadway, Blues, Ballads», написана Бенни Бенджамином, Глорией Колдуэлл и Солом Маркэсом для джазовой певицы и пианистки Нины Симоун (1933–2003).

Дарфур — регион на западе Судана, район межэтнического Дарфурского конфликта (с 2003 г. и далее), вылившегося в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами «Джанджавид» и повстанческими группировками местного чернокожего населения.

Бедняцкий район Нью-Хейвена.

Энн Петри (1908–1997) — американский прозаик, первая чернокожая писательница, роман которой был продан более чем миллионным тиражом («The Street», 1946). Гейл Джоунз (р. 1949) — афроамериканский прозаик, поэтесса, драматург, университетский преподаватель, литературный критик.

Слово из языка йоруба; по разным словарям означает еще и «дикий овес». Так нигерийцы и другие жители Западной Африки иногда именуют афроамериканцев.

Cookie Monster (с 1966) — вымышленный персонаж американской кукольной программы «Улица Сезам».

Законы Джима Кроу — широко распространенное неофициальное название законов о расовой сегрегации в некоторых штатах Америки в 1890–1964 гг. Само имя Джим Кроу — одно из собирательных наименований афроамериканцев, укоренилось благодаря песенке «Прыгай, Джим Кроу» («Jump Jim Crow», 1828), впервые исполненной белым комиком Томасом Дармутом «Дэдди» Райсом. Этот номер якобы вдохновлен песней и танцем африканского раба-инвалида по имени Джим Кафф, или Джим Кроу, из Сент-Луиса, Цинциннати или Питтсбурга. Песня стала популярной в США в XIX в.

Капитолий штата Иллинойс, в Спрингфилде; здесь в 1858 г. объявил о своем участии в выборах будущий 16-й президент США Абрахам Линкольн (1809–1865), а в 2007-м — 44-й президент США Барак Обама (р. 1961).

Букер Тальяферро Уошингтон (Вашингтон, 1856–1915) — один из выдающихся борцов за просвещение афроамериканцев, оратор, политик, писатель. Фредерик Огастес Уошингтон «Дагласс» Бейли (1818–1895) — американский писатель, просветитель, аболиционист, редактор, оратор.

Йеменский соус из зеленого острого перца, кинзы, петрушки, чеснока, черного перца, кардамона, тмина.

По сути (*искаж. фр.*).

180

Булочка с шоколадом (*искаж. фр.*).

Эмметт Луи Тилл (1941–1955) — афроамериканский мальчик, зверски изуродованный и убитый в штате Миссисипи в 14 лет в отместку за то, что некорректно, по понятиям времен законов Джима Кроу, повел себя по отношению к белой женщине Кэролин Брайент, владелице продуктовой лавки. Что именно произошло в лавке, до сих пор доподлинно неизвестно, однако Брайент позднее призналась, что физических приставаний или словесного хамства не было; мальчик, похоже, просто свистнул (возможно, с сексуальным подтекстом). Этот инцидент получил широкую огласку в прессе. Считается, что с него началось массовое движение против расовой дискриминации в США.

Пегги Макинтош (р. 1934) — американская феминистка, активист антирасизма, исследователь, просветитель.

В США небелые пластыри стало возможно купить лишь в 2014 г., их начала производить чикагская семейная фирма Тоби Мейзенхаймера — белого американца с двумя биологическими и двумя приемными (чернокожими) детьми.

Справедливая торговля (fair trade, с 1940-х) — всемирное организованное общественное движение, отстаивающее справедливые стандарты общественной политики в отношении маркированных и немаркированных товаров, от ремесленных изделий до сельскохозяйственных продуктов; в частности, это движение обращает особое внимание на ценовую политику при экспорте товаров из развивающихся стран в развитые.

«Dreams from My Father» (1995) — первая книга-автобиография Барака Обамы.

Нормен Персевел Рокуэлл (1894–1978) — американский художник и иллюстратор, «зеркало американской культуры».

Речь о скандале, вспыхнувшем во время предвыборной кампании и связанном с преп. Джеремайей Райтом (р. 1941), пастором Христовой церкви Единой Троицы, в которой состояли Барак и Мишель Обама; преп. Райт в своих проповедях в начале 2000-х позволял себе рискованные и провокационные высказывания о внутренней и внешней политике США, из-за которых в марте 2008 г. возникла большая шумиха в СМИ. В мае того же года супруги Обама официально объявили о своей непринадлежности этой церкви и окончательно размежевались с преп. Райтом.

Роберт Хейден (1913–1980) — американский поэт, публицист, просветитель, в 1976–1978 гг. оказался первым афроамериканцем, занявшим пост консультанта по поэзии в библиотеке Конгресса (ныне — звание поэта-лауреата).

Кит Теодор Олберменн (р. 1959) — американский спортивный и политический комментатор, писатель.

Лапочка, красавица, душенька (*избо*), ласковое обращение к женщине.

Нежную любящую заботу.

Да ну; подумаешь (*избо*).

Западноафриканский экзаменационный совет — организация, проводящая экзаменацию школьников в выпускных классах англоговорящих стран Западной Африки (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне, Либерия, Гамбия).

Зума-Рок — громадный магматический монолит высотой 725 метров, расположенный в штате Нигер, к северу от Абуджи.

195

Здесь: ну? (избо)

В Нигерии до сих пор очень высокая смертность от малярии, особенно детская; существует несколько программ борьбы с малярийными комарами, в том числе на государственном уровне.

Собирательное название популярного в Нигерии безалкогольного сладкого газированного напитка на основе хмеля и ячменя, по сути — неферментированное пиво.

Традиционный для Нигерии рис, произрастает на юго-западе страны, назван в честь города Офада, где в основном и культивируется, однако Нигерия не родина этого растения: судя по всему, его завезли из Азии.

Фешенебельный комплекс имений в одном из самых дорогих районов Лагоса.

В январе 1983 г. нигерийский президент Алхаджи Шеху Шагари приказал всем нелегальным иммигрантам покинуть страну; среди них было около 2 млн ганцев, и в феврале того года произошел массированный исход ганцев из Нигерии, а свои пожитки они увозили в громадных клетчатых сумках с соответствующей надписью.

201

Здесь: Ну ни фига себе (*нигер. пиджин*).

«Glass» — международный женский журнал с подразделением в Нигерии.

203

Штаб-квартира нигерийского угрозыска, расположена в Икойи.

Здесь: Ну ни фига себе (*нигер. пиджин*).

Тоненькие дреды, результат особого очень точного и мелкого разделения волос на пряди с помощью специального приспособления.

Университет Темпл (с 1884) — исследовательский университет в Филадельфии.

То же, что и дреды; само слово происходит из языка йоруба.

Штат на юго-западе Нигерии, на его территории расположена дельта р. Нигер.

«Cops» (с 1989) — американский документальный сериал о буднях судебной и исполнительной власти.

210

Утонченность манер (*фр.*).

Тома Исидор Ноэль Санкара (1949–1987) — государственный и военный деятель Буркина-Фасо, президент страны в 1983–1987 гг., революционер-марксист, один из теоретиков panaфриканизма; за свои левые убеждения, революционную деятельность и смелость прозван «африканским Че Геварой».

212

Массачусетский технологический институт; университет Тафтса
(частный исследовательский университет).

National Public Radio (с 1970) — крупнейшая некоммерческая организация в США, занятая сбором и распространением новостей почти с восьмисот радиостанций страны, финансируется за счет пожертвований от слушателей.

214

Улица на о. Виктория.

215

Концертный зал Музыкального общества Нигерии, расположен на о.
Лагос.

216

Популярный в Нигерии безалкогольный прохладительный коктейль на основе фанты и спрайта, с апельсином, лимоном и огурцом.

Бианка Одомегву-Оджукву (Бианка Одинака Оливия Оно, р. 1968) — нигерийская предпринимательница, политик, дипломат, юрист, победительница многих конкурсов красоты (мисс Нигерия, мисс Африка, первая мисс Интерконтинентал), ныне постоянный представитель Нигерии во Всемирной туристской организации ООН.

«Postbourgie» (с 2007) — блог в интернете, посвященный вопросам рас, культуры, политики и СМИ, ведущий — афроамериканец Джин Демби (ныне работает и на NPR).

219

Кавардак (*нигер. жарг.*).

220

Пригород Лагоса.

221

Здесь: обалдеть (*нигер. пиджин*).

Университет Лагоса.

В Нигерии нет военного призыва для молодежи, но с 1973 г. выпускники университетов, а позднее — и политехнических вузов обязаны отработать год на гражданской службе. Отношение к этому в нигерийском обществе крайне противоречивое.

Не зевай, смотри в оба, не щелкай клювом (*нигер. разг.*).

225

Источник бесперебойного питания.

Знаменитый в Лагосе независимый книжный и музыкальный магазин (и музыкальный лейбл), открыт с 1990-х гг. на Аволово-роуд.

227

Зелье (*нигер. жарг.*).

Национальная энергетическая компания.

Произносится «Фэншо».

Речь о гражданской войне в Нигерии (война за независимость Биафры, или Биафро-нигерийская война, 1967–1970) — вооруженном конфликте, вызванном межэтническими противоречиями и попыткой отделения восточных провинций страны, провозгласивших создание Республики Биафра. Считается одним из самых кровопролитных конфликтов 1960-х гг. Согласно разным источникам, погибло от 700 тыс. до 3 млн человек, в основном жителей территорий Биафры (а среди них большинство составляли игбо), ставших жертвами военных преступлений, голода и болезней.

Дерек Элтон Уолкотт (1930–2017) — поэт и драматург, уроженец Сент-Люсии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1992 г.

«Bracket» (с 2004) — нигерийский афропоп- и R&B-дуэт Обумнеме «Смэша» Али и Нвачукву «Васта» Озиоко, оба выпускники Нсуккского университета. «Yori-Yori» — песня с альбома «Least Expected» (2009).

«О мое сердце» (*игбо*); песня Обиоры Нвоколбии-Агу (Обиоры Обивона, р. 1977) — нигерийского певца, музыканта, автора песен, руководителя церковного хора, евангелиста — с альбома «The Rebirth» (2009).

Район о. Лагос, знаменитый своей ночной жизнью.

Акара (акараже) — традиционное блюдо нигерийской и бразильской кухонь. Горох варят, толкут, добавляют лук, лепят из полученной массы крупные шарики, а затем жарят на пальмовом масле.

Офе онугбу — распространенный в Западной Африке суп на бульоне из любого мяса и/или морепродуктов, но с обязательным добавлением «горьких листьев» — вернонии.

237

Трехзвездочная гостиница в центре Абуджи.

238

Сейчас все дорого/трудно (*избо*).

Дорогой деловой район на севере Абуджи.

Это невозможно (*избо*).

241

Имеет мудрость (игбо).

Марка светлого нигерийского пива (с 1970).

Так в Западной Африке называются яркие цветные хлопчатобумажные ткани, раскрашиваемые на манер батика, но при помощи воска. Последовательное нанесение узора воском и дальнейшее вымачивание ткани в красителе (и так несколько раз) позволяет создавать уникальные рисунки по ткани.

Штат на юго-востоке Нигерии.

245

Напиток на основе солода, сахара и молочной сыворотки; впервые был выпущен в Швейцарии в 1904 г.

Столица штата Анамбра, к северу от Лагоса, город между Онитшей и Енугу (северные земли игбо).

247

Все в порядке? (*избо*)

Разновидность ткани с узорами, характерными для Нигерии.

Центр культуры и искусств в Лагосе.

250

Район на о. Виктория в Лагосе.

251

Держись; все получится (*избо*).

252

Друг, подобный брату (*избо*).

Table of Contents

[Чимаманда Нгози Адичи Американха](#)

[Часть первая](#)

[Глава 1](#)

[Глава 2](#)

[Часть вторая](#)

[Глава 3](#)

[Глава 4](#)

[Глава 5](#)

[Глава 6](#)

[Глава 7](#)

[Глава 8](#)

[Глава 9](#)

[Глава 10](#)

[Глава 11](#)

[Глава 12](#)

[Глава 13](#)

[Глава 14](#)

[Глава 15](#)

[Глава 16](#)

[Глава 17](#)

[Глава 18](#)

[Глава 19](#)

[Глава 20](#)

[Глава 21](#)

[Глава 22](#)

[Часть третья](#)

[Глава 23](#)

[Глава 24](#)

[Глава 25](#)

[Глава 26](#)

[Глава 27](#)

[Глава 28](#)

[Глава 29](#)

[Глава 30](#)

[Часть четвертая](#)

[Глава 31](#)

[Глава 32](#)

[Глава 33](#)

[Глава 34](#)

[Глава 35](#)

[Глава 36](#)

[Глава 37](#)

[Глава 38](#)

[Глава 39](#)

[Глава 40](#)

[Глава 41](#)

[Часть пятая](#)

[Глава 42](#)

[Часть шестая](#)

[Глава 43](#)

[Часть седьмая](#)

[Глава 44](#)

[Глава 45](#)

[Глава 46](#)

[Глава 47](#)

[Глава 48](#)

[Глава 49](#)

[Глава 50](#)

[Глава 51](#)

[Глава 52](#)

[Глава 53](#)

[Глава 54](#)

[Глава 55](#)

[Благодарности](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)

[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)

[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)
[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)
[108](#)
[109](#)
[110](#)
[111](#)
[112](#)
[113](#)
[114](#)
[115](#)
[116](#)
[117](#)
[118](#)
[119](#)
[120](#)
[121](#)
[122](#)
[123](#)
[124](#)
[125](#)
[126](#)

[127](#)
[128](#)
[129](#)
[130](#)
[131](#)
[132](#)
[133](#)
[134](#)
[135](#)
[136](#)
[137](#)
[138](#)
[139](#)
[140](#)
[141](#)
[142](#)
[143](#)
[144](#)
[145](#)
[146](#)
[147](#)
[148](#)
[149](#)
[150](#)
[151](#)
[152](#)
[153](#)
[154](#)
[155](#)
[156](#)
[157](#)
[158](#)
[159](#)
[160](#)
[161](#)
[162](#)
[163](#)
[164](#)
[165](#)

[166](#)
[167](#)
[168](#)
[169](#)
[170](#)
[171](#)
[172](#)
[173](#)
[174](#)
[175](#)
[176](#)
[177](#)
[178](#)
[179](#)
[180](#)
[181](#)
[182](#)
[183](#)
[184](#)
[185](#)
[186](#)
[187](#)
[188](#)
[189](#)
[190](#)
[191](#)
[192](#)
[193](#)
[194](#)
[195](#)
[196](#)
[197](#)
[198](#)
[199](#)
[200](#)
[201](#)
[202](#)
[203](#)
[204](#)

[205](#)
[206](#)
[207](#)
[208](#)
[209](#)
[210](#)
[211](#)
[212](#)
[213](#)
[214](#)
[215](#)
[216](#)
[217](#)
[218](#)
[219](#)
[220](#)
[221](#)
[222](#)
[223](#)
[224](#)
[225](#)
[226](#)
[227](#)
[228](#)
[229](#)
[230](#)
[231](#)
[232](#)
[233](#)
[234](#)
[235](#)
[236](#)
[237](#)
[238](#)
[239](#)
[240](#)
[241](#)
[242](#)
[243](#)

[244](#)
[245](#)
[246](#)
[247](#)
[248](#)
[249](#)
[250](#)
[251](#)
[252](#)